

4(2)
- 80

ЛЕОНАРД
ЗОЛОТАРЕВ

ДВА ПРОРОКА

В ОДНОМ
ОТЕЧЕСТВЕ

1000

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

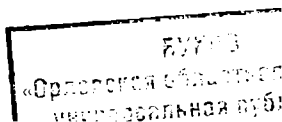
ДВА ПРОРОКА В ОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ

Роман

A275360

407-7314

г. ОРЕЛ
ВЕШНИЕ ВОДЫ
1995



Художник **В. Я. Погорелов**

Этот роман, вслед за «Кормильцами» и «Берегиней», продолжает серию романов известного русского писателя Леонарда Золотарева. Наша жизнь в романе «Два пророка в одном Отечестве» представлена многогранно, глубоко, интересно. Читатель получает мощный заряд энергии, художественную и жизненную информацию. Это — роман о каждом из нас и для нас.

В мире реальности и творческой фантазии автора — та же Центральная Россия, те же герои Егор и Стешка в их непростой, жаркой, бескомпромиссной любви.

Когда аркан
Над головой свистел
И шум пиров катился по улусам,
Другой бы постарел
И поседел,
А я русел,
Я становился русым.

В. Федоров.

Еду я в зеленые поля, в дальние места, по утренним и вечерним зорям; умываюсь ледяною росой, утираюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет Одолень-трава. Одолень-трава! одолей ты злых людей, отгони ты чародея-ябедника. Иду я с тобой, Одолень-трава, к Окиян-морю, к реке Иордан, где лежит бел горяч камень Алатырь. Как он крепко лежит предо мной, так бы у злых людей язык не поворотился. Спрячу я тебя, Одолень-трава, у ретивого сердца на всем своем пути, на дороженьке.

Из книги "Русский народ".

Валерий Владимирович
Труфанов
с памятной записки
в приложении
Николай Александрович
Бонч-Бруевич
1915

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- Меркурий, ты не прав.
- Не Меркурий — Юпитер!
- И Юпитер тоже.

Из разговора.

I.

Не все получается у нас, как бы хотелось. Сперва земля была круглая, потом люди взялись класть на нее, вешать-навешивать, она, бедная, аж плюснуть стала, скоро совсем чечевицей сделается, такая-то экология. Бодраков шумно втянул в себя воздух, — да разве в кармане у нас когда-нибудь что-либо заведется при наших метаниях, так и будет в бумажнике как в голодном желудке: липнуть стенка к стенке, гори все оно синим огнем...

Спицей, которая как воткнулась, так и засела в Бодракове Финагене Ксаныче, было это вот — дело больше личного, так сказать, партикулярного свойства. Однако про это даже боязно вспомнить. Прямо тебе детектив, уголовщина какая-то, фантаσμαгория. Кассирша привезла деньги — приличную сумму за первый квартал, но раздать дояркам и механизаторам не успела, сумма в кассе заночевала. А ночью махнули через окно денежки вместе с кассиршей и... сейфом. И сейф-то не сейф, а сейфик, под мышкой унести можно. Через день кассиршу нашли в речке мертвой и, естественно, без сейфика.

Сумма крупная, происшествие из ряда вон выходящее. Вызвали, конечно, собак, но собаки оказались с таможни, обученные на наркотики и следа не взяли. А еще через пару недель попал он, Финаген, в район Адамовой мельницы, пошел в кусты по нужде и глазам своим не поверил: у бучила с вонючей, стоялой водой валялся тот самый сейфик. Лишь поцарапан, должно быть, открыть пытались. Бодракова так всего и окатило мурашками. Тут же в волглой земле и зарыл он

металлический ящик. Инстинктивно сделал это, просто так, без всякой задней мысли. А вскоре начал человек мучиться совестью. Всего насквозь пропилило: а вдруг там его отпечатки, замордуют ведь, как да что, почему? И чем дальше уходило событие, тем зорче приглядывался Финаген к изменениям как во внутренней жизни страны, так и во всей международной политике. А он, этот период, который после назовут застойным, так затянулся, ну просто никуда не девался. И Финагена всего раздирало в противоречиях. С одной стороны, сам он держал свой колхоз в кулаке, чтобы ничего не рассыпалось. А с другой — так хотелось, чтобы все это полетело к чертовой бабушке, вылетело в трубу. По крайней мере люди будут меньше пялить глаза на других, завидовать один другому черной завистью, больше будут заниматься собой, работать, а не мешать один другому...

— Финаген Ксаныч, — перебила его мыслишки Чернова Нюра, доярка. — Стиральные машины в хозмаг поступили. Вы бы за нас, доярочек, похлопотали.

— Вконец заездили председателя! — оборвал ее Бодраков. — Скоро скажете, пианину вам на ферму тащи." А сама тоже, небось, наострилась туда же, к Лихопекову, за Гараськиной Зинкой. Там жить и работать, а тут огород держать? Ничего-ничего, я этой Зинке по порог землю отпяху, отпяху...

Поставил Бодраков Нюру Чернову на место, а сам с тревогой вглядывался в выражение ее лица: "Тамада, воевода, может, ей что-либо известно про сейфик-то?"

— Вот вы областной депутат, Финаген Ксаныч, — сжалась вся от обиды Нюра Чернова. — В грязи доярочки тонут, а позаботиться некому.

— Ладно, — буркнул Бодраков. — Где надо, закину удочку.

И пошел, поджимая под себя хвост, так что лопаточки на пиджаке выперли, на лопатках от поту вроде как потемнело.

"Что ни слово, то лед, то мед, — не сдвигалась с места Нюра Чернова. — Как скатился человек, и всего за год какой-то. Говорил доярочкам: вы наша гордость, опора, золотой фонд! Дай устройю вам вечер, лично с каждой буду плясать... Стара песенка, Финаген Ксаныч, землю по порог он отптит! Землю теперь силком давай — не возьмут..."

Между тем Бодраков сел в машину и направился туда, к Адамовой мельнице. С утра в груди ворочался червячок, подсознаниице, что ли, подсказывало: что-то должно произойти. Каждый камушком норовит по темечку, а голова у председателя одна, в одном экземпляре. Каждый хочет выгоды себе. А ты

должен всех организовать, в кулак сбить, чтобы пальцы были не врасстопырку. Не будет практического результата — пощады не жди, начальству давай успех, оно обожает удачливых.

Вот золотое времечко было, сами просились на трудовой подвиг. Теперь говорят, надо больше рублем крутить, создавать потребности. Но как быть, когда лошадь привычна к кнуту, а бык — к окрику?..

— С нового году всех таких... в воду, — крутнул Бодраков баранку направо.

Хлеба еще не были скошены. Наметанным глазом Бодраков определял урожай: нынче за него не повесят орден, но и не повесят на сук. По мере приближения к Адамовой мельнице дурные предчувствия вместе с пылью летели впереди него. И вон она, перед ним, Адамова мельница. Вон бучило вонючее — Варин бук, известное ему одному место, лучше бы его не было. Семя крапивное, зарость вокруг бучила.

Прежде чем скатиться с горки в приречную пойму, Бодраков притормозил "уазик": ему показалось, кто-то мелькнул в березках на Житеневском верху. "Неужто отец Егора — Тиганов Трофим?"

Ивняк хорошенько укрыл бодраковский "уазик". Бодраков раздвинул крапиву, присел на корточки. Сейфик покоился тут, в мягкой, волглой земле. "Мои лимончики! — теснило грудь Бодракову. — Проклятая дактилоскопия!" И он начал отирать руки, пальцы о живот, о штаны.

"Человек мелькнул на Житеневском верху — Егор ли, Трофим ли, все одно Тигановы. Все они тут свои, один клан, родовая мафия, пережитки средневековья, азиатчина".

* * *

Не мог Тиганов Трофим Петрович быть одновременно в двух местах сразу, поскольку в тот момент находился в Тигановке, на своем подворье, превращенном в присмный пункт. Уже третий год Трофим работал заготовителем в системе райпотребсоюза. Конечно, это тебе не трактором землю корсжить. Но, как говорится, с божьей помощью да еще с подмогой новой жены его Тоськи и это у него получалось. В коммерции у Трофима обнаружился такой, извините, талант, что и еврея иного он мог за пояс заткнуть в этой своей чрезвычайной способности.

Сам Трофим и не подозревал, какие для него открывают-

ся горизонты. И только Тоська, баба-жох, мигом все сообразила. На сон грядущий нырнет, бывало, к Трофиму в постель, кукушкой ночной столько ему накукует. Однако Трофим выбирал степенную линию. Чтобы прежде времени не попасть туда, где не так давно побывал его сын Егор.

Понедельник сегодня, "мясной день". И люди с утра тянулись к Трофиму — кто на машине, кто пешком, кто на тракторе, а кто и на комбайне. Лето же, август месяц, время такое, все на подсобном транспорте. Несут в основном баранину. Режут те из крестьян, у кого много овец, кому деньги понадобились. Птицу же — кур, "цысарок" — оставляют себе. А вот гусей повезут после зазимков, когда перо отделяться станет, гуси ледку хватанут. Тогда же говядину и свинину. А сейчас если что и подвезут, то так, по нужде, по несчастному случаю: коровенке ногу где-нибудь подломило, поросенок горяченького хватанул.

Трофим принимал мясо, прикидывал: уж как раз на машину. А люди все несут и несут. Вот беда, холодильной камеры нет, телефона, чтобы в контору позвонить, тоже нет. Прошлой весной, в самый напор, когда принимали картошку, поставили аппарат — седьмой на одном номере, а потом опять отключили: нельзя — не положено, соседи по параллели подслушивать будут. Да черт с ними, что, военная тайна, что ли, объект государственного значения? — Нельзя, понимаешь, и баста.

Трофим знал: сегодня будет одна, плановая машина, скорее всего бортовой "ЗИЛ". А куда девать остальное? Мясо ведь, мухота же, прямо беда. Надо ехать звонить...

Из-за сарая вырулила бабушка — бабка Мотя с кровавым мешком за спиной. Подошла враскачку к весам, аж подогнулась вся, перлась сюда аж из-под Волчьего Шляха.

— Да что же ты, Акинтьевна, — помогал снимать сй груз с плеча и класть на весы Тиганов Трофим, — так на себя осерчала? Сказала бы, я бы к тебе сам засехал... Барашка, что ли, приволокла?

— Варьке, внучке моей, — шевельнула бумажными губами старуха, — сапоги вынь да положи, как у Любки — подружки Варькиной на производстве. Городу денег сколько ни дай... А Бодраков деньги задерживает. Механизаторам андысь дали, а ферме, где Любка моя, опять погоди. Ты к нему оком, а он к тебе боком.

— Да кто хоть боком к тебе, а?

— Бодраков же, сн мужик туголобый, неаккуратный такой, камни с постели стряхивает.

— А ты отколь знаешь?

— Род ваш тигановский вздумал перевести — друг сердечный, таракан запечный.

— Да кто хоть, бабуль?

— Ктокало! Да Бодраков же! Всюду вхож, как медный грош.

— Дак, может, Финаген Ксаныч мне друг, — усмехнулся Трофим.

— Всяк друг, да не вдруг, — хитровато переблеснула глазками бабка Мотя. — Он тебе сына Егора в колонию за пу-
стячнос дело определил — и друг?

— Ладно, баб, не гневись. Вот тебе твои денежки, — отсчитывал ей Трофим тройками. — Поселок-то твой сохранился ай уже аннулировали, истратился, говорю?

— Живыми, батюшка, живы, — вздохнула старушка. — Вашими молитвами, своими грехами. О старом не плачем, новому не радуемся.

— Ну, живи, топчись, мать, — коснулся плеча старой женщины Тиганов Трофим. — Корми народ, поддержи государство... Я в Прилепы к тебе, в случае чего, за остальными овечками-то сам заскочу. Чего тебе по колчам-то вихляться?

— Слово тебе благодарное, — поджала сухие губы старуха и, закинув мешок за горбяку, собралась уходить.

— Да за что мне-то, — шел следом за ней Трофим.

— Что не обвесил, не обманул меня, старую. С богом в ладу живешь. Не как все эти анчихристы.

Едва старушка скрылась за кустьем, Трофим кинулся ехать в Ярище или в Оболешево звонить в заготконтору: на одну бортовую мясо не погрузить, пусть присылают две. До вечера, пока машины придут, можно по населенным пунктам прокатиться.

— Тось! — крикнул он в сенцы супруге. — Я в Шевелиху! Там коровка, говорят, клеверку хватанула.

И передал ей документацию.

— Рискуешь, Петрович, — властно сказала Таисия. — На одну будет ли, а ты на две машины губы развесил.

— Ну вот что! — сдвинул брови Трофим. — Будь полковником, да не в нашем полку, а на кухне.

Сел в "Москвич" и рванул со двора. Ехал проселком, крутилось по сторонам разноразное, а в черепушке роилось всякое. Хоть и глуховатое, тупиковое местечко, а все же не свой — соседский район. Перед глазами Трофима возникали по очереди то старший сын Егор — агроном, то Бодраков — предсе-

датель, то оба вместе в переплесте их взаимоотношений. Поссередке — между Адамовой мельницей и Тигановкой — впереди в дорогу ударила молния. Но Трофиму это уже не было страшно, он успел выскочить из опасной зоны. А вслед в брезентовый верх машины било мелкой, въедливой бусорью, догоняло свежее грозное дыхание...

Трофим не любил Бодракова. История эта имела длинную бороду. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было то, что Бодраков пошел на такую подлую крайность: лишил молодого человека, молодого специалиста — агронома, его, Трофимова, сына Егора, свободы, жизненной перспективы. Обесчестил Бодраков не только Егора, но и весь их тигановский род... Трофим ощущал Финагена точно так же, как одного подпольного "миллионера", который по той простой причине, что денег у него куры не клюют, плевал теперь на всех с высокой своей колокольни. Этот "миллионер" возбуждал у Трофима желание схватить Бодракова за бороденку и оттащить его справа налево, слева направо.

Трофим чувствовал себя виноватым перед сыновьями, перед памятью их безвременно ушедшей матери Устиньи. Вот он привел в дом новую жену Тоську, а детей вроде выставил. Не мог Трофим просить Бодракова за сына, хотя место агронома и пустовало. Легче лбом было орехи на камне колоть. И вообще лишний раз Трофим предпочитал не пересекать свою линию с бодраковской. Так и шли они с Бодраковым параллельными курсами, зорко следя друг за другом. Прикидывал Трофим: неужели у него получалось бы хуже, чем у этого чужеродца? По крайней мере у людей свой человек был бы в том кабинете. И чего зачастил Бодраков к Адамовой мельнице? Клад Адамов нашел, что ли? Или награбленные деньжонки зарыл здесь вместо банков швейцарских — миллионы свои, миллиончики?

II.

"По порог землю отпачу!" — это вырвалось у него зря.

Из головы Бодракова не выходил один памятный день, когда сцепились они с бригадиром Тигановской бригады Усыниным. По пустяку вроде бы, а что получилось. Усынин и сам снялся с корня, уехал в соседний район, и ниточку за собой потянул. Уезжали все — припомнили каждую мелочь, каждую пустяковину, выходит, у сердца держали. "Покидаете свою малую родину? — говорил Бодраков им сквозь зубы, а самого аж в пот кидало. — А тут крутись, как каторжный,

спасай вашу землю... Ладно, катитесь вы, и без вас обойдемся!" — "Да что же мы, в другую страну уезжаем? — уже с машины, навьюченной верхом, отвечала ему жена Усынина. — Чай не в Эфиопию, остаемся в пределах... Да ведь надоело, Финаген Ксаныч, чуть что — "в шею!" да "вытутрю!" А на новом местожительстве — чуть что, лоб о лоб и до свиданья, пошел на другую работу". Вот как баба заговорила! Комплекс открыли, а доярок не то что подменных — на одну смену не набирается. А там на станции бригада получилась из одних почти что ярищенцев, и Усынин опять бригадиром...

Пыхнув едким дымком, бодраковский "козел" резко осел у края силосной ямы. Это Марусино-Ключевская ферма. Вторую неделю набивают силосом яму, никак не набьют. Дизель торчит для трамбовки, это дизель Природина.

— Ну и как? — подошел Бодраков к механизатору.

— Не вишь, загораю, — лениво поднялся тот и встал во весь свой неограниченный рост. — В час по столовой ложке, пять машин за весь световой день.

— Ну, Бронька, броня крепка! — вспылil Бодраков. — Я ему, паразиту, врежу по биографии!

Прострочил мотоцикл за посадкой, и вот он, легок на помине, "вертолет" Бронькин, Бронька собственной персоной, сам нарывається на неприятность. После Усынина Тигановская бригада долгое время вообще была без бригадира, пока временно, на летний сезон, Бодраков не назначил Броньку Летягина.

— Очки надень, а то холодно, — встретил Бодраков Броньку жестокой шуткой.

— Чего это вы? — насторожился Бронька.

— А то! — как обрубил Бодраков Бронислава. — Участок не обеспечиваешь. Пять машин за световой день, а сегодня с утра только две.

— Так и возить-то нечего, броня крепка, — засуетился Бронька. — Кукуруза какая, сами знаете, ниже хрена, чуть выше колена.

— Овес коси, вику, бурьян по буграм.

— Я вам не бригадир, гори оно синим! — озлился Бронька.

— А кто же ты?

— Механик. А тут выручаю вас, временно.

— Ты — прохиндей, зарплату не отрабатываешь, ты у меня...

— Ладно! — хлопнул оземь Бронька мотоциклетными

крагами. — Амба, Финаген Ксаныч, дорогой ты мой человек! Все, разоружаюсь!

— Ты, Бронька, не выкаблучивай, — вмешался наконец Природин. — Если надо вику с овсом косить, давай команду — пусть косят.

— Так бы и говорили с Бронькой, по-человечески, творчески, — держался Лetyгин подальше от председателя. — И я бы, может, совет какой дал. Вон Тиганов Егор объявился, в Житене пока, говорят, не у дел. Живет в Берсгининой хате.

— Дружка тянешь? — отвернулся Бодраков. — Этого еще не хватало.

— Эх, броня крепка! И стежки наши склизки, — глубоко вздохнул Бронька Лetyгин. — Какие у нас амбиции! Не дружка, Финаген Ксаныч, тяну, а, между прочим, работника, агронома и, может, даже в его лице бригадира Тигановской бригады.

— А что, идея! — живо повернулся к Бодракову Природин. — Сам-то Егор Трофимыч согласен?

Бодраков сбывился, так ссутулился, что пиджак на спине натянуло на обе лопатки, и пошел, приборматывая, подальше отсюда. "Раскаркались! Этой вони еще не хватало — брать Егора еще по второму заходу. Мало нам этого... Трофима Тиганова. Авторитет какой заимел в округе, как же, за-го-то-витель!..."

Мысль о Тиганове Трофиме придала Бодракову энергии. И Бодраков заметался по полям, по фермам. И только после обеда объявился в Ярище. Не заглядывая в бухгалтерию, чтобы особо не знали, что он тут, на месте, Бодраков прошел к себе в кабинет. Долго сидел с бумагами. Нерадужной получалась картина: поголовье увеличили, а с кормами опять хуже некуда. Сухое лето оголодило коров.

Вот Форд в Америке, скажем, закончил президентство и преспокойненько удалился в ранчо свое писать мемуары. Еще бы, он — миллионер, можно погрузиться в нирвану или удариться в какое-нибудь предпринимательство. А что ждет Финагена Ксаныча, если завтра у него заберут печать? Что останется у тебя, Финаген, кроме бравурных воспоминаний? Мы не Форды, нам чужого не надо, но и своего, броня крепка, пока живы, не отдадим...

Уходя, Бодраков столкнулся в коридоре с Коротеевой, экономисткой. Мимо этой цацы, лягушки зеленой, не прошмыгнешь, так и держит дверь полуоткрытой, все видит, кто входит, кто в кабинете у председателя.

— Финаген Ксаныч, звонили из Алатыря, из райисполкома, — доложила она. — Сводку требуют по кормам, по заготовке силоса.

— Да ладно, знаю, — поморщился Бодраков и сказал слабеньким таким, ни на что не похожим голоском: — А больше никто не спрашивал?

Бодраков имел в виду Тигановых, отца или сына, Трофима или Егора, вот засели в душу, ядри их в дышло.

— Что это вы, Финаген Ксаныч, — доходило до него откуда-то, как из подвала. — Ай заболели?

— Да ты что! — ударил перед Коротесовой в грудь себе Бодраков. — Во, колокол! Броня крепка...

Самому Трофиму хлопотать и не обязательно, теперь у него в Алатыре достаточный круг.

Для разрядки Бодракову опять-таки захотелось на Адамову мельницу. Вот, гори оно, как привязалось. Как обычно, Финаген поставил своего "козла" в ивняке. Проламывался через крапиву. Однако проход уже видным сделался, а это демаскировало.

Бодраков сидел перед вонючим болотом, уронив голову в ладони, и набирался тут, у сейфика, сил. Сейфик с деньгами тут вот, под ногой. Это сбивало Бодракова внутренне в узел, а внешне аж желваки вылезли у Бодракова. С такими деньжищами можно жить! Бодраков хорошо понимал начальство, которое жить давало себе, но не давало другим. Мало им, чтобы у них самих было все лично-отлично, надо, чтобы еще и у окружающих все было хуже. Тогда разрыв больше, ножницы шире, душевное благо. Циники! Или же, смотришь, человек хорошо устроился, а его взяли и разорили. И для чего, какой смысл? А чтобы тот себя чувствовал плохо, чтобы реагировал лучше, легче бы управлялся...

"Почему они бросили сейфик? — думалось Бодракову. — Чтобы кто-то поднял? Тогда они могут вернуться".

Бодраков сидел на Житеневском верху и смотрел отсюда на Варин бук, на Адамову мельницу. Говорят, в районе имеющих по миллиону — трое. Скорее всего брехня, политологи слухи распускают. Своих ярищенцев с тугой мошной он, Финаген, извините, потрохом чует. Обратите внимание, какой у них взгляд. Смотрит и вроде тебе одолжение делает. Хочешь проверить — копни глубже, заведи разговор о денежной реформе — ни-ни-ни, какая тебе реформа...

Опять мимо на Шевелиху проскочил на своем "Москвиче" Тиганов Трофим. Этому что тут понадобилось?

По дороге на Шевелиху Трофиму встретился Бронька Лестягин. Бронька вильнул в сторону своим мотоциклетом с коляской, перекрыл путь Трофимову "Москвичу". Лестягин подходил к Трофиму вразвалочку.

— Здорово, Петрович, — сунул Бронька ему неживую, вялую, как селедка, ладонь. — Как кукушка, все по чужим гнездам шаркаешь?

— Чего тебе? — нетерпеливо спросил Трофим.

— Поутру был хорош, а к вечеру уже не пригож? — усмехнулся Бронислав.

— Все вы с Бодраковым одним миром мазаны, — ответил Трофим уклончиво. — Ну чего тебе, говори.

— Насчет сына твоего, Егора, подкинул Бодракову вопросик, — облокотился Бронька на автомобильную дверцу. — Вместо Усынина — бригадиром. Говорят, в Житсневке живет. Ясно, что не при деле.

— У кого, в Берегининой хатс? — оживился Трофим. — Ну и что Бодраков?

— Как пень глухомятный, — вздохнул Бронька. — Ни черта не слышит.

— Ну и черт с вами, с вашим колхозом! — хлопнул дверцей Трофим.

Ехал и злился. "Еще неизвестно, по каким делам объявился Егор. Может, рассчитался там, в Кочетовке, а может, и нет. Это, наверно, как у них будет получаться со Стешкой, дочка ведь у них подрастает. Туда к себе заберет. Без Усынина бригада как дитя без догляду..."

Ничего, в случае чего — и в своей системе подыщем Егору местечко"...

В Шевелихе Трофим управился мигом — чужой район, особо не разгуляешься. Сунул в багажник трех барашков, приготовленных еще с вечера, и уже на самом выезде осадил машину перед человеком на лошади, это был скорес всего пастух.

— Трофим Петрович, — наклонился к нему, и в самом деле, оказалось, пастух. — Беда, выручай. Коровенку черти в болото занесли, едва тросом выдернули. Ноги поломала, лежит.

— Ну и что?

— Прими мясо, чего пропадать? — упрашивал, прямо-таки унижался пастух. — Примешь — сойдет, может, а то мне на шею повесят — пыхти, упирайся с полгода не за здорово живешь.

— Ладно, где это? — среагировал Трофим, хотя и зная не знал, куда будет девать эту корову, как будет у него нынче с транспортом. — Давай пошел передом.

Всадник по деревне понесся во весь опор, Трофим за ним на "Москвиче" держался впритирку.

Корова лежала на твердом, на бережке, и уже не стонала, даже ухом не повела, когда к ней зашли от головы. Мухота с оводами облепили глаза, корова была уже не в силах отогнать их движением. Отстрадовала, бедная, лежала, наверно, с утра, болотная тина пополам с грязью высохла на боках и затвердела.

— Хозяева, яти вашу мать! — стал Трофим хватать за чем-то бурьян и совать корове под голову. — Ну и что будем делать? — наконец разогнулся он.

— Председатель должен подъехать, — сказал пастух неусловно. — Послали за председателем.

— Председатель твой, небось, с утра едет, — отвернулся Трофим.

И, чтобы не глядеть на животное в плачевном его состоянии, Тиганов отошел подальше и стал поглядывать на дорогу, откуда должен был подскочить шевелихинский председатель. Стадо ходило понизу, коровы щипали луговую траву, а эта не такая, как все, черти ее понесли в бурчагу. Больно много надо было, а теперь у тебя весь режим переломан. "Ну что с ней делать, куда ее повезу, дело-то уж к вечеру, — переживал Трофим. — Хорошо, если Таисия догадается задержать алатырские машины. А если одну вместо двух пришлют? Ну как и на завтра транспорта не добьешься?.." И снова Трофим возвращался мыслью к Егору. Егор почему-то, как в зеркале, отражался в фиолетовом, мученическом глазе коровы...

Председатель появился откуда-то сзади, из перелеска. Подкатил на велосипеде. Молоденький, дробный такой, белобрысый. Ну прямо студент, как Егор, когда приезжал на каникулы из института. Трофим не мог не улыбнуться, глядя на этот велосипед марки "Десна": докатились...

— Машину в ремонт отправил, — ответил Трофиму шевелихинский председатель. — А что же, пешком, что ли, ходить?

Трофим вспомнил, что даже Бронька у них в Ярище дело не по делу гоняет на самосвале, а Бодраков, если надо, погонит в Алатырь и дирижабль, и подал руку:

— Ну, будем знакомы... Трофим Петрович.

— Иван Иванович, — ответил парнишка.

Они сидели и ждали из Шевелихи бортовую машину, а она все не приходила. Иван Иванович нервничал больше Трофима — понятно, ведь председатель. А Тиганов Трофим при-
смирел, прикинув, что час-другой дела теперь не решат, а отношения с местным головой важны, куй железо, налади-
вай, как говорится, контакты. Торговля — движитель про-
гресса, система потребкооперации творит чудеса, ну
просто-таки невозможное; чего не могут ни колхозные, ни да-
же государственные органы, сделает эта самая кооперация.
Это только Бодраков думает, что все можно двигать горлом,
луженой глоткой, своей трепатней. Ко всякому делу, а особо
к торговому, надо прикладывать голову, тогда реже, возмож-
но, будет у нас то, что называется "перебоями". То мыла, зуб-
ной пасты навалом, а то ни того, ни другого, ни третьего...

"Что бы люди делали, если бы не было дефицита? Просто
неинтересно было бы жить", — вспоминались Трофиму слова
Михаила, его младшего брата из Подмоскovie, когда всем ро-
дом собрались Тигановы на восемнадцатилетие Кузьки. "До-
прыгаемся, яти его мать, еще доиграемся", — прогоняя брата
из памяти, вещал Трофим сам себе.

— В общем так, Иван Иванович, — прошел он к свосму
"Москвичу". — Я посхал в Тигановку, транспорт надо орга-
низовать в Алатырь, а вы подвозите коровенку-то, жду...

Тоська гнала со двора двух дедов, которые к вечеру под-
везли на телеге барашков. Объясняла дедам: машина из Ала-
тыря уже была и увезла все, что поступило за день. А еще
одна машина придет или не придет, она не знает, скорее всего
не придет, а куда девать в таком разе вашу баранину? Вишь,
какая духота, а холодильной камеры нет, хоть и завезли ее,
да никак не смонтируют, а без камеры куда класть ваше мя-
со, себе на загривок?

— Дочечка! — не унимались деды, представляя, что вме-
сто денег им придется переть барашков по черноте ночи об-
ратно к себе до двора, а ведь и у них во дворе пока еще не
смонтирована холодильная камера. — Да прими ты от нас,
стариков, Христа ради. Ты такая молодая еще, видная из се-
бя, а мы век свой уже отвекovali. Да у нас и всей радости-то,
что поглядеть на тебя, такую молодую еще и уступчивую, а
не туголобую какую-нибудь, как этот ваш, ярищенский Бод-
раков.

— Ты, дед, в грех не вводи, близь не клади, — стояла на-
смерть Таисия, и у нее еще хватало сил на улыбку. — Ты вот
говоришь, старый хрен, что, стало быть, пожил свое, все зна-

ешь, — тянула она, явно выигрывая время до приезда Трофима. — А скажи-ка, как называют свиное мясо?

— Свинина, — удивился дедок.

— А коровье?

— Коровье? Ну, говядина.

— А овечье?

— Баранина.

— А от петуха?

— Ну, куриное, куриное.

— Молодец, дед, все знаешь, — засмеялась Тоська. — Стало быть, свиное мясо — свинина? А коровье — говядина, от петуха — куриное, а почему? Почему овечье мясо называют бараниной?

Деды изумились и крайне задумались оба, никогда не задумывались: да, действительно, почему? Испокон так было, от рода отродинского... И тут во двор въехал красный "Москвич", вернулся из Шевелихи Трофим.

— Батюшка, Трофим Петрович, — поклонились в пояс ему старики. — Баба твоя нас, ветеранов, обижает, в изумление повсраст... Спрашивает, почему овечье мясо называют бараниной...

— Ну и почему?! — сдвинул брови Трофим, соображая, что одна машина на Алатырь уже ушла, а вторая вряд ли теперь придет и что делать ему теперь с шевелихинской коровой, которую привезут сейчас следом.

— Баранина есть баранина, — пожали плечами деды. — Заведено так.

— Потому что — ба-ра-ны мы, не привыкли мозгой шевелить! — рассердился Трофим. — Потому что овцы — те, что по лугу ходят, понятно? А бараны — когда сами лезут черт-те куда, в болото, сами под ножик прутся, ясно?.. Тось, — окликнул Трофим супругу, — иди поставь нам с дедами что-нибудь перехватить. Небось, не обедали, нет? Вишь, Тось, этот дед Бобырю нашему двоюродный. Так, дед?

— Мы же дальние, — удивился старик. — А роднишься.

— Ха-га-ха-га, — рассмеялся Трофим. — Коли Бобырю двоюродный, то и всем нам, Тигановым, вроде сродства.

И они уже заканчивали трапезу, принимались за чай, как мимо окна прокатил самосвал. Выбсжали во двор: коровьи буддыжки торчали из железного кузова.

— Быстро же вы се освежевали, — кивнул Трофим шоферу на кузов. И приказал старикам: — А ну, деды, грузитесь и вы!

На том же шевелихинском самосвале они завернули и еще кое-куда. Торговля есть торговля, везде нужны точки. Потом Трофима осенило заскочить еще и на Житень. Болтают, мол, Егор объявился. Неужто к отцу в Тигановку в первую голову не заглянул бы?

III.

Всего третий день здесь Егор. Никому особо не разглашал, а уже всей округе известно, что он тут, в доме тетки Прасковьи, в Берегининой хате. Заскакивал на грузовой машине отец. Говорит, Бодраков на дух обоих не присмлет, не хочет брать Егора даже на место Усынина. Да что он, Егор, безработный, что ли? Прибыл на малую родину в отпуск ведь, пёрдохнуть.

Отец обижается, жил бы у него или, в крайнем случае, в корневой хате деда Петраки. А Егор в Житене, на чужой сторонушке рад своей воронушке...

Стешка тут же прилетела вместе с Полинкой — родная, желанная.

— Горе мне с вами, карими очами, — упала она ему на плечо.

— Как телята, сойдутся да лижутся, — гремела чугунками бабка Катя, она теперь, после смерти тетки Прасковьи, переселилась сюда, эта хата получше.

Егор отвел Стешку в сторонку, увидел в ней себя всего и задохнулся от изобилия влаги в глазах. Ничего не говорила Стешка про свое Оболшево, кто живет сейчас там у них, с кем формально расписана. Егор знал, что в любой момент тот может нагрянуть сюда к ним, но и тут же отсюда вылетит пробкой. Насильно, брат, мил не будешь, неужели не ясно?

Егор ходил за Стешкой, как дурак какой, по всей Берегининой хате. Стешка обладала особой какой-то притягательной силой, она была сексуальна. И она, Стешка, на кухню, и Егор за ней. Стешка над ведром наклонится, и Егор себе рядом пристроится, руки их соприкоснутся, плечо с плечом сблизится, прижмутся они теснее, и словно током ударит, от электричества вздрогнет все гибкое, жаркое Стешкино тело.

До вечера еще далеко. Надо воды нагреть, Полинку искупать, простирнуть пеленки. Полинка спит, разметалась на широком диване. А Егор со Стешкой стоят перед ней и смотрят...

— Девушки — ягодки, хороши, да отколь хоть бабы-то злые берутся? — подбуркивает под нос себе бабка Катя.

Бабка Катя взбивает перину Егору со Стешкой. Как живая, стоит Берегиня, временами Егор настолько забывается, что принимает эту бабку за тетку Прасковью. Вот она, постелив им по привычке, сама уйдет по привычке на печку — греть свои хожалыс, болезные косточки.

— С кем по грибки, — принимает бабкину шутку Егор, — с тем и по ягоды.

— Да уж так, — не хочет оставлять бабка Катя за Егором последнего слова. — Жениху, невесте сто лет, и все вместе.

Стешка вслушивается в каждое слово, понимает намеки, однако молчит. В предошущении ночи кружится голова, сладко ноет в груди, опускается это все ниже, ниже, вступает в ноги. Стешка присаживается на коник, чтобы сохранить в себе все это. Ей и боль-то терять не хочется, она к ней привыкла, любо слушать себя, любя эта хата, все любо здесь Стешке, пока здесь Егор. Губы дрожат, даже кожу на руках начинает потрясывать, она растирает руки, унимает в себе эту дрожь, готовая разрыдаться. Наконец-то! Она выстрадала этот час, эту встречу, это свое редкое счастье...

И она ухнула в перины первой, раньше него.

— Егорушка, — позвала Стешка и, ощутив его крепкое, грубое тело, отлетела куда-то в иные миры. — Горе мне с вами, карими очами, — повторяла она, плача в Егорову грудь, и горячие Стешкины слезы падали не на него — на себя, обжигали, сжигали, не давали дышать.

— Ну почему, почему? — подлегла она под него и сама все шептала. — Почему, почему?

И Егор понимал ее: почему, кто мешает, что стоит между ними?

— Ненасытная, — в темноте находил ее губы Егор.

И сердце падало длинно, куда-то в пропасть, в пустое пространство, под самые звезды, и возвращалось обратно сюда, под самое горло. И все чаще, чаще, отчаяннее, все размереннее, все тише, пока, освободившись от пут несвободы, не выдыхало с горечью...

Первый приступ прошел. Егор гладил ее мягкие, шелковистые плечи, веял между пальцами атласную, персливанную кожу.

Шевельнулись губы Егоровы. Она положила палец Егору на губы. А не надо вслух того, что Стешка понимала и так. Почему живет она с нелюбимым, да? Почему нелюбимый живет в ее доме? Почему нелюбимый считается отцом ее дочери? Почему расписалась с ним в сельсовете? Почему меж людьми какие-то стенки, стены?

Он услышал от нее:

— Я люблю тебя...

И, усталые, они лежали и вслушивались в легкое, ровное дыхание девочки, их дочери. Здесь же, под боком у них, на диванчике. И вдруг это дыхание прервалось, превратилось в короткие всхлипы, девочка зашевелилась и застонала во сне. Стешка пулей слетела с постели, проколотила пятками по полу, стояла босая на холодном полу. Егор встал и накинул на плечи ей одеялку.

И опять лежали, прислушиваясь. А за окнами Русь — Россия коченела под призрачным светом луны, под осенним холодным туманом.

И Егор подумал, что если они будут вместе, да ведь он за Стешку глотку любому перегрызет. И Стешка лежала и тоже представляла себя вместе с Егором, всей семьей, и как она готова ради девочки, частички ее, на все, даже на коленках перед кем угодно стоять, только бы черное облако не перекрыло путь. И дома будет у них полная чаша. Отец того не навозит возами, чего мать наносит горшком...

— Миля, — услышала она, Егор сказал это слово в полузабытьи.

Так на Стешку и плеснуло горячим. Но она сдержала себя, лежала одна, без движения.

* * *

Из отпуска Егор в Кочетовку уже не вернулся. Пришел в контору Подшибякинского совхоза, подал Лихопекову, директору, заявление.

— А с первой женой как же? — спросил тот Егора.

— С Милей-то? — ответил Егор. — За границей она, с другим.

— Первая жена — от бога, — попытался что-то сказать Лихопек. — Вторая — от человека, а третья — от черта.

— Я вас понял, — улыбнулся Егор. — И все равно подписывайте документы.

Радость не покидала Егора: он возвращался домой. И каждый раз так, когда возвращается. И к этому невозможно привыкнуть.

Все втроем — на руках у Стешки Полинка — они держат путь на Тигановку. Где им жить — вопрос еще не решен окончательно. То ли у отца Егора, а то ли на их тигановском корне — в доме деда Петраки.

Егор присел на придорожный камень: из-за Сторожевого кургана стыдливо выглядывало кладбище. Там покоилась теперь где-то с краю и тетка Прасковья — Берегиня, Стешкина тетка. Где-то там, почти рядом с ней, и мать Егорова, его мама — Устинья Тиганова. Земля сырая приняла их, родимая!

— Пойдем! — увлек Стешку Егор за собой.

Тишину кладбища нарушали разве что воробьи. С писком облепили они сперва один куст, затем, как будто вытряхнули их из одеяла, пали разом на другой. И висели серыми яблоками среди красных ягод рябин, хорохорились, все делили что-то и не могли разделить. Кисти на ней уже покраснели, но еще не набрали той бордовой ярости, что появится позже, золотой осенью. Земля своя мила и в горсти.

— Ну, здравствуй, тетка Прасковья, Берегиня наша, — низко поклонился Егор. — Здравствуй, мама!

С краю материнской могилки ржавел одиноко конский щавель.

На плечо Егору легли Стешкины руки. Егору стало страшно не за себя, а за Стешку с Полиной. Впереди смута, смутное время, нас ждут перемены...

— О чем ты думаешь? — напомнила Стешка ему о себе.

— О маме, — просто ответил Егор.

Над ними висело облачко. Одурев от компании, воробей спикировал Стешке на плечо, прямо на солнечное пятно. Взъерошенный, сидел, дергал хвостом. "Почему мы все боремся, все воюем? — подумалось Егору. — И раньше срока отправляем себя и других в могилу? От чего это — от неумения жить? Да когда же хоть научимся?" Егор наклонился и стал сдергивать сорную траву. А конский щавель не поддавался, тугой какой, жилистый, как укоренился. И тут в одеялке подавала голос Полинка. Егор обернулся — Полинкины глазки смотрели на него, не моргая.

— Вспомнил! — воскликнул Егор. — Я вспомнил!

— Чего ты? — испугалась Стешка.

— Вспомнил, какого цвета были глаза у мамы. Как у Полинки!

— Горе мне с вами, карими очами, — целовала Стешка голое Полинкино тельце.

После кладбища Егору стало легче, благодать душевная разлилась по телу, делала солнце ярче, а дорогу к дому короче. Уже перед самой Тигановкой Егор замедлил шаг: сначала к отцу, "для прописки", или сразу туда, в хату деда Петраки? А, ладно, если количество оставшихся шагов до липы у перво-

го дома — Тиганова Еремея — разделится без остатка на девять (почему на девять? А картина "Девятый вал" Айвазовского висела на кухне. А кинокартина такая есть — "Девять дней одного года". А из девяти квадратный корень есть три. "Девять" — странное, удивительное число), то пойдем сразу к себе, на другой край Тигановки, в корневую хату деда Петраки.

Странно, без остатка число разделилось. Вот ведь как: в третий раз готовит Егор на жительство этот дом — корневую хату своего деда.

IV.

В кладовочке, где до сих пор стоял сундук бабы Агаши, Егор поднял и повесил на столбе женский халат, оказалось, Милин халатик — своей первой жены. Да ведь не подумал, зачем, взял и повесил. Просто так, машинально. Из крестьянской бережливости, не валяться же добру. Дед Петрака, особо после войны, бывало, идет по дороге, глядит, дверца от трактора валяется — возьмет и притащит домой, на крышу сарая положит, чтобы не текло. Или трак гусеничный в придорожье лежит — ну зачем ему этот трак, а несет домой, тужится. Гайка ли на пути, болт ли в колдобине — все в карман себе, все в хозяйстве сгодится.

Так вот, не подумав, едва повесил Егор на гвоздик брошенный Милей халат, как Стешка: "А это что? А это зачем?" И в слезы, семейный скандал.

Вернулась Стешка зареванная, отплакалась в спальне перед Полинкой. Ходила после тише воды, ниже травы. Только глазом косила, как понимал Егор, от большого внутреннего напряжения. Темперамент такой, и буйна же цыганская кровь.

— И это Милино? — несет Стешка откуда-то из сарая шерстяную еще бабкину кофточку, которой бабка накрывала в решете яйца. — И это? — тащит она с потолка штаны деда Петраки, заткнута была дырка в шиферной крыше.

— Да, и это, — бросил Стешке Егор еще и свой старый пиджак.

Теперь и она начнет вить гнездо, наводить марафет. Потом и ей надоест все это, и ее потянет туда, на центральную. Потом в город захочется, хотя бы в Алатырь...

— Пожалел, что женился? — положила Стешка руку ему на плечо, повернулась вся к Егору, на носу бисеринки.

— В Москву еще не захотелось? — усмехнулся Егор.

— В Москве толсто звонят, да тонко едят, — тут же наплась Стешка. Еще и добавила: — Хорош Питер, да бока вытер.

— Наболталась как, — изумился Егор.

— А ты думал как, думал как, — обхватила она его за шею и притягивала к себе, искала губы губами. — Нам за словом в карман лезть нельзя, мы словом на жизнь зарабатываем... Давай погадаю.

И взяла Егорову руку, распрямила ладонь, повела по ней указательным пальцем. Она наклонялась все ниже, ниже к Егоровым "линиям жизни" и вдруг отпрянула, строго смотрела ему прямо в глаза.

— Кхе, кхе, — слышался чей-то мужской голос, и они увидели, как по улице сюда к ним приближался, кто бы мог подумать, "муженек" Стешкин — Петр из Оболенево.

— Всякий знает, что жена гуляет, — подходил он к крыльцу руки в карманы, развязно.

Егор стоял телеграфным столбом.

— Му-уж нашелся! — фыркнула Стешка. — Ну че тебе, че приперся?

— Домой иди! — приказал Петр.

А Егор стоял, улыбался глупой улыбкой, не знал, что хоть делают в таких случаях. "А ведь можно было предвидеть такой оборот, дурррак!!"

— Если бы любила, почаще бы взглядывала, — наконец нашелся он, кивнув на Стешку.

И протянул Петру руку, чтобы поздороваться. И рука его повисла в воздухе. Петр и глазом не повел, будто перед ним никого и не было.

— Может, чайку попьем? — искал Егор примирения. — Зашел бы, переговорили.

— Брысь ты, агроном! — распахнул тот пиджак, из-за пояса торчала рукоятка немецкого тесака времен прошедшей войны.

И, отстранив, взял под горло Егора, двинул мимо него к крыльцу.

— Собирайсь! — остановился он перед Стешкой. — Бери Полинку и марш домой!

— Иди протрезвей, — заслонила Стешка собою дверь. — Полинку ему. Зачем Полинка тебе?

— Полинка дочь мне, записана в сельсовете, — мрачнее смерти стоял пред Стешкой Петр. — И отодвинул Стешку, попытался прорваться в дом.

— А ты чего смотришь?! — крикнула Стешка Егору. —

Чего ты-то смотришь, он же у тебя дочь отнимает, твою дочь, размазня!

И тут Егора как по лицу ударили. Он кинулся на Петра, но тот левой выхватил кинжал из-за пояса, правой с силой толкнул Егора. Егор попятился, под каблук ему попался кирпич (кирпичом на днях обкладывали цветы в палисаднике), каблук подвинулся, и Егор плашмя рухнул на землю. Стешка осталась наедине с озверевшим Петром. Как в кинобоевике при замедленной съемке, ему даже в голову не приходило, что так вот и проливается кровь, случаются жертвы. И вдруг Стешка метнулась назад в сенцы, тут же и вылетела с топором. Это потом уже, переживая перипетии сражения, Егор поймет, что Стешка была не такой уж душой, тоже ждала, очевидно, "визита".

— За Полинкой пришел? — занесла Стешка топор над головой Петра.

Она была ужасна: огромные, в половину лица глаза, рот искажен, щеки пылают, она была и прекрасна. Петр отступил с порошков. Гибкая, сильная Стешка метнулась за ним, выхватила бутылку из-под развевающейся полы пиджака и, размахнувшись отчаянно, опустила ее, отпитую, прямо на темя Петру. "Дзынь!" — разлетелись склянки, и Петр, как бык, которого ахнули колуном промеж глаз, осел наземь рядом с Егором. Сидел и таращился бессмысленно в одну точку, пытаясь поймать ее, эту точку.

И Стешку стало рвать с души. Егор кинулся за водой. После нескольких глотков она отстранила руку, взяла у Егора ведро и, пробежав несколько шагов по направлению к Петру, лежащему замертво, длинно, накатисто, как это делают хозяйки, выливая помой, хлестнула водой ему по лицу. И, ухватясь она — за чупрыну, Егор — за бок, они поволокли Петра с безжизненными ногами по траве в сторону, на бугорок.

Стешка растегнула пострадавшему пуговицы на горле.

— Ну вот что, милый, солдатик доблестный, — склонялась она все ниже. — За мной, мальчик, не гонись. Больше сюда ни ногой. Вычеркни из памяти, как и не было меня, понял?

— Уф-фф-у-у! — промышчал под нос себе Петр, все еще слабо соображая.

Стешка унесла немецкий тесак и спрятала. В окно было видно, как Петр долго еще лежал на бугорочке. И тигановцы, проходя мимо, наклонялись к нему и, чуя запах спиртного, живо интересовались: где же это, голубчик, ты так нализался?

А Стешке нужна была разрядка, надо было вылить на пря-

жение в какую-либо работу. И она взялась за стирку. Перестирала все Полинкины штанишки и рубашонки. А потом сидела, молчала, даже Егору не отвечала. Не каждый день бабы хлопают мужиков бутылками по голове.

А что Егор? Сначала Егор испугался за Стешку. В какой-то момент ему показалось, что Стешка убила Петра. Какого бугая угомонила! И тут Егору пришло в голову, что, в случае чего, она ведь и с ним в силах разделаться так же. "Интересно, куда она дела немецкий тесак?" — силился вспомнить Егор.

— Стеш, может, водички принести? — подал он голос.

— Не надо.

Подождал маленько. Покрутился туда-сюда по комнате перед Стешкиными глазами.

— Стеш, а может, истопим печку? Что-то в хате прохладно, Полинку купать...

— Полинку? — тут же откликнулась Стешка. — Ну, принеси дровец, принеси.

Дипломатические отношения таким образом были восстановлены, и Егор помчался в сарай за дровами, которые были наколоты и уложены здесь еще в те времена, когда они в хате деда Петраки жили с Милей. Хотя только август, в комнате в самом деле прохладно, даже углы отсырели. Лето такое — льет и льет с небес, как по заказу. А к утру от речки натягивает туману.

Заодно Егор искал немецкий тесак — в сарае, в кладовке, на потолке. Тесак этот сверлил мозги, паразит, не давал Егору покоя. Она мигом его куда-то определила, а ты попробуй сыщи. У бабы своя логика, семьдесят две увертки, и все в завертке. Однако так: прежде надо составить круг, определить систему, главное — в характер войти человека, а потом уже понимать извив мыслей. Выходит, он ее еще не понимает, не вошел, если откровенно, в Стешкину натуру. Так вот и живут люди, пока это все у них обтолкается, оботрется, настроится на одну волну, ибо, как говорят в Тигановке, баба что мешок: что положишь, то и несет...

— Стеш, поросенок у отца пригрустнул, не ест что-то, — подал голос, растапливая печку, Егор.

— Ну и что?

— Собираются резать. Пилой пилить голову.

— На, — вынула Стешка тесак из детской кровати, из-под Полинки. — Поди отнеси отцу или лучше в речку закинь.

В русской печи пылали сосновые плахи. "Это огонь, это огонь", — смеясь, тыкала пальцем Стешка перед Полинкой в ненасытное жерло. "Это огонь, огонь", — поддакивал Стешке Егор.

Подточенное пламенем, дровяное сооружение в печке рухнуло, Стешкино лицо сделалось красным, забронзовелым.

"Цыганка", — залюбовался Егор.

* * *

Возвращаясь с Волчьего Шляха на своем "Москвиче", Тиганов Трофим увидел, как нижней дорогой, у самой речки, проскочил к Адамовой мельнице бодраковский "козел". "Чего это он туда зачастил?" — забеспокоился Трофим. Машину свою он поставил повыше, сам направился в березняк, отсюда можно было наблюдать за Адамовой мельницей. В голове творилось невероятное: то Бодраков в речку сеть немислимую забрасывает, то готовит динамит, в бучиле, говорят, сомы такие, что утянут с берега и ребенка...

Задумался Егор, глядь, а впереди — Бодраков. Сошлись носом к носу. Трофим ботинки свои стал разглядывать, Бодраков травинку под березой палочкой ворохнул, как будто гриб его кровно интересуе, сам же, как известно всем, и за червонцем-то теперь не нагнется.

Оба прошли настолько близко, бок о бок, что даже свист в носу Бодракова прислышался Трофиму. Но Бодраков, вот наглец, даже в таком положении сделал вид, что не заметил Трофима. Да и Трофим в гробу видал этого Бодракова! На хрена он ему сдался, такой хороший, что он, Трофим, деньги, что ли, у него получает?

"Что ему тут понадобилось? — всматривался Трофим сверху в Адамову мельницу. — Что Бодраков затекает?"

* * *

Чего накуковала в эту ночь Тоська Трофиму, история, как говорится, умалчивает. Однако, зная Тоську, ее живой, крепкий, не женский, прямо-таки государственный ум, можно думать, что она подсказала Трофиму практически то же самое, что осуществил царь Николай II в свое время, перед русско-японской войной, а именно: решил сбросить внутреннее напряжение на внешний раздражитель... И вот после встречи Тиганова-старшего с Бодраковым на Адамовой мельнице у Егора с отцом произошел такой разговор. "Бодраков-

то крови жаждет, — сказал сурово отец. — Не стесняется, переходит в открытую, ты меня понимаешь, сынок? Этот "хрен" оболешевский не случайно тут у нас с тесаком объявился. Вполне возможно, Финаген дернул за ниточку". — "Да ты что! — с трудом входил в смысл Егор. — А зачем ему это?" — "Бодракова встретил наемник на Адамовой мельнице. Зачастил что-то туда Финаген. А зачем, спрашивается? — интриговал сына Трофим. — А вот зачем, — наклонился он ближе к Егору. — Есть сведения, денежки там свои закопал. Миллион!" — "Миллион?!" — "Орел не берет мух! Этот голубь уже дважды миллионер".

* * *

После визита Петра Стешка запирала сени на щеколду. Вскоре и она перестала запирасть двери, но топор на всякий случай у двери за чугоном все же держала.

Вскоре Стешка пошла работать дояркой на Устиньину ферму. А Полинку согласилась брать к себе Тоська — Таисия, отцова жена. Все равно целый день торчишь на заготовительном пункте, а с девочкой даже лучше, веселее как-то. Егор рассчитался на прежнем месте, но трудовая книжка все еще лежала там у них, в Подшибякино. И сейчас он никуда не вылезал из Тигановки: выкашивал разбежавшуюся по огороду малину, вырубал самосев. Передыхая, присаживался на крылечко, тут и Стешка прибегала с фермы после обеденной дойки. Подруливала к Егору, прежде чем бежать за Полиной к Таисии, на другой край Тигановки.

— Приезжали из сепараторного пункта, из Оболешино, — сообщала она, сама собирала на стол. — Молоко проверяли на жирность.

— Ну и что?

— Молоко, говорят, разбавляют. Скоро, говорят, лягушки из речки будут тут у вас крякать в бидонах.

— Так колодезной разбавляйте, — усмехнулся Егор. — Ума не хватает, что ли?

— Доярки говорят, — с аппетитом хрупала Стешка огурец с хлебом, — им в городе, на молокозаводе, разбавлять, значит, можно, а нам, значит, нельзя?

— Так в городе технология, — был ироничен Егор. — А вы льете воду без всякого разбора, с головастиками.

— А бабы прямо сбесились. Бодраков говорит, за такие подвиги срежу с вас доплату, — перестала хрупать огурцом

Стешка и, задыхаясь от обиды, склонилась к Егору: — Бодраков, говорят, так сказал: не было этой Стешки Егоровой — с жирностью в Марусиных Ключах было в пределах нормы. И в район никакие сигналы не шли, было все хорошо.

Егор как зациклился на Бодракове, так и не мог никуда себя свернуть.

— О господи, господи,
Есть же люди толстые.

А я, девка-сирота,
Не пролажу в ворота.

— У кого это?

— У Бобырей гуляют, — не повернул головы Егор. — Племянница Бобырева, нашего, тигановского рода. Приходили за нами — зовут...

V.

Заготовительный пункт перенесли в соседнее Оболешево. Трофим оформил туда Егора, а сам остался в Тигановке, на "филиале". И Егор ездил туда теперь, на "стационар".

Каково торчать в стандартном доме напротив хаты Стешкиной матери, пилить бельма на ихние окна?

В первое время думалось, что бывший Стешкин мужик либо пальнет из ружья, либо пойдет на приступ с другим каким-нибудь тесаком. Но Петр стерег колхозных телят на "колыме" и в Оболешево не заглядывал.

На днях Петр встретился Егору на узкой дорожке. Тот забормотал под нос себе что-то похожее на ругательство и спокойненько удалился, оставив поле брани за ним, Егором.

А на пункте было все-таки хорошо. В большой комнате установили холодильную камеру, можно теперь мясо принимать без опаски. Самовключился мотор, и домик мелко трясло, как будто он был стариком-блокадником, которого после долгого воздержания накормили наконец до отвала, и его колотило скорее от отравления, чем от радости бытия: нельзя же пихать в чрево ему, жизнелюбу, такое безумное количество мяса.

Самое маленькое помещенье Егор занял под комнату отдыха: стол с табуреткой, кровать — и все. Да на стенах, правда, красовались еще и плакаты: яблоки всяких сортов, вишни, сливы различных наименований — от "ренклода" до "шпанки", брюква, свекла, картофель, капуста — полный набор огородных культур. И еще дикорастущие: шиповник, ро-

машка аптечная, корень валерьяны, пустырник и прочее, за сбор которых в системе потребкооперации полагалось особое вознаграждение, вплоть до импорта. Однако ввиду его особого спроса, высокой денежной ценности и вообще с точки зрения управления массой через дефицит весь этот товар зав. пунктом отец Егора, Трофим Пестрович Тиганов, хранил по-прежнему на "филиале" — у себя в Тигановке, в своем личном доме. При этом, как понимал Трофим, над домом его в глазах добропорядочных людей возникало сияние, некий ореол, что-то вроде нимба, ауры вокруг лика святого. А в глазах проходимцев — зависть, тяга к разрушительству, чего надо было, конечно, побаиваться.

Егор окончательно отпочковался от Подшибякино. И здесь у него появились дружки. Они любили навешиваться к нему на пункт, готовые хоть на общественном, а хоть и на своем личном транспорте отпереть его к чертям на кулички, в любую точку планеты, а уж страны или области — это факт, это точно. Кто они? А Емельян Чернобай, он же Дятел, врач-анестезиолог, который, как выяснилось, вместе с хирургом Куренцовым не так давно вытащил Егора чуть ли не с того света. Иже с ним Бесноватых Евгений — инженер-изобретатель, единственный и неповторимый в Алатыре человек, имевший право гордиться лично изобретенным способом перехода из одного состояния в другое с отдельным от семьи проживанием.

Как только к этим двоим присоединялся еще и третий — Половинкин Коля, районный радиоорганизатор, так сказать, вольный сын эфира, жена которого Флора, наоборот, отдавала себя такой прозе жизни, как работа на мясокомбинате, то получалось, что называется, "на троих", эдакая, извините, "особая тройка", фантаσμαгория, какой, пожалуй, позавидовали бы не только иные булгаковские персонажи, но даже герои тридцатых годов нашего века типа "мы железным конем все поля обойдем", а также еще гораздо ранимее типы времен Игнатия Лойолы, а возможно, и тех эпических лет, когда крестоносцы Ричарда Львиное Сердце ходили в земли обетованные и не застали там господ бога в живых.

После кратких, но насыщенных встреч Егор бежал сдавать порожнюю посуду в сельмаг, в последний раз зарекаясь посвящать себя божественному небу больше, нежели грешной земле. И вот, чтобы удовлетворить дружков полностью, Егор решил показать им места, действительно не столь отдаленные — "колыму".

Пойменный луг упирался в речку, за которой дыбился крутой каменный откос, он был весь в дубняке. В сорок втором на той стороне стояли наши, по эту сторону — немцы. Никогда бы не подумал, что все это было, что из березняка тесались когда-то кресты, под железную метелицу втыкались рядами, и ряды эти шли до самого горизонта. Сейчас в речке отражался противоположный берег, весь в пятнах белого известняка. И чуть ниже гора алела вся от рябин. Недавно здесь был молодежный трудовой лагерь: шалаш, полевая столовка — столы из березовых слежек, деревянные сходни к реке. Это и была навязшая у всех на зубах "колыма".

Дружки Егоровы тут же вспомнили, что все мы из дикарей: разделись донага и с гиканьем носились по луговине. Не обошлось, конечно, и без костра. После купанья в ледяной воде сидели и заливали огонь в самих себе кое-чем из стакана. Городская колбаса, даже самая сухая, на природе явно уступала простой деревенской картошечке да с помидорчиком, да с малосольным огурчиком в укропчике и чесночке.

— Отчего, Коля, ты — Половинкин? — потянуло Бесноватых Евгения на разговор, без чего он был бы не он, коренной горожанин, контрабас в своем домовом оркестре, а не какая-нибудь свистуля.

— Ну, фамилия такая, — ответил нехотя Коля.

— Фамилии зря не даются, — сказал Бесноватых авторитетно. — Фамилии нам недавно даны, опосля крепостничества. А Половинкин ты потому, что, брат, все половиניшь. Половина себе — половина родному государству, половина себе — половина всем остальным.

— Оно и ты топора на свою ногу не бросишь, — как умел, отбивался Коля от такого дружка. — Не я — жена моя. Не мои — ее деньги в швейцарском банке, у меня ничего нет, кроме эфира, моего самого высокого положения...

— О санта симплицитас — святая простота! — ударил Бесноватых себя по коленке. — Он еще и жену перед нами порочит. — И, откинув пышную мучнистую швелюру, заржал неожиданно, будто фольгу рвал пальцами, жеребца. — Флоры без фауны не бывает, вы меня понимаете? Жестче бы надо, жестче, — завершил Евгений глубокомысленную фразу, которой всегда первым все начинал и все первым заканчивал.

— Ребята, ребята! — попытался внести светлые тона в разговор Чернобай, анестезиолог из алатырской реанимации. — Зачем жену закладывать, зачем женой прикрываться? Я про другое. Все долблю и долблю, как дятел: например, сколько

можно нам сельское хозяйство реанимировать? Это же единственная отрасль, где доход не планируется. Одни расходы из кармана налогоплательщика...

— Дятел! Не стучи пылесосом, — остановил врача Половинкин. — Кондуктор, нажми на тормоза-а... А то Женя, видишь, сидит, идиот? Напишет про тебя репортаж. Ему написать кляузу куда-нибудь в небо — как два пальца обласкать.

— Кому я напишу?! — уставился в Половинкина Бесноватых. — Кому напишу?!

— Ну хотя бы на радио, — зареготал довольный сын эфира Николай Половинкин. — А я зачитаю.

— И что я напишу про тебя? — не снимал тяжелого взгляда с него Бесноватых. — Кому ты нужен? Половинку правды — в эфир, половинку — в кефир...

— Ребята, ребята! — встал между ними Тиганов Егор. Все может быть, искровянят еще и рожи себе, а не лезь к ним, дурак, после сами помиряются, а тебе по шее наkostenяют. — Ребята, вижу, вы в начале пути. Классная из вас получится мафия.

И все оторопели, тупые. Не знали, как на это им реагировать.

— По коням! — первым встал Чернобай, этот Дятел, незаменимый специалист из алатырской реанимации. — Предлагаю к себе в Алатырь, пока нет жены, уехала в Орел к своей матери.

Руки вскинулись дружно: кайф! Лови кайф, пока ловится, гуляй, пока гуляется, пока молодой, лей и псей, пока в горле не заржавело.

Дорога заставила всех подтянуться. Справа и слева уже черт-те сколько низеньких полосатых столбиков, металлические веночки с портретами, так-то. Лучше бы уж не клали асфальт, по колчам да по вымоинам ездили, где не больно разгонишься, а то теперь как в Америке — и скорость, и эти венки.

Заехали поначалу в Тигановку. Ходили по Трофимову двору еще с кроличьими глазами, но уже осознанно, ровно, без словесных излишеств, без излишних словес. Отец Егора — Трофим Тиганов отозвал в сторонку анестезиолога, и, пошущукавшись, все вошли в тигановский дом.

"Видал? — раскатил Трофим по полу гигантский ковер. — Голландский. За продукцию крестьянину надо продать три коровы. А у кого их столько?" — "Красавец", — пропускал через пальцы анестезиолог короткую стрижку ковра. — "Бери", — скатывал его обратно Трофим.

— Заедем за женой твоей? — предложил Бесноватых Егору.

Стешку уговаривать не пришлось. Она оттащила Полинку Таисии, быстренько надела новое платье.

— А как же с дойкой? — спросила Стешка чуть погодя.

— К вечерней дойке доставлю, — заявил Чернобай.

— Мели, Емеля, — раскатил свой жеребчинный басок Бесноватых.

Впервые Стешка ехала в город не на автобусе. Врачи, журналисты и инженеры — мужчины, солидный народ. В ином случае к ним в Алатыре и не подступись, а сейчас словно дети шkodливые. Чернобай посадил Стешку возле себя и все наклонялся к ней. Шепнет какой-нибудь пустячок и, одолевая шум двигателя, ну хохотать, еще и обернется назад, а это, мол, не ваше дело, о чем мы хохочем. На длинном подъеме перед самым Алатырем мотор поднатужился, едва втаскивая в город всю эту компанию.

— Кто-то грешен, — заметил Бесноватых, поддев Чернобая за характерную работу двигателя его "Жигулсй", без глушителя.

— Либо мот, либо вор, либо пьяница, — в тон ему, но громче сказала Стешка. — Все за рюмкой сидит, не расстанется.

— Фольклор, мадам? — ироничен был Бесноватых. — Или собственного изготовления, так сказать, эссе домашней выработки, как самогон?

Стешка живо подобрала губы.

В квартире Чернобая действительно никого не было. Это хорошо, это прекрасно, когда жены уезжают хотя бы в полгода раз к родителям. Хозяин усадил Стешку на почетное место и стал оказывать ей особые знаки внимания: первой поставил перед ней фужер, первой накладывал из стеклянной банки салат. Стешка оглядывалась с интересом, не скрывала, что она впервые в городской квартире, да еще у врача: венгерская мебель, богемский хрусталь, на пианино бронзовый подсвечник и картины, картины на стенах — художественная работа.

— Эти картины все ваши, да? — робко поинтересовалась она.

— Н-да, в некотором роде. Это живопись, — замылся хозяин квартиры, не зная, как вести ему себя не столько перед Стешкой и ее супругом, сколько перед Половинкиным, у которого, как известно, жена работала на мясокомбинате, и потому, если бы все это было у Половинкина, на стенках висели бы не какие-нибудь дешевые подношения благодарных алатырцев, ловко лишенных им вкупе с Куренцовым аппендици-

та или прямой кишки, но если бы колбаса — то "салями", если бы масло — то "вологодское", а если бы кофе, скажем, то непременно бразильский, а не этот вшивый салатик, с которым хозяин носится как черт с писаной торбой и не знает, в конце концов, кому его сунуть.

— Эти картины, милочка, не его, — Бесноватых был предельно вежлив, придавая животу такое высокое положение, как будто он не так давно проглотил такой же вот классный божемский фужер, а то, может, и вазу со всей ее великой Богемией.

— Как... не его?

— Это картина, милочка, Айвазовского, — и хрустальная ваза у него проскочила окончательно в пищевод, от удовольствия Бесноватых даже заржал. — "Девятый вал", морская стихия.

— И не мои, и не Айвазовского, — не растерялся анестезиолог. — Это картины соседкины. Соседи уехали за рубеж. Квартира пустая, ценные вещи просили поберечь у меня...

— Видали, каков Половинкин? — тряхнул кудлатой головой Бесноватых. — А ты, Дятел, сиди. Долбишь свое и долби, стучишь на всех и стучи, успокойся, неврастник.

— Предлагаю тост за... за... за... Айвазовского, — нашел Чернобай подходящую личность, способную всех нейтрализовать.

И он отвлел в сторонку Егора со Стешкой, долго шептал что-то на ухо, нес всякую чушь. И получалась оглядчивая такая, но весьма пикантная, интересная такая беседа, из которой Егор усек, что, пока соседка в дальнем рейсе, можно, понимаешь ли, занять ее, вишь ли, квартиру и пожить определенное время и без всяких определенных обязательств в городе, вот и все. Как ты думаешь, Стеша? Слова Чернобая высекли, конечно, определенную искру в негрубом, женски податливом сердце Егора.

Однако во дворе он услышал от Стешки совершенно трезвое:

— Жеребцы! Хамье! Оглоеды алатырские! Лапать бабу на виду ее мужика. Больше к таким меня не та~~с~~кай!

* * *

Бодраков был обеспокоен: Тиганов Трофим укреплялся прямо-таки на глазах. Ишь, распустил щупальца, что делает, подлец, через свою систему заготовок, через товары, через дефицит. По Яришу только теперь и слышишь: "Трофим" да

"Трофим". Даже Бронька и тот стал крутить-финтить, тоже себе на уме. И опять Бодракова потянуло на Адамову мельницу, это обычно снимало камень с души.

И тут, на Житеневском верху, они с Тигановым Трофимом и встретились. Трофим сразу стал шарить глазами понизу, явился сюда вроде бы по грибки. А Бодракову чего, как танк, прошел мимо. И, чувствуя на спине тяжкий тигановский взгляд, Финаген спустился к речке. Красный "Москвич" скрылся за Житеневским верхом, и Финаген вторгся в крапивную зарось. Крапива-то была выше его головы, гвардейского росту, во какая! Когда толкал плечом ее жидкие, дровянистые стволы, они подламывались в изгибе и чадило зеленоватым дымком, дымок лез в глаза, ноздри, хотелось чихать. Однако в этом сумеречном царствии, среди болотной гнили Финаген боялся не только чихнуть, но и даже дыхнуть — мало ли кто поблизости.

А это что?! Бодракову стало не по себе. Что-то тут было не то и не так. Истоптано, примята крапива. Бодраков ринулся по следу, летел, невзирая на крапивные стволы — жгучие, ломающиеся у него на бровях. И выскочил к известному месту: все здесь было изрыто вдоль и поперек. Бодраков поднял ошметок грязи: вроде из-под каблука, а вроде и от кабана. "А сейфик где?" — похолодел Бодраков. Нехорошим взглядом повел он к Житеневскому верху, за который только что персвалил торопыга, этот "Москвич".

* * *

Домой Егор заявился поздно: ни Стешки, ни Полинки. Побежал к отцу, притащил Полинку домой. Уложил спать, присел к столу, подпер щеку рукой. "Где же, Полинка, мамаша твоя?" После вечерней дойки Стешка домой не летит, ужин готовить не надо, ни мыть, ни стирать — все Тоськой за нее уже сделано. Прав отец: завести бы, что ли, какое хозяйство...

Где же Стешка-то? Может, ушла в Оболешево, к своей матери? А там этот Петр. Нет, Петр сейчас на "колыме"... А может, она в Алатырь уехала? Городок затейный — что ни шаг, то съестной, то питейный... Мимо окон проскакал на расседланном мерине пастух Марусино-Ключевской фермы Кобчик. Егор едва успел выскочить на крыльцо:

— Далеко?

— А-а, — махнул Кобчик кнутом наперед себя, весь вывернувшись в седле, как змей, успел крикнуть Егору:

— Ферма гуляет, пре-е-ми-и-я-я!..

Каждый в Тигановке знал, куда в таких случаях бегут мужики. В Подполовецкое. В любое время суток можно сыскать чего надо. На днях Егор видел в тамошнем магазине коньяк, который ввиду его высокозвездной выдержки не пользовался у трудового народа особой популярностью. Кроме, конечно, таких, как Кобчик, у которого в связи с отсутствием состава семьи и другими сопутствующими этому факторами скопилась чрезмерная злость именно на коньяк и именно на грузинский, с пятью остроконечными звездочками, число которых непременно удваивалось в конце каждого месяца, а не только в августе, как заявляет наука, когда они начинают сыпаться с неба.

Отвлечшись на такую процедуру, Егор, однако, снова сосредоточился на домашней мысли. Стешка его прямо-таки пугала. В голове закручивалась и принималась вертеться вокруг Полярной звезды, как вокруг оси, бог знает какая бессмыслица. "Третьего мужа донашивает, — судачили об одной бабе в Ярище. — Два мужа наружу, а третий в сундуке".

Бодраков, язви его в душу, с людьми заигрывает. Премию выделил ферме. А за что, спрашивается? Молока надаивают в кофейный сервис, а зарплату домой носят в мешках из-под удобрений. И как хоть выкручивается Бодраков, как сводит концы с концами, за что начисляет? "Да на кой мне ваши премии, спайвание коллектива; важно, чтобы жена была вовремя дома".

И теперь Егор если и думал о Бодракове, то только как о подпольном "миллионере", хранителе клада где-то на Адамовой мельнице. "Представится случай — выведу на чистую воду, пусть все знают, кто есть кто..."

Егор подошел к кровати: Полинка во сне причмокивала губами. Укрыл ей голые ножки, подоткнул одеяльце. И, не находя себе места, вышел во двор, на звезды.

Небо было провальное, черное, не звезды — гири висели над темечком, бух — и нет вас, одно мокрое место. "Интересно, как это бабы премии обмывают? Клянутся-божатся больше не пить, берут повышенные обязательства, чтобы лягушки в баках больше не квакали?"

Собрался Егор идти на ферму, чтобы разогнать там всю ихнюю "шоблу", и уже сделал несколько шагов в этом направлении, как вот она, Стешка, вывернулась из темноты вечера, сияющая и плосколицая.

Егор прислушался: по большаку вроде удалялась машина,

кажется, "Жигули". С характерной работой двигателя, без глушителя. Или это так ему показалось?

— А позже ты не могла? — глянул Егор исподлобья, но не на Стешку, а в хвост Полярной звезде.

— Могла, — просто ответила Стешка, — да жарко было.

— А я тебе что, холодильник?! — развернулся спиной к ней Егор.

— Корова из моей группы телилась, — встала прямо перед ним Стешка. — Надо же, когда вздумала.

— А Кобчик?

— Что Кобчик?

— Проскакал на розовом коне.

— Да черт с ним, с этим Кобчиком! — засмеялась Стешка и, притянув к себе Егора, впиалась своими опасными солеными губами в сухие Егоровы губы.

Когда Егор наконец оторвался от Стешки, ему показалось, что губы ее пахнут еще и коньяком. Как же, нам такой только и надобно: "Кавказские горы" из сельмага в Подполовцеком. А может, это он зря, это ему показалось, просто это Кобчик проскакал обратно чуть ранее мимо — с открытой, недопитой бутылкой?

VI.

Куда ни сунься — везде Бодраков. Но на то и волк, чтобы пес не дремал. Не первый год Трофим живет на земле, что же он, в карман себе, что ли, кладет все это, в конце концов кормит город, рабочий класс. И кто за ним — бабка Мотя, приусадебные участки, частный поросенок да коровенка. А за Бодраковым — институты, экономисты, тракторные заводы, сколько штата, времени людского, средств общественных, — и все Бодракову на то, чтобы тот усидел.

А вот у Тоськи от сидения произошло смещение позвонков, и врачи рекомендовали ей диету. И теперь Тоська ходила на ферму, учитывала молоко. А остальное время посвятила себя выполнению рекомендации: молотила все подряд, что под руку попадалось, да еще и работала кое-когда за Трофима. За него продукцию принимала, за него и деньги выдавала, считала, вела бухгалтерию.

— Чем хоть будешь расплачиваться со мной? — смеялась бодливая Тоська.

— Красота приглядится, Тось, а щи, нет, не прихлебаются, — бодрился Трофим. — Скоро ты у меня будешь как Ко-

ротея, экономистка, в дверь не станешь влезать... Ничего, за сурьезность назначу начальником штаба...

А оно так и было. Трофим уже подумывал, как бы Егора, сына своего, двинуть куда повыше — заместителем директора заготконторы, давненько ищут, никак не подыщут хорошего человека на хорошее место. Самому же осесть в Оболеншево, на "стационаре". Ну а "филиал" в Тигановке целиком и полностью передать в руки Тоське, оформив ее, как и положено, на место Егора.

При обеспеченном тыле Трофим больше отдавался внешним сношениям, чаще бывал в Алатыре. Тоська ему и утвердила дальний прицел: быть при начальстве, крутиться по складам, по базам, знать, когда и что поступает в район, во всю систему потребкооперации.

"Не жилами добрые люди планы вытягивают, — говорила она. — А сам знаешь чем: товарами. Это Бодраков все орет, уж хрипеть начал, скоро повалится, так на земли и растянется, и никто спасибо не скажет". — "Молодец", — поддакивал Тоське Трофим. И, вручив ей дополнительные квитанции, деньги, отбывал на Алатырь, в сторону перспектив...

С утра на железнодорожной станции помогал разгружать вагоны. Конечно, не в его годы крутиться-вертеться — это уже тяжело. Зато полная ясность, что поступило, что на базе сегодня имеется. И ты где тут не чужой, свой человек, состоишь в ихней партии. А поступила нынче и разгружали с ходу импортную мебель: два румынских гарнитура "Дана", два гэдэровских без названия и жилая комната в одном экземпляре "Югославия".

Трофим прикинул своим умишком: председатель райисполкома молодой, новый, недавно назначенный, в райсельхозуправлении тоже все какая-то реорганизация, расширение кадров, стало быть, гарнитуры — тютю, шансов нет, тоже туда уплывут, по распоряжению. А вот на жилую комнату можно рассчитывать. И когда заносили ее, эту самую "Югославию", Трофим тюк шифоньер об угол чуток, для уверенности. Оставил отметину, как бы расписался. Никому — только ему одному и понадобится.

Мужики сидели в багажном отделении и ждали, когда еще вагон подадут — с трикотажем. Была суббота, завтра, следовательно, выходной — заработанный, кровный, тогда можно и пересдохнуть. В комнатухе собрался, надо сказать, цвет Алатыря: сам начальник станции, его дежурный помощник, два директора — мясокомбината и леспромхоза, даже

следователь один, даже автоинспектор, заместитель председателя райисполкома, ну и шушера всякая; мелкая сошка: из ДОСААФа, массовик-затейник районного Дома культуры, из сберкассы, слесарь горгаза. Компания, как понял Трофим, привычная, пригретая, постоянный костяк. Кроме, конечно, залетных, прикомандированных для разгрузки вагонов.

Как можно было догадаться (при живых-то женах), это был алатырский "клуб холостяков". Но вот во что никто не мог бы поверить, так это в то, что при обилии и вольной продаже спиртного во всех магазинах города они тут гоняли чай, настоянные на дикой смеси из зверобоя, липового цвета, душицы, перцовки и еще бог знает чего, что только сумели выродить для них местные флора и фауна, а также областная промышленность. Они гоняли чай и были чрезвычайно довольны жизнью, ожидая от нее еще большего результата. Свой оптимизм они черпали еще и из электросамовара, принесенного сюда самим начальником станции Луниным. Чашки же дулевского фарфора сбегал и притащил из той же общественной точки — из вокзального буфета помощник Лунина. А Тиганов Трофим, предусмотрев все это, иначе какой же он был бы заготовитель, извлек из своего сумаря трехлитровую банку меду, тоже, естественно, не японского. Именно на такой платформе, как местный патриотизм, при всеобщем угаре от импорта и родился этот внеполитический клуб, не занесенный в интересах государственной безопасности в анналы истории. И душой всей этой компании был балагур и всеобщий любимец Ляпунов Гриша, в народе именуемый, если полностью, "Держиязыкказубами", короче — "Держи-держи", следовательно районной прокуратуры.

Представляешь знаменитую англичанку Агату Кристи, а воображение свихивается непременно на Ляпунова, на наш российский, доморощенный вариант. Ибо по всему природному складу и пылкой профессиональной въедливости, связанной с национальными особенностями, во всем Алатыре не было другого такого человека, который бы столь глубоко и часто задумывался над тем, легко ли в несправочном государстве служить следователем, тем более быть писателем хотя бы типа Юлиана Семенова.

Для начала Ляпунов с высоты птичьего полета оглядел высокое собрание, нет ли кого-либо из затесавшихся. Известные поручились за неизвестных, впервые присутствующих. Затем одному-единственному из впервые присутствующих начальнику нефтсбазы, за которого поручился директор мя-

сокомбината Шуллер, Держи-держи задал мимолетно сакраментальный вопрос, это для удостоверения личности, а также степени подготовки:

— Как вы думаете, зачем рука руку моет?

— Чтобы обе чистые были, — последовал мгновенный ответ.

— Допустим, — заключил Держи-держи, он же следовательно прокуратуры, и предложил уже мягче: — Садись, брат, кунаками будем, вместе будем сидеть.

Самовар поспел. Отмякли души, развязались языки. И это — при следователе. Если бы не транзитные поезда, грохоча пролетающие, да еще не клиенты, как мухи настырные, без конца названивали по телефону, черти раздирали их спрашивать про свои собственные грузы именно в тот момент, то ничего, конечно, жить можно было бы, жизнь вообще вышший класс, санаторий при ЦК какой-нибудь южной республики. После первой чашки все сидели и ждали удара юмора. В двух словах Держи-держи очертил обстановку, изложил историю, на днях лично его потрясшую.

— Банальная, впрочем, вещь, — цедил он из себя, словно чай из алюминиевой чашки. — Муж с женой живут в коммуналке...

— Ляпи! — поддержали товарищи.

— Десятый год живут, — ожил Ляпунов, — а все ссорятся, даже дерутся, никак не притрутся. Присажаст брат жены из деревни, слышит всю эту мелодию. Сидит вот так, пьет чаишко, как мы, пыхтит, ищет чего-то, что враз бы поставило точки над "и". "Ты вот с одной живешь, — вздыхает он наконец перед мужем своей сестры, — и то никак не уживешься. — И приводит в подкрепление, по его разумению, неотразимый довод: — А как же я? У меня их трос. И со всеми тихо, все довольны, никто нигде не возникает".

Кто тихо смеется, в рукав. Кто задумывается, особо руководители: как это — одним хлебцем накормить тридцать тысяч, это может только Христос. Тот, кто уже отсмеялся, встал и начал ходить по комнате, на глазах у Трофима разгибаясь из вопросительного в восклицательный знак, вот что смех, елки зеленые, делает с человеком. И тут человек этот, слесарь горгаза, жвых-жвык-жвык ладонью о ладонь, даже искры между пальцев просыпались, и, пошлепав энергично вытянутыми прямо перед собой ладонями, как бы аплодируя сам себе, делает всей честной компании такое заявление: — А пусть новенький, южная нефтебаза, внесет свой вступительный взнос. Что-нибудь этакое расскажет.

— Естесственно, пусть, — поддержал коллектив.

И повернулись все, ждали: кто — посзда, кто — начальника нефтебазы, когда же тот свою нефтебазу закроет и перенесет куда подальше, за город — с вонючей ее экологией.

— Овес нынче дорог, бензин в дефиците, — вздохнул этот Слащев, сам глазенки спрятал, однако, поглубже, в подвальных чики. — Это что! Один горячий мужик на трех баб. У нас вот один холодильник на двести горячих человек...

— Как это? — встрепнулись все, ожила аудитория.

— А так это... Вы все в городе, а мы на отшибе. Ваши женщины в рабочее время по магазинам шатаются из спортивного интереса, а нашим куда? Мы в пяти километрах. Ни холодильника, ни цветного телевизора, ни даже утюга электрического — ничего не достается... Привезли на днях холодильник на работу — что делать? Стали решать: эти говорят — разыграть надо, другие — отдать передовикам. Начали обсуждать личные качества... Что же мне, если я, работяга, к примеру, вчера выпил маленько, и утюга, значит, не продавать? Чтобы я вдобавок еще и в брюках неглаженных после пьянки на работу явился? Вот на нефтебазе думали-думали и надумали написать куда следует: "Общества дефицита, быть не должно такого". И приписку сделали как бы от имени крика души: "Яти его мать!..."

— Молодец! Откровенный человек, — поддержал Держидержи Слащева. — Я тебя за это не буду уголовно преследовать, да. За такие приписки. Вот для чего, оказывается, нужна была секретарша.

— Да он уже старый, — возразил задумчивый Тиганов Трофим.

— Кто?

— Бодраков.

— Любви все возрасты покорны, — подмигнул всем остальным Ляпунов. — Ничего себе старый, а секретаршу содержит этот, как его, кто?

— Бодраков.

— Ну, Бодраков! — потряс Гриша Ляпунов, следовательно, кулаками. — Попадись только, запру в одной камере с женщинами.

Все так и грохнули, стекла аж задрожали то ли от смеха, то ли от проходящего мимо "литера". Эх, да при чем тут Бодраков, председатель этот ярищенский. Не врубился Тиганов Трофим, Бодраков у него на уме — мелкая сошка, а не "литер" — главный калибр... Откровенно если, второй день уже

совещаются пять соседних районов, подтянули все свои кадры. Расставили вдоль полотна через каждые сто метров, провозжают "первый литер", кого надо, на крымские пляжи. Визуально работники видят друг друга, чтобы не дай бог что-либо, как прошлой осенью, скажем, случилось тут же с товарняком. И дела эти поважнее — государственный масштаб, а мы говорим "дефици-и-и..."

Один самовар оглушили, кипятили второй. Только стал Ляпунов вытаскивать штепсель из розетки, как электролампа на потолке в 500 ватт дрогнула, поморгала-поморгала и сгинула. Сделалось темно, только и света, что через окно от столбов на пассажирской платформе.

— Коротнуло, — вздохнул кто-то во тьме.

Начальник станции Лунин привычно извлек из шкафчика свечку, чиркнул спичкой. Вскоре свеча горела на столе.

— У нас по три раза в сутки вырубают, — пожаловался начальник нефтебазы Слащев, сегодня принятый в коллектив.

— Энергии не хватает, — пояснил ему Чурочкин, бывалый директор мясокомбината. — Скоро введут в Курске третий блок атомной — вырубят насовсем.

— Вот атомной этой, — перебил его Чурочкин, директор мехлесхоза, — нам как раз и не хватает. Для наших пещер.

— Атомная энергетика — это хорошо, это третье тысячелетие, двадцать первый век, — возразил Чурочкин Чурочкину, а также Лукин — Лунину, заместителю хозяина кабинета, начальника железнодорожной станции. — Нашему брату Ивану только такую энергетику и надо. На тепловую прут и прут эшелоны с углем, никак не навоятся. А на атомной, хоть десяток блоков вводи, топливо на спине, в рюкзаке принести можно... Сиди себе, Ваня, на печи и поплеывай, электричеством атомным бока себе нагревай...

Тиганов Трофим вышел, прикрыл дверь осторожненько. Теплая компания, "клуб холостяков": начинают с холодненького, доберутся и до горяченького. Пройдутся не только по Алатырю, но и по всей области, каждому косточки перемоют. Сюда бы еще кое-кого из "клуба пенсионеров", ушедших на заслуженный отдых с высоких постов. Да кого-нибудь из инкогнито. У тех компетенции хоть отбавляй, к тайнам были подпущены — к грифу "совершенно секретно"...

И Тиганову Трофиму захотелось домой. Однако прежде он поехал на базу, куда увезли гарнитуры. Начальство сейчас должно быть на месте. Это, если хотите, его звездный час, ради чего мы и работаем, в самом деле, ей-богу.

Трофим как в воду глядел: начальство оказалось при исполнении. Трофим разыскал на складе жилую комнату "Югославия". Румынские гарнитуры уже заткнули куда-то в угол, а гдээрзовские — увезли. Уже после всего этого Трофим подошел к председателю:

— Артем Трофимыч, нельзя ли для меня вон ту — жилую комнату, только что поступила... Глядите, какая — с дефектом, угол в шифоньере отбит при транспортировке.

— Как у нас с планом? — бросило начальство через плечо директору заготконторы.

— Нормально. Петрович у нас в персдовиках, — Трофим не раз выручал и его, своего непосредственного.

— Не себе, а людям ведь, — заметил Тиганов Трофим.

— Отпиши-ка "Югославию" на Оболеншево, — распорядился председатель и, пожав левой руку Трофиму, поспешно исчез в недрах автомобиля.

"Так-так-так", — выходил с базы довольный собою Тиганов Трофим. Он держал свою левую бережно, наотлст. Хоть пару недель не мой ее после — для консервации, удержания впечатления. Так вот, помнится, наблюдал такую же картину в селе Домаха, куда его занесло, когда он еще шоферил. Стоит в коридоре правления стол с графином, рядом стул, над ним начертано по кумачу: "Здесь сидел Никита Сергеевич Хрущев".

Трофим Тиганов торопился в Ярище, и у него был свой один такой планчик, на острие которого был опять-таки Бодраков. А схал Трофим на квартиру к главному агроному, присланному недавно в "Светлую жизнь". Хотелось преподнести ему этот сюрприз, и не через двадцать лет, а сегодня, надо же иметь в стане врага своего человека. Тем более что агроном лег Трофиму Тиганову на душу, оказался лихим баянистом. Сам Трофим, как известно, не двинулся с молодости в этом смысле дальше гармонии.

Виталия Витальевича в Ярище не было, на свадьбе, наверное, где же еще? Или опять укатил в Алатырь руководить своей художественной самодеятельностью, как и тогда, когда еще учился заочно в сельхозинституте? Нет — значит, нет, Тиганов Трофим не стал его дожидаться.

А назавтра к девяти, когда открываются двери всех учреждений, он уже заходил в кабинет секретаря своего сельсовета. За ночь в голове Трофима оформилась окончательная фантазия.

— Нина Дмитриевна, позвоните, пожалуйста, к Бодрако-

ву в бухгалтерию, — попросил он. — Пусть попросят главного агронома.

— Виталия Витальевича нет в правлении, — ответила Коротеева, экономистка. — А что передать?

— Тут его спрашивает Тиганов Трофим Петрович, — говорила в трубку Нина Дмитриевна, секретарь сельсовета. — По какому поводу? Спрашивают, зачем? — отвернулась она от мембраны к Трофиму.

— Мебель к нам поступила, — сказал ей шепотом Тиганов Трофим. — Мол, жилая комната "Югославия". На имя Виталия Витальевича.

— Жилая комната, мол, поступила... да, да, к Тиганову, по линии заготконторы, — волнуясь, кричала в трубку Нина Дмитриевна Коротеевой. — Да-да, на имя главного агронома.

— Повторите: импорт, мол, жилая комната "Югославия", — добивал Тиганов Трофим на том конце провода Коротееву, а значит, в конце концов и Бодракова. Вот идиотство, связь называется, через дорогу не слышно, а еще собираемся границу защищать от заграницы.

— Жилая комната, да-да! — кричала Нина Дмитриевна что было силы. — Да, "Югославия", мол, называется!

— Спасибо, — улыбнулся Трофим Нине Дмитриевне и вывалил перед ней на стол с десяток больших красных яблок "апорт", специально для женщин — лазал дома на яблоню перед тем, как ехать сюда, в Ярище.

— Когда вывеску менять будем? — сказал он просто так, не ожидая ответа.

— Сменим, — союзническим тоном ответила ему добродетельная Нина Дмитриевна, прикрывая "апорт" аккуратно газеткой.

Трофим вышел из помещения и обернулся: "Исполком Обошешевского сельсовета". В Ярище, а Обошешевский. Уже три года как переведен, а все еще "Обошешевский". "Будем заодно менять вывеску и в колхозе", — хмыкнул довольный таким разворотом событий Трофим. Нам что, это областным плохо: по сельсоветским делам до сих пор в Обошешеве прутся. Зато председатель сельсовета, чуть что не так, — Бодракову: а мы тут у вас на квартире, не ваши мы, обошешевские...

Трофим глянул за пруд, через овраг, там сейчас, естественно, происходило вот что. "Динамка" эта, Коротеева, всех, конечно, на ноги подняла. Главный агроном не успел порабо-

тать — и нате вам, — гарнитур. А тут сидим-сидим, вкалываем, как негры в копиях ЮАР, а на нас ноль внимания... Вот Бодраков пусть гарнитуры тебе и выделяет, коли ты у него заслужила... Молод Виталий Витальевич? Да. А что же, гарнитур под старость давать, когда человек наживет грыжу или станет, как Бодраков, председателем?.. И Бодраков, как узнает про "Югославию", тоже взбесится. И пусть! Ему, значит, можно дважды в год за границу — в Югославию, Испанию — по казенной путевке, он доверенное лицо, он руководитель. А специалисту, значит, нельзя и жилую комнату за собственные денежки. Зашел на днях в Ярищенский магазин — на полках мухота, а под стеклом расчески всех цветов и фасонов, больше, чем в ГУМе. "Товароведы учили, что надо всех под одну гребенку, каждому по расческе, чтобы каждого причесать, чтобы, понимаешь, не торчали вихры, как усы у Буденного".

Рассудив таким образом и подкрепив свой профессионализм, Тиганов Трофим намеренно проехал на личном своем "Москвиче" мимо окон правления. И прямым ходом — на Волчий Шлях. Трофим знал, где искать Виталия Витальевича: там сегодня приступали к копке картофеля.

Однако на выезде из Ярища мотор заглох. Трофим приподнял капот, стал искать причины. Оказалось, храповичок вывернулся и потерялся в пыли, вот беда. Пустячок деталька-то, маленькая такая штуковина, а попробуй достань. Вот тебе и профессионализм, вот тебе за гордыню сей же час и расплата! И побрел Трофим обратно, зорко вглядываясь в толстую, разъезженную подушку дорожную. Это же все равно, что искать иголку в сене, разве найдешь? Трофим прошел туда и назад — бесполезно. Имей он магнит под рукой, еще можно было бы на что-то надеяться. Эту пыль хоть носом паши, хоть мети языком — мертвое дело. Вот уже на дойку прошли стороной доярочки, вот уже и с дойки вернулись. А Трофимов "Москвич" все ни с места. Мотор без храповичка — так, бензиновая неодушевленность, а без мотера какая машина — так, куча железа, металлолом.

Запустить двигатель стартером тоже не удалось. Пожужжит-пожужжит стартер, как овод, и опять замрет, глухо. Только аккумулятор зря посадил, даже панель приборная не светилась. Плюнул Трофим на всю эту трихамудию и стал ждать, когда кто-либо мимо проедет, попросить, чтобы отбуксировали в Тигановку.

Трофим вытащил из "бардачка" кожаную сумочку, с ко-

торой бывал всюду, нигде с ней не расставался. И хлопнул дверцей, закрыл "Москвич" на замок. И зашагал по дороге в Ярище, в мехмастерскую, может, там застанет какой-нибудь трактор или машиненку. Уже у крайнего дома, под тополями, Тиганов остановился, что-то толкнуло его: может, еще разочек попробовать? Отчего не попробовать. Ну, еще разок, может быть, повезет.

Трофим положил сумочку на капот и снова взялся за ручку. И опять за стартер. Качал-раскачивал телом весь кузов, готов был сорваться, улететь вместе со стартером бог знает куда — в овраг или на небеса. Ну, храповик этот, чертова штучка! Госцена — двадцать четыре копейки, а в Орле на "черном рынке" не найдешь и за двадцать четыре рубля. Трофим готов был хоть сейчас выложить эти деньги, только бы ожил мотор, сдвинулся с места "Москвич". Эх, Москва-Москва, москвичи, столица Родины! Мы-то ладно, мы — глухая провинция, нам, видать, на роду так написано, ты-то как едешь...

Хотел Трофим Тиганов в машине передрежать, но раздумал. Присел рядом на бугорок. Может, с поля все же будет кто-либо возвращаться. А, как вы думаете? Степь-то широкая, да стежки в ней узки. Вот когда пришло наконец побыть самому, разобраться в собственной жизни, а то все в чужих ковыряемся. Дед Петрака, бывало, учил: не будь завидуш, не хапай, покос лишний отдай, чтобы народ вокруг не окологлазил. Огонь в бумажку не завернуть, обязательно вывернется. Бодракову за сына твоего, Трофим, еще отрыгнется... В Подполовецком одна баба ругала своего мужика, пока люди за него не вступились: ну, выпил человек, ну и что? Обрадовался поддержке мужик и на бабу свою: да, сама попробуй столько переживи. Вдруг война к весне — кому Родину защищать? Ахнули люди: типун тебе на язык, тебе все война. И баба скривилась, губы ажник задергались: "Да нешто я сама не испытала ее да за стакан соли тогда Васькин баян отдала..."

Трофим прислушался: где-то в Ярище скрипнули дверью, вырвались переборы. Виталий Витальевич, кто же еще? Звуки строились, высились, над березняком зависала луна. Только гляньте, ай кусок от нее отвалили, ай собака бодраковская откусила — все глядела, все прыгала и сотворила, сука такая.

И тут от Житеня полоснули по небу фары. Это Бронька, броня крепка, гори все оно синим огнем!

"Беларусь" отпер в Тигановку Трофимова "Москвича". Прежде чем войти к себе в дом, Трофим вспомнил про сумочку. Нет, и тут, в "бардачке", ее не было. Трофима прошибла

испарина: клал же сумочку на капот! А ведь в сумочке — деньги и документы, приличная сумма! И корешки от квитанций на первые тонны картофеля. О господи! Лучше бы уж заночевал в поле, чертова кукла. Дырка-то с комариный нос, а возище просыплется.

VII.

После Адамовой мельницы, где в известном месте Бодраков нашел землю развороченной, а сейф — кем-то выкопанным, все в нем как бы перевернулось. И не считал ведь денежки-то своими. Лежат в сейфе на Адамовой мельнице и пусть лежат себе, а как их не стало, так Бодракову сделалось нехорошо, до неприличия тошно, страшно даже, вроде как в Голландии дамба сочится, того и гляди воды морские хлынут и затопят польдеры — поля ниже уровня моря. Или как будто землетрясением раскрыло швейцарские банки, и крысы растаскивают по сусекам международные валютные ценности. А конкретно — будто бы лично ты был в шубе все время на добром сибирском морозе, а теперь без штанов...

Глаза бодраковские так и ели картину: пятак в зарослях крапивы, справа ракиты, слева вонь от бучила, а посередке этот пятак весь исчезан, сейфа нетути, нет.

К этому надо было привыкнуть. Отпеванию сейфика Бодраков посвятил целый вечер. Домой к себе он пригласил еще и Броньку Летягина: может, из него, паразита, что-нибудь выкачаю, что хоть говорят о нем как о председателе в критических массах?

Бронька явился не запылится, даже со своим горячим — на друга надейся, а сам не плошай. Жена Бодракова опять уехала, теперь хоронить кого-то из своих бесчисленных теток. В мужском единении сидели они с Бронькой в саду за дощатым столом. Шелестел ветерок, от солнечных бликов Бронька был как бы в маскхалате. Божьи пчелки винтом ходили по-над головой, вот звенели, прицеливались — то в стакан, то в самое ухо. Солнце уже касалось ракиток. В общем, рай на рани, кабы не воевали в Афгане...

У Бодракова была своя стратегия, а у Броньки — своя. А тактика, конечно, одна — до победы. "Наливай! Сколько стоит? Выливай!" Когда Бронька пришел, Бодраков уже начал свои "три семерки". Тройка, семерка, туз. "Что наша жизнь? Игра". Яблоки с ветки валились прямо на стол. Да и сливы хороши — пяток шагов в сторону и к барьеру, опять

же на стол. Вот тебе и закуска. "Расстегай! Сколько стоит? Застегай!"

А Бронька со своей очищенной сразу внес не ту гамму. Надо в погреб лезть, в дом идти, а чего там найдешь — хлеб подбился, баба за хлебом вчера не сходила, хлеба ему не оставила. И Бодраков вынес из дома банку грибов-маслят. Высший класс. Розовые, как поросятинка. Совсем свежие, даже тепловатые, как резиновенькие, художественная закуска.

— Сколько градусов водка держит? — вонзился Бодраков взглядом в Броньку.

— Чужа нет что-то, Ксаныч, — завертелся Бронька юлой. — Чужа простыл.

— Не финти! — осадил Броньку сразу же Бодраков, чтобы знал, кто есть кто. — Знаешь ведь, что на это дело не чужа нужен, а глотка. Так вот, держит она двадцать пять.

— Да ну! Всегда сорок была, броня крепка.

— Вчера была, а сегодня опять двадцать пять. Разбавляют, сволочи, набивают карманы, — пояснил Бодраков и забулькал Броньке из Бронькиной тары, а себе — из своей.

— Я что-то, Финаген Ксаныч, отяжелел, водой огрузился, — попробовал Бронька вывернуть из-под него свою стаканяку. — А скажи, ведь шустрый был, как воробей. И такой же остался.

— Кто?

— Ктокало.

— А чего?

— А народ лупил его, он же крал.

— Давно дело было, — вздохнул Бодраков. — Теперь лупить некому, гори оно синим огнем... Адамову мельницу растащили, одно мокрое место осталось...

Сказал Бодраков про мельницу — сигнальное слово, а Бронька сидел невозмутимо, как ни в чем не бывало. Не в курсе или так, прохиндей, притворяется? Надо было на ходу менять тактику, ремонтировать капитал взаимных отношений. И тут по двору прошел новый главный агроном, постучал в дверь бодраковского дома.

— А, Виталий Витальевич! — окликнул его Бодраков и, когда тот подошел совсем близко, сказал, глянув себе зачем-то под стол: — Отгул взял, понимаешь. Вот сидим, воскресенье. Садись-ка и ты. С утра, небось, по холодку в ходушках-походушках.

— А чего отгул-то? — насторожился Бронька, сроду Бод-

раков не брал никаких отгулов. Надо было — не придет на работу, когда надо, и все.

А Бодраков уже входил в изменение тактики в соответствии с отдаленно идущей стратегией, которая шла у него всегда в одну сторону — к дому, далеко от дому не отходила, пешком, гори оно, далеко не уйдешь. Финаген Ксаныч всегда был рад свежнему человеку, тем более молодому специалисту. Кто первый ему возрадуется, с тем и будет тот после делить свое трудовое сотрудничество.

— Отгул-то чего? — до самого пупа продирая себя изнутри уже пчелино-яблоневым, жасминно-сливовым настоем, грустновато этак бодрил себя Бодраков. — А заболел. — И, заметив искру в лице Броньки, прохиндея такого, утвердил самое страшное: — Думаю, даже рак.

— Да ты что, Ксаныч! — вырвалось у Бронислава.

— Рак глотки, — нажимал Бодраков на жалость. — Вот сижу и лечусь, промываю. — И кивнул на тару — портвейн "Три семерки": — Рекомендовали...

— Кто? — спросил Бронька, насторожась. — Врачи?

— Внутренние силы, — ответил Финаген Ксаныч. — Гори оно синим пламенем, может, жить мне осталось три месяца, сгорю.

И была минута молчания. Но ничего, все же на втором месте эта болезнь, после сердечно-сосудистых, это, Ксаныч, неплохо.

— А у моей жены, — наконец вставил свое совокупное слово Виталий Витальевич, — родственница в городе была — доктор наук, профессор по русскому языку. Добивалась-добивалась, все силы ухлопала и добила: вот уже шестой месяц, как похоронили. Рак.

— Профессорша? Глотку надо поменьше драть, где не надо, в гортани, — осерчал Бодраков, что его перебили. — А то дело не по делу, все дерут, все поддерживают единогласно... Думают, если заболел, то и на свалку можно.

— Я за единогласие, — смотрел Бронька на Бодракова, как кролик. — Я, Ксаныч, от тебя никуда.

Бодраков переставил поближе к Броньке грибочки и налил из своей бутылки. Поняв, что Бронька дошел своим умом до кондиции, Бодраков сделал "ход конем", как в добрые старые времена, когда они с Бронькой играли вдвоем в "шахматишки".

— Ну и как там на Адамовой мельнице? — спросил он почти в лоб Бронислава. — Рыбка ловится?

— Ловится, Ксаныч, ловится, — обрадовался отчего-то Бронька, вот дурак. Бодраков, однако, насторожился. — И не рыбка, а баранинка, — перестроился Бронислав под меняющуюся атмосферу. — И не на Адамовой мельнице, а на Житеневском верху, а может, даже на "колыме". Тиганов Егор со своими дружками, броня крепка, шашлык жарили.

— А у тебя что, слюнки текли? — перебил его Виталий Витальевич.

Это было уже интересно. Недаром в житеневском березняке Бодраков видел Трофима Тиганова. Закрутился змеюшник вокруг сковородки! Но отчего Бронька прикрылся двусмысленностью, как свинья апельсинами? Знает, прохиндей, что-то крутит, придает себе весу. Или же агронома боится? Этот еще расселся, как будто сидит сразу на двенадцати стульях, — связался, черт подери, с этим родом тигановским.

И Бодраков вскочил и прошел бесом к яблоне, подбросил тело ввысь, подтянулся на параллельном суку. Попробовал задрать ноги, но живот не пустил, да, не первой молодости — крутить "солнышко" на турнике. Возвратился, невозмутимый, к столу.

— Наливай! — дал Броньке он указание, уже веселясь. — Сколько стоит? Выливай. — И щелкнул выразительно по стаканяке, вздохнул опустошенно.

— Понял! — вскочил Виталий Витальевич. — Я счас!

— Догадливый какой, — пустил фразу вслед ему Бодраков. — Далеко, негодяй, пойдет.

— Т-тебе н-нельзя, Ксаныч, — запротестовал Бронька. — Рак ведь. Точит, небось, живодер.

— А ты отупел, Бронислав, — осадил его Бодраков. — Со всем измелъчал, пняешь. А еще выхваляешься: орел не берет мух.

Едва агроном хлопнул калиткой, Бодраков звезданул Броньке, раз он такой, прямой наводкой:

— Ну и что там говорят?

— Насчет чего?

— Насчет денег.

— Ах, денег, — заюлил Бронька. — Это, значит, каких?

Бодраков знал Броньку лучше, чем самого себя. Юлит — стало быть, что-то известно. А известно, знает что-то такое, только не хочет сказать. А не хочет сказать, потому что это скорее всего касается лично его, Бодракова. Кому хочется, чтобы о нем говорили лишнее, предавали гласности то, в чем и он сам бы себе не признался. Но хотелось все же пробиться

сквозь стенку, быть все же в курсе. В общем, так: что бают в народе о сейфе и кто его все-таки похитил? Свои или, может, варяги?

— И ты еще спрашиваешь? — припирает Бодраков Броньку. — Тебе ничего не известно про такие огромные деньги? На хрена, спрашивается, я тебя пригреваю, на должностях содержу, плачу по высшей таксе, от милиции спасаю? Так и знай, Бронька, брошу в жизнь, как котенка, пльви...

— Ну ты, это... прямо так, Финаген Ксаныч, — мельтешил Бронислав перед ним. — А еще, говоришь, на издыхании, рак гортани.

— Это у меня для него — рак гортани, — кивнул Бодраков на калитку. — А для тебя вот, первой категории! — поднял он кулак и поднес к носу Броньки. — А ну-ка скажи, чем пахнет?

— Червонцами, — ухмыльнулся Бронька.

— Значит, ты про это, про деньги?.. Вот сумочку свою, говорят, Тиганов Трофим потерял...

— Ну, ну! — не спускал Бодраков с Бронислава сурового взгляда.

— Никаких денег в той сумочке, говорят, не было, вот ей-богу, Ксаныч, — побожился Бронька, убеждая больше себя самого. — Одни только квитанции за сданную картошку. — "Ничего себе! Через Трофима под Егора, небось, заезжает".

— А деньги?

— Что деньги?

— Где деньги, говорю! — злился уже Бодраков. — Деньги где, говорю?

— А денег нет.

— Никаких?

— Никаких, Ксаныч. Какие деньги?

"Черт рыжий! На затылке уже блюдце вытерлось, а все из себя недоумка корчит, — сгорая от внутреннего бессилия, клял Летягина Бодраков. — А может, и в самом деле никому ничего не известно про сейфик-то? Может, в самом деле варяги оформили? Нашаманишь на свою шею, так-то. Подождать надо, не форсировать темпы..."

— Ну вот что, Бронислав! — заключил Бодраков, все еще строжась, но уже отпуская вожжу. — Предвещаю тебе нехорошее, ты знаешь меня: орел не берет мух. Кончишь где-нибудь под забором.

"Тоже мне пророк, — улыбался Бронька. — О себе, паразит, больше думай." И тут хлопнула снова калитка: ага, Ви-

талий Витальевич, этот голубчик, уже шел сюда к ним собственной персоной. А ну, Виталий Витальевич, скажи, чего это он заладил: "Орел не берет мух." Как главный специалист истолкуй содержание.

— Вот, — подал агроном Бодракову аптечные пузырьки. — Вам, Финаген Ксаныч, от вашей болезни. Медичка говорит, будет завтра насчет вас консультироваться, в район звонить.

"Идивоты! — делал Бодраков усилия, чтобы глаза из орбит не повылезали. — Шутки не понимают. Теперь понесут по Ярищу, по всему району пойдет, дойдет до начальства. Бодраков, дескать, при смерти, рак, дескать, у Бодракова. Гнусность какая, гори все оно синим огнем. Здоровьишко колебнулось — печать передать другому, незаменимых нет."

— А, — махнул на все Финаген. — Болеть так болеть, по-крупному, чтобы сразу в ящик. А гулять так гулять, Бронислав! Пшел, тащи ящик водки, вон оттудова — из сарая... Орел не берет, пняешь, мух.

* * *

Бронька только нацелил Бодракова изъяснять насчет Трофимовых денег, найденных вместе с квитанциями под Ярище. Бодраков знал теперь, по какому поводу обращаться к "динамке" своей — Коротеевой, экономистке. К ней стекаются сведения, она ими крутит как хочет, как торговля своим дефицитом. Однако никаких новостей на этот счет Коротеева не представила, не прояснила обстановку. Только это: "Трофим... деньги... квитанции", но про все это Бодраков уже знал и от Броньки. А вот Трофиму Тиганову, его сыну Егору, всему их тигановскому роду они встали, черт побери, поперек горла; и лично ему, и колхозу — к этому Бодраков так и не подъехал, ну никак не смог подъехать он, хоть убей. "Держи в курсе", — приказал он Коротеевой. А сам нюхом чуял: сейфик-то где-то поблизости, в чьих-то собачьих лапах. Эх, несешь этот крест, тащишь коллектив, кормишь в конечном счете страну, а тебе твоим же салом и по мусалам. Так и норовят носом взять. Только дай послабку — все рассыплется в прах, кто куда разбредется.

Люди что солдаты в армии: без командира кто они — едоки. "Вот они где должны быть у меня! — стукнул Финаген по

столу кулаком, аж кулак осушил. — Вот тут, в жмене, в этом узле, гори оно синим огнем. Иначе крах, хана, иначе нельзя". И, сделав такой отчаянный вывод, твердым маршалским шагом Бодраков зашагал по кабинету. Снова присел к столу, начал бегать пальцами по телефонам. Здесь, у цветных телефонов, ему было спокойнее, легче думалось, крепче стоялось. Здесь, в кабинете, он — власть. Ниточка бежит вверх в одну сторону, ниточка бежит вверх в другую сторону, ниточка бежит вниз, а здесь у него они все встречаются. И без Бодракова никто никуда, всем он необходим. Бодраков и помыслить не мог, что тут у него в кабинете может быть кто-то, кроме него. А стоять на ногах все сложнее, народ пошел какой оголтелый. Чуть что — пишут, едут, а то просто молчат. Какой-то глухой ком создается исподнизу, растет, застит свет. И просто работать невозможно становится. Ведь всем недовольны, сколько ни делай, все мало им: зарплату давай, жилье давай, давай новую технологию, создавай условия. А на себя бы критически глянули: все тащат домой, все несут, несуну проклятые, работают не бей лежачего, друг из-под друга выглядывают...

Раньше он смеялся, глядя на длинные списки, мол, без медали теперь и в трамвай не пускают. А сейчас хорошенько понял тех, кто награждал: ублажить хоть как, лишь бы не возмущались, не перевернули сундук. Бодраков смотрел отсутствующим взглядом в угол, где когда-то в чехлах пылились знамена. Да, на то они и переходящие, чтобы с места на место ходить, передвигаться, это руководство должно быть постоянно, всегда бодрым, всегда как штык на посту. Бодраков так привык к знаменам в углу, что не замечал уже пустоты.

Зазвенел зеленый — помедлив, Бодраков снял трубку, процедил в нее пару слов и нажал на рычаг. Зазвенел синий — Бодраков снял трубку и оживился: "Да-да, мы же выполнили... дополнительно? Честь и достоинство района?.. Мы понимаем... прикинем, сколько останется". Затрезвонил красный — Бодраков схватил трубку, как прилип, слился весь с аппаратом: "Да-да, слушаю вас... понимаю, есть, слушаюсь... все будет исполнено, сделано, есть..." Бодраков сидел как рак только что из кастрюли, все не мог прийти в себя: "Что хоть наговорил, с чем хоть насоглашался..."

И вспомнился ему один такой эпизод из его безбедной на такие события жизни. И улыбнулся Бодраков поневоле: вон откуда он, этот орел, тоже мне, не берет, пняешь, мух. Как-то в Москве заехал он, Финаген, к одному земляку-врачу.

Сидели вот так за столом. Боковым зрением Бодраков выделил за пузатым московским телефонником аппарат: на белом фоне золотом государственный герб. Бодраков тут же осекся, замочек на рот навесил. Врач заметил это и рассмеялся. "Действует стопроцентно, — кивнул он на герб. — Мы такие... На днях вызываю сантехника. Заменить стальные батареи чугунными. Известно, какие нынче сантехники — диктатура пролетариата... Трубы, чугунные батареи — все у них дефицит. И тут взгляд сантехника упал на телефон, а скорее всего на герб. И сантехник стушевался. Виду, однако, не подает. А через пару минут кивает на аппарат: "А это шо — туда?" — и показывает пальцем ввысь. — "Ну, конечно, — отвечаю многозначительно. — Орел не берет мух." И что тут произошло: человек изменился в лице, все хотел сказать как покультурнее, ввинтить словечко покрупнее, погосударственнее. Тут же нашлись, конечно, чугунные батареи, тут же их и поставили. Даже в лапу взять человек отказался. Категорически: "Нешто мы не понимаем, сопромата нешто не знаем, тоже ведь "шпрехаем", не дураки..."

После такого короткого замыкания стыдновато сделалось Бодракову. За разговор свой по красному телефону. Подловатое времечко, что оно из нас делает?

Бодраков сорвался и выскочил из кабинета. До вечера "козел" носил его по окрестностям Адамовой мельницы, но спуститься к омуту Бодраков так и не решился. Присел на Житеневском верху, у кострища. Всюду валялись обрывки газет, пустые консервные банки, бутылки.

— Сволочи, как насвинячили! — выругался Финаген.

Двумя-тремя тычками лопатки Бодраков выкопал яму. Побросал туда мусор, закидал все это землей. И стал топтаться по ней, ощущая ногами, как хрупала под ним, проседала вся эта жестяная, бумажная, стеклянная мерзость.

Это — приезжие из Алатыря. Свои бы, ярищенские, так не позволили. Как будто раз живем на земле, как будто завтра ничего нам не нужно. Канальство! Руку куда протянули! А они их заработали — те пятьдесят с лишним тысяч в сейфике? Покутили-погуляли, да еще и денежки увели. Еще и смеются над их потом-кровью, над их кровными трудовыми...

Стороной пронесли голоса — кто же? Житеневские бабы. Клонились долу — искали грибки, видать, опята пошли. А может, свои, ярищенские, обнаружили сейфик? Но почему до сих пор никто не проязычился? А что тебе от этого — лучше? Черти дернули его коснуться этого самого сейфика...

И страхи опять поползли к Бодракову, они вползали на ватных толстючих лапах куда-то вовнутрь. И все ему представлялось, как утром к нему в кабинет стучится милиция. Но не свой участковый Степаныч, а из Алатыря, а может, даже из Орла, потому что дело связано с "хищением в особо крупных размерах." И вот он еще так, для виду, для конторских своих (пялятся из всех дверей) говорит милиции вроде бы независимо: "А санкция прокурора где, санкция?" А сам уже знает, что завтра про это напишут в газетах, что раз пришли, значит, санкция есть и есть состав преступления, а доказательства — дело времени — будут. "Вот, — расталдычат они по Ярищу, — вот какой он, а мы и не знали." И будет лететь по Алатырю, по всей области: еще и кассиршу убил, утопил в бучиле. — "Не убивал я никого, не топил! Где презумпция невинности!?" — хочет крикнуть Бодраков во все свое луженое горло, чтобы сбросить с себя напряжение, все эти страхи, но только двигает кадыком, шлепает сухо губами. — И ведь лишат чести, звания, достоинства. Каких там званий — работы. Какой работы — жизни, в тюрьму засадят. "Презумпция" эта где-нибудь, да только не у нас. Вот ведь дело куда поворачивается..."

Бодраков прогнал страх, выдавил из себя эту гадость. Поднялся и отошел от кострища. Остановился у просеки с видом на "колыму"... Все в работе да в работе, как в упряжи. А может, уже дотянул, дошел до ручки? Третий год без отпуска, без выходных — вот нервы того, и разыгрались. Да что же он, в самом деле, преступник, что ли? Сейфик в земле, как лежал, так и остался там, где лежал. А кто взял, тот пусть и отвечает... Тиганов Трофим потерял деньги и квитанции за картошку, вот им пусть люди и занимаются. Моют косточки, пока добела не отмоют, а меня пусть оставят в покое. Трофим у них свой, все Трофиму простят. Дай волю — завтра же сделают председателем. Вот торгаш, вот раскрылся. Без году неделю в потребкооперации, а всему уже научился. И Егора, сына, приохотил к делу, все вдвоем приберут к рукам. Хорош же этот Тиганов Егор — увел Стешку от мужа, живет с ней в Тигановке. Без росписи, не по закону, ангел божий... Спаялись как — дыхнуть председателю невозможно. Как сетями паучьими, все опутано тигановским кланом...

В конце долины, на "колыме", Бодраков разглядел шалаш с соломенной крышей, телят оболешевских и при них Петра — Стешкина мужа.

Через несколько минут Бодраков был уже там. С кнутом

на плече Петр как раз выходил из полыней; извиваясь, хвост тянулся за ним, натертый травой до змеиноного блеска, отсвечивал на закате длинно и розово, пополам с кровью...

Присели. Пошептались оглядчиво. И если бы ветерок у речки мог прислушаться, в их шепоте он наверняка уловил бы, может быть, самое главное, повторенное многожды слово "Стешка" и, как эхо, чуть тише — "Егор".

VIII.

Этого еще не хватало. Вчера вечером Стешка пришла с фермы поздно, от нее пахло водкой. Вот и сейчас Егор попытался уловить тот же запах, но привычный Стешкин букет забивал все остальное. И вчерашнее сходило, заменялось прежним, устойчивым отношением к Стешке.

Новая работа, конечно, не агрономическая, не с землей. Да ведь и это надо же делать кому-то. В системе потребкооперации он как-никак опора отцу в превратной судьбе...

Егор ждал дружков из Алатыря. На рассвете открывался сезон, начиналась охота на уток. В последнее время дружки зачастили к Егору — компания, спаянный коллектив. Вспышки между ними, конечно, случались, но два-три слова — и все на месте. Из чего Егор сделал вывод, что внешне они перед ним — одно, а внутренне перед самими собой — другое. Однако Егор не входил в выяснение всех этих сложностей, главное — все они жаждали его общества, и этого было достаточно.

Чернобай, Бесноватых Евгений, Коля Половинкин — все они имели своих людей в госрыбнадзоре и охотинспекции. А те, в свою очередь, имели финские домики где-то за урочищем Волчий Шлях, на берегу речки Чистюньки. С новыми дружками началась у Егора и новая жизнь. Анекдоты, шуточки, прибаутки у костра, у котла, где булькала аппетитно ушица. Рыбачьих места, где и строились ближайшие планы охоты на утку, более отдаленные — на волка и даже на лося, в чем дружки, по их словам, были превеликие доки. Егору нравилось это и не нравилось, пока еще не разобрался. Параллельно зрело чувство опасности, но откуда, с чего?

Ничто не связывало сейчас Егора ни с Ярищем, ни тем более с Бодраковым. Иногда, проезжая ярищенскими полями по дороге на Обошешеву, как бывший агроном Егор ревниво оглядывал поля: какова агротехника, сорняки разгулялись, не те виды на урожай. Отчего так бедны, так неустроены мы при наших-то землях, почти черноземах?..

Наконец на пункт к нему позвонил Чернобай. Еще и обругал: что же ты торчишь в своем Оболешево, ребята ждут не дождутся на точке — на откосе Зуши. Все готово, не хватает только тебя.

— Мели, Емеля, — огрызнулся в трубку Егор.

Однако обрадовался, что ему позвонили. Ни возле правления, ни около магазина, как на грех, ни одной машиненки. А ведь ребята обещали заехать за ним. Пора, Егор, иметь и собственный транспорт. Транспорт всегда должен быть под рукой.

И, чтобы успеть засветло, Егор бросился к вышеуказанной точке пешком. Стежка-дорожка была известна Егору — отсюда на Житень. Первые шаги были мимо Стешкиного дома, мимо Стешкиных окон. Это расстояние Егор одолевал перебежкой, полусгибаясь, как будто чего-то крал. На момент ему показалось, кто-то отволокнул занавесочку.

Егор шмыгнул за угол, собака не забрехала. Пусть думают, что хотят. Увозить от них Стешку он не увозил, привозить обратно тоже не собирается. Каждый живет, как живет, нечего в спину расстреливать бельмами... И ведь знает Егор, что с телятами Петр на конце "колымы", а все не то думается... И узкая стежка бежала полями, юлила, петляла, взобралась на взгорок, нырнула в посадку, вытянулась из нее, нацеленная, как стрела.

Этот Чернобай, врач-анестезиолог, возымел желанье перетащить его в город. Уже написал хозяйке — своей соседке насчет квартиры письмо туда, где она живет сейчас, большую деньгу заколачивает. И получил согласие: пускай человек поживет, даже не платит, лишь бы квартиру сохранял, чтобы ее не ограбили. Об этом Чернобай шепнул не Егору сначала, а Стешке...

Сейчас стежка пулей выбросит его из оврага. А дальше полем, краем Волчьего Шляха, и вот она, "колыма". Перед тем как исчезнуть в овраге, Егор оглянулся. И ему показалось, где-то в овсах сверкнула рыжая головешка Петра. Егор даже замер на полное, как цапля. Ни рыжинки, ни тем более головы чьей-то — татарник это среди вико-овсяной смеси. Однако татарник на солнце разве бы так отсверкнул?

Егор пробежал через последние метелки овса; сухие и звонкие, они били его по коленкам, а он, несясь вприпрыжку, как заяц, все успевал примечать, чем же овсы у них в Ярище хуже, чем оболешевские, ведь не хуже ничем.

На опушке Егор поднырнул под низкую, плосковатую

ветвь дубка. И тут же стежка прыгнула вниз, на самое дно оврага. Плечи Егору сдавило сумраком. По бокам — сырая земля со смесью старых, сохших трав, а выше, неведь куда, подскочили верхушки дубов. Холодно, угрюмо. Если бы волки водились в округе, вот бы где им самое место — в этом овраге, ведьмино место. И тут же по ходу мигнул Егору желтоглазый опенок. И еще трое солдатиков — желтым по черному. И еще один, два, пятеро. Егор протянул руку и споткнулся о проволоку.

Взмахнув руками, он задержался на миг, всего на мгновение, но оно все решило. Что-то шелкнуло и, пропев на уровне груди, ударило рядом в дуб. Стрела еще дрожала своим оперением, как Егор подался вперед, переступил по инерции, земля под ним провалилась, и, проламывая хворост, он сорвался и рухнул куда-то. И, конечно бы, нанизался на кол, остро торчащий посередине, если бы, падая, не зацепился за краешек ямы. Это отвело Егора от центра, и он упал на плечо уже за колом, ближе к той, дальней стенке.

Егор лежал, соображая, где он и что с ним и вообще жив ли он еще или уже нет, не жив. Подвигал руками — целы, щипнул себя за бок — чувствует, где-то вверху, как из колодца, синее кусочек неба, раскачиваются, шумят макушки, — видит, слышит, значит, живой.

Егор приподнялся на локоть и оглядел себя: ссадина на плече, царапина возле уха — пустяки. Осиновый, остро отесанный кол, вколоченный тут же, заставил его содрогнуться. Егор заправил рубаху за пояс и отряхнулся: западня, волчья яма! Готовили на зверя, а попал человек. И, естественно, человек стал изучать отвесные стены, как бы это выбраться, хоть бы пальцем дотянуться до краешка.

Егор подпрыгнул, но не достал края, из-под пальцев земля просыпалась на голову. Да, выбраться было не так-то просто, думали люди, как загнать тебя в угол. Только не паниковать, не отдать себя в руки страху, этому только поддайся. Присесть. Обмозговать. Наскоком ничего не получится. И Егор взвел себя, заострился, как этот осиновый кол. Из зайчонка, только что проскакавшего по овсяному полю, злость превращала его в матерого волка. Яма предназначалась не для него, человека, а именно для него, волка; он, Егор, должен уже думать по-волчьи, применять к себе не человеческие — волчьи законы.

И Егор прислонился к стенке, потянул за цепочку мысль, эту палочку-выручалочку, а куда денешься? Листьев на дне

ямы было ничтожно мало, почти не было. Тополя наполовину осыпались, а дно ямы чистое, земля свежая, значит, яму копали недавно. Так... И стрела воткнулась в ствол, пойдя стрела ниже — она попала бы в комель, а не в ствол, на уровне человеческого роста. Так... Соединяем факты. Ты споткнулся о проволоку, от этого ты должен был податься вперед, попасть под самострел. И, падая, для верности еще и нанизаться, уже в яме, на кол. Так... Значит, все дело в том, что, запнувшись о проволоку, балансируя руками, ты на какой-то момент задержался, в это время стрела пролетела, и это тебе подарило жизнь. Та же пауза не дала тебе падать свободно, падая, ты зацепился о стенку, срикошетил, — и это во второй раз сохранило тебя. Везет же! Егор Трофимыч, ты родился в рубашке. Неужели не повезет в третий раз? Бог любит, однако, троицу. Нет, сейчас ты выберешься из этой чертовой ямы, из западни, куда тебя заманили. Так... Теперь подумаем, кому это надо? Кто мелькнул за занавеской в Стешкином доме, когда ты прошел мимо? Это раз. Рыжая голова полыхнула в овсяном поле — это два. Надо думать, она появится в твоих пределах и в третий раз (бог любит троицу) — взглянуть на твои агонии, на конечный свой результат.

Егор поискал в яме камень, хоть бы дрын какой-нибудь подвернулся, пусто-пусто. И Егор растерялся: может, впервые за всю свою жизнь он был так беспомощен, так беззащитен перед вероятной опасностью. Тот, кто появится сейчас перед ним, он же сделает с ним что угодно. Егор застонал от бессилия. А кричать бесполезно. Глухо, как в танке. Что же делать? Ждать и надеяться? Не дико ли, не смешно ли от невероятности случая?

Между тем сумерки сгущались, в лесу они приходят быстрее. Кусок неба над головой превращался из синего в серый и вскоре перестал быть видимым вообще. Загудели макушки дубов, началось движение воздуха с перегретых полей к речке, на "колыму."

Да, совсем упустил из виду: там, на откосе, его ждали дружки из Алатыря, а теперь что, уже и не ждут? Скорее всего изождались. Дружба дружбой, а денежки врозь. Закинули бреденек, проверили ружьишко, у костра посидели. А может, еще и сидят?..

— Стрити, тити-тити, — застрекотала сорока.

Какая глазастая! Обнаружила его и на дне ямы — это с высоты своего птичьего полета, примостилась на дубе, над головой. Ишь, трезвонит о нем всему белому свету. Лучше бы

слетала куда надо да стукнула бы кому надо, как дятел, чем трепаться на всех-то, сплетница...

Егор запахнул пиджачок покруче. Одиночество съедало его, он привык быть всегда под прицелом. Сыровато в земле. Поистине знали бы, на что мы идем, когда начинаем. Выходя из дому с утра, он во всяком случае оделся бы потеплее. Как ни странно, с приходом темноты Егору стало спокойнее: кой черт ночью попрется проверять эту яму? Однако возникли другие сомнения, что, может быть, отсюда он уже и не выберется, подохнет тут с голоду, как собака. И страхи эти усиливались от одиночества, доводили его до иступления, до оцепенения. "Лучше бы уж рядом были чьи-то глаза и уши, так веселее, — успокаивал он сам себя, прикорнул в уголочке и дышал для тепла в грудь, под пиджак. — Надо дожидаться рассвета, он придет, куда денется. Утром, по виднушку, может, что-то придумаем".

К середине ночи поверх деревьев перебрызнулись звездочки. Егор обрадовался им, как живым. Попробовал определить созвездие над собой, но, черт побери, не шибко грамотен был он в этих созвездиях. Знал самые ходовые, элементарные звезды, как и все деревенские люди. Кабы в школе астрономию преподавали вечером, когда звезды, а то ведь в обед и по учебникам.

И вот Млечный Путь закрыло снизу, как одеялом. Егор сообразил: это тучи пошли, надали на землю — тяжелые, перенасыщенные влагой. И он насторожился: сейчас забусит дождишко. И верно: заколотило по листьям. Дождь, однако, явился крупный и редкий, совсем недолгий, теплый. Он влил силы в Егора, ему вроде как полегчало. А дело скорее всего в ощущениях. К утру там, снаружи, прохладнее, а тут, в яме, как дома. Можно ко всему приспособиться, если хочется жить.

А жить Егору хотелось, и не только жить, но и есть, черт возьми. Но Егор прогонял всякую мысль о еде. И пить хотелось, но Егор прогонял всякую мысль и о питье. Кому все же надо это — вырыть яму, установить самострел? Тому, кто знал, что именно ты пробил эту стежку на Житень. Но разве ты один ходил этой стежкой? Когда она притопталась, стала ведь видна с самолета. Кому еще было удобно ходить этой стежкой на "колыму", от Оболешино до житневской развилки, кто еще топтал эту стежку? Кроме тебя, еще один человек. И ты его знаешь. И его знает Бронька, а через Броньку, естественно, и Бодраков. Как все переплелось, голова идет

кругом. Первым делом — выбраться отсюда, а там разберемся, кто кому должен и кто кому чем оплатит...

Вот так в ямы и попадают, так в ямах и пропадают. Как же трудно живем мы, нехорошо. На днях мужик один, из Шевелихи, приносил на пункт овечьи шкуры. Мы, говорит, живем пока так. Сосед спрашивает соседа: Ты сидел? — Сидел. — И я сидел. А вот наш сосед не сидел, давай мы его посадим?... "Все дело в чем, — жался Егор к уголку ямы, и сердце стучало, как дятел, но он сидел не шевелясь, — Бодраков не хочет, чтобы люди имели больше его самого. Не имеешь — значит, никто ты, пешка, а пешку легче переставлять".

Бодраков лишил его, Егора, первой семьи, жизнь поломал — для чего, чтобы лучше жилось? Нет и нет, чтобы чувствовать себя лучше. А все потому, что в жизни у нас действуют не естественные законы, законы не согласно, а вопреки. Семьдесят лет стирали грань между городом и деревней, деревню стерли, а грань осталась. Молодежь забирали в столицы, после войны столица выросла втрое — и что она, продукцию, что ли, утроила? А деревня уходит под снег...

Ближе к утру по верху где-то на краю ямы зашуршало листвой. Вот оно! Холка Егора вздыбилась, как у хряка: ну, шавка! Однако что это мирно так хрюкнуло и отфыркнулось? И сюда к нему просыпалась всякая мелочь, хоботья, листья, песок, упал ком земли. Что-то кашляло и перхало. Затем, не удержавшись, съехало по отвесной стене и бухнулось рядом. Егор протянул руку и тут же отдернул: ежик!

— Ежик, ежик, — позвал он и засмеялся.

И когда тот зашлепал в противоположный угол, вроде как потеплело Егору. И жизнь стала возможна, сделалось легче. В детстве его, Егора, дразнили "ежиком", когда это было!

И время пошло веселее. Живое существо все же, есть с кем поговорить. Чижик-пыжик, ежик-ножик. Ишь, согнулся, иглы выставил — не подступись. Ладно, не фыркай, не вредничай, больше трогать не буду, кому охота пальцы колоть, пальчики нам еще пригодятся...

Над головой засветлело, обозначился кусок неба где-то по-над макушками. Потянуло воздухом — теперь уже от реки. Крупные, теплые капли с листьев смачно шлепали о дно ямы, по плечам ему, по лицу. Егор услышал, как дважды ударили, как вальком по белью, — это на речке, и тут же ливисто взвились собаки. Это же начало сезона, утиная охота, а где-то рядом охотники и на "мамонта"...

Егор подпрыгнул, пытаясь опять ухватиться за краешек. Следом упала щепка. От затеси, от отесанного кола. Чем не шанцевый — "шансовый" инструмент? И начал Егор нагребать щепкой холмик. Попробовал стать на него — ноги ушли в рыхлую землю по щиколотку. И тут его осенило, на то и голова человеку дадена, чтобы иногда осенять. И Егор принялся ковырять щепкой стену. В полуметре от дна в стене он сделал одну нишку, повыше — другую, еще выше — третью.

Четвертую нишку Егор ковырял уже, вставив носок ботинка в нишу и пластаясь телом по всей стене. Еще немножко, еще чуток, последний сантиметр — и рука выше локтя выйдет за край, можно будет и подтянуться.

И тут взгляд его упал вниз, и там, внизу, в уголочке Егор разглядел ежа-ежика. "Бедный Робин, что с тобой будет, куда тебя занесло?" И Егор стал осторожно спускаться обратно. Нишка под ним обвалилась, и он кулем рухнул обратно на дно. Но ничего, есть идея! Главное — это когда идея, когда мысль, прозрение, это когда открытие, идеями кормится мир...

Через минуту ежик был выброшен на поверхность, а еще через полчаса Егор уже лежал на земле, чуя камень спиной, он все не мог поверить, что лично был в волчьей яме, в этой узкой, черной, провальной дыре. И то, что было вчера, когда он ступил сюда, в этот овраг, этот мрак, сырость, в эту яму, сейчас все было Егору просто прекрасным. Все дело в том, оказывается, что когда кому каким хочется видеть.

Егор уперся лицом в небо и слышал запахи, звуки земли — в отдельности и вперемешку. Где-то близь дыханье опят. Сухой лист в лапе папоротника. Далеко-далеко на "колыме" у Петра мукнул теленок, и тут же автоматной очередью; дятел-дятел, ты зачем прострелил сухостой? И все это — долбежка дятла, тленье глухой крапивы, тонкостволы дубовые, белостволы березовые, — все они закрутились винтом, заходили вокруг макушки, стали ввинчиваться в небо, все выше, выше, до самой Полярной звезды, которая, как и все звезды мира, была сейчас не видна, но она ведь есть, существует и днем, она всегда показывает строго на север, давая возможность понять тебе, где ты, куда и зачем во всей этой взаимозависимости светил, несвободе пространств, где каждый раз, срываясь с орбит, одни свободы стремятся к другим, еще более высшим, возвышенным, как и все эти светила.

"Что скажу Стешке, где провел эту ночь? — потрянул Егор тяжелой башкой, и вместо звезд, орбит и пыли космиче-

ской, вместо общепланетарных проблем с волос в траву посыпались листья. — А зачем? Не говорит же отец каждому встречному-поперечному про Бодракова, что знает о нем кое-что. Кому страшно ружье, из которого выстрелили?.."

С утра Егор уже был на пункте, дела продержали его, и домой в Тигановку он возвращался под вечер. Брел с автобуса, думал: "Неловко сказать, что ночь провел в волчьей яме, в конце концов все упрется в Петра. Не сказать — тогда где ночевал? Законный вопрос..."

Вот и Марусины Ключи, мамина, а теперь и Стешкина ферма. Что-то сверх силы заставило Егора свернуть со стежки во ржи. Телята бродили по территории: жевали силос у недотрабмованной ямы, цедили из лужи, вода бузовала из шланга. Это насторожило Егора. Из красного уголка слышалась пьяная песня.

— И ты тут? — выдернул Стешку он из-за стола.

— День рождения, — улыбнулась Стешка, — день рождения у доярочки.

— Опять налакались? — впился Егор ей в глаза.

Лицо ее пошло пятнами.

— Тебе, значит, можно? — отдернула она свою руку. — А мне, значит, нельзя?!

— Сынок, не вишь, человека чествуем, — загалдели доярочки. — И так, как каторжные, ни выходных, ни проходных. Из-под коров не вылазим, рабы двадцатого века...

Егор вывел Стешку наружу для разговора.

IX.

Все в ком-то "родимые пятнышки" ищем, а самих хоть в святой угол ставь вместо иконы. А ведь после ночи в волчьей-то яме сам Егор заявился домой только к вечеру. А кое-когда и вовсе по дню, по два в Тигановку не заглядывал, в Алатыре пропадал у дружков. А она, Стешка, между прочим, встает в три часа, а в четыре уже гремит на ферме бидонами. Хорошо, пока молодая, поспит каких-нибудь три-четыре часа — летом можно на сене, под звездами, вместе с Егором — и снова готова к своему трудовому подвигу...

Стешка тетешкала Полинку. Егор таскался из горницы в кухню, как хвост какой, с единственной мыслью, как бы наладить опять отношения. У него уже наклеывалось, что сказать Стешке по этому поводу.

Долго дуться Стешка не могла, не умела. Вскоре они с

Егором оттащили девочку в отцов дом, к Таисии. И вместе отправились верхней дорогой на Марусины Ключи. Стешке надо было на дойку, а Егору — на Оболезшево. Но на развилке (он даже не ожидал от себя такого) Егор взял и двинул на ферму следом за Стешкой. Ох, уж эти наши планы — мудрые, четко расписанные программы, одна из которых отменяет вмененное, а другая тут же вменяет отмененное. А все из-за какого-нибудь мизинца, стертого в сапоге.

Доярочки были Стешке ровесницами, а иные постарше даже его, Егоровой матери — Устины, их рано ушедшей подруги. И все у них здесь было так же, как и тогда. Резкий гулкий бетон, сиреневый полумрак. В теплых навозных миазмах колыхались человеческие тени, они двигались, как заведенные, мерно урчали электродоильные аппараты. Все шло по порядку, навряде как в доброй старой Англии, но только все шиворот-навыворот. Там, обожая традиции, от жилья могут оставить лишь каменные стенки, набив средневековую внутренность современной начинкой. Ох, уже эти британцы, иные номера телефонов держатся у них с той поры, как вообще придуман был телефон. А тут, в Подшибякино, "слочку" смонтировали в шестьдесят четвертом, а выбросили ее в том же шестьдесят четвертом. Тоже мне щедрые подшибякинцы и скупые британцы...

Егор провел по стене пальцем: бетон до сих пор плакал по маме. Серые стены, серые стекла, серые халаты. Серос сосало жизнь и из его мамы, разве он, Егор, этого не замечал? Как стонала она ночами от ревматизма в руках по самым локти, бог мой, кому это надо?..

С соломы рвануло бумажку и закрутило в воздухе — сквозняки. С полными ведрами проскочила мимо щекастая Стешка. Стрельнула взглядом из-под платка — какая горячая. Толстячая в двух своих вигоневых кофтах под серым своим застиранным халатом, в вечно резиновых сапогах. Сейчас в теле повысится градус, и долой с себя кофточки, цыганская кровь. "Им, дояркам, нельзя, они — женщины, а мужчинам в Подшибякино разве можно? Кочегарить так кочегарить, по поводу и без повода. Нацепляли вагонов своих и не своих, лети вперед, наш паровоз, только кур, гляди, не передави... Или опять взгляд не тот, из волчьей ямы?" Егору надо было загладить вину перед Стешкой. Надо же, опять занесло его с друзьями к алатырским девкам...

У ворот слышался шум. Крепкий мужской голос разносил всех по косточкам, отдаваясь вакханалии слов с удоволь-

ствием. Слова ударялись о резкий бетон, ажники уши у коровенок, особо у молодых, впечатлительных, прыдали и выворачивались в сторону агитации. Егор узнал Бодракова — жив, курилка, гори оно синим огнем, без него дело тут не освятится.

Доярки сбились в кучку. Егор приблизился к форуму и сообразил, за что Бодраков, осерчав, извлекает хамство из своих резонаторов.

— Коровы не кормлены, не поены, а ведь не Восьмое марта! — вошел в раж Бодраков и выходить оттуда не собирался. — Одна вода кругом и никакой жирности, и это в напор молока! Сто литров сейчас потеряете, потом и флягами не натаскаете, речки не хватит. Нагонять до-олго придется, может, нас уже тут и не будет...

— А куда же это мы денемся? — наконец встряла со своим словечком Чернова Нюра, тамада-воевода, надоело молчать. — Куда ж ты, председатель, нас определяешь? Где найдется еще такие местечко, чтобы доярочки так вот в говнах по горло купались, в фартучке по пятнадцать тонн за смену на своем животе таскались. А буренки наши должны по лужочку ходить, травку щипать, а не в стойле, как в кабинетиках, газетки почитывать...

— Ладно, Нюра, ты помолчи, — выключил ее Бодраков, продолжая орать прямо перед собой, никому, в пустоту. — Не в тебе дело, а вот про них, про "маяков" этих, от которых как от козы молока, гори оно синим пламенем. В конце концов все отражу на бюджете...

Тут Бодраков и заметил Егора Тиганова. Может, конечно, и раньше заметил, но продолжал орать так, из высших политических соображений, чтобы другие, какие слабее, боялись. И когда соображения кончились, тут-то он его и заметил. Остаток речи Бодраков завершал уже за воротами. Бурча "что мы, каторжные, что ли, пушай жену свою запряжет, конторских доить пригоняет, а мы культурненько передохнем", доярочки начали разбредаться по стойлам. Егор подошел к Стешке и, наклонясь, перехватил у нее ведро. Все только что слышанное тут же отлилось у него в формулу, которую Егор тут же и выложил Стешке, глядя в спину удаляющемуся Бодракову:

— Не верь, не проси и не бойся.

— А я и не боюсь, — тряхнула Стешка пышной чернявой своей головой, забирая обратно ведра свои у Егора.

Егор поймал ее за руку, стоял перед ней, а на донышке у него была все она, волчья яма. И ночка непроходимая, когда

дома он, Егор, не ночевал, и тот вечер, какой она провела тут на ферме. И те ночи, те нехорошие вечера, какие будут потом — впереди, если будут. И, чтобы их не было, Егор вновь и самым решительным образом отстранил Стешку от ведер: женщину надо, гори оно, уважать и ценить, чтобы она дольше в постели играла.

Таская кукурузный силос, Егор играл ведрами, словно мячиками, есть силушка, таскай, пока молодой. И с каждой ходкой к Стешкиной группе силушки в нем прибавлялось, распирало его изнутри. Краешком ведра Егор бил с ходу, как в сало, в эту общую кучу, ведро сразу же набивалось до дна, и тогда он ловко перевертывал его, переполненное. И подхватив оба ведра за дужки, он, поджимая живот с распухшими яйками, трусцой покрывал расстояние между ямой и самой фермой, еще быстрее перебежал через распахнутые двери до половины коровника, где Стешкины буренки уже ждали его, вытягивали головы навстречу, вели вслед матово-фиолетовыми глазами, в которых отражались ворота с кусочком стального неба, и он, Егор, со своими ведрами, и коровы напротив, такие же, как и они, но только не Стешкины, а другой, Ньюриной группы.

— Бодраковская узница, — гладил словом Егор корову и вываливал ведро в ясли особи черно-пестрой породы, на которой висела табличка "Дива".

В первый раз с утра ее водили к быку, аж хлопьями все еще спадала пена с губ. А Стешка разгребала силос по яслям, поливала водой из шланга — черная, длинная такая кишка, так и играла ею Стешка, баламутка такая.

Дива норовила поймать Егоров пиджак, лизнула его бесконечным своим языком, с языка вместо хлопьев уже ниспадали бесконечные, тонкие, прямо-таки балалаечные струны. А вот соседняя коровка до Егора не дотянулась, и басистый, мягкий, сыровато-проваленный звук огласил помещение:

— Му-у-у-у-у-у...

Егор потрепал ее по ушам: терпи, вдовушка, черт с ним, с Бодраковым!.. Ему нравился этот запах — кисловато-пресный, слегка забродивший запах сеголетнего кукурузного силоса. Нравилась эта работа, сравнимая разве что с работой, от какой его отлучили, — с землей. Нравились эти люди, которых он знал с самого детства, и они с самого детства знали его и маму.

Наносив корму Стешкиным коровам, Егор пошел с ведром вдоль клетушек, к соседней группе. И так до противоположных ворот, в которых пару часов назад исчез Бодраков. Исчез, а впечатление оставил, — тоже мне импрессионист.

Этот все может, нарисует такую картину, гори оно синим огнем, что с десяток реалистов с высшим юридическим после не разберутся. "Не верь, не проси и не бойся!" Синеватый, отливающий кровью сенной стог виделся Егору в вечеряющих сумерках. Недавно в оболешевской библиотеке ему попалась книжка о французских импрессионистах — Эдуард Мане и Клод Моне. "Ничего, занятная штука... А Бодраков — идиот, я ему это припомню, он еще у меня насидится... на пенсии..."

И все же чувство вины перед Стешкой, раз возникнув, не проходило в Егоре. Редко мы, слишком редко доставляем любимым хотя бы минуты счастья. Редко любим мы настоящее, все больше в прошлом витаем и будущем. Если бы в мире можно было что-либо изменить...

— Трофимыч! — как с того света, раздались смешливые голоса. Это пошабашили доярки, значит, пора по домам. — Мы тебя в наряд записали. В конце месяца приходи за зарплатой, Трофимыч.

Если бы можно было что-то в нас изменить. Слишком привыкли мы преодолевать, воевать и околевать. Мы же искусственно их создаем, эти трудности, мы же без них не можем. Сами и создаем, а то как же, чтобы больше биться потом головой в ворота. И шишки при этом почитаем за доблесть. И все нам "передний край", "трудовой фронт", "наступление на бесхозяйственность", "страда рождает энтузиазм." Как будто нельзя просто трудиться, просто работать и просто жить...

— Егор! — толкнула Стешка Егора в спину. — Заснул, что ли? Я сейчас, сниму халат и домой.

..."Если бы что-то можно было изменить и вне нас. Такая машина, гайку пальцами не отвернуть"...

— Ну, вот я и готова, — взяла Стешка его под локоть.

И чтобы хоть как-то уменьшить вину перед Стешкой за все свои подвиги, какие были раньше и будут, возможно, еще, Егор положил руку ей на плечо:

— Едем в город, Стеша, посмотрим квартиру.

Она поднимала взгляд медленно, тяжело, как сорок пудов подымала.

— Когда? — косил при этом глаз у нее от волнения.

— Да хоть завтра, — живо ответил Егор.

* * *

И все же Стешка узнала про волчью яму. Во сне он, что ли, проговорился? Уж если он сам дошел мыслью до крайно-

сти, до исходной точки, с чего, собственно, все началось, — от Петра, то отчего бы не дойти до такой точки и ей? Чужая душа — потемки, тем более женская, и что у нее там на донышке?

Все эти дни после обеденной дойки Стешка не являлась домой.

И вот из окна своего пункта, что в Оболеншево, Егору показалось, как в подворье напротив мелькнул жаркий Стешкин платок. И думы Егора сплотились, свелись к одному — к Петру и Стешке. Однако, представляя во всех подробностях то приход в Тигановку Стешкиного Петра, то как Стешка схватила тогда топор, — она такая, убить могла мужика, — Егор приходил к выводу, нет: не может быть, зачем Стешке Петр? В самом деле, зачем же тогда у них со Стешкой было все это, зачем? Нет, уж лучше все самому рассказать: про волчью яму, про свои подозрения, так будет лучше, честнее, чем нести этикие вериги. Видать, не каждый способен хранить в себе тайны, непременно надо выпростаться перед кем-то, облегчить свою участь.

В этот раз Стешка прибежала домой возбужденная, прямо в рабочем халате. Шварк с себя на коник этот свой жаркий платок, волосы по спине так и раскатились — Черное море, волна непокорная.

— Была в Ярище у Бодракова, — набрав шпилек в рот, шепелявила Стешка, покоряя руками за головой тяжеленную прядь. — Все ему выложила. Заявился, распек нас и деру. Больше плетушки таскать на пупе не будем! Пускай вводят малую механизацию. У нас в Оболеншево корма на лошадях развозили... Писателя утром приводили на ферму, выступал-распинался: мы, говорит, женщину ослобонили, женщина у нас "эмансипе". Ну, бабы ему и показали фартуки — вот она где, ваша эмансипация. "А отчего ж тогда, — говорит писатель, — продолжительность жизни у женщины больше, чем у мужчины? — "А от того, — отвечают бабы, — что, значит, она у мужчин короче." — "А отчего короче?" — спрашивает он, все допытывается. — "А оттого, — отвечают ему, — что раньше мужик был спокоен за дом, за детей, работал себе и работал, а баба дома. А теперь от одного расстройства скоро окончательно вымрет." — "А что же тогда не вымираете вы, женщины?" — вот ехидный какой писатель попался. — "А оттого, что баба что тебе кошка, — ответила я ему. — Сбрось с пятого этажа — встанет на ноги и пойдет." — "С ума сойти! — удивился народный писатель. — Какая живучесть немыслимая... Естественно, куда до вас, таких героинь, мужику..."

И Стешка рассмеялась в сахарные уста. Вот сейчас, как царевна-лягушка, сбросит шкуру с себя — эту свою серую, вонючую робу, всю в пятнах, протухшую силосом, комбикормом, даже рыбьим жиром, всем этим кислым, сладким, соленым, даже селедкой. Не женщина, а химическое предприятие, тяжеловесный состав из семидесяти вагонов, вблизи которого не выживают и мухи. Сейчас она вынет ноги из резиновых своих вечных сапог да сунет их если не в золотые свои башмачки, то хотя бы в домашние тапки и разом превратится если не в Золушку, то хотя бы в Стешку в простеньком своем ситцевом платишке. Нет, куда алатырским девам до Стешки. Даже голые, они не имеют тех преимуществ, что имела для него сейчас Стешка. И хотя та, алатырская, была предназначена для Бесноватых Геннадия, но она все лезла в речке к нему, все обхватывала его, Егора, за шею: "Ах, боже, я сейчас утону!" — "Тони, стерва, да захвати с собой Бесноватых, что ему делать тут, ненормальному, без интриг, без подводных течений." — "На то щука, чтоб карась не дремал." — "На то и сука, чтобы жечь в воде голыми лытками, да гляди, девочка, не обожгись..." Хотя и лезла она, но вина перед Стешкой была у него не такой уж большой. Если бы, стервняда, коснулась и уплыла, а то ведь все вертелась перед ним на разной глубине, в разных позах и положениях...

Решено: едем со Стешкой в Алатырь. Пока живые, будем рожать. Держаться будем подальше от Петра — ее муженька, надо что-то делать для нее, Стешки. Стешка ходила по горнице, все причесывалась, так что искры летели с распущенных ее, змеистых до полу волос.

— Голова разболелась, — поморщилась она. — Голова как будто чужая.

— Вернемся тем же автобусом.

— Да я не про то.

— А я про это.

Не ожидал Чернобай их приезда. Сказал просто так, поддержать Егора Тиганова на крючке. И вот он, Егор, явился не запылится вместе со Стешкой. В том, как Чернобай забежал по комнате, заговорил в слащавой, приторной манере, стал включать то телевизор, то магнитофон, Егор уловил неестественность, даже фальшь. Говоря так, на кого же он, Чернобай, рассчитывал — на деревенскую серость? "Кгм, — одернул себя Егор. — Вот приехал чукча в столицу. Сидит и ждет, когда хозяин и его на супружеское ложе положит, а сам пристроится где-нибудь в ванне..."

Но из другой комнаты вышел не чукча, а высокий, перегибистый в поясе молодой человек. Серьга в ухе, на груди металлическое ожерелье, на руках металлические запястья. Кивнул им в ответ:

— Вакула.

— Имя такое? — заплясала на месте нетерпеливая Стешка.

— Фамилие.

— Сам ковал? — кивнул Егор на серьгу и браслеты, не замечая грамматической серости.

Вакула только выше подкинул запястья.

"Вот как. Больше металла, чем даже на тракторе, — успел шепнуть Стешке Егор. — Бронзовый человек".

— Не металлолом, а мэтал-лист, — возразил, однако, Вакула.

— Вот видишь, все слышит, — повернулся Егор к подруге. — Во какой, а ты говоришь, он глухой.

— Кто глухой, он? — выходя из ванной, подхватил Чернобай последнее слово. — Нет, это герой моего романа, друзья. Первый мой пациент. Я на нем лечение отрабатываю. Лечу оригинальным, безболезненным способом. Кстати, весьма современным. Нас в стране таких двое — Гунн и я. Гунн — слышали про такого? Ну как же, лечит самых-самых в стране, снимает нервные расстройства, стрессы и всякую мелочь, вроде головных болей, желудочных колик... Я, пняешь, белый шаман. Шаман, но белый. Белый, но шаман. Да, не так давно открыл в себе такую способность. Подхожу к телевизору, а из меня электричество, прямо молния ударила от меня в телевизор, даже картинка запрыгала. На другой день попробовал — тот же эффект. Понял: я — генератор, излучаю энергию, редкостный экземпляр. Вот служу народу, не зарываю в землю талант. Гунн, кстати, еще и пишет стихи...

"И ты тоже пишешь", — подталкивала Стешка Егора.

Чернобай между тем, не стесняясь, работал прямо при них. Четкими, выверенными движениями он постелил на диване белую простыню, плюхнул на нее пациента. Уложив его столь оригинальным способом, хозяин еще и поинтересовался: "Ну как, ничего, хорошо?" Шторы были плотно закрыты, в комнате был разлит синий свет... "Итак, приступаем к сеансу. Ничего-ничего, можем и при свидетелях. Это даже возбуждает меня... Так, делаем пассы. Руками. Широкие круговые движения. Захватываю в свою орбиту твои силовые линии, подчиняю всю твою жизненную энергию... Тепло сходит с моих пальцев и переходит в тебя. Ты талантливо рас-

слабляешься, ты расслабляешься талантливо, ты расслабля...
Гори все оно, черт тебя..."

— Нет, никак не могу, — прохрипел несчастный металлист на диване. — Что-то держит, душит. Падаю, как с самолетом.

— Проклятый металл! — сорвал Чернобай серьгу с уха Вакулы. — Легко расставайся с металлом, не жадничай... Итак, ты расслабляешься, ничто уже не держит тебя в этом мире. Все страхи позади, позади, впереди только радость, горные вершины, плавный, свободный полет!.. Головная боль проходит, проходит, проходит — ты летишь, летишь, дышишь легко и ровно — ты талантлив, ты гений, лети...

Но Вакула так и не заснул: попался, видать, неталантливый, бездарь такая. Чернобай даже плюнул ему вслед: алкаш несчастный!

И усадил их со Стешкой пить чай, а сам через стол все оглядывал Стешку своим мужицким, раздевающим взглядом, видно, еще не вышел из роли. Стешка встречала этот взгляд гораздо мужественнее, чем Егор мог бы это предположить.

Продолжая жечь ее взглядом, Чернобай сказал вдруг совсем другим голосом:

— У вас болит голова.

— У кого она не болит нынче, — усмехнулась Стешка.

— Болит сердце, — настаивал Чернобай.

— А сердце тем более, — передернула Стешка плечами.

Чернобай встал и вышел в другую комнату, пригласил за собой Егора.

— С ней что-то творится, — тихо сказал ему Чернобай. — Она плохо кончит. Если не помочь, вероятно, сойдет с ума.

Егор со Стешкой вышли от Чернобая на улицу. Уже за следующим домом, откуда их в окно не было видно, Стешка остановилась и притянула к себе Егора.

— У тебя болит голова, — сказала она голосом Чернобая, глядя в глаза ему своим черным, провальным взглядом.

— У кого она не болит, — усмехнулся Егор.

— И болит сердце, — настаивала Стешка. — Зашемление между третьим и четвертым позвонками. Тебе грозит неподвижность, ты будешь прикован, и я буду ухаживать за тобой.

— Н-да? И как ты все это узнала? — поинтересовался Егор.

— А по точкам в глазах.

— По точкам? Откуда ты знаешь про точки?

— Про позвонки я говорила и Нюре Черновой, у нее защемление.

Уже возле вокзала они вспомнили, зачем в город сюда приезжали. Ну, Чернобай! Ну, квартирный вопрос! Разве сразу не ясно было, что это все у Чернобая игра?

С неба капнуло. Над головой зависала тучка.

— Серебряный дождь лился ему прямо в карман, — поймала Стешка ладонью живую, покатучую каплю.

— Ой ли? А почему не золотой?

— Золотой? — рассмеялась Стешка. — Золотой дождь льется лишь на одаренных, талантливых. На таких, как этот Вакула.

И засмеялись теперь уже оба. И, стараясь попасть ногой в ногу, они прошагали вместе остаток алатырских улиц до самого автовокзала.

Х.

Деньги и документы были в черной дерматиновой сумочке, аккуратно этак завернуты в целлофан. И вот все это как корова языком слизала. Ни в пыли, ни на дороге, ни в колдобинах, ни в кювете. Не могло же, в самом деле, унести сумочку ветром. Деньги ладно, хоть бы нашлись документы: новая книжка квитанций, корешки от этих квитанций, выписаны сдатчикам в основном за картофель. Да и деньги — ничего себе, тысяча двести рр. Общественные и свои, кровные, собирался сменить передний мост в "Москвиче", подносились подвеска. Сам, выходит, себя наказал... Тиганов Трофим потыкал веткой в лужу. С зеленоватой поверхности поднялся слепень и, жужжа недовольно, умчался по направлению к лугу за Ярищенской фермой. У, кровосос! Лети-лети, ищи-ищи подходящую спину. А лужа была настолько мелка, что, брось в нее спичечный коробок, и тот бы торчал, небось, наполовину.

Как в кино, будто произошло все только что, а не вчера вечером. Вот здесь остановился "Москвич" — это факт, это точно. И он, Трофим, вышел и поднял капот, начал копаться в моторе. Мотор завелся с чиханьем, протащился метра четыре и вырубился окончательно. Такие-то сухари...

Для устойчивости мысли Трофим присел под березу. Ветерком затрепало рубаху, но кожа ничего не ощутила. Едва рассвело, а многие уже без пиджака. Значит, день опять будет жаркий. Первое бабье лето, поди ты, как держит марку. Так рано никто по этой дороге не сзживал. На пыли ни сле-

дочка — он, Трофим, получается, первый. Но где же в таком разе сумочка с деньгами и документами, где она, спрашивается?.. Итак, выйдя из машины, он первым делом глянул куда? — На подвеску. Потом потрогал передний баллон руками. Значит, в руках ничего уже не было? А ведь, выходя из машины, он не имеет привычки оставлять сумочки на сиденьях. Значит, чтобы взглянуть на подвеску и потрогать руками баллон, он должен был куда-то сумочку определить? Правильно, положил поближе куда? На видное место, на капот. Правильно, потом поднял капот и стал копаться в моторе. Завел его и проехал несколько метров, и сумочка с капота, конечно, сползла. Она лежала, естественно, позади, наземь, на тех трех-четырех метрах, которые протащила машина, а он, Трофим, расшибался — искал свою сумочку там же, где и стоял. Вот и все, что тут неясного?.. Однако ночью здесь все же кто-то проехал и поднял сумочку. Но кто же это?..

И Трофим взглянул на село протрезвленно, иными глазами. Ярище просыпалось, над крышами начинали столбиться дымы. В конце концов кто-то вор, если способен поднять на дороге чужое и прикарманить... На чужой беде счастья не построишь...

Дорога эта глуховата. Редко ездят по ней, в основном до берега и обратно, и только те из ярищенцев, что имеют дело с рекой. Бросят с вечера бреденек, а утречком едут проверить: что в карне, то твое. Бывает, такую вытащат щучку, что страшно смотреть: не зубы, а сабли, семье на неделю питания. Каждый на селе знает про каждого: кто чем дышит и чем пробавляется.

Трофим постоял-постоял, покрутил-покрутил мозгой, приняюхиваясь к дымам родного отечества — кто что варит и парит сегодня. И через старый, заброшенный сад, мимо конторы правления направился к дому на горбунцовском конце, крайнему от заправки.

— Заходи! — на стук в дверь раздался зычный голос хозяина — Ялдохина Витьки, бригадира второй тракторной.

— Здорово, — ступил на порог Трофим.

Витька как раз брился, крутился, змей, так и этак перед автомобильным зеркальцем, вмонтированным в зеркало русской печи. И под нос себе напевал песенку, которую исполняла его любимая певица София Ротару, этим он прикрывался специально, чтобы не слушать гудню жены своей Клавдии.

— Садись, — кивнул он Трофиму на коник и потянулся

за трехлитровой банкой тут же за фикусом, выброшенным отчего-то на кухню.

— Не-е, — замотал головой Трофим и положил сверху ладонь на кружку. — Разве что квасу, квас я тоже выпить не дурак.

— Клав, квасу Петровичу, — дал указание в горницу Витька, продолжая бриться и напевая Ротарину песенку, из которой упоминалось лишь "ля-ля, ля-ля". — Насчет квасу Клавкина прерогатива, — пояснил он Трофиму.

Бритва, похожая на турецкую саблю, взлетала в Витькиных руках, как ласточка, и, опускаясь на мощный Витькин кадык, косила Витькину флору, словно картофельную ботву. Даже сердце екнуло у Трофима от грозящей Ялдохе опасности.

— Броится, набривается, — рывом поставила Клавка кружку перед Трофимом. — Всех девок перепортил, подлец, в Ярище, посогнал из села, до племянницы, кобель, добираться?

— Видал? Я, выходит, гоню молодежь из села, — усмехнулся Витька, баландая бритву в алюминиевой кружке. — Они тут желают остаться, а я их гоню. Вот интересный ответ, отчего обезлюдела наша деревня. Академики головы ломают, выясняют, а Клавке моей все ясно. И чем, спрашивается, я их гоню?

— Мотовилом своим, — буркнула Клавка, бить так бить промеж глаз, а чего?

— Вот дура, какая ревнивая, — совестил жену Витька, продолжая напевать Ротарину песенку, лезла же в голову эта стерва: — Ля-ля, ля-ля-ля-ля... Разве же этим гонят? Дура, наоборот, привлекают.

— А че ж они поудрали, все твои ухажерки? — пристраивалась Клавдия к ихнему разговору, сгорая от любопытства, чего это препожаловал к ним нарани Тиганов Трофим, по какой-такой надобности.

Помазком Витька мылил-намыливал щеку — не щетина, а проволока телефонного кабеля, а сам пояснял жене:

— Бодраков их гонит — вот кто! Своей экологией. — Жене Витька долбил громко — туда, в горницу, а к Трофиму наклонялся, говорил доверительно, тихо, Клавке неразличимо: — У меня хоть на экспорт, такое дело, — пеньковый канат. Помогаю по силе возможности росту нашего населения. Вот привязалась, я счас... Клав, глянькося, — после паузы бабьим голоском протянул Витька Ялдохин, подмигивая одновремен-

но Трофиму, — почтальонка пошла, телеграммой махнула, телеграммку тебе отбили, опять вызывают... Уходить, ушла уже, Клав, скрылась за Селивановыми...

И не выдержав, опрометью Клавка кинулась в дверь.

— Ну что тебе? — нормальным тоном сказал Трофиму Витька Ялдохин.

— Да это, — замялся Трофим. — Такая-то, брат, история. — И выложил напрямую, как оно есть, раз без Клавки-то, некому будет по деревне трепаться. — А теперь вот как хошь, помогай или не помогай, дело твое.

Первое время Витька сидел, как зачумленный, не двинул и пальцем.

— Обижаешь, Петрович, — наконец шевельнулся он. — Подозреваешь, да?

И потянул за рукав Трофима, оба вошли в сени, а уже через сени в кладовку. Витька сдернул с ванны брезентовый плащ — в ванне, ощерясь, лежал оковалок — шука.

— Вот, — сказал Витька. — Вот куда я вчера вечером ездил. Другой дорогой, не этой. И еще до заката. Веришь ли? А если бы этой, в ванне воду сейчас бороздила бы всякая нечисть: пескари, плотва, логично?

Для инспекции Трофим сунул палец в щучье хлебово, пасть мгновенно сомкнулась, Трофим аж заплясал на месте, как будто дверью ему между ног прихватило.

— Это она уж уснула, — извлекал Витька палец Трофимов из плена, расщепляя щучью пасть своим ятаганом. — А то бы она тебе его начисто... На, бери свою крестную.

И завернул дуреху в брезентовый плащ, сунул под мышку Трофиму.

И оба снова вернулись на исходные рубежи: к столу, на кухню. Обсуждали уже по-родному: кто бы ночью мог там проехать, документики мог прихватить? Трофим сидел с перембинтованным пальцем...

И тут из горницы вышла, вихляясь, Клавка.

— Ты откуда, Клавусь, ай влезла через окно? Дюже тихо стало тебе, не слышать, о чем мы гуторим. Бессовестная, вот бесталмашная, подслушивала мужской разговор... Ах, умчалась почтальонка, унесла телеграммку-то? Так тебе и надоть, хамлетке! Ах, куда телеграммка? На блядки. Вас, таких, Бодраков вызывает на свою... экологию... Ах, дурак я? Конечно, дурак... Что такое "экология"? У Бодракова свово спроси, он тебе ее, может, покажет...

— Ладно тебе, бычило, — одернула мужа Клавдия. —

Знаю, слышала все, не дури. — А сама совала Трофиму красивую жестяную коробочку, такие сейчас не выпускают, что-то давненько не видывалось. Может, оттого, что не чай, а палки пошли вместо закавказского чая, стыдно их, палки-то, в красу такую совать, а может, скоро вовсе не будет и палок-то?

Трофим приоткрыл крышку: деньги, две сотенные.

— Что это? — обернулся он к Витьке.

— Витьке на зимний пиджак собирали, — встала напротив Клавдия и, пригорюнясь, подперла щеку пальцем. — Ну да ладно, еще наберем... А тебе надоть. Небось, каждый рубль тебе теперь важен.

— Как на погорелое даете, — вспыхнул Трофим. Но подумал: здесь живут честные люди. А то все говорили: несуну, несуну. Совсем народ в воровской превратили. А и в несуне отличай человека: несет, но куда — домой ведь, в Россию к себе, а не куда-нибудь в Эфиопию. Но и несунув различай: какие из дому волокут, а какие — домой. Да что деньги? Была бы кость, а уж кость мясом в конце концов обрастет. Мы с такими людьми, как Витька, взойдем на любой перевал, мы такие!

После Ялды, которого звали так все по фамилии, а за имя — фамилию человек, как известно, ответственности не несет, у Трофима возникли еще кое-какие кандидатурки. Перевязанный палец, этот след щучьей улыбки, пронес Трофим мимо школы, магазина, правления, почты, медпункта — пусть посмотрят, пусть видят, как все оно ему достается.

И уже возле пруда Трофим свернул в закоулок. Здесь была одна-одинешенька хатка и жил кладовщик. Всегдашний. Вечный. Как какой-нибудь Бокасу из Центральной Африки, которого подданные хоть и поздно, да все-таки раскусили. И жил-был здесь человек: по паспорту — Самофалов Геннадий Лукьянович, а по-уличному то Гений, а то Долбоум. Когда как, вперемешку. Сразу после войны, желая подкатиться к тогдашнему председателю, Самофалов придумал себе такую присказку. Мы, дескать, с председателем тезки, мы у вас генни, стало быть, колхоз до конца не пропьем. Так с этой сказкой и жил он долгие годы, крутил председателями, как хотел, потому как у председателя — слово, а у него — бразды, материальная база. Куда хочу, туда и верчу. Захочу — отпущу тебе через кладовую леску, а завтра, если что, ты у меня, сволочь, оближешься, нечем будет и в зубах поковыряться...

Полон двор был у этого Самофалова — от плуга трехлемешного до бетономешалки. Все это стекалось сюда, в хату,

во двор, и оседало. И за годы так наоседалось, что если бы Самофалов знал такие выражения, как "антикварная лавка" и "раритет", то наверняка бы уверовал, что это как раз про него. Все железное, деревянное, тряпочное в Ярище, даже электротехническое, мясное и хлебное, даже бумажное, липло к нему, как к магниту ну просто невозможной подъемной силы.

Короче, Трофим знал, кого клясть, куда слово класть, к кому направляться. На него, как и у всех ярищенцев к аппарату и аппаратчикам данной Системы, у Трофима была своя, так сказать, "аллергия".

А Гений завтракал. Тщательно пережевывал пищу вставной металлической челюстью. А мясо, небось, не свойское. И тарелки не свои. Простыня, на какой спал, и та скорее всего не своя. "Из кладовой! — сплюнул Трофим. — Куда все складывается, чтобы потом кое-кому выдаваться по личному указанию Бодракова через Коротееву, экономистку. Например, шефам из города и рабочим, приезжающим с Украины на прополку сахарной свеклы, уж мы-то знаем, куда все идет и как это все оформляется. И только челюсть у Долбоума своя, и ту провел, подлец, небось, через специальное обеспечение".

И вот Трофим Тиганов сидел напротив Самофалова — Геня (это зовется он так у председателя, у подхалимов), торчал около Долбоума (это звали так люди его за глаза). Воззрясь в плоское, срубленное топором, еще не старое, но уже обрюзгшее лицо, дойдя в себе до такой невероятности, о чем думал Тиганов? А что если все имеющееся в Самофаловой кладовке и вокруг Самофаловой хаты пропустить через эти вставные челюсти, что от этого произойдет? "Сколько вас таких, сколько по стране Бодраковых да Самофаловых? В своем районе и то не счесть, это же тьма-тьмушая; мухота, мильены, — себе оставляет большую часть, остальным раздает малую толику." В последнее время Трофим развернул такую мысль, что он как заготовитель делает то, что, по правде сказать, обязаны делать они, Бодраков с Самофаловым. Это они должны кормить население, а фактически кормит город он, Трофим. На их стороне — земля, все ресурсы, колхозы, техника, специалисты, в конце концов институты, которые клепают этих самых специалистов, заводы, которые клепают эту самую технику — агрегаты, трактора и комбайны. А на Трофимовой стороне что — приусадебные участки, старики и старухи с лопатами, в крайнем случае с лошадью. А выращивают на участках картошки, например, даже больше, чем все

эти хозяйства даже в ихнем специализированном районе. Все в алатырских магазинах только и ждут, когда это он, Трофим, доставит для рабочего класса свой сельхозпродукт — картошку или баранинку. Тогда в Алатыре праздник, в шашлычной жарятся шашлыки, Госбанк выдает без задержки зарплату. "Предвижу, как только помрет бабка Мотя, старушка Акинтьевна, у нас начнется мрак, глад и хлад..."

И тут Трофим так разволновался, так все у него внутри переболталось, что живот у Геня начал расти прямо-таки на глазах у Трофима, уши настолько опустились, что стали плескаться в полутораведерной миске, из которой тот брал целиковую картошку и глотал ее, нечищеную, прямо глудками. Трофим сидел перед ним и ужасался: это сколько надобно пищи, чтобы набить эту чертову прорву, утробу похабную, бездонную бочку... Так задумался Трофим, что едва не грохнулся с лавки, придремнул маленько, пока кладовщик насыщал свое чрево. Ночь-то была у Трофима какая, на нулю сон, практически не удалось сомкнуть глаз.

Про себя Трофим уже тыщу раз чертыхнулся, обозвал Геня кретином, а лучше бы, как и все, — Долбоумом. На каких кадрах держится Бодраков, на кого опирается? Кому дает если и не прямые свои распоряжения, то намеки, полунамеки, то умолчания, неудовольствия, в общем, употребляет этот свой "птичий язык", который воспринимать Гений до того наблошился?

Развелась особо в последнее времечко такая братва, что уже, не стесняясь, их все называют "чиновники". Трофим наблюдал за такими в Алатыре. Вечно точат, грызут, прогрызают даже бетон. Если же они не будут точить, зубы, не стачиваясь, пойдут расти внутрь, надавят на мозги; това-арищи! да они же в конце концов все перебесятся...

Все эти несколько месяцев Гений, хотя ему не было еще и пятидесяти, ходил по Алатырю с костылем и, тряся буйной своей шевелюрой, пробивал себе пенсию, нажимая на сотрудников и вообще на милосердие "по случаю потери былой своей трудоспособности на почве крупного веса и ненормального живота". Так витиевато Гений и выражался письменно, а также и устно во всех приемных, пороги которых он обивал...

В другом случае Трофим прошел бы мимо окон Самофаловой хаты, да вот беда привела, куда денешься?

— Как жизнь? — сказал Трофим, чтобы опять на ходу не заснуть, не зная толком, как будет он сейчас потрошить этого Геня.

— Хороссо-о, — неожиданно тонким, почти детским голоском протянула этакая глыбища, будущий пенсионер, которому все-таки выделяют пенсию, жалко, что ли, своему человеку.

"Жену твою к березке пнут, а тебе все хорошо", — не дрогнул Трофим на лице ни единым мускулом. Дело в том, что вчера лично он, Трофим, подвез из Алатыря Тиганова Кольку, подполковника пожарной госбезопасности, отпустил, и поневоле оказался соучастником горячей Колькиной встречи с женой Самофалова — Веркой, учительницей, давнишней подружкой Кольки еще со школьной скамейки. "Сколько веревочке ни виться, а конец будет, — тотчас подумалось Трофиму, и мысль его перекинулась снова на Самофалова. — Что же ты, байбак такой, ай ничего не шурупишь? Гений же... должен беситься". На этом предположении и строил Трофим свой визит к кладовщику — бодраковскому прихвостню. Такой глазастый, досужий, все по хозяйству видит, держит в руке материальную базу, да чтоб не заметить, как собственная жена его шлындает по березнякам? Да всю дорогу бы от Ярища до березняка того пузом бы прополз, все изъездил бы и притолок... Да, но как подобраться к сумочке-то, потерянной ночью? Вот в чем вопрос.

— Портсигар золотой посеял, не подымал на дороге? — выпалил вдруг Трофим и впился глазами в Геня.

— Портсига-а-ар... золото-ой? — заморгал Самофалов глазами и вздохнул протяженно, положил руку себе на сердце: — Нет, Петрович, не подымал. А что в портсигаре-то, деньги?

— Деньги и документы.

— В золотом портсига-а-ре? — расплылся Самофалов в широченной улыбке. — Кино, Петрович, смотришь по телевизору, а я кино не смотрю. Золотые портсигары еще когда в "торгсин" сдали, это тебе все приснилось, Петрович.

— А что же тогда ты нашел — пистолет?

— Ты на понт меня не бери! — поднялся Самофалов из-за стола. — Ничего я не находил.

"Непрошибаем. Но что-то есть, какая-то щелочка. Будем долбить".

— Ничего, значит, не находил? Ни золотого портсигара, ни пистолета? — не отставал от него Трофим.

— Да это я так, пошутил... Ну а кто тогда что потерял?

И Трофим снова впился глазами в Геня: гении тоже бывают разные, иногда и они поддаются.

— Когда? — не прятал глаз Самофалов.

— Этой ночью. В ярищенском березняке.

Трофим весь позеленел от натуги: щелка расширилась, щелка раздвинулась. "Неужто из-за чужих денег, из-за какой-то сумочки, небольшой такой сумочки, о которой вчера ты и представления не имел, а сегодня она свалилась тебе, как с луны, и ты вцепился в нее, как черт в грешную душу, не хочешь расстаться, неужто мы в народе так опустились, что не умеем, уже не способны правды сказать друг другу, куда мы зашли?" Капельки пота выступили на сыром лице Самофалова. Видно было, как он мучился, боролся с собой. Господи! Из-за чужого-то, из-за какой-то тысячи сжигать так себя. Трофиму стало жаль человека, а ведь когда-то был молодым, женился, собирался жить в людях, с людьми. Вот что жизнь делает с нами!..

— И никакой ты не гений, — сказал ему вслух Трофим. И Самофалов скривился в жалкой такой, полудетской гримассе. Трофим не позволил себе сорваться, встал и вышел в сенцы, почерпнул в ведре воды остудиться. А когда возвратился, Самофалов сидел в святом углу ровно и недоступно.

— И кто же я тогда? — тряхнул он своей шевелюрой, прямой, как гвоздь, весь при исполнении.

— Ты — кла-дов-щик! — усмехнулся Егор. — Вот ты кто.

— Объявляю тебе войну! — стукнул о пол костылем Самофалов.

После этого Трофиму стало так грустно, в общем, тут нечего делать. Совесть в человеке, если он потерял ее не вчера, за один раз не сыскать... Собрался Трофим уходить, а картуза-то нет. Вот сюда положил, рядом с собой, на коник. "Картуз где? Только что был!" — потребовал Трофим. — "И ты думаешь, что я так мелок?!" — не сдвигался с места хозяин. — "Ничего я не думаю, а без картуза не уйду." — "Этот?" — вынес из горницы Самофалов фуражку со стоячим околышем, защитного цвета — председательскую. — "Нет, конечно". — "Эта?" — вынес хозяин другую, приклатненную фуражечку-шестиклинку. — "Эта?" — подал Самофалов Трофиму зимнюю, стеганую фуражицу — кавказский аэродром. И тогда Трофим сам шагнул в горницу.

— Вот! — схватил он с вешалки свою, родную, рядом с которой было много всякого сброда. И надел ее, прихлопнул себя по затылку: — Вот, как тут и была.

— Бери-бери, мне не жалко, — облизал Самофалов пересохшие губы. — Коли в самый раз, по тебе.

И уже на пороге, не желая оставлять последнего слова за Долбоумом, Трофим задержался и сделал пальцем ему под козырек:

— Фуражечку — нет, самому нужна, а вот золотой портсигар дарю. Можешь делать с ним что угодно.

И, хлопнув дверью, Тиганов Трофим вышел на воздух: "Кладовщик, богомать! — вышел он тут из себя, глядя отсюда на большак оболешевский. — Эта должность у него так, для прикрытия. Дочку выдал удачно. Сватья, говорят, они с вышкой, такие-то сухари..."

И еще успел в это утро Трофим кое-куда — к Афоне, чья фамилия ему была неизвестна. Афоня объявился в этих краях недавно, месяца полтора тому. По его словам, он, как с Марса, свалился в Ярище. Получив "увольнение" в местах, действительно теперь не столь отдаленных, Афоня ткнул наудачу пальцем в географическую карту областного масштаба, и вот он в Алатыре, на автовокзале. И уже тут услышал, как громкогласно объявили отправление автобуса на Ярище. Это слово легло ему на душу, оно соответствовало его настроению. Так Афоня предстал перед Бодраковым.

— Что можешь делать? — спросил его председатель. — Окромя, конечно, гадостей.

— Строители мы. Возводим дома, казематы.

— Казематы не надо, — поморщился Бодраков. — И сам наткнулся на слово: "Козе-маты, однако!" И оценил способность человека к игре. — Будешь основателем фирмы — строительной бригады. Пока лично, в одном экземпляре.

И тут дали срок Афоне — месяц для испытания. Ему было доверено перебраться шиферную крышу коровника, что в Волчьем Шляху. И Афоня таскался туда пешком, стучал топором теперь дотемна, возвращался обратно со звездами. Пристанищем служил ему двухкомнатный стандартный домик в саду, где размещали осенью "эмигрантов" — "иностранных рабочих", наемную рабочую силу с Донбасса, которая прибывала сюда в свои отпуска подзаработать на картошке и сахарной свекле.

На сей раз Афоне повезло. Местные власти в этом году запретили вывозить картошку за пределы области, установили лимиты, и "эмигранты" ринулись на Смоленщину, на плантации льна. Так Афоня оказался хозяином целого дома.

Вот в этих самых апартаментах Афоня и жил с того самого часу, как Коротеева, экономистка, обозвала при всех его "зэком" и на треть срезала зарплату на почти готовую крышу: хватит с тебя, лошадиная морда!

Входной двери у Афони не было, висела на гвоздях одеялка. Изнутри на Трофима шибануло таким спрессованным, силовым духом (действительно, как эскадрон ночевал; Трофим на что подкованный в этом деле, и тот попятился, грешным делом подумал: уж не духом ли святым снесло с петель эту самую дверь филенчатую, изготовленную в Алатырском промкомбинате слепыми-незрячими?). И окно было занавешено половинкой газеты "Труд" — не для эстетики, скорее всего от наблюдения с улицы. А на полу валялись куски хлеба, обкусанные луковицы, пустые консервные банки — все тот же родимый "Завтрак туриста". На столе четвертинку хлеба долбили нахалки-куры, забредшие сюда из другой деревни.

Сам Афоня валялся на раскладушке в ботинках, одетый, поверх грязной ватной одеялки. Ручища его была засунута в трехлитровую банку с томатами ("томатика ему захотелось"), по которой, извиваясь, ползла двухвостка. Другая двухвостка, ее подружка, пригrelась на губах у Афони; не открывая глаз, Афоня отплевывался, бормоча проклятия, воображая, что это вчерашняя муха, вот приладилась, стервоза такая, назойливая соседка.

Трофим моментально оценил: попади Афоне "золотой портсигар" — руке Афониной сейчас возлежать бы на посуде совсем иной стоимости и содержания.

— Кхм, кхм, — откашлялся Трофим, а зачем — неизвестно.

Однако Афоня разлепил сначала левый глаз, потом правый. Отыскал в свободном пространстве Трофима: "А, торгаш." И впал было снова в забытие, как вдруг его изогнуло дугой и подбросило, зубы изоржавленные заскрежетали.

— Крохоборы, воры, кровососы! — выпростался человеческий стон из нечеловечьей утробы. — Прогуляли, пропили, посадили Россию, сволочи!

— Не обобщай, не обобщай, — спокойненько осадил психопата Трофим. — Я и сам, братец, того-сего, пил.

— Ну и что?! — вонзился в него Афоня полыхающим зрачком.

— Стою вот, — замаялся Трофим, — перед тобой, как святой перед танком. Какое страшило!

— Не бойсь, — засмеялся Афоня. — Чего там, садись.

И Трофиму подумалось: не Афоне, а ему, Трофиму, лежать бы сейчас на этой вот раскладушке, в ботинках и на рваном матрасе при ином-то раскладе жизни. Это ему, Трофиму, везет на баб. А Афоне нет, не везет, вот и мыкается

человек, ищет долю свою, а где она, доля-то наша, где, кому, что назначено? И подсел Трофим к Афонс, посидел-посидел рядом на раскладушке, а потом возьми да и Расскажи ему, что думалось о житейском процессе. Про отца своего из тридцать седьмого года. Как бы жил он, Трофим, самолично, да чего от жизни хотел, от детей своих — сыновей, да что из того получилось. "Сволочи все мы, — уткнулся ему Афоня в плечо, все норовил щекой щеки его прикоснуться, губами в щеку попасть, только брызгал слюнями в лицо. — Сволочи, что сотворили с Россией! Все такие: то ножом пырнули, то сидели уже, а то еще посидят". — "А ты пробовал "Капитал" от и до?" — отодвигался от хозяина Трофим. — "Я-то? Пробовал." — "А переломить их не пробовал, духом взять?" — ощущал на губах у себя Трофим чужие, солоноватые слюни. — "Кого, бюрократов? Да ты что, пророк какой?.."

"Тбц", небось, "тубик", — брезгливо утерся Трофим рукавом уже за порогом и сплюнул наземь: — "Тубик", определено! С таких курортов здоровыми не возвращаются.

И после Афони Трофим уже не ходил по Ярищу и про сумочку не расспрашивал. Если совесть не совсем потеряна, сами ему принесут.

XI.

Однако к Природину, дружку своему закадычному (сколько вместе когда-то земли напахали, поработали на тракторах), Тиганов Трофим все же зашел. С тех пор, как Трофим переквалифицировался и стал заготовителем, отношения их, правда, охладели. Природин не одобрял Трофимов поступок: на что променял профессию механизатора! Это все Тоська, новая жена, подбила Трофима. Тоська тебе не Устинья. Та, тростинка, все трепетала, все гнулась. А эта, чуть что, дубинкой промеж лопаток, враз ребра пересчитает. Перед ней, шельмой, вон как пляшет Трофим.

Природин олицетворял в Ярище низы, и его слово имело значение. Частенько не соглашаясь с самим Бодраковым и бодраковскими кадрами, он, однако, от врожденной силы в себе и ясности цели не доводил дело до открытой враждебности. Бодракова в конечном счете и так поймут, нет таких сестей, которые бы люди сами не расплели. И вот Трофиму хотелось наладить бывшее с Природиним, использовать случай. Только Природин мог пролить на душу Трофиму бальзам.

Природин да Природин, как будто и имени нет у человека. А ведь он сызмальства Евсей. А теперь, под годами, еще и Нилыч. Только так редко кто называл человека, даже собственная жена, та вообще никак его не называла. Все по деревне Природин да Природин. А Евсей Нилыч уродился крупный такой, силы необъятной. На этот счет у всех на памяти свежий случай. Стояли ярищенцы в магазине за хлебом, а Афоня заезжий все домогался бутылки, в связи с чем поносил всячески завмага и очередь. И вот Природин слушал-слушал все это, пока ему все это не надоело. И взял он Афоню за шкуру, оторвал от грешной земли, приподнял так, что ноги у того заболтались в воздушном пространстве, да так на весу и вынес на улицу. Опустил буяна наземь, улыбнулся на всяческие слова и снова стал в очередь, — такой человек.

Тиганов Трофим решил заглянуть к Природину, слабо рассчитывая на успех: мало ли где мотается механизатор. Может, зябь пашет, может, силосную яму трамбует. Вспомнил Трофим этот случай, поразивший тогда сельчан, и потянуло его к дружку закадычному поделиться тем, что скопилось в нем за последнее время. Это как внешние воды перед плотинной: если не сбросить напор, не дать выхода, сорвет всю систему. Либо заболеешь какой-нибудь страшной болезнью, вроде рака, рак теперь гложет людей, либо сорвешься, глупость какую-нибудь сотворишь, будешь после кусать локоточки, да поздно. Природин — мужик трезвый, глубокий, коснешься ко всем его точкам, проверишь себя его советами — и живи, трудись, не корчась и не озираясь в мире этом без аннексий и контрибуций...

Трофиму повезло: Природин оказался дома, как раз менял сальники в дизеле. Присели на травку. Природин вытирал лопухом пальцы от солидола, деликатно ожидая, что скажет Трофим. Дождило. Шустрая тeneватая тучка насадала на Ярище. Освещение изменилось, резче стали дома, деревья — каждая веточка, каждая шибка в окне, даже старая, выщербленная замазка по стеклам, — все греются люди, все им мало тепла.

— Афоню бы взял в бригаду к себе, — подал голос Трофим, стебая себя по ботинку тощей травинкой с семенами-клецками на конце.

А сам думал: как бы все же сделать запрос про сумочку, может, слышал что-либо хоть краешком уха.

— Сам знаешь, в бригаде вкалывать надо, — спокойно ответил Природин.

— Бодраков бесится, кнутом понукает, видать, у самого ресурсы кончаются, — переступил Трофим с ноги на ногу. — Только и слышат от него: надо и надо, работать и работать. Все запрягает. Как будто сами не знаем. Сам бы гнул, как других призывает...

— Я бы не то что новых набирать, а и этих-то срезал, — вздохнул Природин. — Сейчас нас двадцать три в бригаде, а сделал бы десять.

— Пряткий какой, — не согласился Трофим, сам подумал: "А куда, профсоюз, девать остальных, соображаешь?"

— Дырок хватит, — ответил Природин. — Я бы конторских разогнал наполовину.

— И конторских нельзя, а "тяпки"? — перевалился с одной на другую ногу Трофим. — Кто нам свеклу тять-то будет? В масштабах не только Ярища, но и района, всей области. — Сам подумал при этом: "На сахарной свекле обходятся без ручного труда".

— Обошлись бы, да "тяпки", куда их девать? — согласился Природин с Трофимом. Зато Трофим внутри себя уже шел на попятную: "В самом деле, один с сошкой, а уже, наверное, двадцать с ложкой. На чем держатся, разве ли бюрократию".

— Вот-вот, весной картошку в буртах сам будешь перебирать, — поддакивал другу Трофим. — Раз Афоня тебе в бригаде не нужен. Кто ж Афоню-то, кроме тебя, пожалеет?

Сидели молча. Трофим подбирался мыслью к утерянной сумочке, а Природин смотрел себе под ноги: неужто Трофим все это всерьез? Давненько не сживали за одним столом, не гуторили.

А тучка между тем зависала, взбухла.

— Как в торговлю пошел, стал иным человеком, — нарушил молчание Природин. — То напрямую гнал, а то теперь все объездами.

— Так торговля же, Нилыч, — назвал Трофим Природина по отцу, тот с непривычки вздрогнул, даже пригнулся. — Вот ты глянь, какой вымахал. Большой мужик, а есть еще больше. И вот те, самые большие, "большаки" вроде Бодракова, всеми делами и заворачивают... Поработал в торговле сам, ко всему пригляделся. Сказать откровенно, производство у нас не тянет, а это чревато. Там дыра, тут прореха. Вот "большие" люди создали дефицит, у них это "рычаги" называется. Этому дам, он хороший, послушный. А ты дюже умный, много из себя понимаешь — тебе шиш с маслом. И когда "дюже

умных" становится "дюже много", чтобы не было особого шума, что делают?

— Отлавливают... как вот вас таких, торгашей, — засмеялся Природин. — На то и кошка, чтобы мышь не дремала.

— Бросают кость, — покачал головой Трофим. — Человек слаб. Один просит, другой дает — оба погрязли... Денег много у наших людей — миллионеры. Тоська говорит, скоро стенки будут клеить деньгами. Бумаги на сберкнижки скоро не будет хватать, дефицит — вся на деньги пошла.

— Да не денег много, — возразил Трофиму Природин, — это товаров мало... А ты что, тоже буржуй?

— Про деньги, что ли? Денег хватает, — усмехнулся Природин. — "Вот самое времечко спросить о сумочке, когда же еще?" Но тут словно бесы его смутили, перебили вопрос.

— Зарабатываю, однако, — сказал Трофим, объясняя, буржуй он или не буржуй. — Картошку люди вот-вот подвезут, а я с картошки тоже имею. Воровать не ворую, ты меня знаешь, а крутиться кручусь. Да ведь кто-то и в этой системе должен работать. Лучше уж я, из крестьян.

— Прохиндеями все у вас там становятся, — смотрел в сторону Природин Евсей. — Система такая, все тянут, никому окорачивать...

И тут взялся дождь. Накатился, обломный, упал в лужи и заплясал, сразу потекло с волос — за шиворот, под рубаху.

— Я-то верю тебе, — поспешно завершал разговор Природин. — Пока не скурвишься. — И, обхватив Трофима за плечи, подтолкнул его в деревянной сарайчик, дрова пахли сочной.

Секло по стеклу над дверью, как просо сыпали. Косой дождь, окаянный, осенний такой, струи сваливались со стекла, вскоре стекло изнутри запотело, это от их дыхания, от разницы здешней и наружной температур. Деревья впереди дрожали на месте.

Такой промежуток в работе они, бывало, любили. Когда, к примеру, пахали. Передохнуть можно, собраться с духом, когда знаешь наверняка, что тебя не обгонят другие, все стоят в одиночестве. И так захотелось Трофиму поделиться с другом своим сокровенным, что теперь не часто случается. Так шум дождя, который пошел ровнее и тише, уютно было, оттого что по крыше, к этому располагал...

— Сын-то мой старший — Егор, — сказал Трофим и поперхнулся. — Сынок-то, наверное, не в отца... А тут еще Бодраков этот на весь наш род тигановский ополчился. Ну, съел,

совсем съел бы человека. Не пойму, отчего хоть, какая-то дикость, аж трясется весь Бодраков этот, когда говорят о Егоре...

И замолчал Трофим. Не то сказал, вовсе не то хотел сказать Трофим, Егоров отец.

— Не пойму и Егора, — тянуло Тиганова на откровенность. — Ну не пойму. Уткнется, глядит в одну точку. Часами может сидеть, задумчивый.

— На что хоть глядит-то?

— А баб любит. Красивых.

— Весь в тебя, — погрозил пальцем Евсей.

— Съякшался с дружками из Алатыря, — делился с другом теперь уже совсем откровенно Трофим. — На рыбалку прилачился, дома иной раз не ночует. Они его до ума доведут.

— А что б ты хотел?

— А думал, вернулся сынок из города, так и останется, думал, в Тигановке, — пожаловался Трофим. — И будем мы делать общее дело: он — агрономом, а я — пчеловодом. Он мне гречку будет сеять поближе к пасеке...

— Пережили гречку-то и... кукурузу, — подобрал скупую губы Природин. — Переживем и эту... мели-орацию, биологию с болтологией. А гречка теперь с самоопылением, зачем тебе гречка?

— И чем не нравится ему дом корневой? То в Житене, то в Подшибякино мыкается. А теперь вот в Алатырь нацелился.

— Не в доме дело, Трофим. Сам же сказал, в чем оно дело, — помедлил Природин, приоткрывая дверь. Сырой свежий воздух ринулся к ним в сарайчик, сменил атмосферу. — За Стешкой глядите, — прислушивался Природин, кажется, дождь сходил, убегал стеной, как и прибежал. — В народе слышал, что гуторят? Кабы Бодраков к снохе твоей не пристроился.

— Да ну? — удивился Трофим.

— Да, да, — не отвел сурового взгляда Природин.

Ободком, придорожьем чапал мимо в подвернутых штанах, босиком по раскисшей дороге председатель ихнего сельсовета Мордовцев Алексей Прокопыч. Сухой нитки не было на человеке. Как вышел из алатырского автобуса, так и прихватило, даже ракета придорожная не спасла. "Прокопыч, — позвали его дружки из своего укрытия — дровяного сарайчика. — Иди к нам, погрейся". — "А есть чем?" — "Нарисуем".

Вскоре Мордовцев сидел между Природиним и Тигановым Трофимом, закрученный в сухую чистую робу, которую Природин извлек из старого, выброшенного в сарай сундука.

А Мордовцев выжимал в двери прямо на улицу лучшую свою, незаношенную, импортную рубашу, он надевал ее обычно на сессии райсовета. Прокопыч ждал вопроса об этой сессии, но мужики не докумекивали то ли по своей темноте, то ли по незнанию важности решенного сегодня там, в районе, вопроса.

— По картофелю мозги компостировали, — не выдержал сам Мордовцев, он вроде уже как отчитывался перед избирателями. — Сельсоветы — участники месячника по заготовке картофеля. Столица ждет орловский картофель. Эх, братцы, не то высекут...

Вытер Мордовцев вспотевший лоб.

— ...на мраморе, — добавил Природин.

— Спи спокойно, дорогой товарищ, — в тон ему поддакивал Трофим.

— Ничего, Прокопыч, мы тебе пропасть не дадим... Мы тебя на место Бодракова определим, верно говорю? — обернулся Егор за поддержкой к Природину.

— А ты как, не против? — положил руку Трофим Мордовцеву на плечо. — Не против, говорю, человечности, совсем Бодраков затравил моего Егора.

— Конечно, не против! — вспыхнул Мордовцев.

— Ну вот и договорились, — подытожил Тиганов Трофим. — Втроем пока согласились, тройственное согласие. А там — поглядим...

Так и не сказал Трофим Природину о потерянной сумочке. Дождь, видите ли, помешал.

* * *

В начале сентября, когда начинается массовая копка картофеля, какая самая людная точка в округе? Ярище, скажете? Село все же, центральная усадьба? Глубоко ошибаетесь. Маленькая Тигановка — картофельная столица. До того разбухает Тигановка от нахлынувшего люда, машин, подвод, мотоциклов, что, наверное, ее наблюдают даже из космоса. Здесь схлестываются два потока. Один — из ближайших сел, деревень и поселков, что везут и везут картошку сюда. Другой — из тех, что увозят ее отсюда — транспортники из городов и весей. Третью осень за двором Трофима такое столпотворение, ярмарка по всему лугу до самой лесопосадки. Шум машин с иногородними, в том числе и московскими, номерами, мотоциклетный рев, вяканье гирь на весах, смех и песни, разноязыкая речь — вот что такое се колорадское ве-

личество — орловская картошечка, а мы-то привыкли апельсины лишь возвеличивать, отстаивая в столице за ними в длинных очередях свое отпускное, законное времечко...

Пока крестьянин из земли свою частную картошку не выберет, не перенесет ее на погребницу, а лишнюю не отвезет в Тигановку, к Петровичу, хоть призывай, хоть совести, хоть из ружья пали — никто на общее поле, что под Ярищем, не двинется. К этому все привыкли, принимают как должное, изменить что-либо невозможно.

— Петрович! — только и слышалось по двору. — Петрович!

Трофим — тут, Трофим — там. Он выдавал пустые сетки домой — возвратят не сегодня—завтра с картошкой. Принимая сетки уже затаренные, с картофелем, Трофим укладывал их на весах, одним глазом определял количество центнеров, а другим косился в тетрадь себе, заносил: от кого сколько, на какую сумму, какого числа. И тут же отсчитывал хрусткие, заставлял расписываться в ведомости. Бухгалтерия есть бухгалтерия, учет есть учет. Нам чужого не надо, но и своего не пустим по ветру, не снимем с себя штаны. "Поддержим родное государство, накормим народ!" Трофим то бежал в дом — звонить в Алатырь, чтобы подсылали еще машины, ему протянули опять-таки телефон на период "картофельной лихорадки". То вместе со всеми хватался за полные сетки, укладывал их в ряды — целый скирд, не видать уже лесопосадки. Сетки — дьявольское изобретение потребкооперации, каждую картошечку видать — не большая ли, крупна ли, какого калибра.

Свою картошку — личную и с бабки Галиного огорода — Трофим примет от себя попозже — пусть полежит в земле, наберется весу, крахмалу. А потом "мацепурой" раз-два взяли, навалились все вместе — и огороды пусты. Днем Тоська крутилась тут же, рядом с Трофимом. Когда же он уезжал, она командовала тут не хуже его. Дело к вечеру, Таисия убежала на кухню: а ну накорми такую ораву, обязательно кто-нибудь останется ночевать.

Приезжая шоферня ходила табуном за Трофимом — из Москвы, Запорожья, Тулы... Кому не хочется уехать домой пораньше, увезти картошку, а не грязь, не мелочь какую-то, чтобы там, у себя, после не ободрал потребитель. Особо упорных Трофим отсылал в ближайшие поселки, деревни — ожерелье Тигановки. Подбрасывал сельчанам транспорт прямо на огороды, слал машины на прямые, известные ему адреса. Знай наших, помни кооперацию, не забывайте, люди, Петро-

вича... Черт побери, в жизни его появилось ведь что-то новенькое. Это — власть над людьми. Пустячок, а приятно. Трофиму нравилось ощущать эту самую власть. Кстати, самая страшная власть не у генералов, а у сержантов...

Привез картошку и дед Колчак-Бобырев. Потоптался Бобырь, пригляделся, как грузят сетки на машины, пупы надрывают, надсаживают здоровьишко.

— Петрович, — отозвал он хозяина. — Гляди-ка, военная хитрость.

И подвел его к полузасыпанному, еще военных времен блиндажу. Всего и делов-то, что снять один край — боковину да вычистить землю, сделать въезд-выезд положе. И — загоняй в яму машину, ставь кузов вровень с земной поверхностью. Хоть кати, хоть на спине груз неси — по ровному ведь, надрываться не надо.

— Молодец, дед! — хлопнул по плечу Трофим хитрого Бобыря. — Родина тебя не забудет.

И принял картошку у старого хрена по первому сорту.

А вот явился и председатель Оболевского сельсовета Мордовцев.

— Кого я вижу! Лексей Прокопыч! Тоже картошечку привезли?

Мордовцев отвел Трофима к шиповнику. Еще дальше, к скирду соломы. И еще дальше, к самой лесопосадке. Ковырнул ногой гриб свинух, удивился. И сказал вот что:

— Бодраков в беспокойстве, боится, соберешь с населения и отправишь весь фонд, весь подчистую картофель. Цены бешеные за кило...

— Понятно, в других регионах не уродило.

— Боится, ничего не останется, — трогал Мордовцев лацкан Трофимова пиджака. — Весной побираться придется, ехать в другую область за семенами.

— Понял тебя, Прокопыч! Пусть свою в буртах не гноят.

— А я, Петрович, откровенно сказать, в изумлении, — Мордовцев стряхнул пылинку с Трофимова локтя. — Говорят, ты оформляешь картофель в зачет соседнему сельсовету, правда?

— Ну что ты! Об этом, Прокопыч, не беспокойся, — засмеялся Трофим. — На твой сельсовет больше оформим, на колхоз оболевский, ведь он в твоём сельсовете, сельсовет-то один. Вставим Бодракову фитиль. Что же мы, рыжие, что ли, не понимаем. Выведем твой сельсовет куда надо. Дадим показатель, будешь ездить к весне на "Запорожце"...

— Ну, я поставлю твой отчет на сельисполкоме?

— Договорились, давай.

Подводы с Тигановки, от Трофимова двора, разъехались. Машины, туда-сюда, распахались. Остальные шоферы собрались у лесопосадки, развели костерок. Трофим, стоя, плюсовал в тетрадочке принятую за световой день картошку. "Егор что-то нынче не показался. Неужто в Оболеншево дел невпроворот?" Шел мимо с ведром шофер ЗИЛа под московскими номерами. Молодой еще, не старше Егора, а ему уже доверяют, послан вот за картофелем, на жизненно важное дело.

— Пойдем-ка, сынок, — позвал шофера Трофим, — поужинаем. Чем бог послал и что приготовила нам Таисия. Зовут-то как?

— Севка.

Хотел сказать Севке Трофим, что и у него брат Михаил где-то там у них под Москвой, влачит жалкое свое городское существование, да передумал: Москва — город многомиллионный, разноэтажный, и брат его там как иголка в сене, откуда Севке знать Михаила.

Сидели и ели картошку с солеными огурцами и свежими помидорами. Сковородка все еще шкварчала от сала.

— Картошку-то любишь?

— Люблю.

— Севкой зовут, а в деревню вас, городских, не загонишь, — смотрел Трофим на гостя поверх сковородки.

— Жена не хочет, а я хоть сейчас, — ложкой таскал картошку со сковородки москвич. — Жена говорит, не могу жить в деревне без теплого туалета.

— Туалеты мы исделаем, — сказал Трофим. — Только к тому времени, сынок, в них ходить будет некому.

К самовару подсела и Тося, Таисия. Пили чай, настоящий на местной "тройчатке" — липе, душице и зверобое, невероятная смесь; на базе уже с полгода ни крупинки грузинского чая, ничего, и сами с усами, как-нибудь обойдемся без ихнего чая, были бы хлеб да картошка. И было приятно сидеть за столом, отводить душу влагой, разговаривать без обмана, как оно есть, как живут люди здесь, в деревне, срединной России, почему здесь картошка дешевле и чем жив народ по столицам, почему она там, в Москве, дорогая. А ночь опускалась на огороды, на крыши, в окно заглянула луна. "А мы не поселок, как Житень или какие-нибудь Горбунцы, — играла глазами Тоська. — Мы — деревня!" — "Деревня? — удивился парнишка-москвич. — А это что,

очень... много?" И рассмеялась Таисия, за ней рассмеялся Трофим: "Разве это так важно?" — "Да, важно!" Но сейчас тут рядом, в лесопосадке, стояли машины с иногородними номерами, и нити тянулись из Тигановки всюду: из Москвы, на Донбасс, в Запорожье. И все они, города эти с половины белого света, были там, за окном, под этой луной, и виделись отсюда им из Тигановки — этой "картофельной столицы" серединной России, деревушки, затерянной где-то в широкой степи...

— Иди, Сева, — вышла Тося из спальни. — Постелила тебе.

— Не беспокойтесь, я в машине... привык, — застеснялся парнишка.

— Не обижай хозяев, — подтолкнул молодого шофера Трофим, а сам подумал: "Отчего это в Москве, напротив Курского вокзала, сам видел, на здании огневыми буквами так: "Дорогие москвичи и гости столицы!" Все же гости есть гости".

Гость поднялся с утра пораньше других, даже Таисии:

— Ну, Петрович, давай загружай. Засветло надо домой добраться.

— Обожди, — отвернулся Трофим.

— Почему? — задрожал голос у Севки. — Сколько можно?

— Ну, дня три, четыре... с недельку, — спокойно сказал Трофим. — Пока сдатчики не подвезут.

Парень так и замер с открытым ртом: хоть и москвич, а молодой еще, не обучен механике жизни.

А Трофим как присел на табуретку, не брит, не умыт, с соломой в густых, подбитых сединой волосах, так и влип в свою документацию. Этой ночью они с Тосей спали на сеновале, на вольном духу. И встали легко, как ангелы.

— Вишь ли, Тось, — хотел рассказать ей Трофим про утерю, лучше сейчас, пока добрая. — Мордовцев вчера приходил, просил картошку оформить через сельсовет, может, на сельсовет дадут "Запорожца". Всем дают, один наш сельсовет обходят, видите ль, отстающий. Мордовцев все ноги оттрепал, догоняя.

— Как... с недельку? — оттаял наконец замороженный Севка, начиная переходить на другие обороты.

— Бодраков взбесится, — сказал Трофим Тоське.

— Пусть бесится, — подняла голову Тоська над пороссячьими чугунками.

— К Стешке, говорят, Бодраков подбирается, — закончил Трофим мысль свою, столь его тяготившую.

— Стешка не девочка, — отрубил Таисия, — знает, как обращаться с мужчинами.

— Ну, я пошел? — обратился на себя внимание Севка.

— Валяй.

— Куда, Петрович?

— Да хоть обратно в Москву, хоть в Америку.

— Обижаешь, начальник.

— А ты это... скажи там в Москве кому надо, пусть пишут так на вокзалах: "Дорогие гости столицы и москвичи". Столица все-таки наша, российская, понял меня?

Севка так и замер на месте, допирая мозгой. А Трофим думал уже о другом, все о том же: как бы все-таки рассказать Тосе о сумочке? В конторе ему обещали новую книжку квитанций, а пока, что ж, он записывал просто в тетрадь. А ну как проверят? Разве тетрадь — документ? В нашем деле хлопать ушами нельзя, мигом скусят головушку. Бодраков чего стоит. А ведь прямо у всех на глазах развалил Финаген колхоз. Строили-строили животноводческий комплекс, а комплекс этот все Ярище скоро загонит в могилу. Бодраков катит всех прямо в пропасть. Так-то с чужими — "варягами": тут разорил — в другое место переведут. Они думают, талант бывает лишь у артистов, писателей, ну, еще у председателей, а у заготовителей нет...

— Ну так что, Петрович? — переминался с ноги на ногу Севка.

— Ладно, иди, — махнул ему Тиганов Трофим.

И тут в дверь постучали. "Вот вам, — протянули сверток Трофиму. — Просили передать из Ярища". Квитанция, сумочка. "А деньги где?!" — вырвалось у Егора. — "Какие деньги?" — подступала сзади Таисия.

ХII.

"Картина ясна: Тиганов Трофим сгребет с людей весь картофель, перекроет тебе "кислород". Кинься весной собирать у населения картошку на семена — и машины-то не наберешь... Прохиндей, всех деньгами испортил! Нехорошие перспективы. "Снизу" давят, "сверху" не очень поддерживают. Ей-богу, прямо-таки ярмо власти, везешь возок свой к инфаркту. А никто не даст тебе распрячься, пока сами не выкинут, — закон стаи. Их бы сюда, отцов-благодетелей... В былые времена один человек наверняка сказал бы другому: "Прими, Лаврентий, меры..." Но хватит! Тот человек вон ка-

кую машину держал, а ты, Финаген, раскисаешь. Хотя тот человек, с Лаврентием, если бы побывал в Европах, а не в Туруханском крас, все было бы у нас по-другому..." И Бодраков тут же дал указание Коротеевой, экономистке, представить данные о продаже хлеба государству, есть ли возможность для внутреннего маневра...

— Ситуация такая, — срочно собрал правление Бодраков. — С зерновыми нынче сложилось неплохо. Есть возможность выдать хлеб не только механизаторам, но и тем, у кого взаимнообразно можем взять картофель весной на посадку, надо смотреть в перспективу... Кто "за"? Единогласно. Спасибо, больше вас не задерживаю...

"Ну вот, — откинулся на спинку кресла Бодраков. — Теперь Трофим у меня попляшет." И тут же яростно, неукротимо зазвонил телефон. Естессытьвенно, красный. Только у красного такой безусловный характер. Бодраков подхватил правой трубку, впился левым ухом в красную пластмассу:

— Бодраков на проводе.

Звонили, естественно, из Алатыря. А в Алатырь, в свою очередь, звонили из Орла. А в Орел, естественно, еще выше. Просили продать государству дополнительно хлеб в связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых регионах страны. Что же мы, не патриоты, что ли?

— Но у нас только семенной материал, — пролепетал Бодраков.

— Вы нас поняли?

— Семенной материал, говорю.

— Везите. В крайнем случае выдадим тут же из семенных фондов области... вы нас поняли?!

— Това-а-рищи! — хотел было сказать Бодраков, но на проводе уже зачастили короткие, пустые сигналы. — Понял, — погас Бодраков, и трубка ему показалась черной.

"Естессытьвенно, понял. Если, конечно, смотреть на все пессимиссытьчеськи. А вы нас поняли, если смотреть сиськи-масиськи оптимиссытьчеськи? И не с высокой колокольни, а исходя из собственного чердака? Тьфу ты, господи, с вами тут одуреешь".

Уже через пять минут Бодраков был на мехтоке. А через каких-нибудь пару часов три трехосные тяжелогруженные машины отправились на Алатырь с кумачом по бортам "Сверхплановый хлеб — Родине". На элеваторе наблюдательного алатырца могло бы озадачить такое явление: ярищенские машины подходили к одному зерноскладу, где они разгружа-

лись, и пятились задом к соседнему зерноскладу, где они опять-таки нагружались и выезжали обратно в те же ворота, с тем же кумачом, прибитым к деревянным бортам, и опять-таки нагруженные. И самому проникательному из алатырцев оставалось только удивиться до крайности: что бы это значило?

А в конторе ярищенского колхоза жизнь катилась по своей колее. К Бодракову заглянула Коротеева, экономистка:

— Ну, выписывать зерно? Люди уже пришли.

— Какое зерно? — пятнами взялось лицо Бодракова.

— О каком на правлении решали, — стояла перед ним Коротеева, извиваясь, в своем зеленом платье, как в шкуре змеиной. Хоть бы раз в год платье меняла, а то как напаялила, так уж третий год таскает одно и то же, одно и то же, одно и то же.

— Ну? — не отходила от него Коротеева.

— Чего ну?

— Зерно выписывать? Люди, говорю, спрашивают.

— Дура! — вспыхнул Бодраков, ровно спичка, гори она синим огнем.

— Не заводись, — уловила Коротеева, что Бодраков чересчур намеренно возбуждает себя для продления конфронтации, а для этого нет оснований, значит, буря скоро сойдет: не может же белье на веревке бесконечно мотаться, веревка возьмет и оттянется, и белье окажется наземь, заполощется в луже. — Замолчи, сердце себе подорвешь. А оно у тебя больное, сам себя хоть пожалей, если пожалеть некому.

Бодраков постоял-постоял, подождал, пока все сойдет, тронул Коротееву за плечо:

— Слышь, мириться давай, лады. Беру, гори оно, слово свое назад. — И наклонился к ней на ухо: — Жукни кое-кому из своих, пусть приходят, выпишем зернца.

А на другой день с утра в Ярище нагрянули с проверкой участники рейда по закладке семенного фонда. Тигановская агентура тоже, вероятно, кому надо стукнула. Бодраков как раз собирался удрать куда-либо на природу — участники нашли его, привезли на мехток. Сперва проверили наличие тут, на мехтоке, потом перешли в зерносклад. С того бы и начинали, чем дурью-то мучиться. В рейде — крысы районные, такие дотошные, да еще пара человек из солидных хозяйств — эти, правда, спокойнее. Может, и им через пару месяцев Бодракова придется встречать хлебом-солью.

Выходили участники всем гуртом из зерносклада, как вдруг один агроном, такой замухрышка из производственного управления, Верещагин, остановился в уголке:

— А здесь чего у вас?

И все задержались возле кучки, накрытой брезентом: из-под брезента выглядывали листы крупноволнистого шифера.

— Это фураж, — упало сердце у Бодракова. — Тонн на сто. Свинопоголовью и дойному стаду, молоко у коровки, хе-хе, на языке.

Верещагин, этот замухрышка, отдернул конец брезента, отбросил шиферный лист, неизвестно зачем сюда затесавшийся, и сунул руку в самую кучу. Вот кряхтел, вот корячился, все старался засунуть руку поглубже, почти по локоть, яти его мать, зануда. А Бодраков стоял и тосковал. Ну почему хоть земля под таким сопляком не провалится, не обломится крыша?

— И это — фураж? — достал замухрышка руку и, радостный, стал совать каждому горсть пшеницы в глаза. — Это — фураж?!

— Действительно, продовольственное зерно, — пожимали плечами участники рейда.

Бодраков смотрел мимо, куда-то в пространство.

— Вот что, — заключил старшой из участников — председатель райкома профсоюза Панков. — Это, Бодраков, отвеи и раздай, как обещал. А то, что внутри, — отвези. Ты меня понимаешь?

И участники рейда двинули по машинам. Укатали, как и не бывало их тут, только бензинчиком отработанным попахивало еще какое-то время, а так все ничего, все нормально.

— Я вас понимаю, — стоял Бодраков лицом к дороге туда, к Алатырю, и далеко-далеко, до самой Москвы. — Я вас понимаю, Лаврентий.

И сам делался маленьким-маленьким, ужимался весь, в пробирку бы влез, а кулаки распирались в карманах, становились большими.

— Какого Лаврентия поминаешь, Финаген Ксаныч? — подобрался сзади к нему неслышимо, как мерин, обутый в валенки, Бронька Летягин.

— Остров есть такой в океане, — буркнул ему Бодраков. — Плавал мимо, когда на флоте служил... Остров святого Лаврентия... Погоди-погоди, да поди ты сюда! — подозвал Бодраков Броньку к развороченной кучке. — Здесь, по-твоему, сколько будет? Тонн сто?

— Ну, сто, — застеснялся Бронька чего-то.

— А должно быть двести. Куда остальное девали?

— Так бы и говорил, Ксаныч, так и бы говорил, — заюлил, завертелся юлой, как блоха на стекле, Бронька Летягин.

— А остальное, Ксаныч, вон в той кладовочке, броня крепка и стежки наши склизки. Нам много не надо, нам деньжата в швейцарские банки не класть, они у нас и в ладони уместятся. Хвалишься, Ксаныч, по оксанам ходил. Кто же груз кладет к одному борту, недолго и перекинуться.

— Ну, ты у меня голова! — засмеялся Бодраков. — Тебе в армии служить интендантом.

— Мне и тут хорошо, — опустил Бронька голову, а у самого искры из глаз так и сыпались, у прохиндея этакого, баламута ярищенского, мудреца своего, доморощенного.

И Бодраков прошел на весовую. Проверил весы, потолкался среди людей — своих, ярищенских, и с Алатыря, прикрепленных на время уборочной. Шесфы жили тут по дворам и возили на станцию не только зерно, но и все подряд, что скажут (и чего не скажут, молчком тоже возили). А в городе на заводе у себя только числились, среднюю зарплату им там выводили, да тут еще набегало — получалось неплохо, можно жить и на стороне, без семьи — у, развратники! Уходя, Бодраков обернулся резко: нет, никто язык вслед вроде не вывернул, кулаком не погрозил.

* * *

Коротеева сообщила ему под секретом, что Тиганов Трофим потерял деньги и документацию, кто-то поднял, а кто — неизвестно. И документацию уже возвратили владельцу, а денежки, тью-тью, улетели. А денежки, по ее сведениям, тоже ничего себе, более тыщи.

"Чуток раньше бы стукнула, — мелькнуло у Бодракова, — я бы нашел, как торгаша этого на крючке подержать". Однако напоминание Коротеевой о Трофимовых деньгах, вообще связь утерянной документации с деньгами насторожили Финагена. Мозг его заработал, как в лихорадке, в таком направлении: уж не берут ли его на понт? Наткнулись на зарытый у Адамовой мельницы сейфик с его отпечатками, и те, кому надо, копают теперь под него, Финагена, оперативным путем?

Ну, сейфик, ну, денежки эти проклятые, на кой черт он их поднял! Лежали бы себе и лежали, хоть бы и сгнили, ему-то какое дело. А теперь заяви в органы — затаскают, особенно из-за кассирши. Мало ли что взбредет кому в голову, следователи ныне какие, молодые, да ранние, психопаты, каждому хочется выслужиться. Теперь ходи с больной головой, болей душой: кто хоть выкопал сейфик, в чьих ты руках?

На любого грехи, не один-то в Ярище топор на свою ногу бросил. Вот свежий примерчик. Документацию подбросили, а денежки остались в кармане. Раз попал сейфик в лапы кому-то, значит, не вырвется, ничего о нем не слыхать. А шум бы пошел — еще и его бы с отпечатками впутали... Да, а с сейфиком-то скорее всего как? Деньжонки в карман, а сейфик в омут. Ну да, в бучило, что рядом, в отстойник вонючий. Взять бы багор да по дну пошуровать, так? Завтра бы приступить, не откладывать... Господи, психом сделаешься, на людей станешь кидаться. К Коротеевой вот ни с того ни с сего прицепился. Этак стресс какой-нибудь получить — раз плюнуть, это факт, это точно, сотрясение организма. Не в нашем возрасте так волноваться. В нашем возрасте пора себя легче расходовать, на черта надрываться по каждому пустяку. Сердечно-сосудистые, долдонят по радио, на первое место выходят, даже рак оттесняют, сволочи!"

И глазам Бодракова явились "кровавые мальчики" — эти дружки Егора Тиганова. Чего это они зачастили на речку? Уж не они ли сейфик подцепили? А то, может, и Бронька, тоже всюду мотается, никогда не узнаешь, что завтра совершит этот жук колорадский... Господи, да скоро ведь подозревать начнешь и себя самого. Явно надо поменьше пить... валерьянки — этой своей, ярищенской, а также районной алатырской орловского областного розлива. Боже, никак не отделаешься от этого наваждения — сейфика с его отпечатками, овчарок, берущих след, шустрых следователей, прочей чертовщины, которой и без того усталый мозг набивается телевизором...

Вполне возможно, вы с Трофимом идете по одному следу. Вспомни, именно с ним ты сталкиваешься всякий раз, когда подъезжаешь к известному месту на Адамовой мельнице. Возможно, он и убийца (что я говорю!) кассирши, а кто же еще, если ему раньше тебя известно об этом сейфике. Может, он сейфик и зарывал. И наездами, как бы со стороны, теперь охраняет... А дальше... Вариант первый. И вот им выясняется, что ты в курсе, и тогда он перепрыгивает добычу, а тебе бросает кость: теряет сумочку с деньгами, рассчитывая увести тебя по ложному следу. Вариант второй. Он обнаруживает: сейфика нет. Если это не он, не ты, то кто-то, конечно, третий. Но кто? Тогда и рождается у него, прохиндея, идея потерять сумочку и, под предлогом поиска утерянных денег, пройти по Ярищу, как с миноискателем...

Ха-ха! До полного детектива не хватает чего? Конечно, погони, стрельбы и убийств. Но кое-что будет потом, погоди.

Да погоди же ты! Может, кабан какой-нибудь вырыл сейф этот. Вспомни, как свиньи обработали весной склон бугра. А может, ливнем смыло сейфик в бучило? Незадолго до того был сильнейший дождь... Ну, к каким итогам приходим? Во-первых, как выдастся свободное время, надуть автомобильную камеру и покрутиться с багром по бучилу, пошуровать по дну. Во-вторых, активизироваться в Ярище, для виду интересуясь Трофимовыми деньгами... Ха-ха-хха, по правде говоря, и это все чепуха. Прикрытие. Дымовая завеса. Главное — под благовидным предлогом ты начинаешь искать новые связи, восстанавливать утраченное. Прошлой весной Трофим выручил семенным картофелем оболешевского председателя. Ну, Трофим, погоди!..

На другой день после районного рейда, когда все встало на свои места, Бодраков успокоился. От вчерашнего возбуждения в мозгу осталось небольшое свечение, северное сияныце, пятнышко; то черное — сейф вообще-то утрачен, то светлое — сейф в бучиле. Затем и это пятно исчезло. Наступила депрессия. Неизвестно, сколько бы она у него продолжалась, если бы не новые обстоятельства. Не успела Коротеева, экономистка, выписать кому надо заработанное зерно, а Самофалов, кладовщик, выдать его, как вот он опять же, этот Панков. Подкатил под окна на лимузине.

— А ну поди сюда, председатель, — поманил пальцем он Бодракова. ("Дожил, Финаген, какая-то пешка районная тобой помыкает"). — Все же раздал хлеб, да?

— Тот, что отвеял, — сказал Бодраков, сам подумал: "Тут в порядке все, не подкопаешься".

— Ой, врешь!

— Проверьте. Тонн около ста, — ответил Бодраков, сам подумал: "Занимался бы ты, профсоюз, своим прямым делом".

— Ладно, Финаген Ксаныч, — подал руку ему наконец Панков. — Не обижайся. Не лично интересуюсь, а по поручению. Ну, бывай.

— Бывай, — сказал Бодраков, сам подумал: "С вертолета еще бы чего-нибудь нашел".

После этого у Бодракова притупился вкус не только к работе, но даже и к жизни. Хозяев много, а отвечать одному. Голова стала совсем чужая: что ни положишь — все сыплется, такая дырявая. А тело сделалось ватным, ходишь с утра как мешками пустыми побитый или словно из тебя воздух выкачали. Выкачают, брат ты мой, погоди. Перекроют "кис-

лород" — сам упадешь на коленки. На его глазах скольких вот так председателей съели: планы давай, да еще и наращивают, а обеспечение режут...

Чего доброго, можно и заболеть. И кому тогда будешь нужен?

И решил Бодраков сменить обстановку: взять в счет отпуска хотя бы дня три-четыре да съездить домой, на свою малую родину, где был еще жив отец. Преклонить перед ним колена. Мать с отцом — это возможность оглянуться в разбеге лет, вникнуть в себя, в свой род, в поколения, в корень, в народ: откуда мы есть, куда и зачем?..

Мать у Бодракова умерла лет пять назад, отец жил теперь в гордом одиночестве. Еще вроде крепенький, в меру сил занимался пчелками, радовался, когда в редкую стежку к нему наезжали сыны — Финаген из Ярища и Терентий из Орла. Отец не поддавался натиску местных старушек, которые, как и он, доживали век в своих избах и больше смерти боялись приюта казенного, конца на чужой стороне.

В родимой хате было воистину благолепие. Старушки подмели полыновыми вениками, натыкали, как на Троицу, березовых веток. Отец разложил по столу яблоки и медовые рамки, истекающие в тарелки, и в хате утвердился такой легкий, редкостный, радостный дух, что долго невозможно было в нем оставаться, сердце от нежности останавливалось. И они с отцом вышли под яблони, в сад.

За этот год старик вовсе сдал, стал похож на отца своего — деда, царство ему небесное, благообразного старца, именно с таких рисуют иконы. В саду отец с трудом наклонился за яблоком, и сквозь щемящий праздник души к Финагену подкралось: а не пора ли кому-то из сыновей забирать к себе старика?

Эту яблоню, под которой сидели они вдвоем, принес когда-то из оврага еще он, Финаген. Бежал из школы, увидел и выкопал. Потом практиковался на ней, на дикарке, прививал, как учили в школе. Хотел, чтобы его яблоня давала лучшие в мире плоды. "Железной рукой" хотел привести себя вместе с ней к счастью.

"Помнишь?" — шамкал, показывая на нее глазами, старик. — "Как не помнить! Собирался стать садоводом, а стал председателем".

И вот с утра Финаген брал кусок хлеба, пихал за пазуху и уходил из дому. В луга, поля, перелески. Как за годы они изменились: луга перепаханы по самую речку, с полей несет

аммиаком, старые дороги заброшены, проложены новые. И только угадываемые очертания холмов, расположение их относительно друг друга да, конечно, еще и сами долины, речки, овраги и суходолы говорили ему привычно, что это его земля, страна его босоногого детства.

Он лазал по ней целыми днями и возвращался, бывало, домой с полной пазухой яблок. Не домашние, окультуренные, привитые, а дички из оврага, зеленые, терпкие, больше нигде таких нет...

А через три дня Бодраков опять объявился в Ярище — сильный такой, подобнаглевший. И судьба тут же подкинула ему телефончик.

— Бодраков? Это ты, Бодраков? Наконец-то! — побурела красная трубка, аж подпрыгивая. — Чего же ты, милый, подводишь нас, обманываешь родное государство?

— Что сказали — отвез, — изогнулся Бодраков перед ней, этой трубкой. — Сверх плана, естесственно.

— А мог бы и больше. А ты раздал зерно, разбазарил.

— Так...

— Так ты не понял нас? — И пауза в трубке. И тишина. — Ну что ж. Не удивляйся, если...

И связь прервалась. Бодраков положил трубку на место. "Сволочь! — подумал он о Панкове. — Все же стукнул куда надо, дятел".

ХІІІ.

Этот яркий цвет телефона натолкнул Бодракова на одну такую интересную мысль. В средние века (он читал где-то в книжке) на площадях сжигали еретиков. И, глядя в огонь — лицо смерти, люди шептали: не меня на сей раз, пронесло. А в язычестве, глядя, как лилась кровь на жертвенный камень, люди утешали себя, что они задобряют духов. Вот и сейчас кинул кость — ублажил начальство, не кинул — живи в страхе, что это так тебе не пройдет, когда-нибудь выйдет боком. А кинул кость людям — стоят они перед костром, и каждый ловит себя на мысли: слава Богу, на сей раз не меня, и палку готов бросить в полымя под ноги тому, кто перед всеми корчится в муках. Каждый хочет очиститься за чужой счет. Вот сожгли Джордано Бруно и пошли себе, удовлетворились. А ведь сожгли не себе подобного, а жалость свою, человечность, расписались в совместном грехе, вступив в негласный сговор, в свою группу, на них теперь общая кровь...

После телефонного разговора Финаген понял еще и то, что нельзя носить на лице одно выражение на все случаи жизни, как рубашу любимую. В конце концов люди приспособятся, станут играть на этом твоём постоянстве и силу твою превратят в твою слабость. Понимая это, Финаген ловил себя на том, что после того телефончика никак не может улыбнуться, сменить на лице маску, ведь масок на лице должно быть ровно столько, сколько нужно для жизни, чтобы быть не только человеком, но, сверх того, еще и председателем. Но как стоять, как выстоять, когда ты стареешь, мозги известкуются, чуткость утрачивается, а молодые теснят?

И Бодраков снова подумал о Егоре Тиганове, направляясь в Марусины Ключи, на молочнотоварную ферму, где была дояркой теперь эта Стешка из Оболешице. Финаген положил глаз на Стешку, еще когда посадили Егора Тиганова. И тянуло с той поры Финагена в Марусины Ключи, как осу на мед, но Финаген этому и не сопротивлялся.

* * *

Через минуту Бодраков осадил "козла" возле Алешненской лесополоски у мотоцикла. Ба, знакомые все лица! Броня крепка, Бронька Летягин, ты зачем здесь, прохиндей этакий, все грибки собираешь? И тут же в орешнике Бодраков углядел зеленый "Москвич": как замаскировали! И незнакомого человека. Бодраков приблизился к нему.

— Кто такой?!

— Да это мы тут, Финаген Ксаныч, — вьюном закрутился Летягин. — Дела у нас, переговоры.

— Ага, — заглянул Бодраков в машину: на заднем сиденье — запасной баллон, одеяльце свалилось. — Патриот, значит? Из Алатыря, — констатировал Бодраков.

— Почему патриот? — удивился молодой парень, моложе Броньки.

— Потому что несешь не куда-нибудь в Эфиопию, а в Россию, так? — усмехнулся Бодраков. — Только с места на место переставляешь, разве не так?

— Так, — ответил растерянно парень.

— Я, говорю, — повернулся Бодраков к Броньке Летягину, — анекдот такой... Попал наш турист в Нью-Йорк. Ну, не то что вы, прохиндеи, толпой бродите, а высокопоставленный, в одиночку. Его и поставили высоко, взгромодили на самое поднебесное здание, как оно, Бронь, у них там называется?

— "Эмпайр билдинг", Ксаныч.

— Во, видал, какой ушлый. Все знает — и про торговлю, и про товарообмен, — погладил Бодраков по плечу Бронислава. — Ай на международную арену уже наострился, бандит, тут тебе мало вывоздыху? А это кто — разве тоже с "Эмпайр блюминга", а не с Алатырского шинного?

— Гы-гы, — расплылся в широкой улыбке парнишка.

— Так вот, с "Эмпайра" этого все видать, как на ладони, — продолжал Бодраков, на улыбку не реагируя. — А ихний миллиардер и говорит нашему, значит, туристу: и то все мое, и вон то мое. Видал, мол, какое богатство. — Это что, — отвечает наш турист, — да наш завод один чего стоит, корова дойная. Мы, гырьт, вдвоем с Бронькой, дружкой моим, годы доим, никак не выдоим. Шины таскаем, никак не перетаскаем...

— Обижаешь, начальник, — все еще улыбался алатырский патриот.

— А все он, дефицит! — поднял Бодраков указательный палец. — То бы пошел в магазин да купил один баллон рубчиков за пятьдесят. За все четыре выложил бы двести рэ — и пять лет ездий, горя не знай. А то тебе, кровь из носу, вынь да положь за один — сто десять рэ, гори оно синим огнем. Мы работаем по-крупному, чего нам мелочиться, да, Бронь? Орел не берет мух, так?

— Так, Ксаныч, так! — загоготал Бронька: обожал, стервец, сатиру и юмор.

— Я что, я могу и к другому, — наконец обиделся парень. — Оторвут с руками.

— Ну, пока, — кивнул Бодраков одному только Броньке. — Иди проводи...

"Ну, жмуры окаянные, проф-ындеи! Головушка горькая, — побрел Бодраков к машине. — Без "кислорода" на таких патриотах куда уедешь?.. Интересно, на какую высоту прыгает телефонная трубка? Надо бы зафиксировать. Какой в этом виде мировой, понимаешь, рекорд?"

На Житеневском верху Бодраков остановился. Вышел на опушку, осматривал окрестности Адамовой мельницы, бучило, укрытое ивняком и ракетами. Собственно, мельницы-то никакой нет, просто так называют известное место, излучину, где под напором воды крутились некогда жернова.

И на кой черт связался он с этим бучилом, со всей этой Адамовой мельницей! Тянет сюда, как преступника на место преступления. Распустил нервы, броня крепка, развинтился. Настоящий преступник, что кассиршу утопил и зарыл сей-

фик в землю, сидит сейчас да посиживает где-нибудь в ресторане на Южном берегу Крыма, тянет пльзенское пиво. И милиция хоть бы хны! Пусть ищут, на то их и учат, ишь, продают средства, которые в виде всяческих отчислений и недоплат, между прочим, дерут и с Ярища...

Сойти с машины Бодраков не решился. Помчался обратно мимо Житеня что было духу. Не дай бог остановит народ на поселке. Начнут тянуть жилы, разговорчики пойдут. "К коровкам спешу, в Марусины Ключи", — убеждал сам себя Бодраков.

Подъезжая к ферме, Бодраков извлек из "бардачка" дымчатые, как колеса, очки, надел их, прижал дужки к ушам: чем не турист? А что? Вполне. И что хотел он этим сказать? А чтобы стенки коровника не ослепили — дюже белые. Не прикрываться же, как в прошлый раз, лопухом...

Стешка уже додаивала группу. Бодраков туда — раз мимо нее, Бодраков оттуда — два мимо нее. Закрутился на месте, загребая ладонью комбикорм из яслей, рассматривал на свет. Все ждал, когда Стешка обратит на него, в темных очках, внимание. А Стешке как раз надо было пройти мимо. Она несла ведро с бело-кипенным колоколом над бидоном, а Бодраков стоял как раз на проходе. Она раскраснелась, в сером рабочем халате, в жаркой косынке, в живом блеске неудержимы были молодые глаза:

— А ну сторонись, председатель!

— Во всех ты, душечка, нарядах хороша, — улыбнулась Стешке и Бодракову пожилая доярка Кирилловна, со Стешки перевела взгляд на Бодракова и, прыснув, пошла себе дальше.

Бодраков выждал, пока Кирилловна удалилась на приличное расстояние.

— Завтра после утренней дойки ко мне в правление! — сказал он Стешке совершенно официально.

— Зачем? — задержалась Стешка.

— Не влюбляться же вызываю. Дело есть, — поправил черные очки Бодраков.

И задал Финаген задачку. Стешка додаивала коров, а сама уже слышала, как несло по коровнику: чего это Бодраков так замаскировался? Ай "фонарик" жена подвесила, скажет теперь, мол, дрова рубил, ай наткнулся ночью на угол шкафа? Ах, в Стешку влюбился, черными очками, девки, ее очаровывает? Гляди, Стешенька, это тебе не Петр — слюнтый, размазня — и не Егор твой, чтобы годы ходить кругами. Это Бодраков: р-раз — и в "дамки". — Он в шашки не играет,

он с Бронькой играет в шахматы. — Ну, стало быть, не в "дамки" Стешку, а сразу в "королевы". — Она ему даст "королеву"! Очки в угол — мешок на голову, баба такая...

Стешка слушала доярок. Получалась словесная такая картина, мозаика. Они развлекались, перебрасываясь словечками так, между делом, уже подоили коров и мыли шлангом электродоильные аппараты, шлепая по мокрому бетону в своих резиновых сапогах. Стешка не участвовала в разговоре, но сама исподволь думала о Финагене: "Неужто старые такие тоже влюбляются?" Деревня! Что значит росла в глухомани, вдали от оперного театра. Ничего не знает, кроме своих частушек с картинками, иначе, конечно, ей была бы известна такая сакраментальная фраза, как "любви все возрасты покорны..."

О вызове к Бодракову Стешка ничего не сказала Егору, не все ему обязательно знать. Ночью она лежала спиной к Егору в разбросанных чувствах и воображала, с чего начнет, если что, этот старый пенъ и чем ответит она ему, если что, на поползновения.

Бодраков ждал Стешку в своем кабинете. Прошло полчаса, час... Стешка не появлялась. План его может рухнуть от такого непредвиденного обстоятельства, как необузданный Стешкин характер. План намечалось направить против основы основ оппозиции — ихнего тигановского рода, конкретно против Егора, в конце концов, против самого Трофима Тиганова. Ну, жмуры, прохиндеи! Как устроились в этой своей кооперации. По сообщению Коротеевой, этой "динамки", Егор так выражался недавно, мы с отцом, говорит, руководим округой, но естественным образом — экономическими законами, через "рупь". Это Бодраков все колотит кулаком по зеленому телефону. И вот она — тук-тук в дверь — Стешка, кровь с молоком, цыганская порода, деревенская наша красавица. Бодраков никак не мог оторвать головы от бумаг.

— Кхы, кхы, — дала знать о себе деликатная Стешка ("черт их знает, как у них тут в Ярище, у себя в Оболешево заходишь и сразу быка за рога").

Бодраков листал конторский "гроссбух". Сначала, как все вдумчивые, назад — слева направо. А когда заметался, как ненормальный, туда-сюда, справа налево, потом снова слева направо, Стешка подошла к столу буквой "т" и опустилась на

стул. Облеглась локтями на скатерть, на какую опирались локтями также члены правления, подперла щеку рукой, направила на Бодракова свой насмешливый, исключительный взгляд и запела под нос себе в четверть голоса. Бодраков поднял на нее не вполне понимающие глаза.

— Вызывали, Финаген Ксаныч?

— Ну, — буркнул Бодраков, затворяя "гроссбух".

И увидел перед собой нагловатую Стешку. А за ней — приоткрытую дверь кабинета и всю — дверь в дверь — бухгалтерию. Бодраков оценил невыгодность ситуации, у него это мигом. Пока бразды у тебя (правда, знамена перешли куда надо, их в углу давно не было), но в наборе имеются и другие средства воздействия на кору и подкормку. Не одной корой живет человек, а еще и подкармливается.

И если для Черчилля Польша была "головной болью Европы" (именно на этом месте открыт документ, подписанный главами государств антигитлеровской коалиции в Ливадийском дворце возле Ялты, где в том году отдыхал Финаген), то новый животноводческий комплекс был не только головной, но еще и зубной болью самого Бодракова.

Ушлые председатели отбоярились, столкнули с себя этот комплекс, а он, дурак, подобрал и достроил, а теперь вот мучайся с ним, окаянным...

Как обычно, Бодраков намерился совершить объезд хозяйства. В идеологических целях Финаген решил провезти и Стешку — по полям и фермам, по населенным пунктам обеих бригад.

— Едем, Стешка, — сказал весело Бодраков.

Стешка сидела рядом и слабо вникала в перспективы. Во все глаза, однако, глядела она туда, где за суходолом, прижимаясь к молодому дубнячку, скрывался за куполами Житень. В том поселке, у ее тетки Прасковьи, жили они с Егором самые сладкие дни. Стешка вздрогнула, когда, словно тень, отделился человек от амбара. Подошел, наклонился к Бодракову (это был бригадир) и стал тихонько докладывать:

— Происшествий особых, Ксаныч, по деревне не наблюдается. Правда, Васька Нефедов полночи гнал самогонку, значит, сегодня и завтра не жди на работу, будет пьянствовать, а с ним и дружки его — полбригады. А Настюха Росева соседке башку ведром проломила, отправил обеих в больницу — на экспертизу. Да-а, бабу Фешку на Выселках ночью черти какие-то на матицу подвесили, деньги пытали — пеньзью.

Думаю так — ввиду дерзости — из Алатыря робяты, безжалостные, бежали из ЛТП, ихний потчерк...

Бодраков кивал головой, внимая агенту: так-так, так-так. Теперь дела производственные: сколько зяби за вчерашнее вспахано, сколько злобы нынче будет на силосе и что говорит население?

— А население говорит, — тут Кутепов заоглядывался, как волк, поворачиваясь головой вместе с туловищем ("Да не пляши, профындей, а говори, не бойсь"). — А население говорит, мол, Бодраков с ума спятил, все деньги какие-то ищет.

— С этого бы и начинал! — аж подпрыгнул Бодраков на сиденье и покосился на Стешку. — Тиганов Трофим, говорю, кошелек на дороге посеял. Вот и спрашиваю — помогаю, деньги Трофимовы ищу. Так всем и объясняй... Ну, жмуры, профындей! Деньги Бодраков ищет, — засмеялся, замотал головой Финаген. — Деньги! Да Бодраков всю жизнь для вас деньги ищет, вам деньги делает, вы же их лопатой гребете. А сам Бодраков на окурках тянется, живет на зарплате... Ну, бывай, — сунул Финаген Ксаныч руку Кутепову и покатил далее.

С краю Лыково также стоял свой человек. Такая система, нужная процедура. И в Гнилой Плоте тоже так, и в Арнаутово. Бодраков со Стешкой кружились полями, ныряли в суходолы, проскакивали за единый дух перелески. На картошке побывали, а также на кукурузе, на свиноферме Подполовецкой, на Кривцовском телятнике. А Стешка все тужилась, думала об этих "агентах", у которых люди все на крючке, значит, и она, Стешка, как на рентгене? И Бодраков приоткинулся на сиденье, довольный жужжанием мух, которые осенью, черти, больно кусаются. Вот так нарани, еще до рассвета, промотнешься из конца в конец, зато к семи часам, когда наряд начинается в мехмастерской, в голове — полная ясность. Бодраков все знает, Бодраков глядит в корень — попробуй Бодракову сбреши.

Бодраков не сидел за рулем, а восседал. Кое-когда в зеркало перед собой зырь — наблюдал за Стешкой, как она у него там за спиной себя чувствует. А Стешка прижукла, свернулась в калачик, сидела как мышка. Ясно-понятно: у власти имеется не только ярмо, но есть еще и эффекты. Чьи все это поля? Ярищенские. Чьи все это фермы? Ярищенские. Чьи все это люди, поселки, деревни? Тоже ярищенские, в ожерелье Ярища. А кто председатель в Ярище, кто хозяин фактический, кто? Он, Бодраков Финаген Ксаныч, гори оно синим огнем!

Перед самым комплексом Бодраков вильнул к триангуляционной вышке, так называемому "командному пункту", где когда-то ярищенцы разбивали парк, сажали деревья. Возле огромного валуна-морены еще из ледникового периода Бодраков вышел из машины подразмяться. Вот как высоко, далеко видать, словно с этого "Эмпайра блюминга". Пол-Ярища и комплекс ярищенский отсюда как на ладони. И солнца сколько. И воздуха. Дыши — не хочу. На полную катушку живи, пока жив, восхищайся. И Бодраков окатил Стешку взглядом с ног до головы, с головы до ног.

— Чего тебе, наглый! — смутилась Стешка.

— Видала, комплекс какой? Дворец! — не обратил Финаген внимания на ее слова. — Пойдешь на него работать, заведовать комплексом?

И ждал, что она скажет в ответ. Такое бывает раз в жизни, разве от такого откажешься? Стешка молчала. Стешка, конечно, не ожидала такого. Это Финагена и забавляло.

— Ну что? — повернулся к ней лицом в лицо Бодраков.

— Не знаю, — сказала оторопевшая Стешка. — Какая заведующая из меня? Я доярка.

— Справишься, — улыбался, как кот, играя мышкой, довольный собой Бодраков. — Не боги горшки обжигают.

— А Плетнева куда, зоотехника? — медленно приходила Стешка в себя.

— Выгоню профындея! Не успел работать — все успел развалить.

— Нет, не пойду, — заявила решительно Стешка. — Плетнев с образованием и тот не справился.

— А ты молодая, ты глянь на себя, какая красивая.

— Н-но! — отбросила Стешка бодраковскую руку. — Цапай жену свою, дармоед.

— Я гэвэрю, — Финаген ничуть не смутился, — я гэвэрю, молодая — стало быть, быстро всему научишься, поняла? Сегодня доярка, завтра заведующая передовым комплексом, коллективом, известным в районе. Да что в районе — во всей области, может, даже и во всей стране. А ты думаешь, откуда берутся ударники? Вот из таких, как ты, споднизу-то они и берутся.

— Нет, Финаген Ксаныч, спасибо вам, — угнулась Стешка, трогая носком туфли лопушок. — У меня, вы знаете, дите малое на руках, и опять же я неученая, всего с десятью классами.

— Га-га-га, — аж заржал Бодраков. — С десятью классами! Да мы тебя в институт устроим, будешь учиться заочно, а захочешь — на последних курсах и очно. Будем платить от

хозяйства стипендию, только учись, любя-голуба. А девочку в садик определим, садик вот-вот откроем... Другие бы за такое в ножки, а ты форды-морды, форды-бачишься.

— Султан какой, — поджала Стешка припухлые, резко очерченные губы.

"Ну красива, стерва! Цену себе набивает. Из-за таких мужики раньше в тюрьмы садились, — волновался Бодраков. — И стрелялись".

— А ты привыкай, — как можно спокойнее сказал Бодраков, ведя Стешку, словно щуку, попавшуюся на блесну, к своему берегу, к себе, Бодракову. "Играй-играй, у меня не сорвешься. С моего крюка ни одна еще не срывалась".

— Дурак, — сказала неожиданно Стешка.

— Чего ты? — опешил Финаген. — Ты чего?

— Не думай пакостно так о женщине, — твердо смотрела в глаза ему Стешка, в эти его воловььи, оловянные зраки.

— Ну да, — совсем растерялся Финаген. И где-то глубоко, на самом дне, колыхнулось: "Колдунья".

— Златые горы сулите, Финаген Ксаныч, — ощутив привычную власть над человеком, снова была в себе уверена Стешка. — Сами-то стойте покрепче, не упадите. О деньгах бы меньше думали, больше о людях.

"Колдунья, ей-богу, — созрело окончательно в Бодракове. — Кобылица необъезженная".

— Обещал комплекс, — сказал Финаген. — "Пропаганда должна быть конкретной, чтобы можно было что-то пощупать, а не в воздухе на пальцах показывать". Хотелось поставить победную точку, все же мужчина, да еще председатель. — Едем, Стеша, на комплекс.

— Едем, — пожала плечами Стешка.

По идее, животноводческий городок строили под крупный рогатый скот — дойное стадо. А когда завершили строительство, в арочных коровниках разместили телят — на откорм. И то комплекс заполнили наполовину. Бодраков шел со Стешкой по центральному проходу. Он вел ее теперь в новом качестве, как заправский экскурсовод. Рисовал перед ней радужные перспективы, негативы предпочитал затенять — сами выпрутся, только вступи в должность.

Давно у Бодракова мысли такие, давненько. Хранит про себя, ни с кем пока не делился. Не зря комплекс у себя посадить согласился: а что если вокруг него, как вокруг оси, все хозяйство провернуть, на дыбы поставить? Все у нас коллективы, учреждения, государство. Экие "пирамиды египет-

ские", все силы грохает в них какой век — восточный тип, азиатчина! А вот человек у нас масенький такой, ничтожненький — это факт, это точно. Все путаемся с ним, все куда-то пишаем, запихиваем. Конечно, руководить таким хорошо, а фактически чего ожидать от такого?..

— Гляди, Стешка, новый, с синевой бетон. Свежетесаные столбы, струганные доски, пахнут сосной. А в клетках — телячьи мордуленции — беленькие, рябенькие, крупноглазенькие, до того хороши, как только что проснулись и еще не умыты. И все они в клетках — твои... А это уголок психологической разгрузки, он пока не отделан. Будем приглашать сюда из Алатыря парикмахеров, прически нашим женщинам делать...

Они вошли в комнату — два поломанных стула да этажерка с брошюрами. На стене плакат: коровы со зловещими следами бруцеллеза на вымени.

— А это будет твой кабинет, — присел Бодраков, стул под ним так и ахнул, но выдержал. — Каково? Сидишь в своем кабинете, а люди идут, ты вопросы решаешь... Мы тебе телефончик поставим. Шторки повесишь, телевизор дадим — уют создашь, ты ведь женщина. Откровенно сказать, совесть мы потеряли. Главной функции не выполняем — народ свой не кормим. На город нам уже наплевать, так или нет?.. А я комплекс сначала хочу на дыбы поставить... мне люди нужны — молодые, соратники... кадров на селе не хватает, а то будут лишние...

— Финаген Ксаныч, мне на дойку пора, — сунулась Стешка мимо, в другую дверь.

Вышли наружу через кормозапарник. Бодраков говорил ей что-то еще, но она уже не слушала его: ей было интересно, что скажет на то Егор? В конце до нее дошел смысл последних слов Бодракова: "Ну, согласна?"

— Нет, — ответила Стешка.

— Ладно, подумай, — коснулся плеча ее Бодраков.

И Стешка под рукой его как провалилась, ушла вниз дрожким своим плечом.

XIV.

Егор притянул к себе Стешку: на сей раз губы коньяком не чадили. Отпустил, ничего не сказал. И ушел за огороды к речке Чистюньке, захотелось побыть одному. За Арендовым лесом садилось кровавое солнце. Завтра должен быть ветер, срыв погоды, возможно похолодание. Паутина бабьего лета все еще стелилась по траве, высыпала такими лохмотьями и

все цеплялась за уши, щеки — до того неприятно, как будто мухи полуживые ползают, раздражают открытые нервы.

Из-за спины налетали и бухались в речку овода, разрушая сонную зеркальность Щучьего брода. Когда-то на берегу качалась в куче плоскодонка, в условленном месте, вон в той крапиве. Там же обычно лежали болотные сапоги. Переходил брод не единый раз и он, Егор, сбрасывая сапоги на том берегу, взбирался на "кремлевский" спуск со стороны Курганной горки, так похожей на голову спящей собаки — пегой русской гончей. С Кузькой, младшим братом, они собирали по березняку ягоду землянику. Еще жива была мама, была рядом жена его Миля, сыны его были с ним, тогда были все. Давно ли, кажется, вернулся он сюда из Орла, а сколько утрат...

Прибегала Стешка: речной воды наберет, стиранное прополщет. Освободясь, подошла наконец к нему, притащила по яблоку — ему и себе. Села под бочок да так аппетитно хрумкала, что у Егора слюнки потекли. А яблоко было такое огромное, красное, как закатное солнце, лежащее уже на раките.

— Ой! — спохватилась Стешка. — Полинку побегу разбуджу, нельзя дитю спать на закате.

Вернулась: пускай поспит, пока все хорошо. Подсела к нему. Егор ощутил ее крепкое, сильное тело, поймал знакомый Стешкин запах из молока, серебристого ландыша — любимого ее одеколона и отдаленный, едва уловимый дух молодой Стешкиной кожи, только ее тела и ничьего больше. И тотчас ловкие Стешкины руки обхватили его за шею и острые, солоноватые губы Стешкины впились в губы его. Нет, Чистюнька не качнулась, не ушли из-под них берега. Только неба не стало, и там, где только что село солнце, по серебру паутины, по травянистому лугу пару раз метнулись сюда алые сполохи.

— Бодраков на комплекс зовет, — сказала Стешка, передохнув каким-то не своим, одеревеневшим голосом. — Заведующей ставит.

И ждала, что ответит Егор. А паутина летела, путалась в волосах, ложилась на руки, плечи и соединяла, покрывала все кисеей. Последние теплые денечки, больше у речки вот так уже не посидишь.

— Ну а ты что? — произнес Егор, не глядя.

Ему стало тревожно. Вот так оно все и кончается, так все и уходит. Просто так ничего не бывает... И тут раздался взрыв смеха — ниже брода, туда, к мосту. И вспыхнул костер. И обозначились живые, верткие фигуры. Они бегали, гонялись друг за дружкой, что с них возьмешь — молодежь.

Суббота сегодня, скорее всего ребята из города. И по тому, как костер протянулся сюда к нему по Чистюньке, Егор догадался: подоспели сумерки.

Тихий вечер — без капли росы, без намека тумана. Речка как бы приблизилась, волной стала лизать Стешке колени. И колени ее на глазах превращались в рыбий хвост — такой длинный и гибкий, и сама она оборачивалась берегиней-русалкой. И вот, чтобы не отвечать ему на вопросы, она, бестия, вильнула этим хвостом и ушла от него в глубину. Он ждал, когда Стешка вернется к нему, но она все не возвращалась. Она была там, на дне, откуда, как и от костра, доносились звуки, мелодия — то ли транзистора, то ли магнитофона:

Не пройдет, казалось, лето,
Не пройдет, казалось, лето,
А теперь... а теперь...

Все могут короли, могут, как этот Нептун в глубине Чистюньки, назначить русалку заведующей комплексом, да вот жениться по любви — это, конечно, не их прерогатива.

Под острым месяцем стала виднее Курганная горка. А месяц все тот же, когда они со Стешкой лежали в лугах на копенке и еще жива была мама. О маме ему напомнил запах молочной рисовой каши, той особой, которую память с детства связывала его только с мамой и ни с кем больше, только с ней.

— Я уже приплыла, — сказала русалка и превратилась в Стешку.

— И что же ты ответила ему, Нептуну? — шевельнулся Егор.

— За мной, мальчик, не гонись, — рассмеялась веселая Стешка.

И снова серебристые ландыши сильными, солоноватыми губами тащили Егора в пучину. Он уже не сопротивлялся этому. И звезды оказались у него за затылком, а глаза Стешкины — перед ним. И он не успокоился до тех пор, пока глаза эти не заколыхались в Чистюньке, уплывая по внешним водам туда, к костру, вниз по течению. Егор был всегда жадный до плаванья, как всегда, его было трудно выгнать на берег.

Непродыхаемая, глубокая ночь, артезианская скважина.

Во влажном блеске черных глаз
Ночные молнии метались.
И звуки в звуках отражались,
Рояль магический не гас.
Как странен голос. Улови,
Какие в нем рождаются страсти.
То поднимают нас до счастья,
То опускают до любви.

К Егору со Стешкой подошли парень с девушкой.

— Я сейчас! — крикнула Стешка этим двоим от костра. — Подождите.

И принесла им кубан молока, краюху черного хлеба:

— Вот!

Ребята передавали кубан из рук в руки — молодые, совсем молоденькие, они только учились этому — искусству любви. Стешка подхватила недопитый кубан и сделала глоток. "На", — передала она его Егору. Егор задержал дыхание, никогда не было такого — под луной у Чистюньки, с молодыми людьми. И тревога, связанная с Бодраковым, сделалась малой такой, ничтожной и вовсе сошла на нет. Эти четверо у костерка! Они удрали из школы, людям всегда не хватает праздников. "Почему мы живем в напряжении, работаем без удовольствия? — думал Егор, глядя на них. — Неужели нельзя жить и работать красиво, свободно — без рабства?" Рыжий костер, отживший валежник. Ребята носили его охапками. Голодные, как волчата, они подставляли руки огню.

— На чай к нам! — пригласила Стешка.

Самовар нагрели еловыми шишками. Смолистый дух гулял по двору, по всей Тигановке. Яблоня Палласа, такая громада. Весной ее обливают бело-розовым цветом, а осенью ее дробными красноватыми яблочками питается птичий базар. При свете луны лица казались лимонными, при отблеске самовара — красноватая рябь, чистая бронза.

— Сами-то вы городские? — спросила Стешка гостей.

— Алатырские, — ответила за всех белокурая.

— Скоро определяться? — заметил Егор.

— Мы деревню любим, — тряхнула белокурая хвостиком на затылке.

"Городские едут сюда, а деревенские уезжают. Для городских это игра. А деревенским если в молодости не испытать себя, то когда же?"

— А вы кем работаете? — повернулась белокурая к Стешке.

— А-а, — отмахнулась веселая Стешка, — под коровой сижу.

— Под коро-о-о-вой?? — удивилась белокурая с хвостиком. — А зачем?

— Ей так нравится, — засмеялся Егор. Еще и с телятами спать собирается.

— С телятами? — удивились все хором, даже чай перестали пить.

— Надуются коньяку, — несло Егора, жестоко это, а говорил, — и на солому завалятся.

— Зачем ты так! — опустила голову Стешка.

И слышно стало, как посапывает самовар, над головой где-то в куще яблони раздается сторожкий шорох. То птички на ветках заворочалась, стали долбить райские яблочки — архимандритовы, с Соловков, а кору точил дровоточец.

— С буграми едешь, на "бугровозах", — смотрел Егор Стешке прямо в глаза. — Знаешь, кого на хрен послать, кому "здравствуй" сказать.

— Егор! — тяжело задышала Стешка. — Ты что говоришь хоть, про Бодракова, да?

— Нет, про деда Бобыря! — стукнул по коленке себе Егор и поднялся.

— Что вы делаете со мной, сволочи!

— Егорушка, — бросилась Стешка к нему.

Гости стали покидать поспешно ристалище. И только белокурая с хвостиком осталась на месте, стояла как зачарованная: "Она его любит! Она его любит!" И вдруг девчушка подлетела к Егору, заколотила по спине ему кулачонками:

— Плохой какой, какой плохой! Эгоист... эгоист... эгоист...

Паренек оттаскивал подружку. И, было со стороны это, может быть, и смешно, но если откровенно, то и очень даже печально. Стешка убежала в дом. А Егор как присел к столу, уперся локтями в столешницу, так и сидел.

Принялось трясти яблоню, дело к рассвету. До того тихо потряхивало, что, если приналечь на слух, уловить можно, как в шелесте веток что-то причмокивает — неужто яблочки, эо, махонькие, распирает от сока? Егор стряхнул с себя этот звук, как тут же навалились другие, принялись поскрипывать бревна в доме, будто кто-то грузный такой, что ли, сам дед Петрака покойный ходил по крыше своего дома, делал дому осадку. "Дом есть дом, семья есть семья. И куда летят листья по ветру, до чего долетят?" А дом изгибался, скрипел, стонал, уходя в землю; огончены с улицы стенки, и весь гонт корежился, выпирал грудью, трещал суховато. Все было почти как и тогда, когда умирала мама. И ветер хлопал, ходил по крыше железным листом. Они услышали тогда их со Стешкой первыми там, на копенке, — шаги судьбы...

Затрещало, теперь уже длинно, вроде как прошло автоматной очередью. Как тогда в Подшибякино: пестрый, серый, черный дятел — желна... Сколько за жизнь наберется всех этих схожеств, предчувствий, непонятности разной, тревоги...

Возвратилась Стешка. Присела напротив. Смотрела, как доходили угли в самоваре, искры в поддон уже не просыпались.

— Егор, — подседа она к нему ближе. — Какой ревнивый.

— А ты как думала, — не ронял он своего мужского достоинства. — У грузин, что ли, одних темперамент?

— Шаги судьбы, — сказала Стешка низким, простуженным голосом.

— Дом делает осадку, — объяснял ей Егор как можно спокойнее. — Дожди были, пролило под фундамент.

А звуки уходили отсюда как в вату. Кто еще слышит их, двоих, дальше этой вот яблони, той вот ракиты, как стучит сердце — твой Серый Дятел, усыхая, осаживается дом твой, как тревога не сходит с тебя, оттого что вокруг эта ночь, пустота в темноте, и пространство сжимается, сходится к горлу, разве кожа твоя не шагреневая? На днях у Адама умерла последняя бабка — бабка Мотя, последний житель Прилеп, что у Волчьего Шляха, значит, еще одним поселком, братцы мои, стало меньше. Это нас становится меньше, нас, мы уходим с лика земли, рвется нить, кто же будет кормить?..

— Егорушка, — обхватила Стешка его за плечи. — Ну идем же, идем. Не заводись, не бери на себя, поделись.

И такое горе взяло вдруг Егора, как тогда на могилке у матери. Так рвануло всего изнутри, что упал он на грудь Стешки, словно дуб подкошенный, хряснулся оземь.

— Да ведь вымираем же, вымираем мы, ты-то хоть понимаешь? Уже меньше ста миллионов...

— Я понимаю, — гладила она голову, седыми делались у Егора виски. — Понимаю, любимый мой, дорогой.

— А они, они только болтают... чернобаи, — задыхался Егор. — И никто не говорит правды, правду они под себя...

— Да кто хоть они-то! — трясла Стешка Егора. — Бодраков, что ли, да?

— И Бодраков, — совершенно трезво сказал вдруг Егор. — И те, которые... из Алатыря... из Орла... все... Все ради себя, своих благ ограничили, спутали-перепутали, спеленали...

Зажгли в горнице ночничок. В спальню сквозь занавеску пробивался рассвет. Стешка наклонилась над Полиной — поправляла волосики ей на лбу, одеяльце. Полинка спала, как спят только дети и ангелы. И то, что щеки ее розовели, было видно и в темноте.

— Похожа? — сказала Стешка, имея в виду Егора.

— Похожа, — сказал Егор, имея в виду свою мать.

* * *

С утра Егор не поехал в Оболеншево. Остался подмогнуть отцу на "филиале", в Тигановке, тут пока еще принимали картошку. В других областях недород, а тут уродило. Вот повысили закупочную цену, и иссякнувший было поток снова ожил, опять массово крестьяне повезли картофель на заготовительный пункт.

И опять в Тигановку тянулись подводы, покатали машины. Люди везли "второй хлеб" в своих мешках и в Трофимовых сетках. Трофим их раздал заблаговременно, проехав намеренно по поселкам и деревням.

А нынче вот уж выдался денек — сумасшедший. Новый взрыв на солнце, что ли, выброс энергии — протуберанцы. Надо же, как все разом нагрянули из Ярища и с Оболеншево, из Волчьего Шляха и Шевелихи, с Лыково, Арнаутово, Подполовецкого. И ведь не деньгам — рады друг дружке, что они еще что-то значат. Приглашали каждый к себе на "козырной", на ближайший из всех "престолов" Покров: "Приезжай, милай, встретить найдем чем, не зря пашем." И рассаживались в ожидании черед кто где: под кусточком, в лесополоске, на лугу прямо, возле речки Чистюньки. Рядком и ладком. А когда еще встретимся, где еще душеньку отведем, как не тут, у Петровича же, ясно понятно, "годовое дело" — картошка.

Егор был при всех, со всеми вместе сгружал и разгружал, затаривал, взвешивал. А ну покидай туда-сюда сеточки, сколько тонн за день световой перекидаешь? Картошку грузили на бортовые машины, тут же и увозили. И никто в такой суতোлке не обратил внимания, как мимо двора Трофимова, через всю Тигановку, шмыгнула цыганская бричка. Прокатила и прокатила, и ладно, хрен с ней...

Сперва с Полинкой сидела Таисия, а как Стешка вернулась с утренней дойки, так сама Стешка сидеть стала с дочерью, а Таисия между всеми тут во дворе закрутилась. Раскомандовалась, фельдмаршал. Прибегала из дому Стешка, помогала ей тут чисто символически. Егор метался туда-сюда — в такой круговерти только успевай поворачиваться. Машины должны идти без задержки — это закон. Вес, деньги, записи — все должно соответствовать. Нам чужого не нужно, но и своего не отдадим...

И тут Егор заметил, скорее духом почуял: красная косынка мелькнула на том конце деревни — в поле, в гречихе. "Стешкина косынка, — задержался он мыслью. — Чего ей в гречихе-то надо?" А Стешка уже вот она, навстречу ему, не помнит себя, бежит, заполошная.

— Полинку Таисия не забирала?

— Ты же взяла.

— Нет Полинки, — взвизгнула Стешка. — Дите пропало.

— Сука! — потемнело в глазах у Егора. И с размаху — хлесть ее по лицу. Стешка упала. И не помня себя, он стал бить ногами ее, ногами. Идиот, не надо, зачем? В кровь лицо, намотал на руку кровавую косу. И сам упал тут же, уцепился за татарник, стал дергать его, выдергивать с корнем, зубами грызть под собой эту грязную, последождевую землю. Сбежались люди: "В городе еще, да, дети, слышать, пропадают... Оставят вот такие дуры коляску где-нибудь возле универмага... Но чтоб в деревне... У семи нянек..."

— У Бодракова Полинка, вот где! — просвистел Егор ссаженным горлом.

— К нему приведут концы, как бы ни путались.

— Ох! — простонала Стешка.

И гибкая, как змея перекрученная, изогнулась дугой, перебросилась лицом вниз и завывала, закричала, живая, в голос и стала рыть руками, руками, когтями землю, забилась головой о что попадая, о железку какую-то, кем-то брошенный плуг. Господи, вот беда-то, вот горе, ребенок пропал, родимы-и-и-и!!!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Паны дерутся,
а у холопов чубы трещат.
Пословица.

I.

Вот уже третью неделю Стешка была заведующей Ярищенским комплексом. И третью неделю ходила тень тенью: где ее дочь, жива ли, кому это надо было — лишить ее дочери? О господи, до чего же люди жестоки! Едва девочка научилась стоять на ножках, только ходить ведь начала — вот времечко, до чего докатились, белым днем детей крадут у родителей. Сколько народу перебывало в Тигановке в тот день, сколько машин разъехалось по чужим городам. Но вещало вещунье: Полинка не за тридевять земель — где-то поблизости. Это кто-то из ближних устроил такое отцу с матерью, им с Егором. Бричка цыганская проскочила тогда через деревню. Бодраков прокатил на своем "бугровозе". К Бодракову Стешка сразу же прилетела, обиняками выпытывала: если знаешь хоть что-либо, скажи, пожалей, ведь мать же, мать.

Она приняла предложение Бодракова, вот и ездит теперь на комплекс. Хоть бы это дало что-то, помогло как-то, все-таки руководство, как-никак ближе к милиции. Поделилась бы болью, новостями на новой работе, да Егор буркнет себе под нос до того грубо. Все по шерсточке гладь его, ни слова, ни полслова поперек, против шерсти. Все перевернулось и в нем, как потерялась Полинка.

В Оболеншево Стешка была широка. Что-нибудь на ферме не так, другие доярочки еще стерпят, а она все в глаза выложит хоть зоотехнику, хоть председателю, ей все равно, чтобы знали, не химичили, не ехали на спине труженика.

И по дому Стешка ходила теперь на цыпочках, все острые углы ей мерещились. Зайдет в спальню и стоит перед пустой

кроваткой — господи, как же можно жить на свете, почему хоть мир так устроен...

А куда денешься, надо работать. Подымешься чуть свет и — на животноводческий комплекс. Как-то глянула Стешка на себя в зеркало — сеточка вокруг глаз, опустилась к щеке. Что значит дите для матери. Попробуй выходи человека — чего это стоит, а забрать его просто так или каким-нибудь обманым путем — это мы можем, это раз плюнуть, как будто дело касается не человека, не дитя материнского, а какой-нибудь твари бездушной, вещи неодушевленной.

В первые дни Стешка кидалась, билась головой о пол, о кровать, так ночами рыдала, что голос сменился, стал сиповатым и резким, как у сороки. Бодракову и на том спасибо, что хоть надежду дает. Можно чего-то ждать, где-то искать. Из-за дитя на все пойдешь — на муки, на унижения. Надо — и пятки будешь лизать, что угодно отдашь, пренебрежешь здоровьем, всем личным своим, нажитым — только бы надежды не потерять. Что говорить о жизни, жизнь будет после, когда найдется Полинка. Без Полинки нет семьи, как же можно жить без всего.

Стешка сшила себе костюм из кримплена, надо же в чем-то ходить на работу. Материал весь в электрических искрах, особо когда, ложась спать, снимаешь во тьме через голову юбку. Костюм зеленого цвета, как и платье у Коротеевой, экономистки — правой руки Бодракова. Коротеева крутит всем, без нее Бодраков ничто. Может, она поймет ее как женщина женщину, поищет щелочку в душе Бодракова. Неужели в людях нет ничего человеческого?..

И вчера, и сегодня Стешка забегала в правление пошущаться с Коротеевой. Сначала, конечно, по делу, по комплексу. Зима надвигается, а в арочнике вот такие дырищи. Чтобы звезды не гляделись, что, мне в эти дыры костюм свой записывать? Телятники гулкие, полупустые, телятницы волнуются, кроют почем зря заведующую. А что она им, телят нарожает, что ли, от кого зависит укомплектованность — от Бодракова.

— А Бодраков тебе что, бык-производитель? — сверху этак глядела на нее Коротеева с точки зрения экономической. — Легко было бы — зоотехник, этот дурачок, и без тебя бы справился. — И уводила Стешку в уголок коридора, дышала, грудастая, чесноком Стешке прямо в лицо.

— Ну че пришла, говори. Че-нить выжать у Самофалова? "Егорова сука, потрясешь у меня подолом, покрутишься. Как

прижало, так сразу к Коротеевой дорожку нашла, а то и знать не хотела никакой Коротеевой".

— Знаешь че? — вела Стешка пальцем по зеленому платью, по груди Коротеевой, а самой хотелось пнуть ее, проткнуть всю насквозь, стерву такую. — Бодраков, может, знает чего про Полинку-то? Может, через людей каких, через милицию, у него же связи.

— Участкового нового присылают, — сообщила ей Коротеева, а сама заглядывалась, нет ли сзади кого. — Наш по месту рождения, Сенька Клевцов с Арнаутовки. Встрелся намедни, же-елтай-прежелтай, туз бубновый — лист кленовый. В деле, говорят, побывал, в переделке. Ногу по самую задницу чуть ли не отхватили. И сейчас, говорят, остался в ноге осколок — малой такой, с пашаничку, а беспокоит.

— Ничего, — поддакивала Стешка, больше сочувствуя себе, а не участковому. — Еще разъестся, раздуется, как бубен, будет здоров во все стороны. "Участкового меняют. От того, небось, и меняют: слыханное ли дело — белым днем детей воруют в деревне... Надо чего-нить попросить у нее, пустяковину. Чтобы подпасть под нее, будет больше доверия. "Не проси, не верь и не бойся", — тут же вспыхнул в Стешке Егоров запрет. — "А, ладно, — махнула она, усталая. — Просить все же надо. — И сказала Коротеевой уже вслух: — Наволочки на днях видела у Самофалова, выписала бы, а? Под аванс, хотя бы пяток".

— Трех хватит, — отрезала Коротеева.

На комплексе Стешка живо взяла бразды, все на ней — такая система. Ведра нет теляточек напоить — к Стешке. Тряпки нет мордочку телку подтереть — к Стешке. Биомicina не хватает, ну, на это же ветфельдшер есть, тоже зарплату ведь получает — опять-таки к ней, Стешке. До чего дошло: бидон вдвоем приподнять и то бегут куда? К Стешке. Прыщик на губе вскочит, и по такому поводу обращаться будете к Стешке? А чуть что не так — гадюка семибатьюшная, выдра оболешевская, бодраковская "кадра". Все вы у Бодракова такие, все виновные, довели до ручки колхоз, на какой теперь "карасина не жалко". Это сколько же надо времени и терпения, чтобы все поставить на реальное место.

Бывало, дояркой работала, сама требовала от завфермой, от зоотехника. Молодая, запальная — только и звенел ее голосок по коровнику. Чуть что — тряпкой, какой вытирают вымя, кого надо перепояшет. Не обделяй сочными кормами, не воруй комбикорм, сволочь, вынь да положь, что записано в

рационе... А теперь сама ношу, с самой спрашивают. Ведра где хошь доставай, чуть ли не каждой телятнице мешки с комбикормом подтаскивай, да не возражай, не то — "обдерем на собрании, выживем, вытурим вон".

Бодраков на днях заскочил на комплекс, мыслями поделился. Думали, когда затевали комплекс, молоко польется рекой, заработки пойдут, опузатимся. Но потом что-то там случилось в Алатыре: молока, говорят, нам не надо, с молоком мы уже решили, теперь будем с мясом решать. И велели молочный комплекс перепрофилировать. Вот что — доращивайте, мол, чужих телят на чужих кормах да сдавайте высшей категории, ваше, мол, только старание.

Хорошо, конечно, отвечали в Ярище. И до того обрадовались перспективе такой райской жизни (и своим, частным теляткам кое-что перепадет), что хотели даже вывеску сменить, как у нас это водится, чтобы тень на плетень навести: "Светлую жизнь" заменить на другое название, например, на "Огни Орловщины". Да кто-то из умных вовремя остановил: не свяжет ли наш простой человек эти самые "огни" с бодраковскими насчет "карасина никакого не жалко"?

Так что Стешка попала на комплекс в критический момент, когда телятницы бросали ведра и уходили с комплекса.

— Ладно, — прервал тогда Финаген поток нехороших Стешкиных мыслей. — Бодраков в беде не оставит... И насчет дочки твоей отрабатываю один вариант. Слыхала, в Америку детей завозят извне, своих детей уже не хватает... Вот так.

И, успокоив ее таким странным образом, Бодраков сел в свой "козел" и газанул, так что сорока испражнилась на яблоне. Да пошла ты, бессовестная, заполошная. А мы думаем, что в деревне подслушать некому. Яблоня и та кому-нибудь что-нибудь после нашелестит.

Явились с обеденного перерыва телятницы. Тут, в комнате, и переодевались. Роба у них и в самом деле непросыхаемая, непрожигаемая, вся в пятнах от комбикорма, от кукурузного силоса, от лампы паяльной. До чего неузнаваемыми становились девчата. Одинаково толстые, неуклюжие, бочки. Ну, пожилые ладно еще, фигуру давно потеряли, а вот молодые — только что вышли замуж или ни разу еще не выходили — "цыцарочки", а со спины обозначаешься, только по движениям и поймешь, кто это жом свекольный накладывает. У молодежи — у "дочек" движения нервные, резкие, словно злятся на кого-то или в клуб на танцы спешат. Пожилые —

"мамульки" то же самое делают неторопко, с прохладцей, но уверенно, привычно, и сделанного получается больше.

— Чего же это вы, милые мои, — подошла к телятницам Стешка, — животы рвете, на себе таскаете? А Василий где, скотник наш, возчик кормов?

— У Василия пупок синий, — сказала одна из молодых, самая боевая, Варька Апрятова. — Размагнитился. Вон и Дроздов наш в стогу прилунился.

Недолго думая Стешка подхватила ведра и давай тягать жом вместе со всеми. Разносить корма по телячьим клеткам, пока общая кучка таяла, таяла и совсем не истаяла. После этого Стешка побежала во второй арочник: что хоть там дее-тся?

Прямо с краю второго арочника была отгорожена клетка для особо слабых теляток. Их отобрали из всех групп и отдельно сосредоточили, чтобы сильные не стоптали, не оголодали хилых.

— Мыу-у-у! — просунулась промеж деревянных брусьев белая, в рыжеватых подпалах, слюнявенькая такая мордочка и поймала губами Стешкин карман.

— Ах ты, маленький мой, бесперспективненькай, — обхватила Стешка за шею теленочка. — Да мы тебя выкормим, выходим, да мы тебя в люди выведем, да мы...

— Стеша, — подошла сзади Нина Синюткина — тихоня, сиротка, из города присланная, из интерната, в качестве телятницы без году неделя, а уж замуж за одного тут собралась, развел мужик "амуры" с этой Синюткиной, а у самого дома трое по лавкам.

— Ну что тебе?

— А у нас воды нет, — поджала губы Синюткина.

— И ты не знаешь, что тебе делать?

— Не знаю.

— Не знаешь, где у нас водокачка? Где у нас скотник Валера по фамилии Дроздов, он же Кардан? — все больше злилась Стешка на равнодушие, с каким выслушивала все это Синюткина, только на передок и гораздая, идивотка. — Грязищу развела. Что, не знаешь, как клетки чистить? А ну бери лопату!

И вместе с Синюткиной Стешка принялась сдвигать с деревянного полу телячьи лепехи вниз к транспортеру, подавая пример личного энтузиазма. А что делать, если ты какое-ни-какое начальство и у тебя должен быть какой-никакой оптимизм. Ничего-ничего, Синюткина, становись рядом, не

переломиться. Зато будет чистенько, скоро будет любо-дорого глянуть на твою группу, предельно убогую. А как Валерка Кардан проспится, так запустит транспортер, даст воду, тогда и шлангом еще пошурюешь. И у тебя просвет в личной жизни, осмысленность на морде появится.

— Еще чего! — отвела Синюткина Стешкины притязания на дополнительную нагрузку. — И так обойдется.

— Так они, выходит, и жили, — поставила Стешка руки в боки.

— Кто хоть? Те, что ль, что губы красили, а шеи не мыли?

— Грамотная какая! — вспыхнула Стешка.

— Верно говорят, — забурчала Синюткина, — не то что девку, — мужика скоро уведут у такой из-под носа, и то за делами энтими не заметит.

И повернувшись спиной к Стешке эта Синюткина, пошла своей дорогой. Стешка глядела ей вслед: хоть еще и ползунковая, а все одно змея, через годик-другой сделается змеищей. И побежала Стешка на склад — разобраться с комбикормами.

А после склада Стешка засела в комнате отдыха. Бумагу взяла: крестики-нолики, счета-расчеты, быть бы живу — не до почета. Сколько комбикормов потрачено, сколько еще надо. Так, на поголовье. Так, в кормовых единицах. А сколько было выдано? И откуда же будут привесы? У телят привесы, как и у коров молоко, на языке. А Коротеева списала на комплекс эге сколько, нашли моду на кого списывать, грехи свои покрывать, выгораживают полеводство... Грамотенки бы, знаний побольше! Эх, показала бы им с Бодраковым, куда они гнут. А то — нюх да предположения...

Отгремели ведра по арочнику, отмычали телята. Девчата закончили свое дело, ушли. И себе пора к вечернему автобусу на Тигановку. Но куда спешить, что дома-то ждет — молчаливый Егор? С того часу, как пропала Полинка, и зреть не может Стешка эту Тигановку, этот дом деда Петраки, эту самую спаленку, где в кровати лежала, бывало, Полинка... Хоть стол зубами грызи, хоть бей окна лбом — тоска, одиночество...

Стешка вышла из комнаты отдыха. Она проходила мимо помещения, где хранились сухие корма, короче — комбикорм и солома. И ей показалось, мыши зашубершили, уж больно крупные мыши.

— Кто тут? — произнесла она в темноту и отступила назад за порог.

Подождала минутку, другую. Теперь уже точно, кто-то был тут, дышал тяжело, осадисто.

— Выходи! — приказала Стешка. — Не то людей позову.

И тут, отряхая с себя солому, Стешке явился Дроздов, скотник.

— Ты чего делаешь тут, Валерочка? Запускал транспортер?

— Да вот... мы тут, — замялся молодой скотник, сзади белело чье-то лицо.

— Ах, это Синюткина! — прищурилась Стешка. — Прилунились, значит? Эх, вы, молодежь! На сололке, значит? И любить-то красиво не можете...

И уже подходя к автобусной остановке, Стешка оглянулась на комплекс: "А может, то была и не Синюткина? В темноте все же не разглядела. Может, то была Варька Апрятова... У, бабы! С ума посходили. Нашли где пасти вредных телят, этих слюнявых юнцов".

II.

Ударить Стешку, за что? Откуда в нас такая жестокость? До чего можно дойти в этой подлой жизни.

Егор вспомнил, как отец, когда пил еще и жива была мама, вскочил однажды на трактор, крутил вокруг дома кольца, рыл землю гусеницами, пока не уперся в липу. Мама бесстрашно встала перед ним, и он ударил ее вот так же, наотмашь.

Чуть свет Егор отправился на Оболешево, домой появился поздно и сразу в постель. Стыдоба какая! А еще, говорят, образование улучшает нравы. Отчего мы так ожесточились? Всех обвиняем во всех смертных грехах, но только не самих себя. "Просто противно, как нехорошо..."

С вечера Стешка оставляла ему завтрак — это повкуснее, что любит он — селедочку под шубой, которую она, по правде сказать, только и умела готовить. С неделю Егор не трогал этой "шубы", не прикасался. От неловкости, что ли, или от мужской своей наглости, культа силы? Она была в нем нагловата, эта мужская сила, как, наверно, и у тех чиновников-бюрократов, кого он не любил больше всего на свете. И за что? За тот же культ, любование силой, которая у них ведь не личная сила, не от личных способностей, а от кресла, от должности, от государства. Жестокий, беспощадный, сплоченный народ. Они, эти середнячки, находясь в тени, накрутили культ личности. От них еще будут беды, натерпимся...

Подойти к Стешке, обнять ее, как бывало, притянуть к себе, наконец, попросить прощения — нет, на это Егор не решился. Никак не мог, вот и все. Ночами Стешка шептала ему что-то про Бодракова, но все ускользало, качалось в каких-то зыбях, а виделось только одно — Полинка. Ради нее Стешка ведь и на комплекс пошла, Бодракову навстречу. Если уж мы сами ничего не можем для собственной дочери, так хоть люди помогут...

И в Егоровой компании появился нужный человек — следователь районной прокуратуры Ляпунов Гриша. Его профессия заинтриговала Егора. И вот сегодня дружки вместе с Гришей заехали за ним, Егором, на милицейской машине. Бронирована, зарешечена, темно-синего цвета с поперечной красной полосой — "Маруся в красной косыночке", государственная машина.

Они были возбуждены: предстояла охота на лося. Садясь добровольно в "Марусю", Егор поинтересовался, однако, насчет лицензии.

— Туточки, — хлопнул себя по нагрудному карману Григорий.

Оказывается, дружки были еще и охотниками. Кабаны изрыли опушки. А от лосей, этих диких лесных красавцев, стала страдать цивилизация — мехлесхозовские посадки. Конечно, и прежде попадались Егору лосиные следы. Идешь и видишь: сверху донизу просохано по осинке зубом-лопатой, посхватаны макушки с сосенок. Однако охота на живое с единственной целью — лишить его жизни — нет, такое было не по нему.

И все же было заманчиво попасть на настоящую охоту с настоящими егерями.

"Компашка" подобралась тепленькая. Не было только Бесноватых Евгения. Зато в составе оказался еще и Серафим Тубольцев, тоже заготовитель. Это кольнуло Егора: к чему хоть, как говорится, второй Тургенев, разве одного Тургенева мало? Но — шестикрылый Серафим на перепутье нам явился, и надо было с этим считаться.

Однако сам Симочка вел себя вполне прилично. Как коллега — тет-а-тет — он сообщил Егору об истинном смысле происходящего. Дело в том, что именно сегодня он расписался, и это, если хотите, была не только охота, так сказать, в его честь, но и его свадьба, ибо средства на его стол бросил именно он, Тубольцев Серафим.

— А где же... она? — вырвалось у Егора.

— Жена? — усмехнулся Симочка. — А я на ней опять жёнуюсь.

— Второй раз, на жене? — удивился Егор.

— Да, она опять изъявила желание, — сказал Симочка без грусти.

— В первый раз она меня бросила, я в ЛТП, — он щёлкнул себя по кадыку, — по этому делу попал... Сейчас? Это дело ни-ни, вшита ампула. Вот тыщу рублей в прошлом месяце заработал.

— Тысячу? Где? — косился Егор на компанию.

— В нашей системе. И стал опять у нее человеком.

Соображая, каким образом этот "молодожен" сумел заколотить в месяц целую тысячу, Егор вникал в суть вещей: охота предстояла серьезная. Тоже годовое дело, охотники, как ворон крови, ждут его целый год.

И вот они наконец у цели. Не слушая один другого, слушая только себя, каждый стал излагать свое выношенное — собственный план действий. Только его план приведет к успеху, к возрождению правил славной русской охоты. Именно его план наилучшим образом соответствует отечественным традициям. С соколом! Да, но ведь идем на лося, дорогие, не на лису. С борзыми! Прекрасно, но это когда, извините, на зайца. Да и где, извините, пожалуйста, борзые и соколы в наших-то современных условиях? Придется идти элементарно пешком, двигаться, используя складки пересеченной местности, как предки с дрекольем на конных тевтонов...

Ох, уж эти любители! Без "профессионалов" то была просто толпа, неорганизованная такая общественность, разговор в пользу бедных. Как понял Егор, все это было затеяно для поддержки штанов районному обществу охотников и рыболовов, чтобы видно было, что они раз в год собирают не только членские взносы. В пай к ним запросились еще и "кролиководы", также из районного общества, но "охотники" их отвергли: это опасно, это вам не Австралия, это — Россия!

Профессионалы отнеслись ко всему снисходительно, взяли и приняли предложение "кролиководов". Пусть себе по лесу, покричат. И тогда "охотники" выдвинули собственный план вторично. Он был прост, как синяк под глазом у главного сгерьа. "Рыболовы" движутся одной цепью справа налево, а "кролиководы" во второй линии — слева направо. Идут клином, или "свиньей", как "псы-рыцари". И вытесняют из урочища все живое, гонят лося, естественно, на "номера". Там, в засаде, "профессионалы" и заканчивают об-

щее дело. И дело в шляпе, лось в кармане, коварная диспозиция. "Кровавая диспозиция", — застучало в виски Егору.

Ермилыч — егерь, давний приятель отца, поведал ему, что "богадельня сия" затевается из-за какого-то высокого гостя. Ему, значит, и будут таскать из огня каштаны да еще своему районному начальству, которое они вряд ли даже увидят в глаза.

Это Егор смикитил мгновенно и потому сделал правильный выбор. В жизни иногда это очень важно — сделать правильный выбор. В одну минуту "кибер" — "чудак" твой решает: быть или не быть, с кем и куда, против кого? И Егор не пошел ни с "охотниками", ни с "кролиководами", даже пальцем не шевельнул, чтобы двинуться также следом за гонщиками, а встал за "номерами", прижук у них за спиной.

"Идет охота на лосей, идет охота, — отстукивало в мозгу сиповатым, надорванным голосом. — Шла и идет, шла и идет, идет охота, — поддакивало у него под рубахой в груди, — а жить охота..."

Гон катился по чернотропу. Слева заулюлюкали — это аукнулись "рыболовы" (крючкотворы несчастные, эти в своих конторах ловят на крючок и выбрасывают тепленьким на берег). И тут же справа, тоже неблизко, откликнулось расстроенное пианино — это уже "кролиководы" ("тоже конторские, но повыше рангом, из тех, что сами шкуры уже не сдирают"). И вся "колыма" заговорила на таком языке, на такой арготарабарщине, что надо было еще учиться, учиться и учиться, чтобы во всем этом деле разобраться. И жаль Егору сделалось лосю — хозяина здешних владений и самого себя жаль: ввязался в такую ком...кам...панию, к "панам", в общем, попал. А стрелки — "профессионалы" стояли прямо перед ним, спиной к нему, и ждали.

А лось, видать, не дурак. А может, сго и нетути вовсе? А? Что ему переть сюда, под пули башку подставлять? Но вот уже и голоса. Справа — это "кролиководы". Слева — "рыболовы". Или, может, наоборот, перепуталось все, как в каком-нибудь буржуазном парламенте?.. Хвоинка упала Егору за воротник, и у него зачесалась шея. Когда Егор разлепил веки, чуть левее — между левым и центровым "номераами", прямо перед ним, замерев, стоял литой, перевитой весь, могучий лесной красавец.

Хлопнул сухой выстрел и еще два подряд. "Дуплет в угол, желтого в середину". Лось сорвался и замелькал меж стволов, играя опытом и интуицией, пересбывая ногами, как будто пе-

ред ним не стволы были, а пианино. Лось уходил хорошо, профессионально. Так и надо им, дуракам, так и надо! А далее бег красавца замедлился. Бока стали биться о березы, это, однако, не помешало лосю исчезнуть. И тут же рядом с Егором раздался нечеловеческий крик.

В кучку сошлись уже те, что были поближе — "профессионалы". Они держали ружья стволами вниз. А на земле лежал человек. И это был, кажется, кто-то из "кролиководов". "Профессионалы", одетые одинаково — в брезентовые короткие куртки, отворачивались, им это не нравилось. Тут же крутился хозяин всех этих земных пространств — ярищенский председатель. В отдалении, в лесной глубине, голоса районной общественности сваливались куда-то вниз и направо — по следам, по сле...дам...

Егору сделалось несхорошо. Он поднял хвойную лапу и стал жевать хвоинку, как тут же услышал:

— Перекрасить в синес и затолкнуть в психушку, — посоветовал Бодракову кто-то, видимо, из своих.

— Кого, лося? — спросил удивленно Егор.

Тут же все увидели сго, покосились: он что — чужой, ненормальный какой-то.

— У меня всего один ствол, — сказал Егор неуверенно, подтверждая их подозрения. И полез к себе снова за шиворот: опять укусила иголка- шакалка. — А у вас по два.

— Это он! — указал на него старшой. — Что у него в голове, каламбур? Как могли его допустить?

— Допустить! — усмехнулся Егор. — Как будто это у нас для китов только. В таком случае не лося — кита перекрасить в синес и затолкнуть в психушку, — произнес он отчистливо.

— Что ж мы стоим?! — двинулся к нему старшой, поощряя других.

— Но-но! — отступил Егор от него на шаг. — И у меня два ствола, — сказал он как можно помягче, чтобы тут же сго не положили. — Этот, — показал он на ружье, — и вон тот, — погладил он ладонью сосну, за которой стоял. — И у вас по два, но каких, у вас "тулки". И вы стояли на "номерах".

— Он мог бросить ружье, мой генерал, — сказал неуверенно кто-то. — И взять это, другое, с одним стволом.

Егор приподнял ружьишко на уровень груди и стал пятиться. И у них тут же возникли проблемы, интерес к двустволке у каждого. Это естественно. И побрел Егор куда глаза глядят, ну их к чертовой матери. Вот только начальство не успело спросить Бодракова: "Почему перекрасить хоть в си-

нес?" А тот ему не успел ответить: "Да потому что — гори все оно синим огнем, синим пламенем — неужто не ясно?.."

И уже у моста наткнулся Егор на дружков своих — алатырскую компанию, и совершенно случайно. Ибо от всех остальных они держались особняком и оказались в хвосте событий. Ляпунов Григорий как раз собирался грузить команду в свою "Марусю".

— Где пропадал? — прицепился к Егору врач-анестезиолог.

Егор ничего не ответил, не стал говорить и о "синем человеке" — происшествии в лесу.

Не дожидаясь конца охоты, ребята решили передислоцироваться. Черт с ним, с этим рублем на членские взносы, сдачи не надо, хотя накричались на весь лес, как дураки, всего копеек на тридцать. В действие вступала вторая стадия плана — Серафимова свадьба.

— Ну, вези, — сказал Гриша Тубольцеву. — Куды ты там обещал? В свой охот...ничий...

— ...ничей домик, — закончил Гришино выражение Половинкин. Как радиоорганизатор, он всегда всех и во всем поправлял.

— Не "ничей", а дом районной заготконторы, — прояснил ситуацию Симочка. — Балакинский заготовительный пункт.

"Ну-ну", — сделалось даже очень интересно Егору.

И в голове все опять постепенно налаживалось, спадала с глаз пелена.

И первым, ревнивец, прошел в помещение. Тут оно как и в Оболешино — плакаты, плакатики. На подоконниках непросоленные шкуры овечьи, а кладовочки нет. Зато в наличии холодильная камера в целую комнату, как хоть ее сюда заташили? Егору стало завидно, надо сказать об этом отцу, пусть принимает меры практически... "Однако человек лежал наземь, — не выходило у него из головы, — и посинел уже... синий человек, синий человек..."

После волчьей ямы Егору не очень-то всрилось даже дружкам из Алатыря. И то, что сейчас он находился на чужом заготовительном пункте, где прежде никогда не бывал, в этом тоже была своя странность. Егор подметил, что Чернобай подтрунивает то над ним, то над Симочкой. Егор наблюдал за Симочкой: в новеньких кофейного цвета брючках и такой же рубашечке. Все это ему, видать, дорого стоит: сух, осушен до звона, изнутри будто выжжен, понятно, побывал там, где побывал.

Первый тост подняли, как и положено, за жениха и невесту.

сту. Поскольку невесты не оказалось, Чернобай подсел к Симочке и по-бабьи тонким голоском и ужимками стал изображать эту самую Симочкину жену. Симочка отказывался, а ему наливали. Симочка отставлял стакан, а ему подливали.

— Нельзя же мне, — улыбался Симочка блуждающей такой, жалкой улыбкой.

После первой Егор заметил, как Чернобай наклонился к Симочке и стал просить у него что-то, кажется, шкуру овечью на полушубок. А тот ему: "Хрен тебе, накося". И Егор понял, для чего Симочка в компании анестезиолога.

Егор хотел вступить за Симочку, не дать ему опрокинуть вторую, раз у него вшита ампула, но Чернобай наложил на стакан руку свою, как вето, и оттолкнул Егора.

— Нет, Сима, ты не торгаш, какой ты торгаш? — клонился к Симочке Чернобай. — Нет у тебя величия, мелок больно, плебей!

— Я — плебей?! — аж задохнулся Симочка. И от обиды, не успел Егор глазом моргнуть, Тубольцев совершил залп с обеих рук. — Вот, — отшвырнул он граненый стакан. — Ха-ха... Это ты плебей, анестезиолог! У хирурга власть — да, а ты только людей усыпляешь, у тебя они спят. А у меня ржут и роют землю от мяса, как жеребцы. Нажрут баранины и роют копытами. Вон моя власть! — показал он на холодильную камеру. — Вот!! — дернул Сима за ручку — туши бараньи были подвешены в два ряда на крюки. — Одним отпущу, другие пусть завтра придут, послезавтра... Власть, говоришь? Да у меня ее в тыщу раз больше, чем у тебя. Не деньги, а именно власть. А у тебя что? Жизнь? Тыфу, кому нужна она, жизнь...

— Ты начальство обслуживаешь, — поморщился анестезиолог. — Никакой самостоятельности, холуй.

Все остальные прекратили свои тары-бары, вслушивались в Симочкину истерику. Лицо у Симочки налилось синевой. Симочка дышал так тяжело, будто только что выдул если не цистерну, то по крайней мере ведро тройного одеколону.

— И они же вас, торгашей, в тюрьму, да? — подсказывал Симочке Ляпунов — следовательно, подмигивая Чернобаю. — Сами прошибут, а все на вас валят, так? Не они — торговля им виновата в создавшемся дефиците, — следовательно брал вроде сторону Симочки, чтобы его успокоить, — так, да?

— Валяй, сажай! — ребром ладони рубил Тубольцев по столу, точечная синюшность у него, протестанта, не проходила. — Но меня не посадят, нет, — засмеялся вдруг Симочка. — Ско-

рее посадят производителя, например, Бодракова, за жадность... Да, мы оба дерем с труженика. Но председатель плюнуть вслед человеку и то пожалеет. Берет, да еще и унижает. А я что, что мне, доброго слова жалко, что ли, улыбнуться лишний разок? Я и долг ведь простить могу, чтобы не все потерять...

— Ну и фрукт!! — подмигнул всем остальным Чернобай. — Далеко пойдет, а? Сын Бодракова, а как кроет батю...

— Сын?! Бодракова?! — застыло от удивленья застолье. — А как же фамилия... Тубольцев?

— По матери. Для маскировки, — выразительно оглядел всех Держи-держи, следовательно.

Путалось все в голове у Егора: "Бодраковы эти — один и другой. И мне грозит та же участь, если не смыться вовремя, задержаться на этом месте... Зачем, однако, Бодракову понадобилось держать сына на стороне, инкогнито? Что за этим, какая тайна?.. А человек лежал наземь, ружье вниз стволом, и Бодраков, председатель, крутился там же, возле "генералитета", гори все оно синим огнем... синий человек, синий человек, синий-синий..."

* * *

— В Алатырь еду, Бодраков берет на районный слет животноводов, — выпалила утром Стешка Егору, пока тот не удрал в Оболеншево. — Передовиков, говорят, собирают.

— Тебе-то зачем? — задержался в дверях Егор. — Без году неделю на комплексе, а комплекс какой — "карасину не жалко".

— Пальто и то покупают на вырост, — обиделась Стешка. — Что же, нам и на люди нельзя показаться?

Под зеленый свой кримпленовый костюмчик Стешка подобрала белую блузку. Знала, что личит ей, идет, как говорится, к лицу. Она повертелась перед зеркалом, подкрасила губы. По местному радио рассказывали в это время, как рыбу ловят на Дальнем Востоке. Наши рыбаки на больших судах, а японцы — на мелких. Вот наши остановились, все выловили или косяк ушел, делать нечего. А японцы тут как тут, еще и кричат, издеваются: "Ванька, рыба не ловится? Собирай собрание". Эти смешные японцы подняли настроение Стешке перед районным слетом. За сколько времени уголками губ улыбнулась Стешка себе. И глаза ее заблестели. "А что — ничего", — задержалась она перед зеркалом. И нагнулась,

скользнула ладонью вниз по чулку, по крепкой своей, полной ноге. Стешка знала цену себе, своего влияния на мужчин...

Бодраков встретил ее у входа в районный Дом культуры, куда съезжался народ.

— Где же ты пропадала?! — при всех поздоровался он с ней за руку. "Что-то в дессу сдохло, себя через кадры свои показывает". И сказал уже менее строго: — А я жду, жду в правлении, а тебя все нет, схать же.

— А я автобусом, — сказала Стешка, направляясь в стеклянную дверь.

В зале уже было людно. Группками входили в дверь, группками и рассаживались. "Под телевизор, под телевизор", — толкал Бодраков Стешку поближе к президиуму, к проходу, на него уже были нацелены электролампы. По бокам зала, как незримое око вождей, стояла на своих постаментах телеаппаратура, аппаратчики из области прилипли к своим аппаратам.

А в воздухе пахло пирожками, их яростным, сногшибательным ливером. Этим излишком агропромышленного сектора вела в фойе бойкую торговлю женщина в ярких губах и в снежно-белом переднике, туфли были обыкновенные, не импорт. Стешка едва задержалась на ней, глядя в приоткрытую дверь, как включили электролампы. Острым, ослепительным жаром надавило на лицо, Стешка зажмурилась. А когда приоткрыла глаза, раздались аплодисменты. И зал ожил, задвигался, как востром прокатило по ржи.

На сцену из-за боковых занавесей, предусмотренных, очевидно, для этого, как косяк гусей — один другому в затылок, входили торжественно члсны президиума. Первым, словно штопор, ввинчивался в атмосферу перед собой, прямой такой, не гнущийся в спине человек. "Это Распопов", — шепнул Бодраков Стешке.

Распопов прошел в центр бесконечного темно-вишневого стола с микрофоном где-то посередине. Остальные привычно рассаживались по привычным местам, как будто только что встали.

— Товарищи! — поднялся Распопов и застучал карандашиком по микрофону. — Товарищи! Открываем районный слет передовиков общественного животноводства...

И потом с трибуны говорили, докладывали, призывали, а в зале слушали и не слушали, но поддерживали. Вскоре от цифр у Стешки закипело в глазах, а одинаковые слова скипе-

лись в дрему. Стешка клюнула носом, покосилась по бокам и покраснела. Вспомнила, что спала плохо сегодня, переволновалась.

При упоминании своей "Светлой жизни" она опять вздрогнула. Но повод, по какому помянули их колхоз, был такой незначительный, а масштабы района и всей страны так грандиозны, что Стешке стало даже как-то неловко, что они у себя в Ярище такие маленькие, малокомплектные, что ли. Может, и без них обойдутся? И опять ее потянуло ко сну. Это ужас, вообще никуда не годилось, для чего сюда ехала, чтобы спать? Спать можно и дома, в Тигановке и в Ярище, или, как эти Синюткина или Варька Апрятова, прямо на комплексе, на соломе, "соломенная любота".. "Интересно, если бы Бодраков вылез со своим планчиком, как бы тут они закрутились?.."

— Ты что? — подтолкнул Бодраков Стешку. — Что-то сказала?

— Да нет, это я так, про Апрятову, — так же шепотом ответила Стешка. — Дразнят ее мужика: "Апрятов, куда бутылки спрятал?"

— А, — улыбнулся Бодраков, — словотворцы. Это у нас в момент пришпандорят.

После доклада, как обычно, были выступления, после выступлений — итоги. А уж после итогов, как всегда, что у нас? Ре-зо-люция. Стешка вместе со всеми тоже голосовала за резолюцию. Единогласно, хотя в одном месте была и не согласна. Как это можно сверх топора да рубанком? Сначала, говорят, поднатужиться надо, дать государству "большое молоко", а потом выходило, что надо опять-таки поднатужиться и заготовить к зимовке — стойловому периоду достаточное количество кормов, сбалансированных по рационам кормления...

Но это уже даже Бодраков не слушал. Облегченно признался Стешке:

— Слава те! На сей раз не долбили за комплекс.

И после все подхихикивал, подталкивал Стешку, уверял, что сейчас будет самое главное. Верно, пошли награждения. Ведущий называл фамилию и хозяйство, а сзади от этого хозяйства кто-то подскакивал и вручал передовику подарок. И зал сначала взрывался аплодисментами, переходящими в овацию, все даже вставали, приветствуя своих впереди идущих. Потом дело перешло к бурным, долго не смолкающим аплодисментам. Еще дальше — просто к аплодисментам. А к тому времени, когда ведущий назвал имя Стешки, в зале во-

обще уже никому не хлопали. Но, когда на сцену поднялась Стешка и откуда-то из-за занавеса выскочила ихняя Коротева, экономистка, с красным атласным одеялом и от имени колхоза "Светлый путь", э, "Светлая жизнь", вручила это одеяло Стешке, Стешка так и утонула в нем, пуховом, ушла вся в него с головой. И зал взорвался бурей оваций, переходящих в общий дружеский смех.

Сгорая от стыда, Стешка возвратилась на место и сунула подарок Бодракову: держи свою одеялку, придурок! Но не сказала, конечно, последнего слова, а только подумала. Сидела и все оглядывалась, но зал уже был занят другим, переходили к следующему вопросу. Вернее, к продолжению этого. Только теперь от имени профсоюза вручали Почетные грамоты по спискам, поданным из хозяйств и утвержденным руководством.

Грамоты вручал заместитель председателя райкома профсоюза — мужик тощий, весь какой-то складной, на тонких ногах, как на спичках. Когда и на этот раз на сцену вызвали Стешку, она уже не сомневалась в себе. Вблизи заместитель оказался к тому же и желт, словно умыт марганцовкой. Подавая Стешке Почетную грамоту, он сказал ей на весь зал, как всем:

— От имени и по поручению... как представителю "Светлого пути", э, "Светлой жизни". — А потом не выдержал, наклонился и шепнул Стешке на ухо: — А от имени и по поручению всех мужчин, сидящих в зале, желаю бесконечно-го здоровья и вечной, хи-хи, любви.

И коснулся остороженько Стешкиного локоточка.

— Спасибо, — громко сказала Стешка и отдернула локоток, шепнула ему ответик:

— В другой раз, дед, марганцовкой перед этим не умывайся. А то до вечности не дотянешь, память уже отшибло.

И повернулась, сошла со сцены с Почетной грамотой в руке наотлет. Стешка знала, что говорила: на лице его была печать смерти, во всяком случае, недолгой жизни на сцене: вот так вручать грамоты людям и говорить такие слова — долго не проживешь.

— Что это ты сказала ему, что он у тебя волчком завертелся? — наклонился к ней Бодраков, когда она села на место.

— А черт его знает, — буркнула сердитая Стешка.

Настроение ее постепенно менялось, она чувствовала себя уже хорошо. Стешку заинтересовало само помещение, зрительный зал. Дом культуры был построен в короткие сроки и

уже стал гордостью Алатыря. Кресла обтянуты мягким бордовым плюшем. Стены облицованы камнем — розовым, пористым, правда, кое-где уже отвалилось, внушая мысль о недолговечности всего, что свершается ныне, что в недрах нынешней зреет другая эпоха. Над головой нависала тяжеленная люстра, бронза тускло отсвечивала от зашторенных окон. Гири с люстры целили вниз, прямо в темечко. Стешка вздохнула: ну, люстра! Если бы не слет, где бы еще удалось посидеть с таким риском для жизни?

И Стешка чуть было не прозевала объявление, она скорее догадалась, чем услышала, что все они сейчас должны выйти отсюда организованно и отправиться организованно возлагать цветы.

На площади Стешка очутилась рядом с почетным гостем. Он прибыл сюда из одной прибалтийской республики как участник боев по освобождению. Это был командир прибалтийской дивизии, почти полностью погибшей тогда на подступах.

Лицо солдата, ушедшего в последнюю атаку, на памятнике оказалось лицом этого генерала, вырубленного в камне. И что главное, лицо это было живое, вот оно, рядом, на него можно смотреть. Это так поразило Стешку. Скульптор добился сходства: это детище производило эффект воплощенного замысла. Стешка не могла оторваться от такого лица.

— Что ты, девочка? — улыбнулся Стешке старик.

И тут же в Стешкиных руках оказалась корзинка с алыми розами, Стешку подхватили и подтолкнули вперед, к Распопову. Стешка успела, однако, обернуться: это был Бодраков. Распопов потеснился, уступая место с одной стороны генералу, с другой — Стешке, которую он запомнил еще в зале, на слете, и не только из-за одеяла.

И тут стали держать речи — Распопов, генерал, а Стешка стояла перед ними и слушала. А они говорили как будто не всем, а только ей одной, Стешке, этой красивой молодой женщине, пришедшей сюда с широких полей, в руках ее горела корзина живых алых роз. Стешка уперлась в стоящих напротив, все втягивала их в себя черносливами своими. И они говорили, говорили и уже злились на себя, что затягивают, но все говорили, как в каком-то дурмане, язык сам собой у каждого поворачивался, проворачивался, вел на дальнейшие подвиги. Вот где Стешка, может, впервые почувствовала в себе что-то такое, магнетизм какой-то, неотразимую силу, власть над людьми, когда сама поняла, что они так долго говорят из-

за нее, сбиваются, как только ей захочется, чтобы они сбились, и все стоят тут на площади из-за нее, все это море голов из-за нее, вот какая она, исключительная, в самом деле передовая, и она улыбалась этому про себя, ей было это приятно, ей это нравилось...

Праздник сходил, и очень жаль, праздники всегда кончаются быстро.

Люди отступили от памятника, а начальство с гостями держалось кучечкой, они переговаривались этак с ленцой, ни о чем. "Место какое высокое! Роза ветров. Воздушный бассейн всегда чист. Тут мы работаем и живем, а металлургия наша коптит в другую сторону", — и показал на Ярище. Это говорил генералу Распопов. — "А что, на нас, в нашу сторону, разве можно?" — это уже говорила глазами Распопову Стешка. "Ничего-ничего, — так же глазами отвечал ей Распопов. — Займемся тобой, будем перевоспитывать". Потом все они пошли отсюда отдельно. И Стешка пошла к своей автобусной остановке.

И стояла Стешка на остановке вся мыслями дома, в Тигановке, как будто и не было праздника, не вручали ей грамоты и одеялки. Однако не тут-то было, праздники рано так не проходят, если люди этого не хотят. Подкатил "бугровоз" ярищенский, Бодраков приоткрыл дверцу: опять ты куда-то пропала? "Садись, — наклонился он, и откуда только взялось на лице его скользкое, подлючее выражение, задышал припадочно на ухо Стешке: — Да погоди ты! Домой не беги. Руководство, — завертелся он оглядчиво, — приглашает. Встреча, понимаешь, с высоким гостем. В узком кругу. И где, гори оно, в чайном домике. — И рассмеялся, довольный: — Бодракова держись! Орел не берет мух, с Бодраковым не пропадешь!"

III.

Вот и белая "Волга". "Опять "бугровоз", — едва отметила Стешка, как ее подхватили и увлекли в эту "Волгу", а перед Бодраковым дверцу захлопнули:

— Привет и наилучшие пожелания.

Стешке нравилось схать в машине. Бархатные чехлы, бархатная музыка. На выемках только покачивало, скорость была незаметна. Ей нравилось, что спереди шла еще такая машина, перед ней — мотоцикл с рупором. Время от времени рупорист говорил что-то громко так, что встречные "самодвижущие средства" шарахались и прижимались к обочинам. "Сбрасывают движение", — объяснил ей шофер.

В заднее стекло Стешка видела, как к ним приклеилась точно такая же "Волга", а за ними держался еще один мотоцикл.

Ей нравилось, что "движение сбрасывают", что мотоциклисты в белых перчатках и в белых крест-накрест ремнях, а встречные милиционеры вытягиваются и отдают честь. Ей нравилась эта жизнь вообще. И особенно когда, вырываясь за город, на сельский простор, они прибавили скорости, и было жутковато от этой скорости. Стешка думала, что это совсем ведь неплохо — быть передовой. И будущее представлялось как блестящее атласное одеяло, которое вручили сегодня ей на слете и по которому она сейчас вроде летела на крыльях — на "Волге", со своим красным одеялом на этой белой красавице.

Шины зашуршали по гравию. Вот полосатая будка. Приветствуя их, человек в форме взял под козырек, черно-белый жезл закачался под белой перчаткой. Стешка уперлась взглядом сначала в жезл, потом в милиционера, тот отвернулся. "Почему он отвернулся?" — подумала Стешка. И тут со скрежетом стали разъезжаться металлические ворота. Замигал на шлагбауме красный, воспаленный глазок.

— Пи -пи -пи! — прозвучал нетерпеливый сигнал, полосатая палка шлагбаума взлетела.

— Что это? — спросила Стешка.

— Пионерский лагерь, — ответил шофер. — Это летом, а зимой наш профилакторий... В общем, "чайный домик" в лесу, — усмехнулся иронично он, уже пожилой человек.

— "Чайный?" — переспросила она, отчего-то задерживаясь с выходом.

— "Чайный", — подтвердил спокойно водитель этой блестящей, совсем новенькой "Волги".

Вечерело. Солнце садилось далеко за лесным озерцом. На всякий случай Стешка определила Алатырь по солнцу и дороге отсюда на город. И, повинуясь древнему инстинкту самосохранения, развитому у иных женщин куда больше, чем разум, уголком глаза заметила за домом, за мусорным ящиком, круглый такой обширный пролом в заборе, и это ее успокоило: не так уж здесь все у них фешенебельно.

Руководство с высоким гостем вышло из своей машины и сразу куда-то смоталось. А Стешку провели в одиночку, в какую-то камеру. Стешка обрадовалась: здесь были еще две женщины примерно такого же возраста. И журнальчик на столике. Эти двое бесцеремонно стали разглядывать Стешку.

Стешка стала листать журнальчик, не заметила, кажется, "Крокодил".

— Вы тоже со слета? — сказала она пухленькой, беленькой ("прямо-таки болоночка") для завязывания знакомства.

— Да, мы тоже, — кивнули обе сразу и переглянулись. — Интересно, какого?

— Передовиков животноводства.

— Ну да, мы обе ... передовички, — отчеканила "болоночка", вторая, курносая, в длинных каштановых волосах ("мопсик, Каштанка"), пырснула в кулак.

— И кто же вы? — не отставала теперь уже Стешка. — Кто по специальности?

— Я — зоотехник, — теперь уж всерьез сказала "Каштанка". — А она — агроном.

— Почему агроном? — удивилась Стешка. — Ведь слет животноводов.

— Что же мне теперь, дома сидеть, что ли? — повела плечом пухленькая, — если я агроном.

— Вот, что, милочка! — прервала следующий Стешкин вопрос "Каштанка", обнаружив в своем голосе такие низкие, властные тона, какие Стешка встречала далеко не у всех мужиков ("командир производства, сидит, небось, в райсельхозучреждении, бюрократка"). — Вот что, милочка, — повторила она уже тоном помягче, — ты бы пиджак свой сняла. — И кивнула на кримпленовый зеленый Стешкин костюм.

— Зачем? — пожала плечами Стешка. — Он же новый.

— Тебе, милая, в белой блузочке лучше... Дура, эффектнее выглядишь!

И тут в комнату внесли махровые халаты и махровые простыни. Это было такое чудо — огромные, махровые, точно в сказке. Стешка давно мечтала о таких полотенцах. Вот только где, интересно, они продаются?

После этого их повели, как поняла Стешка, в баньку. То был скорее всего предбанник в помещении. Воздух был сырой, насыщен парами, а сырые, плачущие стенки, как фото- пленки, зафиксировав, еще сохраняли следы пребывания уже ушедшего отсюда голого человека, а широкие мокрые лавки — конкретно следы пребывания мужчин, а еще конкретнее — начальства: не наши — красивые, узорчатые бутылочки. "Пльзенское пиво", — с трудом прочитала Стешка. Стешка была всего раз в своей жизни на юге — в Крыму, в Евпатории. Собралась она там в городскую баню просто так, соль морскую смыть с тела, а попала в какую-то баню турецкую. Вода в кругу посередке, а над кругом — небо. Голубое-преголубое, южное. "И что интересного можно сделать в наших ус-

ловиях?" Она заглянула в окно: в трех шагах берег лизала волна, лесное, то самое озеро. "Как в кино, — сообразила Стешка, — или на БАМсе. Из парной — и бултых в воду, и дело с концом..."

Как сто пудов свалила Стешка с себя. Помылась в своем удовольствии.

Едва прилегла, обессиленная, жаркая, на широкой, обтянутой кожей лавке, прислонилась к прохладной стене, как дверь перед ней откатилась в сторону на колесиках и, видит она, в дверь входит женщина. В легком таком, прозрачном халатике, так что насквозь все. Ноги длинные, бедра вихляются, и улыбка ослепительная с лица не съезжает. Положила женщина руки на Стешку и давай по плечам пальцами мять, ходить, спускаться вниз по спине, массировать-разминать, иссекать всю, — так приятно. И такое пошло по суставам у Стешки, такая истома, так что боль, которая успела залечь в ней (ревматизм уже, что ли, от вечной резины да от сырости на ферме), стала вытесняться, заменяться приятностью. Только Стешка хотела спросить женщину, кто она и откуда такая волшебница, завести на всякий случай знакомство, как та ее на спину перевернула и на живот Стешке коленку поставила, да возьми вдруг и ущипни. Стешка ойкнула, может, даже синяк останется. И тут в дверь постучали, пригласили на выход.

Стешка оделась, сама переживала: за что все же та ее ущипнула?

— С легким паром! — встречали мужчины их всех троих, раскрасневшихся, мокреньких, чистеньких, в большой праздничной комнате с большим праздничным столом под сияющей люстрой.

Все казалось Стешке тут праздничным, но настороженность, возникшая при знакомстве с женщиной-массажисткой, держала Стешку как бы в перчатках. "На тебя хоть что напаять, все равно лошадь", — косилась она на "болонку".

На столе было много чего, но стояло свободно. Между людьми тоже было пространство, от этого была заметна и скатерть. Необыкновенной белизны и узорчатости, тверда, аж топорщилась, прямо колом стояла она, эта скатерть. Оказывается, когда скатерть бела, словно снег во льду, вот не знала-то, она отливает узором, но при прямом, а не при боковом освещении от хрустальной люстры, хрустальных рюмок — это тоже очень и очень, слов нет, как бы зима на столе, разве не так?

Высокий гость был в единственном экземпляре — генерал дивизии, освобождавшей Алатырь. Остальные двое при нем, в его делегации, тоже гости — представители республиканской общественности. Не то из Латвии, не то из Литвы, Стешка их вечно путала. Алатырь же представлял Распопов, и тоже двое с ним — из горисполкома и молодежный вожак.

Поднялся и первым делом перезнакомил всех Распопов. И Стешка успокоилась, меньше стала коситься на синеющее окно: народ все же ответственный, серьезный, не какая-нибудь шантрапа.

Сама Стешка во вступительном слове Распопова попала в ряд "передовиков" — лучших молодых тружениц района, на которую "все мы очень надеемся, не подведет".

— Вот какой у нас красивый народ, — в конце личного знакомства улыбнулся отдельно Стешке Распопов и перешел далее к знакомству с районом.

Распопов говорил о том, что и в каких количествах алатырцы выращивают, производят, а сам все поглядывал на седого босвого генерала, на смущенную Стешку. "Ишь, бычок... наконьячился", — мелькнула у Стешки легкая неприязнь, когда один из свиты генерала, положив глаз на нее, задержался слишком уж откровенно.

В конце концов Распопов свел к тому, что поднял бокал шампанского за высокого гостя. А генерал вскочил и, выбросив руку с фужером вперед, высказался по-военному прямо:

— За хозяев! — И смягчил тон: — За радушных хозяев.

— Первый тост — за гостей, — возразил Распопов.

— А шампанское, хм, ничего, — смаковал искристое вино генерал, — то самое?

— "Абрау-Дюрсо", — улыбнулся одними глазами Распопов. — Да-да, "Гран-при", приготовлено по особой технологии, трехлетней, а не, извините, пятнадцатидневной выдержки.

"Когда с тостом — мероприятие, — подумала Стешка о народной мудрости. — А без тоста — пьянка". И вспомнилось ей, как одна из их Оболеншево письмо присылала оттуда, с Кубани, куда послали ее после ПТУ. Как трудятся там они, женщины: на глубине пятьдесят метров вблизи озера Абрау. В тоннеле — адский холод, ядовитные испарения. Работенка тоже не хлеб: люди в респираторах, в черной робе, сапогах и перчатках. Тоже рабы двадцатого века. Говорят, этот напиток богов — для "господских" столов и для заграницы, простые смертные не знают о нем ничего... Стешка вспомнила

это письмо и приподняла бутылку: да, действительно, дно имело форму конуса вершиной вовнутрь.

В заурядной пьянке никому, конечно, не хотелось участвовать. И во второй тост генерал настоял-таки на своей формулировке: "За радушных хозяев". Первые закуски уносил кто-то невидимый за спиной. Появились вторые и третьи, холодные блюда.

Генерал позволил расстегнуть себе воротничок и приступил к изложению боевых действий в далеком теперь уже сорок третьем. Он примерялся ко всему этому, пожалуй что, в сотый раз, как хронометр, точно отсчитывал временные периоды в определенном пространственном цикле. Стешка слушала и переживала, как это они с отставшими обозами, обессилев от недоедания, от непомерной тяжести снарядов, которые они несли, как детей, на руках, наступали все же в тех глубоких февральских снегах. Как рвались они в атаке домой, туда, за солнцем, в свою янтарную республику — голодные, под перекрестным огнем, в "Долине смерти" и легли... Стешка смотрела на него, лицо его было лицом солдата в камне. Слезинка грела Стешкину щеку...

— Но нас, командный состав, — неожиданно рассмеялся генерал, обнажив вставные, исключительно белые, ровные зубы, — нас командование не обижало. По приказу самого Верховного нам сбросили парашютом груз. В штабе у нас, хе-хе-с, даже лимончиком баловались, вот так же с коньячком... шампанское не переводилось...

Щека у Стешки просохла, как и не была мокрой. О стекло в окне снаружи скреблась ветка без листьев. Молодые ребята, моложе Егора, их ждали там, за линией фронта, и они бросались в атаку на колючую проволоку и повисали на ней, чтобы по ним пробежали живые. Счастливые — у них была вера и цель... А где-то гоняли чай... О господи, да где она, правда, на свете, да надоела вся эта ложь...

— Что-то молодежь у нас пригрустнула? — слышался Стешке голос Распопова. — Предлагаю поднять бокалы за нее; нашу передовую телятницу...

И Стешка увидела глаза, устремленные на нее, поняла, что это относится к ней. И она уже не угнулась, не покраснела и взгляда не опускала.

"Каштанка" встала и прошла через всю комнату, демонстрируя ножи. "Болонке" показывать было особо нечего, и она осталась сидеть.

— Вот они, одна — зоотехник, другая — агроном, — осме-

лела Стешка, — вот они пусть о себе и расскажут, а я на комплексе месяца полтора, всего ничего.

— А прежде, прежде где была? — сочувствуя Стешкиной искренности, сверкал искусственной улыбкой пожилой генерал.

— А под коровой сидела, — сказала Стешка прямо и откровенно, перевела глаза с генерала на Распопова — так ли сказала?

А как сказала, так и сказала, поняла она по себе, что лучше бы, может, и не говорила. Вот так у них в Оболеншево Вася зачитанный тоже молчит, неделями может молчать. Идет, идет, остановится — час, другой может стоять поперек улицы и смотреть в одну точку, не колыхнется. А как наступит где-нибудь на стакан, так, прорву, не остановишь, все вокруг себя перевернет — как живем да как пашем. И отец, говорят, был такой-то молчун, а за слово единственное, не то и не там сказанное, где-то сгинул.

— Молока надаиваем как от козы, — тряхнула головой Стешка. — А вид делаем, что от коровы. Хвосты держим, головы простыней покрываем.

По глазам генерала видела: ни черта не понял. Зато по сыреющему, обрюзгшему вдруг лицу Распопова сообразила: говорит не то и не так. Озлилась на себя, и, ощущая, как жаром сжигает щеки, опалая всю изнутри, Стешка плюнула на себя: "Э, да раз живем, пусть слушают, — хотя и мелькнуло угасающе, как предостережение: — Надо было не пить эту третью. — И опять сорвались тормоза, и ее понесло: — А что, правду, может, больше и не дадут сказать, на роток навесят моток. Пусть знают, как мы тут живем и что думаем! Простой человек не в сыре-масле катается..."

— Как это — "хвосты покрываем"? — опять переспросил генерал Распопова, вот дотошный попался.

— А, — усмехнулся Распопов. — Это она так. Ну, дескать, поголовье держат лишнее. Рога и копыта. Имеют чтыреста, а молока в "простынях" — документах отражают на триста, пняшь. И молчат, головы укрывают от начальства... Лучше расскажи, как живешь, Стеша, какие успехи в твоей личной жизни, — переводил разговор на другие рельсы Распопов. — У такой красавицы плохо быть не должно.

И посмотрел на Стешку строго и выразительно, даже покашлял. Стешка его поняла. Поняла, конечно, зачем осложнять обстановку, ведь и после жить тут, а не на... как его, где французы бомбы грохают... на острове Бикини.

— Живу лично я хорошо, — положила Стешка локоть на

стол, в голове ее что-то шумело, и по-бабьи попала в щеку указательным пальцем, в самую ямочку на щеке. — "Господи, да не ем, не пью, как пропала Полинка, украли дочку какие-то сволочи. Вот беда, горе-то, каково матери! Да и что же это за жизнь такая пошла, до чего довели, и откуда что берется? Они — начальники, может, они понимают все лучше се, пусть все это ей и объяснят". Вот подумалось Стешке о чем, но вздохнула она и перемоглась, сказала совсем ведь не то.

— Хорошо живу, дедушка, — кивнула генералу она утвердительно.

— Ну вот, — засмеялся Распопов.

— Хорошо, а что плохо у вас? — спросил старик генерал.

— Что плохо, да, откровенно?

— Откровенно.

— Частушки в деревне редко поют.

— Ну а сама-то поешь?

— Я? Пою, — широко улыбнулась Стешка. — Как не петь? Без этого нам, бабам, нельзя. Это — клапан. Как в самоваре: открыл клапанок и спустил парок, самовар после попрыгал-попрыгал да и сел, успокоился, старый пень.

— Кто?

— Самовар, дедушка, — закокетничала Стешка перед генералом.

— Спой частушку свою, споешь?

— Просим, просим, — зашумели, захлопали все в ладони, даже эти "болонки" — белая и каштановая.

— Отчего же не спеть? Спою, — блеснула глазами Стешка.

И пустила звук и зажала сильный, открытый свой голос, а в щелку — фальцетиком, аж в ушах засвистало:

— Аэх! Как панесли гужи —

Я и баба, и мужик.

Я — борись за урожай,

И работай, и рожай,

И частушкой-колотушкой

Руководство ублажай.

— Молодчина какая! — захохотал генерал.

И атмосфера явно потеплела, стала прямо-таки дружеской. Распопов уже не бросал косые взгляды на Стешку, а встретясь глазами с ней, поднял большой палец: во! Видал, кадры какие у нас, какие таланты в народе скрываются?

— Ну и как конкретно за мужика работать приходится? — вроде бы невзначай спросил Стешку другой гость — представитель республиканской молодежной общественности.

И глаза Распопова опять сузились в лезвие, из синих сде-

лались серо-стальными. Стешка было подумала, как ей ответить, но Стешкин характерец, без всякого ее согласия, уже сам выпер вперед.

— Как? — вынула Стешка шпильку из губ, и по плечам ее пали черные тяжелые волосы. — Вилы в зубы и навяливай с утра до ночи. Ни выходных, ни проходных, вот так. А сейчас еще что удумали: посменную работу. С утра до обеда ты, к примеру, обрабатываешь свою группу и группу сменщицы, а после обеда сменщица за тебя. Мы понимаем, что хотят сделать-то. Лямку навешивают: вместо двадцати пяти в группе полсотни голов оставят, а сменщицу сократят, как же, доярка сейчас не хватает... хомут придумали...

— Как же, Стеша, — перебил ее Распопов. — Выходные у вас имеются. И мужа, если что, привлекай, чтобы занят был... не гонял, не красил, пняешь, в синее лося.

— Это я говорю, когда дояркой была, жила в Оболешино, — согласилась с ним Стешка. — Так там даже подменных не было, когда заболеешь... Да, а про какого вы... лося?

— А кто же доит, бывало, когда заболесшь?

— А никто. Пока сама с постели не встанешь. Ну, девочки еще иной раз сжальтся.

— Теперь там поправили дело, — пояснил генералу Распопов. — Прислали выпускников ПТУ.

— Это хорошо, что поправили, — не унималась ободренная вниманием Стешка. — А вот как быть с жизнью деревенской женщины? На работу ходи, дом содержи — скот, птица, огород. Мужика корми, всех обстирывай. А ни швейной, ни стиральной машины — все дефицит... Все теперь обсуждают, отчего деревня в город сбежала. Все высказываются по-разному: тут тебе и бездорожье, и работа подороже. Одного не скажут...

— Ну и чего же?! — сделался узкоглазым Распопов.

— Хватит на бабах ехать! — отмахнулась решительно Стешка. — Как тени, бродят по ферме в резиновых сапогах, с вилами на пупу, тоже мне рабыни двадцатого века... Милые, родненькие, дорогие, кормить надо страну, детей, рабочих, города и поселки, там же люди. Ну а жизнь-то проходит. Вот терпели-терпели бабы, да и не захотели дольше терпеть. Не мужики, а бабы ведь первыми поднялись и уехали, а уж за ними, как нитка за иголкой, и мужики. А если хотим, чтобы люди вернулись, с баб начинать надо, с женщин...

Сидели после все и помалкивали. Каждый, небось, слова Стешкины на свой аршин примерял. "И пусть! — мстительно

думала Стешка. — На то они и начальство, чтобы выслушивать. Правда, она как огонь, в бумагу не завернешь, когда-нибудь наружу да вывернется.

Может, и о Полинке сказать, довериться Распопову? Когда еще вот так удастся, все же предрик. Или после, потом, не при всех?.."

Так и сидела Стешка, решалась и не решалась. Измучилась вся до основания. Да еще о массажистке той эх как хотелось спросить, о той она не бросала думать, за что хоть та на пупе синяк ей поставила... Коньяк с шампанским, оказывается, такая штука: глазам видно, да ножкам обидно. Как же встанет она, Стешка, теперь и пойдет? А ведь ей еще с массажисткой лично надо переговорить... А они все про охоту да про охоту свою. "Мужское дело, про ружье с переломанным стволом, с боевым зарядом, и оно как плюнет, горячес. А дело уж к ночи..."

Подвигала Стешка ногами: идти вроде можно. Подумала, отвезут домой в Тигановку, но подошли и сказали: для нее специально приготовлена комната. В коридоре Стешка увидела "мопсов" в бесстыжих, прозрачных блузках. Брысь отсюда! Стешка порывалась к Распопову, рассказать о Полинке, попросить за дочку. Как гвоздь, торчало это в ней, никуда не девалось, про дочку-то...

Распопов сам подвел ее к двери комнаты. Задержал руку на плече, это ее отрезвило. Она нырнула в постель и уже лежала в постели, когда за дверью послышались шаги и... тюк-тюк-тюк. Тишина. И опять шаги. И опять тюк-тюк-тюк, тюк. Шаги. "Синего лося"?.. Мужское дело — охота на крупного зверя, горячий выстрел, ружье с переломанным стволом... И опять тюк-тюк-тюк. "Да кто хоть там?!" — не выдержала Стешка. — "Это я, — послышался шепот Распопова. — Спички забыл".

— За мной, мальчик, не гонись, — встала Стешка и повернула ключ в замке еще на два оборота.

Но теперь в постели уже не лежалось. Все прислушивалась Стешка к шагам в коридоре, представляла, как сломят кому надо двустволку ту пополам. И массажистка была уже не опасной, скорее даже своим человеком. И Стешка шмыгнула за дверь, в коридор...

Массажистка тоже, видно, помылась и, уже одетая, в пальто демисезонном (видно, здесь не жила), собиралась домой. Стешка плюхнулась на широкий кожаный диван, где лежала недавно и эта женщина с помощью пальцев делала с ее телом все, что хотела. Стешке так манилось повторить все

это, чтобы лучше запомнить и унести отсюда с собой что-то такое, что можно пощупать, самое-самое из всего услышанного и увиденного здесь сегодня.

Женщина сняла покорно пальто, наклонилась покорно над Стешкой. Но теперь она не ослепляла Стешку улыбкой. Стешка почувствовала где-то внутри тревогу, даже опасность; тревога эта росла вместе со вздохами этой женщины — сиплым, тяжелым дыханием с присвистом, которое она теперь уже не скрывала, выкладывалась, как паровоз, вместе с работой своих сильных, мужских рук над Стешкиным телом. И когда та опять-таки перевернула Стешку со спины на живот и ущипнула, Стешка не выдержала, ойкнула.

— Ненавижу! — отшвырнула женщина ее от себя. — Блюдолизы проклятые, слуги народа... У нас в поселке на неделю отключили отопление под видом поломки, чтобы налить вам бассейн. А у меня простудился ребенок, температура под сорок... Ненавижу! Шлюха, шлюха, шлюха...

Не помня себя, Стешка рванулась отсюда и в коридор, из коридора — на улицу. Во дворе черным-черно, хоть глаза выколи, голоса в стороне. Там ворота, охрана. А вот и мусорный ящик, в заборе — дыра. Стешка сунулась в дыру и полетела куда-то вниз, в яму, в грязь, в холодную воду...

Она была близка к гибели, как, возможно, тот "синий лось", о котором она слышала за столом и который засел в мозгу у нее, не хотел никуда уходить. Эта черная яма за забором, из нее она едва выбралась, но ведь выбралась, чтобы жить, только бы остаться в живых. Что-то болталось у нее между ног, было мокрым, било ее по коленкам — подол, что ли, ночная рубаша?

Поле, через которое она бежала, было в кочках все, таким бесконечным. Бесконечным было это поле, без конца и без края. И уже на большаке при отсвете звезд, в накатанном до синего блеска асфальте она вдруг увидела себя, как в зеркале, и испугалась. Боже, что с ней, она в сорочке, это конец... "Посинела вся — синий человек, синий человек, синий-синий"...

И пошла она, совсем обмерзлая, по звездам, по Полярной звезде. А в затылок било ревом "синего лося" — реактивного самолета, заходящего прямо над ней на посадку. Перекачивалось по ногам ее, по спине, потом она перестала чувствовать и это. Однако она все же сумела подняться на взгорок — впереди огнями переливался Алатырь. Нет, до огней не дойти... И тут в лощинке забрезжило — слабенько так, но жилое, это

теплилось оконце в будке железнодорожника. Невладсущей, ссохшейся от грязи рукой Стешка поцарапалась по стеклу.

— Кто там? — слышался голос сквозь острые, морозные звоны.

— Люди добрые, помогите, — шевельнулись синие Стешкины губы. — Меня ограбили и выбросили вон... из машины...

IV.

Деньги Трофимовы найдены! Природин передал их Трофиму Тиганову через людей. Рупь в рупь, тютелька в тютельку. "Не может быть, чтоб Васька помер, ведь он мне должен сто рублей", — обрадовался Трофим. Но в то, что нашел их на дороге Афоня — "люмпен" (с утра пораньше Афоня метался в поисках лекарства от головной боли, и бог послал ему "золотое яичко"), да еще чтобы все деньги оказались в целости и сохранности, в это было трудно поверить.

"Часть денег "люмпен" успел бы, конечно, пропить, — шевелил мозгами Трофим. — Тут что-то не то. Либо Природин поработал с людьми и люди бросили в общую шапку, либо Природин передал ему свои личные деньги, списав все на Афоню. Либо..." Последнее у Трофима упиралось в конце концов в Бодракова, ибо без Бодракова, всем известно, ничего в Ярище не делалось. Но как, какой нитью его утерянная сумочка была связана с Бодраковым, а через Бодракова — с Адамовой мельницей, где скорее всего лежал его клад, этого Тиганов Трофим не знал, ведать не ведал, однако нюх какой-то собачий ему это подсказывал.

В кассу Трофим уже доложил, восполнил своими деньгами утерю и теперь думал, чем бы ответить ему на народный порыв.

Всего какая-то перемычка от Оболевского большака до Тигановки, какой-нибудь километр, а ни пройти, ни проехать. Что за "картофельный сезон" натворили машины — жутко глянуть. В иную колдобину "дизель" до полкабины упрячется, а "Москвич" по крышу ухнет — это факт, это точно. Куда только не обращался Трофим. В райпо ему ответили: дороги не наша функция. В сельсовете сказали: функция наша, но где, яти ее мать, у нас на это "средства?!" В Ярище просто подвели к окну: глянь, Петрович, и сами в грязи по шею.

— Тыфу ты, господи, хозяйство называется! — плюнул с досадой Трофим.

Вот уже две пятилетки делают в самом Ярище перемычку

до правления, каждый год записывают в повышенные обязательства. А перемычка-то доброго слова не стоит — от большака каких-нибудь метров семьсот, а сколько техники за те же годы угроблено, сколько сил ухлопано, нервов порвано. Вот сейчас, после покрова, когда основные сельхозработы закончены, можно ведь свободную технику на карьер пересбросить. Он же тут рядом, за речкой Алешней, в каких-нибудь верстах четырех, карьер-то. Да зачем это Бодракову? Как рассуждает? Сейчас, мол, начальство прямым ходом катит мимо по большаку, на Оболешево. А сделай дорогу — куда будет прежде заглядывать? От начальства не отобьешься.

Умные головы "сверху" раскусили Финагена: не хотите перемычку к конторе делать — стройте новое здание возле дороги. И настояли, вот уже завозится кирпич. А без перемычки как по Яришу ездили, так пусть, мол, и съедят...

Трофим собрал все это в узел и постиг, может быть, главное: сложно, но выполнимо. На что нам конторы, госучреждения, действовать будем через людей.

А от Тигановки до большака что тут — каких-нибудь полкилометра, хвостик свиной, короче Ярищенской перемычки. Будь Трофим председателем, об этом и речи бы не было. Грунт поднять, полотно щебнем засыпать, закатать асфальтом сотню-другую метров — об чем разговор? Вот что значит человек вовремя не раскрылся, в жизни не реализовался, а кто у нас реализовался? И решил Трофим соединить с большаком заготовительный пункт, а через него всю Тигановку. И пусть видят люди: то — Бодраков Финаген, а это — он, Тиганов Трофим, наглядно так, кто чего стоит. И от грандиозности замысла и его материализации Трофим прямо-таки помолодел. "Жена у него молодая, — одобряли люди его Тоську. — Такая снасть заснуть не дать".

И вот, разочаровавшись ходить по районным конторам, Трофим пошел на свой страх и риск.

Алатырский дорожно-строительный участок как раз тянул полотно от Алатыря до Оболешево. Двигаясь со стороны города, дорожники поднимали насыпь, усыпали ее щебенкой, клали такую подушку асфальта — широкую, толстую, гладко укатанную, что хоть самолеты сажай.

Когда умирляли Плещеевскую колдыбань, заложили трубы, чтобы спустить грунтовые воды. Приподняли дамбу — все, больше не будут тут в тухлой, зеленой воде водиться лягвы, ведь испокон, негодяйки, бренчали. И тут проезжал мимо Трофим, так он даже остановился. Любил, когда люди краси-

во работают. И до слез прошибло Трофима: "Эх, кабы раньше-то, раньше дорогу!.."

На обратном пути Трофим заскочил в магазин. И назад к ребятам-дорожникам, как раз те обедали. Техника — во, же-ребячья, тоннаж — жутко глянуть! Польская и отечественная. Не то что лошину — черта горбатого выпрямят. И как-то получилось, что взял и рассказал ребятам Тиганов Трофим, как заболела жена у него — Устинья, беззаветная женщина, как вызвали "скорую", а "скорая" через эту колдыбань возьми и не прорвись. И нет теперь ее, Устиньюшки его, нет родной, нет жены, матери его детей, так-то, молодые ребята, жить на свете живем и не знаем, где про нас какой узелок завязан. Пушинка — жизнь-то, есть и нету, такая-то, братцы, плани-да, планидушка...

И положил он голову в ладони себе — головушка горькая, открытый такой, не потерянной души человек.

— Любил как, — вздохнул кто-то, и все заметили седые виски у Трофима.

— А чего, так и живешь один, дядя? — спросил Трофима другой. — Или язва какая попалась?

— Одному нельзя, как одному? Хозяйство, — поднял Трофим глаза. — Другая жена тоже хорошая, ладная. А первая в памяти.

Тут и пришло людям в голову поинтересоваться, а как сейчас насчет того, чтобы до деревни добраться?

— Сейчас ничего, жить можно. Да вот "аппендицит" мешаает, — ответил Трофим. — Перемычка от большака до Тигановки. Каких-нибудь полкилометра, а не проехать, так разбили машинами.

— Отчего не помочь человеку? — сказали одни.

— Поможем, — сказали другие.

— Вся деревня будет вам благодарна, ребята, — поклонился Трофим и тут же положил деньги "на бочку" — те, что передал ему невозвратно Природин.

— Не будем спешить, — сказали дорожники. — По обстановке, конечно. В свободное время.

И вот на воскресенье намечен субботник. А Тиганов Трофим объявил на Тигановке "день шашлыка". А что — потрудились в сезон, вырастили урожай, можно и собраться, отметить это дело, что же мы, нелюди, что ли? Как вы на это смотрите, а? Дорожники изъявили желание помочь Нечерноземью, соединить нас со всеми, со всей матерью Россией.

И к посадке пришли все тигановские мужики: Васек да

Колька Лохманы, дед Бобырев да Трофимов сын Егор, да сам Трофим — вот и все, что, собственно, осталось от деревеньки. Из ближних селений тянулась подмога, сходились двоюродные и троюродные из их тигановского рода да так просто близкие, хорошие люди. Сидели и ждали отряд из города. А пока затравили костер. Еще с вечера Трофим подвалил баранчика, наквасил ведро шашлыку. Ведро это издавало такие невероятные запахи из уксуса, лука, лаврового листа, перца и прочего, что слюни текли еще до того, как куски были нарезаны на шампуры. Съешь не то что шашлык — лопату вместе с черенком слопаешь, а соломой закусишь.

Разложили над жаром первую партию — пробную. Острый, устойчивый запах смешался с запахом вялого дубового листа тут же, в лесопосадке, у большака, отчего глохли проходящие мимо машины. И мужики вылезали из кабин, пешочком подтягивались сюда к ним: можно, ребята, к вашему шалашу?

А вот и автобус дорожников.

Трофим послал в деревню еще за столами. Дошатые треноги вытянулись вдоль посадки, как солдаты, и приняли на себя главный удар — всевозможную снедь. Выделителен был квас — свойский, из ржаной муки. Густоватый такой, как кисель на воде из овсянки, так и просится внутрь, да почаще, для охлаждения нервов. Хватанул кружечку — это дело, это работа, и прекрасна она, эта жизнь! Главное — ни жены, ни милиции, ни другого чьего-либо постоянного глазу. Все свои, все свои. Неужто жить не можем без стороннего глазу, без стука, а чего нам скрывать? У честного человека вся душа нараспашку. Так стоя и разговаривали, стоя пили-ели, сколько влезет, сколько хотели. На природе, как в утке, все перегорит за каких-нибудь пару часов. И сквизисты же были макушки дерев над ними, линиялый, стираный-перестиранный ситчик неба доцветал над головой. И сорока, нате вам, тут как тут, лжесвидетельница, без нее не обойдешься, растрещалась, понесет теперь разговоры ихние по окрестности, донесет, сучка такая, и до Бодракова.

Подъехал Виталий Витальевич, новый главный агроном, баянист, каких мало.

Эх, как перебросил Виталий Витальевич баян с боку на бок, развернул мехи, пробежался по пуговкам пальцами — это тебе не Трофим даже в лучшие его времена, это — талант!

— Виталь Виталич, друг мой, — сомлел Трофим и готов

был на руках носить его, сердце вынуть, все отдать, все сделать для этого человека.

Маруся, — раз, два, три,

Маруся, — раз, два, три, —

шевелинулись мужики, и с подсвистом, залихватски пошло-покатилось, русской удалью загремели леса и долины, завертела хвостом рядом на древе сорока — вертучая, единственная тут из баб.

И уже двинулись по кругу байки, анекдоты, с кем, где, какая, понимаешь, случилась история да как и кто из этого, понимаешь, выпутывался. Трофим переходил от одних к другим — постоишь вместе со всеми, плеснешь в кружку кваску и чего только, милые мои, не наслушаешься.

— Вот приходит один мужик к попу — отцу Феагносу, был у нас один такой в Архаровке, — завладел общим вниманием Тиганов Трофим. — А поп был хитроват и любитель разного подобного. Но мужик тоже не прост. И решил мужик попа того проучить. И приходит он на исповедь к Феагносу. "Я, — говорит, — у тебя телку украл и съел, каюсь. И еще вот что..." — "Ну нет, не сейчас, — остановил его поп-хитроум, — завтра доскажешь". И собрал назавтра народ. И говорит торжественно, прямо елеем льет: "Вот сейчас, на ваших глазах, произойдет чудо, граждане-миряне, человек, который всю жизнь врал безбожно, ныне раскаялся в своем смертном грехе и сейчас скажет перед вами наконец сущую правду, всю как есть. — И толкает мужика: — Ну, досказывай, говори". А мужик думает: "Ну, язва, будешь у меня теперь знать, как людей подставлять, нарушать тайну исповеди". И вышел этот мужик вперед, на народ, снял шапку и поклонился в пояс. И все увидели: черен волосом он, прокопчен, как чугунок. "А теперь, — говорит мужик отцу Феагносу, — и ты обнажи голову перед истиной". Что делать, и тот обнажил: ну и рыж был поп, не волосы — медные деньги. "Видали, какой?" — обратился к людям мужик. "Видали", — ответил народ. "А теперь слушайте меня, люди, я говорю вам истинную правду. Так вот, у кого дети рыжие, оглядитесь, у кого? Все они от него, от попа-распопа этого..."

Тут уже сорока, стерва, не удержалась, и все схватились за животы. А потом перекинулись мыслью на Распопова и притихли: нельзя, непосредственное руководство. А вот на кого пониже, поближе — можно, на Бодракова. Но тут дорожный начальник по фамилии Венедиктов дал команду:

— По коням, хлопцы!

И взрели моторы. И пошли ребята ликвидировать грань эту между городом и деревней. Сдвинулся с места громада "К-700" с бульдозером. "Беларусь", тракторишко с ковшом, побежал в соседний карьер, к местным материалам.

А Тиганов Трофим с Венедиктовым стояли и мороковали, где проляжет у них эта самая "авеню". Трофим замышлял пустить ее по лошадиной дороге, которой ездили испокон, по "светлому березовому пути". Однако, разделяя в основном отцово желание, Егор, если искренне, испытывал жалость к этим березам. Сейчас бульдозеры врежутся в них, и "светлый березовый" перестанет существовать. Или станет уже не таким, не тем, чем был для него всегда, еще с тех времен, когда он возвращался, бывало, сюда домой из института.

Чутко прислушивался Егор к разговору между отцом и Венедиктовым, стоя рядом с Виталием Витальевичем. "Я жисть люблю", — играя с какой-то неизъяснимой яростью, крутил головой агроном. И марши у него сменялись польками, польки — фокстротами, популярные песни — народными. Он играл, упершись спиной в изогнутую знаком вопроса березу.

— Да нет, Петрович, — доносилось Егору от Венедиктова. — Уж делать, так делать. Мы вот где протянем: вдоль посадки, по кромке. Прихватим, правда, поля, зато — дорога. Настоящая. Езжай куда хочешь.

— Броня крепка, и танки наши... и стежки наши склизки, — рванул мехи Виталий Витальевич.

И Егору было не по себе: агрономом называли уже не его, а этого баяниста Виталия Витальевича, память у людей коротка.

— Не на день делаем, — утвердил свое предложение Венедиктов и повел рукой вдоль лесополосы: — Вот так, ребята, пшел!

Бульдозеры подымали плотно, тигановцы разгребали неровность лопатами.

Стешка скользнула стороной — к автобусу до Ярища, на комплекс.

Сердце Егора сжалось: "Опять на свой комплекс! Туда, к Бодракову. А мы еще говорим, не место красит человека, а человек место... Поинка, дочка, не позабылась..."

Насыпь росла. И шире становились просторы, разбегалась широкая степь. Вот она, как на ладони, как на той климатической карте мира с изобарами, что с детства висела у него на стене вместо коврика, — все эти речки, горы, города, оксаны,

острова, необъятность какая, человечество... весь белый свет...

Самосвалы с грохотом сыпали наземь щебенку. Щебенка, конечно, не та, что из-под Ростова, гранитная, синяя, аж звенит от удара кайлом, а местная — желтоватая, глинистая, от воды, как курьяк, распускается, зато своя, вон ее сколько хошь...

Бульдозер подбирался к старой кривой березе. Сколько помнил Егор, над ней всегда нависали черные грачиные гнезда. Сейчас гнезда эти сиротели среди отлетевших макушек. "Чему они радуются? — думал Егор о другом, начиная уже тревожиться, нет, конечно, не о грачах. — Как говорится, по ним же тюрьма плачет". И представлял, что может вменить бюрократизм им с отцом-энтузиастом.

"В поле залезли, землю у Бодракова оттяпали — это раз. Технику государственную бьют в узких групповых интересах — это два. Даже профсоюзное законодательство нарушается: в воскресенье работают. Сплошное беззаконие... Ну а если идти официальным, законным путем? Для начала согласуй с районным инженером-землеустроителем, а тот вынесет на райисполком, а райисполком передаст в облисполком... Тут — анархия, там — трясина. Десятки лет шли — никуда не пришли..."

И радость в душе Егора меркла. Не совсем туда двигалась тучка-то. Но ведь двигалась, вот она, дорога, — настоящая, материальная, можно уже проехать первые метры. Хоть сейчас, хоть потом, в половодье, в ненастье, в пургу, полотно приподнято, значит, снег будет сметаться ветрами, а внешние воды стекать. Наконец-то твердое покрытие, о котором мечталось. Выводи со двора машину и давай смоли. И к тебе люди, и ты к людям... Это как телефон: куда бы ты ни заехал, куда бы тебя ни занесло, стоит только набрать свой номер — и ты уже дома. Невероятно: ты — дома! Знакомый голос, родимые стены, ты слышишь, ты ощущаешь все это за тысячи километров. Ты знаешь, что можешь вернуться домой в любое время, всегда, когда вздумаешь, хоть в этом ты абсолютно свободен. Ты веришь этому телефону, ты должен, обязан верить, иначе зачем тогда все...

Шныряет техника, шуруют люди. Не трасса ведь Москва — Симферополь, не областного масштаба дорога, даже не районная, но это дорога твоя — до печки твоей, до сарая с углем, она капилляр в системе кровообращения, в ней твое ощущение свободы, твоей личной свободы. Дорога — это еще и связи людские,

это то, что порой невидимо, но есть, существует, и судьбы людские зависят от них. "В Европе где-нибудь это, может быть, и пустяк, там к дорогам привыкли, а для нас это эпоха..."

И тут Егор заметил, как к ним сюда подкрался "уазик" — бодраковский "козел". За рулем лично сам Бодраков. Снизу, от речки, подъехал, где никто никогда и не езживал, по бурьянам. Бодраков поставил машину поодаль и шел сюда к ним пешочком-пешочком, озираясь, как волк. А когда понял, что заметили его, встал на взгорок, будто какой-нибудь генерал, и стал разглядывать фронт производимых работ. Да все спиной старался к Тиганову Трофиму, не хотел даже взглядом с ним встретиться. Вот как поперек горла встала Бодракову эта Трофимова дорога. Идут по жизни два человека параллельными курсами, а как видят друг друга...

Бодраков, однако, змей такой, уж двухметроворостый, лежит себе, греясь на солнце. А отец его Тиганов Трофим — жаба, лягушка лесная, пищит, как ни упирается, а тянет его, ползет он в зев ужу-змею под его гипнотическим взглядом. Когда же роли их поменяются, чтобы пополз Бодраков?..

Или все это только кажется ему, Егору? Вот отец делает эту дорогу, и в зрачках его торжество, он вырвался из круга, ушел из-под Бодракова. И поэтому Бодраков, этот змей, в плохом настроении, но только до тех пор, пока не поймет, что Тиганов Трофим тем более подпадает под его еще большую власть. Если бы его, Егоров, отец не строил этой дороги, ее надо было бы выдумать.

Теперь он, Трофим, у него на крючке, на подвесе, ведь он нарушает: самовольный захват земли, в любой момент можно возбудить уголовное дело... Такие, как Бодраков, не любят "чистюль", им нужно, чтобы вокруг были все перепачканы, тогда Бодраковы даже сами себе кажутся чище, догадывался Егор. И ему хотелось пойти и предупредить об этом отца, но поздно: гудит мощная дорожно-строительная техника, трещат под ножом бульдозера кусты и дерн, густой, травянистый, — дорога строится, дело идет, и Трофим, его отец, ползет неуклонно в зев своему удаву. "Неужели нельзя жить как-то иначе, не так, а по справедливости? По высшей справедливости, которой род человеческий достоин за свои благодеяния, за страдания во искупление грехов своих тяжких, нанесенных той же земле в порыве злобства или бессилия перед собственной тьмой!.. И никто в Ярище не знает, что у

Бодракова есть сын-сынок, которого батя держит на стороне, зачем?.."

Вот и Стешка прошла, бежала к автобусу — стороной, стороной на свой комплекс. И сколько у нас невидимого, тех самых нитей, связей, которые все и вершат. Говорили, на слете животноводов у нее что-то там произошло. Половая энергия движет миром, ну и пусть себе движет, но только не здесь и не нами. Стешку сшибло не слетом передовиков, а что пропала Поинка...

Бульдозер взревел, натужаясь: опять моренное отложение. Сверху было присыпано землей, а взяли на полметра ниже — тут валун себя и показал. Бульдозер прямо-таки захлебывался от восторга, выворачивая эту махину. А Егор, считая себя вполне концептуальной личностью (он к этому времени одолел пяток стоящих книг по философии из перечня Лихопекова), начал вдруг развивать идеи, кажется, от Андрея Платонова, про серединную Россию; это блюдце земли обладает безусловной подземной энергией. Его, это блюдце, обошел даже ледник в ледниковый период, и свидетельством тому почти полное отсутствие валунов — ледниковых отложений, которые более обильны даже южнее этой каменной крыши — Среднерусской возвышенности. И от этой гигантской подземной энергии безусловна энергия у людей, выразившаяся в их бесспорной талантливости.

С первой частью общей идеи Тиганов Егор был не очень согласен: как это ледник обошел возвышенность в ледниковый период? А эти вот валуны, а судьба самого Андрея Платонова, погребенного под валуном? Другое дело, что ледник тут истаял под влиянием гигантской гипнотической подземной энергии. Со второй частью концепции Егор был не только согласен, но и развивал ее уже по-своему, представляя эту платоновскую подземную энергосистему как прорыв в биоэнергию тех, кто после жил, да и сейчас живет и жить будет на этой каменной крыше Среднерусской возвышенности. Об этой биоэнергии мы еще поговорим, а пока ограничимся тем, в чем мыслилось сейчас Тиганову Егору историческое выражение этой самой биоэнергии — в сверхталантливости народа, испокон населяющего эти святые места. Во-первых, некогда сюда, в Окскую пойму, с Запада явилось на жительство славянское племя под водительством Вятко — витячи и принесло с собой вполне языческие обычаи поклонения первичным силам природы: Солнцу, Воде, Земле, Лесу. Во-вторых, даже вековое христианство, насажденное Киевом с

помощью огня и меча, не могло вытравить тех природных корней, что осознались в образном складе духа здешних людей, в великолепии строя их речи. Вот на чем, на какой биомассе и возшла в конце концов здешняя классика — литература: Лев Толстой, Тургенев, Бунин, Лесков, Фет, Тютчев, Есенин и сам Платонов, и тому несть числа... Вот в чем их глубокая, главная тайна...

А бульдозер взревел перед валуном, как-то хлопотко охнул, и вслед за тем раздался праздный, зубовный скрежет металла, нож не выдержал, сломался. И люди сгрудились возле машины, горячо обсуждая коварство древнего камня. А Егор Тиганов продолжал свое наблюдение над двумя людьми: отцом своим и Бодраковым. Только они из всех и остались невозмутимы, даже это событие не вывело их из борьбы.

Отец Егора — Тиганов Трофим уже перестал ползти в ощеренную пасть своего удава, этого Бодракова. А вот Бодраков не хочет мириться с этим, тем более меняться ролями, он просто не может представить себе, как это он, Бодраков, упадет под Трофима, кто Тиганов такой, быть того не должно, чтобы все вдруг стало зеркально. И Бодраков, прогуливаясь по только что насыпанному полотну, естественно, упорно не хотел и в глаза-то видеть Трофима Тиганова. Как взял когда-то верх над ним Бодраков, когда тот был механизатором у него и пил с кем зря без разбору, так вроде и продолжал содержать себя в таком состоянии, Бодракову так выгодно.

Однако поддерживать это становилось все труднее, просто уже невозможно, между ними вызрела несправедливость. И Трофим его уже не боялся...

Бодраков стоял и злился, уловив корень Трофимова замысла. "Дорогу делает — зауважает себя, люди зауважают. Копнешь, братец, в итоге и под председателя! — сплюнул он и растер плескок каблуком. — Он, видите ли, орел. Орел, да? А орел не берет мух, ха-ха". Бодраков чертовски любил выражения, обожал просто, они возбуждали его. Ляпнешь словечко — слово надо держать, и ты уже заложник его, но это и придаст энергии, решительности, тянет, понимаешь, на подвиги. Тиганова Трофима, безусловно, могли ожидать неприятности. Мысль Бодракова смещалась именно к этому направлению, Бодраков умел играть в шахматшки. Не как некоторые, умел просчитывать два-три хода вперед и не спотыкался на первом же... Потому, наверное, и держал сыночка подальше, что считал себя живущим в опасной зоне...

— А поди-ка сюда, — поманил пальцем Бодраков главно-

го агронома, извлекая его из-под березы вместе с баяном, как корень из радикала.

С волчьим рычанием Виталий Витальевич свел мехи, что было отмечено всеми. И оторвался спиной от ствола березы с грачиными гнездами на макушке. Но от земли-матери агроном не оторвался, на земле стоял твердо. Ступил вперед, приблизился к председателю, облизал пересохшие губы:

— Слушаю, Финаген Ксаныч.

— Ты кто у нас — пианист, народный артист? — уперся в него Бодраков не глазами, а прямо вилами. — Кем, интересно, ты у нас оформлен?

— Ну... агрономом, — заоглядывался отчего-то вокруг Виталий Витальевич.

— Заметим, главным! — возвысил голос Бодраков, рассчитывая и на окружающих. — Ну и чем должен главный агроном заниматься? А? Землю радеть, так? А чем занимаешься? Землю корежим. Поле гробим — хорошее поле, так?.. Давай, милый, одна нога тут, другая — в Лыково, иди занимайся специальностью.

— Так сегодня у нас выходной... суббота чи воскресенье.

— Не путай божий дар с яичницей! — гремел Бодраков уже на всю территорию. — Отчуждать колхозную землю! Мы еще разберемся где надо. Возместим, по порог отпятим у Трофима Тиганова, гори оно все синим огнем.

И бодраковский "козел" фыркнул и укатил в неизвестность.

— Самолюбив, — глядел вслед ему Венедиктов. — Не терпит конкуренции, а придется терпеть.

Тиганов Трофим на это смолчал, загамели лишь мужики: земли ему жалко, вон сколько ее заплесивело, запленило бурьяном. Под Волчьим Шляхом еще одно поле съели осинки. А клин у Арендового леса еще когда засорило березой. За полями бы, анчибал, углядывал. А то плохо ему — люди к людям дорогу делают. Дорога — дело святое.

— А-а, — махнул на это Тиганов Трофим уже без всякого настроения. — Не обращайтесь на эту курву внимания.

И они совместно еще долго глядели вслед бодраковской машине. Она становилась все меньше, меньше, пока совсем не истаяла в пыли за третьей посадкой, брандахлыстка такая. Забрал Бодраков у них агронома. А без баяна, без Виталия Витальевича земля как без неба. Совсем было пали духом ребята, да вовремя появилась Таисия, притащила из дому подкрепление. Два ведра всего, а особо картошечки, да

горяченькой, да рассыпчатой, да котлетки к ней да к печеночке. И для сугрева, для аппетита, которым и так господь никого не обидел, для поднятия настроения, во имя святого дела, чтобы ходилось и ездилось, чтобы всем нам лучше жилось, чтобы елось и пилося, чтоб хотелось и моглось...

— Трепачи, — раскраснелась Таисия. — Можно тут у вас посижу? Тут у вас хорошо.

— К сожалению, мадам, не можем уделить вам повышенного внимания, — шутили молодые ребята, зубоскалы эти, дорожники.

Венедиктов отозвал Трофима в сторонку:

— Сегодня заканчиваем полотно, насыпаем щебенку, а завтра уже возим асфальт, закатаем ваш "аппендикс".

— И это можно? — засмеялся Трофим.

— Нам что, нам только скажи, — подмигнул Венедиктов Таисии, — все поле тебе закатаем, всю страну, весь мир под каток...

— Это страшно, — ответил Егор.

— Не шути так мрачно, Вася, — погрозила ему Таисия.

— Не бойтесь, — вздохнул Венедиктов. — Тащим куда — ведь к себе, в Россию, а не куда-нибудь в Эфиопию.

Вот куда пошли денежки, переданные Трофиму Природным. Не такой уж бесребреник Венедиктов. Не такой уж дурак и Трофим. Не хуже других соображает, что такое доисторический материализм: это когда, еще с пещерных времен известно, из ничего ничего не исделаешь.

Когда дорожники уехали, Тиганову Трофиму захотелось пройтись по только что проложенной дороге. Он шел сверху вниз. А навстречу ему, от Тигановки, поднимался Егор. Посередке, как будто по уговору, и встретились. Оба разом подняли головы, потому что люди должны поднимать голову иногда. И увидели оба пустые грачиные гнезда.

V.

Страхи поселились в Стешке с того дня, как она побывала в Алатыре. Хотя и прежде несла она в себе тревогу за дочь, недаром говорят: малое дитя у бога на руках. А тут страх от ощущения опасности, не понять только, откуда была она, та опасность, что Егору что-то грозило, грозило, да? Стешка сдерживала себя, не давала разойтись нервам...

Егор спал. Стешка сунула ноги в валенки.

Острый позднесенний воздух ударил в легкие. Ночь —

ни единого собачьего бреха. В Тигановке как в яме какой-нибудь проваленной. Стешка поежилась: в нее уставился глаз небесный — звезда, которую еще с детства звали они Вечерней Зарей. Как пронзительно воспаленное око: все вызывает про тебя, высвечу всю, мол, насквозь. И эта звезда, и то, что от Большой Медведицы удалялась ходко светящаяся точка — спутник, потянули Стешку туда к себе, ввысь. В спутнике она застолбила себе местечко, загадала: если сейчас рядом вспыхнет небесное тело, засвеченное солнцем, то ей, Стешке, вскорости повезет, ну, конечно, с Полинкой. Однако спутник погас, видно, ушел в тень. "Все мое и ничего нашего". И она, Стешка, пылинка в Млечном Пути...

Егор спал. И видел цветные сны. Они снились ему теперь, она это знала. И дочка Полинка, живая ниточка, переставала связывать их с Егором. Тревоги и страхи расшатали Стешку. За себя она уже не боялась, она боялась за расстояние между ней и Егором.

И словом Стешка не обмолвилась пока об Алатыре. Не знал Егор ни про "чайный домик", ни про зеленый костюм. Люди из будки дали ей одежонку, и она появилась в ней прямо на комплексе, а домой пришла поздно, когда Егор уже спал и видел эти свои цветные сны.

Одна ложь рождает другую. И утром Стешка сказала ему, что задержалась на слете, потому что их возили куда-то для перенятия опыта. Куда точно — не запомнила, у хозяйств названия ведь все одинаковые, а про деревню позабыла спросить.

Больше всего Стешка боялась за свой костюм. Не дай бог, возвращая, его передадут ей через Егора. Только на девятый день, когда стала спадать острота, перед ней тормознул новенький "уазик". "Бугровоз" алатырский", — определила Стешка, она ждала на остановке ранний автобус.

Выскочил шофер со свертком, сунул ей его:

— Салют, до лучших времен.

В белой надтреснутой бумаге было что-то зеленое — костюм же! Стешка тут же персвела взгляд на машину, и ей показалось: в глубине, на дальнем сиденье, вжался в себя человек, кажется, то был Распопов.

И она прозевала автобус. Пришлось идти на Ярище пешком. "И от ворон отстанешь, и к павам не пристанешь", — остановилась она у Плещеевской колдыбани. В приподнятую насыпь дорожники вложили бетонную трубу, по обеим сторонам которой тут же образовались "блюдца" — опять же с лягушками, с щедрой болотной ряской. И дорога на этом

участке как бы раздвоилась. Одна, старая, так и осталась на месте, вся в ямках, вымоинах, серая от просохшей грязи. Другая, новенькая, пролегла рядом, была как ножом обрезана в дымящемся еще, свежем асфальте. Он лежал на полотне зернистой подушкой, и тонкие слюдяные лужицы отливали на жирной поверхности всеми цветами радуги.

Это Распопов, конечно, скользнул по новой полосе. Следы протекторов протянулись в две бесконечные линии, как будто двойняшки-гусеницы проползли по асфальту своими неаккуратными, пыльными животами.

"До лучших времен!" Но кто вернет ей Полинку, все, что было у них с Егором? После того "чайного домика" Стешка ощутила себя в эпицентре опасности, идущей от Распопова — Бодракова. За спиной Распопова — цепи интриг, свое "небольшое кладбище", как у какого-нибудь хирурга. Она физически ощущала к себе его липкий мужской интерес. Этот человек матер, беспощаден. Когда Распопов поднимал тост за высокого гостя, рубаха у него спала по локоть и обнажила руку — волосатая обезьяна, интересно, какая у Распопова грудь? А Бодраков — натертый кирпичом самовар, только примелькался, пригляделись все, не замечают, что рыж...

Стешка миновала четвертую лесопосадку, за ней и Ярище. Она прошла специально мимо окон бодраковского кабинета. "И они еще думают, ради них я брошу Егора? — усмехнулась Стешка. — Милые, глубоко заблуждаетесь".

* * *

И завертелся Бодраков, когда Распопов хлопнул перед ним дверцей. "В узком кругу, в очень узком кругу!" Стешку впустили, а сму, Бодракову, нос едва не прищмили. Стешка — баба красивая, она им нужна. А пик Бодракова прошел, ресурс выжат. Поступи так Распопов с ним хотя бы пару лет назад, когда тот был еще заместителем, все могло быть иначе. Бодраков имел тогда прямой телсфон, Бодракова оформляли на Героя, но пустяка не хватило — какой-то бумажки, промежуточного звена, ордена перед Звездой. А потом что-то сдвинулось, пошло, поехало не туда. Формально у хозяйства не стало успехов, потянул на дно животноводческий комплекс. Но всякий знает, отчего так резко все идет книзу: это когда перекроют вдруг "кислород". Ушел из жизни его покровитель, земляк в Москве — маршал рода войск. Кто бы мог предугадать это? Как член исполкома он, Бодраков, вряд ли поддер-

жал бы тогда Распопова, и тогда Распопову быть бы председателем не в Алатыре, а в какой-нибудь Алексеевке, куда, кстати, до сих пор не подыщут толкового человека... Ничего-ничего, мы еще поглядим. Стешка — это "крючок", действует безотказно. Хотя, конечно, жаль Стешку, кусок лакомый и для него самого, Бодракова...

Мрачный ход мыслей Бодракова прервала Коротеева, экономистка. Она сообщила, что деньги Трофимовы найдены и переданы адресату. Вот на них-то, говорят, Трофим и воздвигает себе памятник рукотворный — дорогу, да-да, "аппендицит" от большака до Тигановки, до своего подворья. Эта новость была для Бодракова уже не новостью. Та — "сверху", а эта — еще и "снизу". Слоеный пирог. Какая нужна эквилибристика, чтобы держаться. Ясно, у Трофима Тиганова прорезались крылья, надо ответить тем же — таков закон "доисторического материализма", как выражается Бронька Летягин.

И все же как ни убеждал сам себя Финаген, что Стешка — это "крючок", подсадная утка, на которой можно сгореть, а все равно Стешка перед ним играла в своем райском саду Еву — обнаженную, без ничего, нимфу на берегу. А он сам, прилипнув к Адамовой мельнице, находил в себе Адама с надкушенным яблоком... И как, изобидясь, мелькнула, перебежав из одного полушария в другое, мыслишка — эмигрантка такая: "А что они, голуби сизые, там в "чайном домике" делали? Не на голом же чаю сидят люди, когда приглашают..."

— Ладно! — поставил Финаген точку над "и", после чего, взведенный, на нервах весь, поднялся из-за стола и двинул из кабинета в народ, где ковалась материальная база. Для укрепления всеры Бодраков рванул (опять же куда?) на Адамову мельницу. Если уж судьба преподнесла подарок врагу его Трофиму Тиганову, то, согласно той же доисторической диалектике, для равновесия она не должна обойти и его, Бодракова. "Деньги должны быть в сейфе, "на колесе", — снова уверовал Финаген в свою удачу. — Тогда я, паникер, плохо искал".

Бывает. Он прямо-таки оракул, Куни и Мессинг, взятые вместе и возведенные в куб. Выпало же человеку такое зрение. Видит он сейфик, где тот и был, лежит на месте. И, обожая, Бодраков лицезрел этот сейфик и на удалении — в личных его примстах, царапинах, через толщъ земную, всю эту земную твердь.

Деньги! Вот что дает высвобождение, равновесие, независимость. В случае чего — зад об зад и до свидания. Их, Распо-

повых, много, а ты, Бодраков, один-единственный в своем роде, штучный товар. "А со Стешкой мы что-нибудь придумаем. Вот народ пошел неблагодарный, память у всех отшибло, она у них ни к чертям. Однако раз так нужны деньги — значит, они будут".

Нюх собачий к нему, что ли, с неба свалился? Копнул Бодраков разок возле бучила со стоялой, вонючей (доперестрочечной, естественно, какой же еще) водой. Копнул Бодраков другой раз подальше — рыхловатую, влажную землю. Чего не копнуть, копай, пока не сковали морозы. Не копни сейчас — мучайся после, жди целую зиму до самой весны, идиотство. А ни сейфика, ни Адамовой мельницы — ничего. Что за чушь, ерунда какая-то, прямо-таки наваждение!

Гонит Бодраков на "козле" по дороге на Житень, а на Житневском бугре, чуть повыше Адамовой мельницы, у той же лесопосадки тот самый "Москвич" из Алатыря и тот парень — "кузнец Вакула" с огромной серьгой в левом ухе. И с ним Бронька Летягин на своем "вертолете".

— Вы что — не уезжали, что ли? Как присосались друг к другу, — удивился Бодраков. — Я же сказал тебе, — повернулся он к парню, — чтобы ноги твоей тут больше не было... А ты чего?! — развернулся он в Броньке.

— Слово — олово, твердо, Ксаныч. Как в Японии — можно по телефону, без "липы", без документов, — засмеялся парень нервически.

И Бронька насупился: "Злой, как черт, Бодраков этот, небезопасный! Голову того и гляди отшибет". Но тут же, овладев собой, Бронька опять заплясал, похохатывая, будто дверью ногу ему прищемило:

— Да мы только приехали, Ксаныч. И ты как с Луны свалился, слушай сюда.

В правом ухе у парня серьга мотается, мочку оттягивает. И у Броньки ухо, — Бодраков наконец-то заметил, — вон куда отъехало в сторону, тоже ухо растопырил, лопух. Небось, отец таскал за ухо в детстве — хулигана и неслуха.

— Ты бы и другу серьгу отковал, Вакула, — кивнул Бодраков на Летягина алатырскому умельцу. — Тоже подходящее ухо, подвесил бы, пусть таскает всякую дрянь.

— Наша фирма блох не ловит, — осмелел алатырский "металлист". — Фирма делает гробы.

— Ишь ты, — в какой раз за нынешний день удивился Бодраков и заметил парню: — Кузнец, а с гробами дело имеешь, с деревянными бушлатами, с деревом.

— Его "гробы", — засмеялся Бронька, — это автомобили, на них далеко не уедешь.

— Я с гробовщиками в игру не играю, — отвернулся Бодраков, как бы обидясь. — И чтоб ни ногой сюда, дважды не говорю.

— А на чем ездить будешь, Финаген Ксаныч? — живо поинтересовался Бронька. — Распредвал стерся, сам же говорил: ищи.

— Небось, какое-нибудь барахло хочет подсунуть, — осторожно сдавал назад Бодраков. — Какие там распредвалы на шинном?.. Но ты меня, Броня, знаешь: орел не берет мух.

— Какое барахло, какое барахло! — оскорбился Вакула. — Я теперь на авторемонтном работаю.

— Вот видал, с кем путаешься, — глянул Бодраков, да поостроже, на Броньку. — Он же завтра в тюрьму сам сядет и нас за собой потянет. А я тебя, Бронислав, выручать не буду, слово — олово, твердо, понял?

— Это мой личный распредвал, личный, — глядел исподлобья Вакула. — Хочу — продаю, хочу — дома штаны на нем вешаю.

— Что — сам наварил?

— Новенький.

— А ну покажь.

Парень вытащил из тряпки запчасть, освободил от грязной, промасленной тряпки. Бодраков взял распредвал и повернул на солнце: над кулачком зависло радужное сияньице — ореольчик такой.

— Эх ты, баргузин! — сунул Бодраков этот шворень чуть ли не в нос Вакуле. — Деньжищи берешь, так хотя бы вещь продавал. Износил, наварил, а толкаешь за новый... Я тебе башку тут сейчас проломлю, и ничего мне не будет, никакая милиция не притянет, понял? Избавятся — только перекрестятся.

— Ксаныч, Ксаныч, — замельтешил парень перед Бодраковым. — Пардон, пардон. Это я спутал, спутал. Вот.

И потянул из багажника другой сверток, уже в заводской упаковке.

— Ну вот, это я понимаю, — осмотрел распредвал Бодраков деловито и остался доволен. — А ты, хрен собачий, — повернулся он к Броньке, — давай с глаз долой. Уволю завтра же по причине отсутствия квалификации. Тебе сортиры чистить, а не с такими орлами, как этот бандит, дела иметь...

— Финаген Ксаныч, Финаген Ксаныч, — закрутился

Бронька перед Бодраковым. — Перекуемся, перскуемся. Слово — олово, твердо.

— Эх, ты! — сказал с укоризной, повернувшись к алатырцу, Бодраков. — Тля городская! Всю деревню ограбил, цены свои непомерные ломишь за каждую фигню...

— Н-ну, деревня! — от обиды аж замотал головой алатырский коммерсант. — Тоже мне, совсем обнаглели. Кормить не кормят, производить не производят, да еще и деньги с них не бери, ну, даете!

Когда раздраженный алатырец убрался восвояси на своем "Москвиче", Бронька, видя, что Бодраков пригорюнился чего-то, тут же подкатился к нему.

— А ну, Ксаныч, покажи, где орсољчик? — перскинул он распредвал с правой руки на левую.

— Где? — всперил Бодраков в Броньку всселеющий взгляд. — Может, так и надо, должны быть на кулачках орсољчики.

— Да ну? — изумился Бронька да так и присел перед Бодраковым.

— А ты думал! — рассмеялся Бодраков и положил новенький распредвал в коляску Броньке. — Так оно, Бронислав, век живи, век учись, а с Бодраковым, брат, не помрешь. Поэтому как я вас, таких, вижу насквозь. У меня на вас глаз-ва-терпас.

— Ну, Финаген, — покачал головой Бронька, — быть тебе прокурором!

И Бронькин "вертолет" умчал Броню в Ярище, увозя в коляске распределительный вал в новенькой, заводской упаковке. "Баламут, прохиндей, проф-индеюшка, — ругал Бронька Летягин сам себя экой немыслимой руганью. — Рано или поздно доверчивость тебя, Бронислав, подведет. Подведет тебя Финаген под шишки, ей-богу".

Не любитель Бодраков в последнее время быть в центре внимания, в тенечке сидеть понравилось. Зациклился на нем в последнее время Распопов. Нужен ему, Бодракову, как говорится, "белый пудель" — отвлекающий маневр, такой человек, который взял бы огонь на себя. Это когда добровольно. А когда нет добровольцев, такой человек называется уже по-другому — "мальчиком для битья". Им зачарованы, все смотрят на него, как на солнце, а в светило каждому камушек бросить хочется. А в это время в тени, в синей прохладе, кто-то гонит "синего лося".

Ехидный дымок от Бронькиного "Ирбита" стоял в воздухе, как и сопутствующие ему мысли. Они-то и переменили

настроение Бодракову. Передумал он ехать на Адамову мельницу, на известное место. Денежки подождут, деньги — это разврат, это крайность, это на случай, если ясно будет, что ты проиграл, только тогда на сейфик можно рассчитывать. А пока кто кого — еще как сказать. Тигановский род загоняет в угол его, Бодракова, да? Кто кого — это мы еще поглядим.

Трофим сделал ход: договорился с дорожниками строить за свой счет дорогу? Трофим забыл, какой у нас общественный строй. Скоро ему напомнят об этом.

Да, еще этот Тиганов Егор, сын Трофима. Его жена или кто она ему там, Стешка, — боевая ракета, пущенная с самолета. Разделяется и летит несколькими боеголовками. Вот боеголовки и есть те самые "белые пудели". А в это время кто-то сидит в синей прохладе, а кто-то гонит по следу лося — своего "золотого тельца", и лось этот, мелькая среди белых, а также и вороненых стволов, как сотенная бумажка, кажется синим...

Бодраков ждал разговора со Стешкой. После слета животноводов разговор этот будет, конечно, особый. Что-то в нем произошло, тоже мужик ведь, не чурка. Но таков уж закон бытия: пожалеешь себя — не пожалеешь кого-то, а пожалеешь кого-то — не пожалеют тебя. Это скорее всего имел в виду и Распопов...

И Стешка, гори оно, стояла отдельно в Финагеновых исчислениях.

* * *

Финаген сбежал с порожков правления. Сухие, уже последние осенние листья валились на голову, задевали лицо. И небо было под стать — серым, будничным. Не додумав до конца свой расчет "белых пуделей" (Бодраков имел обыкновение размышлять за рулем, и, представьте, на скорости хорошо получалось), Финаген привычно бросил тело свое в "уазик" — машиненку, вывозившую его не из одной ситуации, и свернул, представьте, совсем не туда. Механически, однако выбор сделан. Итак, не на Адамову мельницу, а на Тигановку.

У Плещеевской колдыбани Бодраков заприметил еще издали Стешку. Она тоже, видать, определила машину и свернула на полевую стезю — срезать дорогу на комплекс.

— Ты куда? — остановил он ее, закрывая путь грудью.

— Пусти, черт! — попыталась обойти его Стешка.

Она встала перед ним и стояла — лицом в лицо. Какой влажный у нее, непросыхаемый взгляд.

— Ну что, была в "чайном домике"? — спросил он ее так, неизвестно зачем.

— Тебе-то что, — отвернувшись, она, покусывая губы. — Ну, чай пили, да.

— С кем, с Распоповым?

— С дедом одним, — усмехнулась Стешка.

Уходила, извиваясь всем телом, всем своим зеленым костюмчиком, усадиста, как переломлена в талии, змея такая. "Ничего-ничего, змеи тоже любят погреться на камешке, ты у меня доиграешься". Бодраков рванул машину и тут же едва не врезался в придорожный валун.

Развеваясь, Финаген помотался по дальним фермам, побывал в Лыково, на Волчьем Шляху. Как и следовало ожидать, "аппендикс" был сделан уже больше чем наполовину. Бульдозеры нареzáли насыпь, автомашины возили щебенку, ее тут же разгребали, укатывали катком. И лихой же народ эти дорожники! И луну укатают. И помогали им тигановские мужики. В Ярище от столовой до туалета не заставишь сделать дорожку, а тут как распинаются.

В посадке Бодраков узрел накрытый стол: чаи гоняли не только с медом, но и со зверобоем, анчибалы. И Виталий Витальевич, ишь, зарделся, как маков цвет, от щек хоть прикуривай. Уперся спиной в березу и знай себе наяривает на баяне, главный агроном.

Бодраков схватил всю эту трудовую повинность одним махом. И главное выделил: самовольный захват земли. Ай-ай-ай, Тиганов Трофим Петрович, ты у меня попляшешь. Слезьми кровавыми поплачешь, чума болотная, грызь прорснется — такие куски подымать. Еще надорвешься, сколешься на Бодракове, Бодраков тебе не пешка какая-нибудь, рано хоронить Бодракова, Бодраков еще жив, Бодраков еще вставит кое-кому фитиль в задницу...

— Ты что тут раскудахтался, проф-индей?! — подошел Бодраков к главному агроному.

— Культурная программа, — продолжая жарить на баяне, не отвел глаз Виталий Витальевич.

— Что тебе тут, Олимпийские игры? — поработал Бодраков желваками, пока в кармане кисть в кулаке разогревалась.

— А ты не бугруй, не бугруй! — с рывом свел мускулы агроном. — И в кармане кулак не сжимай.

— Вот что, Шостакович, — изменился в лице Бодраков. —

Дуй отсюда, чтобы я духу твоему тут не видел! — И уже беря себя в руки, сказал потише: — Чему помогаешь — "шабашке"?

— Так выходной же сегодня, Финаген Ксаныч, — входил в нормальную речь Виталий Витальевич. — Воскресенье, ей-богу.

— Воскресенье — это для них, — кивнул Бодраков на дорожников. — А мы в колхозе работаем.

Краем глаза видел Бодраков, как носился по щебенке Тиганов Трофим, вот кунался, как г...оно в проруби. Венедиктов, старшой у дорожников, подошел к Трофиму, и оба они, вроде не обращая внимания на него, Бодракова, стали говорить — разговаривать между собой, а сами, однако, косились сюда, в его сторону. Как же, он помешал, видите ли, ихнему тут концерту, разворошил осиное гнездышко. Бьют государственную технику, сыпят щебенку где вздумают и как вздумают, без сметы, без всякого плана, согласования, разрешения. Ну, молодцы, ну, проф-индеи — профессионально непригодные, без матюка шагу не сделают, а тут как раздухарились. Была бы воля — всех на карьер бы послал бить камень, нет, лучше будем бить по карману, экономически. Эх, как дерану за амортизацию, чтобы карманы к голым ногам прилипали!..

— Вот что, Виталий Витальевич, — сказал он смиренно, почти дружески, с улыбочкой этак. — Езжай-ка ты в Лыково, во вторую бригаду. С зябью как член правления разберись, а я подскочу, проверю.

"Это тебе "белый пудель", раз сам не знаешь, чем агроному сейчас заниматься. Зябью, мой голубой, и буртами — вот чем. Сгноишь зимой семенную картошку — по весне штаны снимешь, как Тиганов Егор, пощады не жди!"

И в машине уже за рулем, оглядев почти весь ихний "аппендицит" от большака до Тигановки, буркнул он, но так, чтобы слышал Трофим:

— А с землей мы еще разберемся!

VI.

Припадая на правое заднее колесо, вагончик сотрясался, стонал, ухал каждый раз в яму, стекла дребезжали и взвизгивали — как только оставались живыми после каждой ухабины? Затем, набирая мучительно, с содроганиями высоту, колесо опять падало, перскашивая все это нездоровое, хилос,

изрядно подношенное тело жилого вагончика. И, однако, вагончик этот удивительно, но все-таки оставался жив, больше того, подвигался к четко поставленной цели. Под крышей красовался оборванный наполовину плакат "За лучшую жизнь, за прогресс". И влекла за собой вагончик такая махина лимонного цвета — трактор "К-700", что временами подсвистывал с неудовольствием в свою симфоническую трубу из-за ничтожной скорости и от собственного ничтожества при такой ничтожной работе. Но если бы те, что сидели в кабине, добавили скоростенки, этот катафалк бы скорее всего рассыпался, рассеялся на глазах всей Европы, как некогда искусственно сшитая "лоскутная империя" (имеется в виду Австро-Венгрия).

Белая "Волга", эта белокурая бестия, мухой скользнула мимо и унеслась в пустоту. А "козел" не сумел, Бодракова прижало к обочине. Бодраков глядел на процесс и процессию и оторваться не мог от всего этого сочленения, сотрясаемого адской внутренней силой. ("Энергии — тьма. Но на что, боже, тратится?!"). Пока наконец не догадался перевести взгляд с общего на частность и таким образом установить причину столь зримого следствия. А дело-то в чем? В ко-ле-се! Именно в нем, треклятом. Колесо — гениальное изобретение человечества, с которого в свое время и начался великий технический прогресс — сейчас вот именно работало на регресс. Вот именно в нем, заднем правом, обтянутом для амортизации дырчатой, губчатой черной резиной, и заключен был этот страшно глубокий смысл. Дело в том, что примерно с четверти колеса резина была срезана начисто, до основания, до металлического обода и загнана, небось, куда-либо на сторону, а может, и за границу... района. А тут лязгай ободом, клацай зубами о камни, каждый раз выссая искры и сотрясая весь жилвагоновский организм.

"И красиво же ездят, сволочи!" — восхитился Бодраков, припоминая из своего детства, как из такой же пористой, упругой черной резины от колес танков они, дети войны, точили, бывало, круглые мячики, играли ими в лапту. Такого добра тогда было, слава богу, навалом. Прямо за хатой, раскатав по огороду перебитые гусеницы, горбатились "битые" танки... "Ну, птица-тройка, вагончик асфальтировщиков! Ну, дорожники-молодцы, вывели хозяйство, значит, свос на народ? Передислоцируетесь, значит, перевозите шмотки на зимние "фатеры" — свою постоянную базу — вы, лаптежники, создатели алатырских скоростных автострад?"...

И у Бодракова уже не возникало желания уступать дорогу этому транспорту, следующему по главному направлению. "Чему радуешься, дурень!" — одернул он вдруг самого себя. — На носу конец года — подобиют бабки, а у тебя самого, как в домино, — "пусто-пусто"...

Чем докармливать скот будешь, кто виноват и что делать? — три проклятых вопроса. А ответ один. С утра звонили из приемной Распопова. Эти стервятники тут как тут, едва мертвечиной запахнет. К середине января велено готовить отчет на исполком или на бюро, бог их знает куда, потом уточнят... Судьба играет человеком, а человек, понятное дело, играет у себя на пупе"...

Только-только Бодраков переговорил с приемной Распопова и еще сидел сам не свой под грузным, до конца еще не осознанным впечатлением, как забил в набат главный колокол — красный телефон. Сколько молчал, весь уже пропылился, а тут зазвонил, заколотился, как в лихорадке, нетерпеливый какой. Этот зря не звонит. Говорила с ним секретарша от имени Старика, сам Старик уже не удостоивал. А если бы удостоил, наверняка бы пришлось искать "пятый угол" в своем кабинете. После таких разговоров одному, на том конце телефонного провода, подзарядка прибавляет хотя бы день жизни, а другого, на этом конце, — еще и хватит "кондратий". Се ля ви, как говорят в таком срезе наши союзники по Сопротивлению, ох, уж эти французы.

Так вот, едва Бодраков переговорил с областью ("естественно, орел не берет, пняешь, мух"), как на ж тебе — "Кого я вижу!" — Усынин в дверях, бывший их бригадир. Помнит, как надо входить: аккуратненько. Даже не дал, паразит, отдышаться после красного телефона.

— Низкий поклон, Финаген Ксаныч, — потоптался на месте Усынин и стал у дверей столбом. — Как здоровьице, Ксаныч?

— Здоровьишко? — еще не вышел Бодраков из прежнего состояния. — Утлое. — И тут же поправился, взял нужный оптимистический тон: — Здоровье есть, да здоровых людей нема. А у тебя?

— Хи-хи, — усмехнулся Усынин, теребя шапку. — Здоровье? Да как молоко коровье. Тает и питает.

— Ишь ты, — удивился Бодраков. — Брехать там не разучился.

— А где разучаться? — прятал в глубину свои хитроватые

глазки Усынин. — Вся бригада, почитай, опять же вокруг меня, все свои. Станция рядом, свежий хлеб каждый день...

— Что ж, приехал новых людей переманывать? — свел Бодраков на одну орбиту брови свои. — Ну, чего пришел, говори!

— Сурьезный какой ты стал, Финаген Ксаныч, — улыбнулся Усынин. — Дык Новый год завтра, забыл? Зашел вот поздравить... Желаю здоровья тебе, Финаген Ксаныч, все же вместе столько годов проработали. Заехал тут к родичам своим, решил и к тебе.

— К родичам? Не все, значит, еще уехали? — не снимал цепкого взгляда с него Бодраков.

— Всем нельзя, — спокойно сказал Усынин. — Надо же кому-нибудь и остаться, в разведке.

— Ну, спасибо тебе, старый кадр, за поздравление, — смягчил тон Бодраков. — Передай там у себя всем ярищенцам от меня поздравления. И с Новым годом, и здоровья, и хорошей жизни на новом корню. Мотаетесь туда-сюда по стране, как яичный желток, перебалтываетесь, как будто не на одной земле живем, не на один стол работаем... Ладно, Бодраков помнит, скажи, Бодраков людей не забывает. Добро всегда помнится, а худую траву с поля вон.

— Это верно, Ксаныч, — обрадовался бывший местный житель Усынин. — Это сущая правда...

И вот все это мелькнуло в мозгу Бодракова, пока он смотрел, как в сторону Алатыря, перекрыв ему путь, подвигалась эта самая "птица". Пока колымага дорожников бухалась перед ним в пятнадцатую свою или, может, двадцать пятую "яму", мысли Бодракова перебрались уже на другое: на комплекс свой животноводческий. Нам себя опускать нельзя, нам бодриться надо, впереди у нас во-он какая дорога...

И тут Бодраков поднял голову и высоко над собой, в кабине трактора "К-700", узнал Венедиктова: тот самый, старшой у дорожников. У, прохиндей! Сразу узнал бы — не стал бы путь уступать. Еще бы и пушку противотанковую выставил насупротив, в крайнем случае ПТР — противотанковое ружье...

— Гвардейцам пятилетки — мое почтение! — высунулся Бодраков в приоткрытую дверцу. — Ай на мичное поле наткнулись, как вас перекосоротило.

— Чего? — не слыша, наклонялся сверху к нему Венедиктов.

— Ай миной, говорю, раскурочило? Загнали, что ль, пол-

колеса за границу — бабам на сапожишки? Не догонишь вас — мчитесь...

— Какой витязь? — старался перскричать шум двигателя Венедиктов.

— Какой витязь? — обозлился Бодраков. — Птица без крыльев, всадник без головы... Прохиндеи вы, вот кто! — крикнул им туда Бодраков и рванул себе далес.

Разрядил Финаген себя таким образом, и взбрело в голову Финагену, просто потребность такая возникла — посидеть с кем-нибудь, погудорить по-человечески. Сколько можно, как навалил на себя, так и тащит, и тащит, волокет воз, аж хребтина трещит, коленки уже подгибаются, ночного сна не хватает. Потолковать бы с таким, что все знает, все понимает, в курсе всего, чтобы правду умел сказать, не побоялся, в глаза. Что сломалось у нас в ярищенском механизме, куда повернуть колесо?

И Бодраков подумал о Лихопекове, бывшем своем заместителе, лучшего не найти.

Финаген заехал домой. Облачился в выходной костюм, надел новую синюю рубаху, галстук подцспил несадсванный, чего сроду не бывало, ездил обычно попроще, даже в область на важные совещания.

— Ай на свадьбу? — покосилась на него жена подозрительно.

— Новый год же, — сказал он тихо и зачем-то соврал: — Лихопек, Мусь, к себе приглашал.

— Лихопек? — удивилась старушка.

— Поедешь со мной? — спросил ее Бодраков просто так, для близиру, знал, никуда не поедет всдь, за Бодраковым всюду не нагоняешься. — Он теперь в Подшибякино, директором совхоза.

Только всего и сказала она, ворча:

— Семейный праздник-то, все домой, а ты, круговой, из дому.

— Работа такая, — вздохнул Бодраков. — Когда еще по-советуешься по перспективам.

И ехать-то Бодракову вроде как расхотелось, было не по себе. И сколько раз, уже под самым Алатырем, порывался он развернуть машиненку обратно. Но за Алатырем дорога стала прямее, сама летела навстречу.

Лихопек принял его хорошо, даже радушно. Он не был поражен явлением Бодракова, даже бровью не повел, встретил, как будто ждал его, словно когда-то расстались прияте-

лями. "Это класс, — подумал Бодраков. — Кос-чему человек подучился". И потащил Бодраков из машины бутылки, коробки, но Лихопсков заставил положить все обратно.

— Обижась, начальник, — рассмеялся Лихопсков так искренне, что и Бодракову захотелось вслед рассмеяться. — Да что же мы, кто-нибудь, что ли? Да ты у меня, Алксаныч, в гостях.

Довод был неоспорим, произнесен почти дружески, Бодракову сделалось тут вдруг тепло, хорошо стало у Лихопскова. Подбежал и сел на колени Бодракову Сенька, лихопсковский отпрыск. Принялся катать по плечу Бодракову груженный кубиками самосвал. Поздоровалась и прошла с полотенцем жена Лихопскова — худенькая, в пестром халатике, над головой горкой платок, наввернос, бигуди.

В доме была та суэта, которая всегда предшествует празднику, застолью, хорошему настроению. Бодраков ревниво осматривал лихопсковский дом. И тут бухнули дверью в передней, раздались радостные возгласы. В сопровождении Лихопскова в главную комнату, где уже горела свеча в углу и был накрыт стол, а на диване сидел перед телевизором он, Бодраков, входил — кто бы мог подумать! — Тиганов Егор.

— Земляки, какими судьбами? — пришлось встать и сделать вид Бодракову ("незванный гость хуже татарина"), и Финягин протянул руку Егору.

— А я приехал в специнтернат, Кузьку, брата, проведать, — словно оправдывался Егор. — Привез ему кое-что, кое-какие подарки. А вечерний автобус отменили. И вот я к директору, не подбросите хоть до Алатыря? — обратился он к Лихопскову.

— Не подброшу, — рассмеялся Лихопсков, обнимая за плечи Егора. — Оставайся, брат. Завтра вдвоем и уедете.

— А Стешка? — вырвалось у Егора.

— Стешка? — пожал Лихопсков плечами. — Есть телефон у отца? Позвони. Ах, опять сняли?.. Ну что ж, извинимся всем коллективом, уважительная причина.

— Может, съездили бы за ней? — предложила жена Лихопскова.

— Не успеем, — заявил Бодраков. — И потом почему одному мне быть холостяком, пусть и Егор Трофимыч.

— Гори все оно синим огнем! — подхватили дружно все Лихопсковы, даже Сенька и тот, шельмец, был участником этого хора.

И Егору показалось, по губам Бодракова скользнула дьявольская усмешечка. На всякий случай Егор встал и отошел к старенькому приемнику с радиолой, он запомнил этот приемник у Лихопекова еще с тех времен, когда Лихопеков жил и работал у них в Ярище. И стал Егор копаться в пластинках. Бодраков, тоже на всякий случай, отвернулся к окну.

Ровно в двенадцать выключили свет на минутку, только елка горела. И каждый задумался: миг, а как все вобралось в него — и прошлый год, и год наступивший. Что-то будет с каждым, что-то будет вместе со всеми?

Новый год был для Егора самым волнующим, неожиданным праздником. Ложишься спать глубокой ночью и не знаешь, что будет с тобой, когда проснешься поутру. Что будет со всеми годами, которые впереди?

Сенька — отпрыск Лихопекова — спал на руках у отца, сморенный беготней. Жена Лихопекова взяла Сеньку на руки, попрощалась и ушла. И мужчины остались одни.

И Егора, как "тозовку" — "тулку" — двуствольную, поставило на боевой взвод. Оказывается, присутствие жены Лихопекова благотворно влияло на обстановку. Не просто устанавливаются связи между людьми, тем более приходит доверие, когда его нет и не было долгие годы. Финаген проводил не тем взглядом жену Лихопекова, а Егор уж подумал о Стешке, как она с ним, Финагеном, прохвостом таким, по слетам раскатывает. Главное, нервы не давали идти на связь с Бодраковым, как бы Лихопеков ни старался их обоих тут притереть, сблизить. Они с Бодраковым не очень-то притирались, внутренне все время отталкивались. Егору казалось, Финаген намеренно держит руки в карманах, когда речь заходит о Стешке, лукамудист несчастный, не катать земной шар между пальцами, шаром земным не играй. Где уж тут с Финагеном, даже с Лихопековым из-за Бодракова связи эти сейчас то возникали, то рушились, что значит давненько не подкреплялись биоэнергией, теряем друг друга эмоционально.

Сроду не видел Егор, чтобы Бодраков когда-либо пил. А тут Бодраков ни от чего не отказывался, сам себе наливал. И сидел явно не в своей тарелке, не зная, видимо, как начать разговор. Он мучился, заметно переживал, без конца отирал пот ладонью со лба, сырой какой, огрузился. Надо было поднять створ в плотине, чтобы вода сама собой схлынула. И Лихопеков, как всегда бывало, помог ему в этом.

— Вот сидит Ксаныч и, небось, думает, — подтолкнул он

Егора, — как, мол, Лихопеков попал в такую кабалу и не пропал? Так ведь, Ксаныч?

— Ну так, да, — отставил коньяк Бодраков. — Интересно, как не пропал.

— Трофимыч знает, что за хозяйство, — кивнул Лихопеков на Егора Тиганова. — Хоть немного, а бригадиром тут поработал. Главное, понимаешь, с чего начать?

— И чем кончить, — усмехнулся с горечью Бодраков.

— С людей начали, — продолжал Лихопеков, этого не заметив. — "Снизу" и "сверху". "Снизу" — это понятно. Человек, труженик — гвоздь программы, как и в Ярище. А вот "сверху" — это заслуживает внимания, тут особые, уникальные обстоятельства. Откровенно, да?

— А зачем же я тогда и ехал сюда? — поднял голову Бодраков и вновь потянулся за коньяком.

— В Подшибякино, как вы знаете, восстановили райцентр, — сказал Лихопеков, отделяя каждое слово. — Восстановили, но даже гостиницы нет... Выбил я деньги в своем министерстве, дали под новый центр совхоза. Да ведь мы на окраине самого Подшибякино. Только построй что-нибудь — тут же заберут под райгосучреждение. Понятное дело... Вот мы и перенесли свой центр подальше, километра за четыре, в Вавилоновку. Да ты знаешь ее, Егор. Как ехать на Кочетовку.

— От которой дворов пятнадцать осталось? — шевельнулся Егор.

— Мы в Вавилоновку жизнь вдохнули, — заходил Лихопеков энергично по комнате. — Первым делом кафе-столовую построили, а наверху — гостиница, отделана под орех. Едут в Подшибякино из области, из Москвы, а ночевать негде. Районное начальство само на столах спит по кабинетам. Христом-богом просят гостя принять. Принимаем, и тут личные контакты... Зато удобрения из глубинки не успели вывезти — нам звонят. Так же и с техникой, запчастями...

— Ну, проф-индей! — покачал головой Бодраков.

— У тебя научился, Ксаныч, — переглянулись Лихопеков с Егором. — Ты у нас в таких делах корифей. Чего стоит хотя бы животноводческий комплекс.

— Н-да, комплекс... Это точно, — смутился Бодраков. И выпалил откровенно: — Этот комплекс, можно сказать, скоро совсем нас добьет.

— Не шути так мрачно, — засмеялся Лихопеков. — Процветает, небось?

— Кто тебе это сказал, он? — покосился Бодраков на Его-

ра. И взял себя в руки, улыбнулся через силу: — Давай-ка лучше поднимем рюмку за твои, Лихопеков, успехи. Дела, вижу, у тебя идут хорошо. А у меня, брат, та-а-к, — голос его осекся, и он отвернулся. — Планчик у меня был насчет... в общем, как сломать систему, какая не кормит...

Осторожненько, на цыпочках, Егор вышел на кухню. Оделся — ступил за порог. Небо не изменилось, такая же тишина в Подшибякино, как и тогда, когда он работал здесь в специнтернате, а после в Кочетовской бригаде. Только Млечный Путь стал вроде гуще да двери по домам сегодня открывались почаще, все же райцентр, столица района. А где-то за садом — специнтернат. Намыкались, спят ребятишки, отдыхает и его младший брат Кузька. Не спят только звезды, да жива память о Вадиме, интернатовском мальчике, душа которого отделилась и улетела туда, куда улетают на зиму Серые Дятлы...

На цыпочках Егор вернулся в дом через кухню. Присел в коридоре на табуретку, и тотчас же кот — баловень семьи — стал тереться о его колени. Вот и конец двадцатого века, завершение тысячелетия — жутко подумать. Чему-нибудь хоть научились люди за столетие, за эту тысячу лет? Все так же гремят войны, черная зависть глушит, съедает сердца. Все так же голод в мире косит одних, а другие гибнут от пресыщения. Одни верят в богов, уже павших, другие не верят и в самих себя. Однако все так же вращается наша Земля и родит хлеб — самое бескорыстное, самое вечное из всего созданного человечеством, а в недрах его — любовь, из-за чего и живет и пока что достоин жить человек... Кот царапался в приоткрытую дверь: к измененью погоды, к пурге. Егору хорошо слышалось отсюда все, о чем они говорят — Лихопеков с Бодраковым. И вдруг Егор вздрогнул от бодраковского голоса.

— Приеду домой — застрелюсь, — тихо сказал Бодраков.

Егор знал: дома на стенке у Финагена висело ружье, из него тот убил недавно собаку себе на шапку. — Сниму со стены и в висок. Разуюсь и пальцем правой ноги на курок, — смаковал Бодраков. Но теперь Егор ему уж не верил. — И все кончено, крышка. Как того самого лося...

— Какого лося? — насторожился Лихопеков.

— Да знаешь, небось, подстрелили случайно в Волчьем Шляху...

"Бодраков в синей рубаше, — подметил Егор, — а Лихопеков — в зеленой". Егор завертел головой, освобождая горло от

притеснения шерсти, свитер был белый, крупной домашней вязки.

Слова Бодракова были словами не слабого человека. Егор понял это по тону, по плотному материальному голосу, каким они были сказаны. Егор, слава богу, знал Бодракова, гори оно синим огнем. Но при чем тут лось, тот "синий лось" и все, что связано с лосем? Скорее это был волк, загнанный в угол и обнесенный флажками. Ну так что же, нет выхода? Ведь научились же серые прыгать и через флажки. "Сильные люди мучаются сами собою, слабых мучает совесть, — подумал Егор. — Самое время спросить Бодракова про сына, про Тубольцева Серафима..."

— Да что же ты так, Финаген Алексаныч, в жизни-то разочаровался? — услышал Егор голос теперь уже Лихопекова.

— Исчерпан ресурс, — било Бодракова, как в лихманке какой. — Переспело яблочко и вались. Не жди, когда тебя носом в землю.

— Да кто хоть?

— Видал, как Распопов теперь со мной разговаривает? — глухо сказал Бодраков. — На исполком вопрос собираются вынести... Распопов случайно в гостинице у тебя не ночевал?

— Чего ему, — помедлил Лихопеков с ответом. — У него "Волга", жвык — и в городе.

— Распопов — айсберг, — вздохнул Бодраков. — Одна треть на поверхности, остальные две трети внизу. Не нравятся мои планы, не дают развернуться...

— Что, уж плохо так стало? — Егор уловил в голосе Лихопекова неподдельную искренность, и ему отчего-то стало жаль Бодракова: в самом деле, неужели так плохо, валится у того все из рук, тоже как-никак все же вместе работали.

— Плохо, — кратко сказал Бодраков.

— С чем?

— Да хотя бы с кормами, — заговорил Бодраков каким-то бесстрастным, упадническим тоном, никогда Егор от него такого тона не слыхивал. — Ползимы только, а кормить уже нечем.

— Что же вы, — посочувствовал Лихопеков, — так пролетели?

— На зоотехника понадеялся. А зоотехник мне "липу" писал...

— Не дури.

— Факт.

И опять была пауза. Слышалось только дыханье Бодракова.

— А как трудности наметились, — вздохнул он сокрушенно, — так люди прямо-таки оголтели. И вовсе стал народ разбегаться. Усынин вчера наведывался, агитатор... В общем, так понимаю: тюрьмой запахло. Сам знаешь, любого преда можно хоть трижды упрятать...

— Вот что! Соломы я тебе дам, — твердо сказал Лихопеков. — Но урок вам: впредь солому не жгите... Да, Александрыч, — встал и тяжелыми, крупными шагами заходил по комнате Лихопеков. — Такой совет, не в службу, а в дружбу... Ты с людьми налаживай — вот главный твой промах. Перестал, брат, считаться с народом. Между прочим, когда уходил от тебя, я это предполагал.

— Что предполагал? — побелел Бодраков.

— Что крахом все кончится, — все же досказал Лихопеков. — А ты думал как не считаться с людьми? На орденах да на цветных телефонах далеко не уедешь... Если и есть у тебя кое-какие идеи, отчего скрытничаешь, один в поле не воин...

Они еще долго говорили между собой. Егор сидел в коридоре, и голоса тонули в его ушах, как в молоке, которое рекой текло с ярищенских ферм, и было в Плещеевской колдыбани ему, Егору, сначала по щиколотку, потом по пояс, под самое горлышко. Ешь, пей, не хочу, хоть захлебнись, — молочные реки, кисельные берега. И они втроем поднимали кружки с молоком, перебродившим, хмельным, словно кумыс: "С Новым годом! Нового счастья!" И дьявольская улыбочка скользила и падала с губ Финагена хлопьями, когда он воровато гладил Стешку по полной коленке, сволочь... а Стешка всю ночь искала сына его, Бодракова, — Тубольцева Серафима...

Проснулся Егор в постели. И как это он здесь очутился, дитя великовозрастное, скоро уж пальцы седыми станут, а все кажется, что сюда в постель мать с отцом его перенесли. В самом деле, жутко подумать, конец не только столетия, но даже тысячелетия. "Конец света", как говорят божьи старушки. Не загадывал, а вот приснился на новом месте уже под утро, стоит перед ним, как живой, этот его цветной сон. И снова впал в сон Егор.

"...И шел навстречу ему старик. Розовощекий такой, грудь колесом. Любимые слова его: "естессытьвенно"... "пессимиссытьчесьськи-оптимиссытьчесьськи". И произносил он слова, как паровоз старой марки "кукушка", — со свистом.

"Ну как здоровье, как Продовольственная программа?" — спрашивал паровоз, спуская пары, у Егора. — "Программа есть, — отвечает ему Егор, — а продовольствия нет и до-о-ол-

го не бу-у-у-у-у..." Лежит во сне Егор, крайне задумчив: как это он, чудака такой, в сон чужой встрял? Либо вот-вот взорвется котел у паровоза, либо "кукушку" ту скоро заменят электровозом. Лежит Егор на постели, а сам как бы забегает вперед: неужто и с электровозом будет та же программа и тоже без продовольствия?..

Вот в апреле-месяце он окажется у дядьки своего под Москвой, у дяди Миши, отцова брата. А возвращаться станет через Курский вокзал — что-то люди везде в портупеях: в электричке, магазине, на улицах. И все шепчут: "паровоз" того, свое отслужил. Неужели? Да, отслужил, вперед уже не летит. Однако отслужил "паровоз", но, оказывается, не этот, серый, а другой, что зеленый. А этот, серый, как Иисус Христос, воскреснет, оказывается, на самую Пасху. И еще просвистит несколько месяцев, до своей остановки, до своего праздника осенью. Свистит и свистит, весь истек словесами и свистами..."

— Ага, открыл вежды, — вошел в комнату к нему Лихопеков. — Подъем! Проспишь, брат, все царство небесное.

Этот человек, его голос, улыбка — реальность.

— С Новым годом! — обрадовался возможности уже бегать по комнатам Сенька — сынок лихопековский, только этого под дверью и дожидался.

— С Новым паровозом! — потянулся Егор.

Егор попытался припомнить не сон свой цветной, а что было подальше, с вечера. Неужто Бодраков собирался стреляться? Из двустволки, что висит у него на ковре? Неужто так уж нехорошо, что не хочется жить?..

За завтраком Лихопеков сказал Егору как бы между прочим:

— А Бодраков-то уехал. Ночью еще. Ладно, отвезу тебя в Алатырь к автобусу, не волнуйся.

После завтрака Лихопеков завел Егора к себе в кабинет. Все та же полка — "сто вечных книг". На столе, как всегда, ни единой бумажки.

Было Егору о чем спросить Лихопекова. Дело, конечно, не в возрасте. Просто не так много людей на земле, кому можно открыться. Вся жизнь мелькнула перед глазами Егора — цветной его, бесконечный сон. И ком подкатил к горлу, и тело пошло мурашками, и стало Егору тепло и трудно за те самые связи в голове, о каких он пекся вчера при Бодракове, и они все никак не получались и вот сейчас возникнуть вдруг стали, приобретали устойчивость при Лихопекове. И было о чем ему посоветоваться, еще бы: Полинка украдена, унесена

прямо из дому, со Стешкой неладно, вторая семья распадается. Одна ушла, когда он перестал быть агрономом. Другая уходит сейчас...

— Вот, — сказал Егор, глядя вопросительно и одновременно застенчиво на Лихопекова. И положил перед ним на стол свою рукопись — свою, и этом была его тайна. "Одиссея жизни? — не удивился ничуть Лихопеков, зная, как многие из бывших, да и настоящие тоже тщатся надеждой восстановиться через эпос личный — собственность мемуарного склада, тесня настоящую литературу. — Талантливо или не талантливо, да?" — задержался взглядом Лихопеков на Егоре Тиганове. — "Наверно", — пожал плечами Егор. Хотя, согласно его же концепции, талантливую вещь можно определить с ходу — по вложенной биоэнергии. Две-три фразы — и все налицо...

"А вот по Платонову, — думал Егор, — в недрах Среднерусской возвышенности заключена невероятная магнетическая сила, энергия, переходящая в массы, но ими еще не осознанная. Она, однако, не только в массы переходяща, но и во все живое — Всеживь, иначе отчего же тут скопище биоэнергии, такой чернозем? Если взглянуть на то же самое общепланетарно, то что мы имеем на Земле: выходы чернозема, нечто вроде "Бермудского треугольника", трубки такие энергетические, которые своей пока еще не познанной силой влияют на судьбы людей и всего человечества, подпитывая их, заряжая и разряжая... Мы прервали поток от классиков, оборвали высоковольтную линию. Есть ли в повести что-то от тех высоких энергий? Вот в чем вопрос"...

VII.

— Вы автор? — спросил Лихопеков почтительно.

— Не знаю, — ответил Егор. — Скорее записчик. Бабушка мне рассказала когда-то, а я попытался передать впечатления.

— О чем это? — положил Лихопеков руку на записи.

— О прошлом, — нахмурился Егор. — О ком писали больше всех, кого проклинали и славословили?

— О Наполеоне?.. Наполеон велик. Даже Россия прислала ему для надгробия карельский розовый мрамор. Цивилизованные народы своих кумиров умеют беречь.

— Не так страшен Наполеон, как наполеончики, — усмехнулся Егор. — Вон Бодраков пролил ночью слезу, а я не верю. Он же авантюрист, диктатор по натуре, всех готов уло-

жить в могилу, лишь бы усидеть самому. От него вест смерти, на нем же печать...

— Не сгущай, — засмеялся Лихопсков. — У вас с ним психологическая несовместимость.

— Другое страшно, — не выходил из роли Егор. — Со времен Древнего Рима не придумано пока ничего, кроме этого: "разделяй и властвуй". Кнут и пряник — вот и все пособие по руководству. В Древнем Риме это была "толпа", "люмпен". У Пушкина есть такое понятие — "чернь". Сейчас, говорят, орудут "мафии". А мы все лицемерим, из лицемерия это частенько у нас "коллектив" называется. В "коллективе" все осредняется, отсекается верх и низ. Это и гробит страну, заставляет плестись в хвосте, лишает народ перспектив.

— Ну, за всех не расписывайся, — сказал Лихопсков уклончиво. — В конце концов каждый знает, что ему надо. Ты за себя отвечай.

— Нет, за народ надо ... расписываться, — сбывчился Егор. — Народ из таких, как мы, состоит. Не так чувствуешь, не так мыслишь, не то сказал — на колоду, на плаху тебя. Будь как все. Руки торчат — руки отсекут, ноги выпадают — ноги отхватят, мыслишка не та, неземная — и мыслишку топориком, наискось. А на черта она, от нее обывателю страшно... Волкодавы! Я должен стать частью их "коллектива", войти в систему, превратиться в частицу либо погибнуть — третьего не дано...

— Зачем же так мрачно? — улыбнулся Лихопсков. — Ты, Егор, еще молодой.

— Почему? Тоже опыт, на шкуре своей испытал, — вполне серьезным остался Тиганов Егор. — Я вот о чем, если уж цеплять философию... Жизнь как таковая, по-моему, состоит из трех главных частей — человек, природа и Бог. Но какой Бог! Особенный, духотворный, так сказать, двуединый — Всеживь и Всенемь. Боги у Нильса Бора и у какого-нибудь сельского попа разве разные, это его образы разные, разве не ясно? Всенемь — вся Земля: камни, реки, воды на ней и весь космос — звезды и опять-таки реки на них, если есть, воды, камни... А вот то, чему мы поклоняемся, чем жив человек, — это Всеживь. Все живое — от человека до каждой букашки на Земле, от человека до неизвестных существ в космосе. От ненависти до любви. И все это — Всеживь... И, что интересно, живет человек, переживает, страдает и сострадает, любит и ненавидит, и все ведь в самом человеке, и все вне его, а между тем и к другим тянется ниточка такая — душа. Мне рас-

сказывал один мужчина с Алтая: у них на селе построили дом, и цветы не хотели жить в доме, потому что его строили люди-пьянчуги, шабашники, которые ужасно матерились и частенько били друг друга в морду...

— Что же, дом понимал, что ли? — с любопытством на Егора посмотрел Лихопеков. — Память, что ли, у дома?

— И Всеживь, и Всенемь — это Бог наш, это единство, одухотворенное нами, — вдохновляясь, не обратил внимания на лихопековскую подковырку Егор. — И когда с этим Богом, созданным нами, еще и человек "гомо сапиенс" — человек разумный, человек, мыслящий вместе с природой, то это триединство — это уже весь мир духотворный, это все, что было, что есть и что будет всегда.

И Егор сидел молча, набираясь сил. Мимо окон прошли молодые с гармошкой. В кране капала вода: кап...кап...кап-кап. "Капля и камень долбит, — подумал Лихопеков. — Но не сама вода, а методичность ударов".

— Если хотят уничтожить мысль, мыслящего человека, — прислушивался к каплям и Егор, — его отдают так называемому "коллективу". Коллектив почти всегда против, потому что таков по своей природе: он лишь осваивает среду, реализует идеи, открытые другим, первооткрывателем — "мыслящим человеком". Пока коллектив занят тем, что "прожевывает", реализует открытые ранее идеи, "мыслящий человек" уже впереди, он дальше уже, он опять несет свои "золотые яички", и коллектив должен его догонять, а ведь он, коллектив, занят реализацией еще и прежних идей, новые же мешают ему, путают, раздражают, вот почему он поневоле отторгает каждую последующую идею...

Под окном прошла другая, еще более шумная компания: тоже новогодняя, молодые, но уже с магнитофоном. Егор проводил их взглядом, не шевельнулся.

— Гармошка и магнитофон — это, да, интересно... Главное сейчас даже не "гомо сапиенс", мыслей мы поднакопили, — прислушивался Егор к удаляющимся ритмам, совсем без мелодии. — Главное, мне кажется, как бы их переварить, чтобы мир стал духовным, чтобы человек в нем был не столько "разумным", сколько, сверх того, еще и "духотворным". "Человек духотворный" — таков идеал! А уже "человек духотворный" как частица духотворного мира не позволит себе обидеть букашку, потому что она обладает таким же правом на жизнь, как и он сам; не помыслит снести гору или повернуть в сторону реку, потому что тогда это будет другая

река, другая земля, по которой она течет, ведь они с человеком в живом триединстве, и он не имеет права делать что-то, у них не спросясь, а если и спросит, то какая же река, какая земля даст согласие на свою смерть, а если из бескорыстия, из служения человеку и согласится на это и человек примет вдруг такой дар, то это будет уже другой человек — недухотворный... пусть каждый, кто выносит решение, знает цену себе... в настоящем и будущем... в поколениях...

Сидели вдвоем и молчали — первая цепочка в будущем мире духотворности и бескорыстия — Тиганов Егор и Лихопек. В доме Лихопекова, за столом Лихопекова. Но вот Лихопек вздохнул, повернулся к Егору, и Егор понял по его глазам, что они только что сжали в одном вагоне, но, кажется, в разные стороны.

— С жаром как рассуждал, даже окна вспотели! — смотрел Лихопек на него свыше, если не свысока. — Да, суха теория, мой друг. Спустимся же на грешную землю, не возражаешь?

Егор прошелся по комнате. В зеркале на стене во весь рост — оба сегодня в белых рубашках, чем-то сходны — братья и в чем-то различны — двоюродные.

— Какова перед нами сейчас главная болевая задача? — поставил вопрос ребром Лихопек и сам же ответил: — Естественно, продовольствие. Народ свой не можем никак накормить, так? Не такими же бреднями кормить, агроном.

— Я уже говорил о дефиците товаров, — с грустью сказал Тиганов Егор. — Значит, это кому-то надо. Воздух, когда он есть, — замечаешь? Хлеб когда есть, — замечаешь? Просто дышишь, просто ешь его, наш насущный.

— Кому же нужен, по-твоему, дефицит? — строго глянул Лихопек на Егора Тиганова.

— Многим. Сверху донизу, снизу доверху. Основная масса — в городах, городская, а верхушка — сельская. Парадокс? Нет, все согласно внутренней логике. В стране главное, дескать, продукты питания, надо кормить население. Но в том-то и дело, что при такой ситуации Продовольственная программа никогда не будет выполнена.

— Почему? — удивился Лихопек.

— А потому... потому, — Егор Тиганов понимал, что говорить такое не надо, раскрывать свои карты, может быть, даже потеряешь поддержку Лихопекова — близкого ему человека, всех его сторонников — этой своего рода крестьянской партии — аппаратчиков, в некотором роде опору родимой ему крестьянской среды, но ведь говорить правду надо,

дело-то в тупик зашло, так нельзя дальше, сколько можно. — А потому! — решительно сказал Тиганов Егор. — Что так нравится всем — сверху донизу, вплоть до кое-кого из крестьян... Такое рассуждение. Вот вы произвели достаточно мяса, накормили город, поехали туда завтра за дубленкой, за запчастями, а они на вас ноль внимания.

— Они и так на нас ноль внимания, — вздохнул Лихопек. — Задавили ценами на запчасти и сельхозмашины... Ну и кому конкретно, по-твоему, нужен твой дефицит? — строго глянул Лихопек на Егора Тиганова.

— Отцу моему. Отец говорит, крестьяне сокращают площади под картошкой, чтобы держать картошку в цене. Рефлекс экономии сил... И Распопову тоже... Чтобы держать пульс страны на агросистеме. У кого в руках распределение — конечный выход результатов труда? У чиновников, у бюрократии, у аппаратчиков — как же, они управленцы. Раньше я думал так, что они вообще-то искусственно делают нехватку еды и жилья...

— А сейчас чего? — допытывался Лихопек.

— И сейчас думаю, да не совсем так, — ответил Егор. — Сейчас время другое. Понимать люди начали. Строили-строили, кровь лили-лили, землю колючей проволокой заматывали — и все ВО ИМЯ, а результаты ничтожны. Теперь, чтобы из этой ямы выбраться, требуются умные, сильные люди, надо есть хорошо. И без мяса — никуда. Может, теперь Распопов даже искренне заинтересован в отсутствии дефицита питания, да все полетело куда-то, летит. Город берется кормить сам себя, а не получится. Это тоже надо уметь, крестьянство веками на этом сидело...

--- Ты так думаешь? — как кинжальный выскерк, был вопрос Лихопекова.

— Ну и в чем же, по-твоему, выход?

— Не знаю... может, деньгами стимулировать? — сказал Егор неуверенно.

— Деньгами? — усмехнулся Лихопек. — И так после печатных станков деньги не просыхают.

— Ну и шо потом? — шевельнул сухими губами Егор.

— А потом люди скажут: не будем вкалывать по восемнадцать часов в сутки, и денег не надо. Здоровье дороже всего... Кстати, о милосердии, на чем любит просыхаться тот же Распопов. Настоящее милосердие — это когда можно сказать и надеяться быть услышанными, неужели не ясно?

Наконец Лихопеков обратил внимание на стол, на Егорово творение перед собой.

— И когда хоть успел? — подвинул рукопись к себе Лихопеков, и мочки ушей у Егора зарозовели.

Понятно. В таких случаях авторы всегда маленько смущаются, ох, уж эти авторы.

* * *

Лихопеков проглотил Егоров опус за каких-нибудь пару часов.

— Это — судьба, — положил он рукопись перед Егором.

— Чья, се? — спросил Егор.

— И его, — ответил Лихопеков, думая совсем о другом: "Талантливо это или не талантливо — вот в чем вопрос".

А перед Егором возникали родные места, по каким, едва уехав вчера, он уже заскучал. Однолюб чертов, попробуй лишить его дома, как это было однажды, когда по милости Бодракова ему пришлось долбить камень в карьере. Подобного рода "милости" не забываются, такие отметины на всю жизнь, они сопровождают тебя, украшают душу твою, навечно, до самой смерти, и никакие законные амнистии и реабилитации не сбросят камень, не возвратят утраченных иллюзий и грез...

"Я сам себе выбрал дорогу такую. Несу свой пожизненный крест. Молитесь не веря, ломитесь ликуя, клеймите вы, реплики с мест! Все ходим по бритве. И пуля не дура, пока не убило коня.

Но кровью сочится моя амбразура,
Где насмерть сшибали меня".

Несколько раз дренькал телефон. Первое января, однако, новогодние поздравления. Лихопеков не сдвинулся с места. Несколько раз Егор порывался сказать, весь нутром изболелся: Новый год ведь, а Стешка дома одна. Но Лихопеков молчал, ни на что на сей раз не среагировал Лихопеков.

— Вот что, — сказал Егор, думая по-прежнему о ночном госте. — Комплекс ли вниз потянул, люди ли обнаглели, но факт есть факт: пути назад нет. Наговорили им черт-те чего, каждый, небось, держит в себе опаску: а что если Бодраков опять займет силу? "Что если все возвратится на те же рельсы, обратно? Может же такое свершиться, всяко случается в нашей системе..."

Егор молчал, собираясь с мыслями: как жить дальше, про-

тивостоять всем этим Бодраковым? Бюрократы виделись Егору в трех ниспадающих стадиях: первые — те, что пока просто хапают, набивают себе карманы; дальше — что сами хапают да еще и следят, чтобы не стало житья другому, кто бы мог с ним, таким, уравниаться; ну а третьи, самые страшные, еще и унижают, издеваются и получают от этого удовлетворение, это — садисты.

Вот почему больше срока на должности держать склонных к садизму нельзя.

Временами Егору казалось, что Бодраков прошел две первые стадии и уже подбирается к крайней.

— Чтобы заиметь силу, — сказал Егор Лихопекову, — Бодракову нужен успех, так?

— Так, так, — кивал Лихопеков Егору.

Егор уловил в его тоне новую нотку и уже не сказал вслух, чего хотел: Лихопеков тоже был руководителем.

И, повинувшись себе, своей собственной внутренней логике, Егор стал рассуждать про себя, но уже таким образом: "Допустим, Бодраков добился успеха. И что будет делать после того Бодраков? Естественно, укреплять утраченные позиции и ослаблять соперников, расправляться с противниками. А уж мы-то знаем, как у нас это делается... Вот почему соперники Бодракова, а их большинство, — это те, что сопротивляются, кажется, собственному благу... Следовательно, что нужно, чтобы люди были спокойны, избавлены от посягательств? Чтобы законы управляли людьми, за-ко-ны! Люди создают справедливое общество для себя, а не для Бодракова. А все остальное — ложь. Пока ярищенцы не уверены в своей защите, она, эта ложь, их устраивает. Бодраков получается между "низами" и "верхами"...

Прибежал Сенька, лихопековский отпрыск, и стал проситься на улицу.

— Ты думаешь о Бодракове плохо, потому что боишься его, — сказал Лихопеков. — Страх вбит в тебя. Страхи вбиты, извини, и в меня, в нас обоих. Но я не хочу, чтобы и Сенька мой рос под страхами, понимаешь? "Все мое и ничего нашего".

— Понимаю, — ответил Егор. — "Все наше и ничего моего". Кстати, о страхе. Хочешь, расскажу, что случилось со мной этой осенью? — переводил разговор на другое Егор. — Вот, слушай тогда... Я был поражен тем случаем. Как раз дописывал рукопись и долго еще ходил под гипнозом его, того случая. Так близко все это мне показалось...

"Я решил провести два своих выходных на кордоне, у лесного Черного озера, где мы были когда-то втроем. Люди любят щекотать себя прошлым. Вот и я захватил с собой рукопись, несколько книг, еды себе и Мише Нехасву, нашему знакомому леснику, — груз, можно сказать, неподъемный не только для меня, но даже какому-нибудь спортсмену. А тут пешком, без привычки... К вечеру мне прострелило — под лопатку, в самое сердце. Лежу на топчане, головы не могу приподнять, только глазами вожу. А за окном лес, лес, лес — на многие километры. И никого больше. Вот когда, откровенно сказать, я испугался: это — конец. И уже думал о переселении душ, о своей душе, куда она улетает и с кем встречается... Мишка Нехаев пришел через день и спас меня тем, что натопил русскую печь, заставил греть шею и спину. Растер чем-то, дал принять вовнутрь, и боль улеглась. Я снова был способен передвигаться. А для излечения души он показал мне местечко, где растут опенки. И что удивительно, "место опеночное" оказалось под самым носом, тыщу раз ходил мимо и не замечал.

И место это я обнаружил не сразу, даже по Мишкиному описанию. Все ходил по правой стороне старой дороги. И только когда перешел на левую, а с левой пошел по центральной к самой дороге, стали попадаться грибы. В кустарнике было сумрачно, а они, опять, розовые, умытые такие, вспыхивали и светились. Сначала я считал каждый огонек, потом сбился со счета. И вот стою перед старой ракитой и глазам своим не верю: она, когда-то упав, соединяет берега овражка и светится вся, горит мириадами зраков — опять, как внуки какие, облепили старую добрую бабушку.

Возвращался я на кордон той же дорогой. Солнце было мне уже в спину. "Боже, сколько бед, сколько крови, двадцать миллионов смертей, меридианы колючей проволоки — и все это в железном стремлении к счастью, однако от войн всех этих и революций, бог мой, как результаты ничтожны! Да стоило ли это того, а детство человечества не дальше ль от цели!

Людям надо учиться соединять противоположные берега..."

Больше из привычки, чем по нужде, я косил взглядом в сторону, за ракиту, и вдруг почувствовал на себе липкий, пристальный взгляд — не грибной, не человеческий. Передо мной, у подножья дуба, грелась на солнце змея. Тугая такая,

огромная. Сгусток человеческой мудрости или кусок сатанинского зла? Слово "земля" ("адама") есть женский род от слова "человек" ("адам"). Наш предок Адам, по преданию, был сотворен из глины. Из плохой глины пошли плохие люди, из хорошей — хорошие. И, когда Адам спал, груди его коснулась змея, и тогда из ребра получилась Ева — женщина. Просто ветер подул на них и дал им обоим дыхание. И потому дыхание возвращается к ветру, когда человек умирает. Когда змея подползает к нему, собака лает, собаки выть начинают, когда умирает человек... А эта змея такая тугая, огромная. Хозяйка леса, ей не хватало короны, фавора. И тут же за ней я заметил сразу три молодых розоватых опенка. Змея их охраняла! Я это понял, когда сделал инстинктивно движение. Узнать, откушен ли краешек хоть у одного гриба и вообще сдят ли змеи грибы. Змея тут же сделала стойку, как где-нибудь в Индии у каких-нибудь йогов. Мы оба насторожились, как две сопредельные державы.

Соображаю: надо взять палку и прогнать ее, то есть фактически лишить ее власти, отнять у нее то, что она охраняла, обеспокоить вторжением, подорвать ее, так сказать, основы. Вглядываюсь в нее, ледяную, бездонную, в ее два провальных колодца. И такая дикость открылась вдруг мне в себе, мраки предков. Несчастный, да спустись ты с этого змеино-космического, да приди ты в лес в другой раз — она же тебе припомнит. Хуже того, хватит другого кого-либо исподтишка. Зачем тебе это — со своим уставом лезть в чужой монастырь? Само собой, без тебя тут все организуется... И я поднял у нее на глазах, чтобы она обязательно видела, огромный рогатый сук, который мог бы свободно распять ее, эту змею, у дуба, и отбросил его, этот сук, от себя. Глаза у нее погасли, а у меня спал страх... Змея снова сделала стойку, но уже на другой объект, и серовато-коричневая, бородавчатая лесная жаба ползла ей навстречу. Стонала, кряхтела, пищала, но все же ползла. Змея тащила ее к себе, втягивала в себя, как по веревочке, и жаба ползла навстречу своей гибели. А ведь никто ее не подталкивал сзади, за спиной у нее не было никого. Что же вело ее в пасть?.."

— Страх? — сказал Лихопек, подпав под влияние тихих, вкрадчивых слов Егора.

— И привычка, — добавил Егор и ссадил Сеню с коленей, шлепнул ему по нижнему месту: катись, родимый, гуляй. — Привычка, инстинкт: у одних — подчиняться, у других — повелевать. Если бы не было рабов, рабовладельцы

разве же были бы? Да ведь Бодраков сам никогда не откажется от притязаний, иначе он перестанет быть Бодраковым.

— Трру-ту-тук, трук-трук, трррук, — застучала синичка в окно.

— Все думаю: съят ли змси грибы? — улыбнулся Егор.

— Какая разница, — пошел собираться Лихопсков, чтобы везти Егора в Алатырь.

VIII.

И Лихопсков подбросил Егора Тиганова до Алатыря. На автостанции уже объявили рейс в Ярище, когда из боковой улочки вышла похоронная процессия — несли сразу три гроба. Из соседнего переулка выбрели еще два. Напротив автостанции все три процессии воссоединились в одну, как головы дракона на одном туловище. Подошли еще две.

— Что такое?! — поразились Егор с Лихопсковым.

— Милиция застрелила, милиционер, — шепелявила колобок-старушка, из тех, что все знают, из местных, и необычная веселость в глазах ее бултыхнулась в привычную скорбь.

— Бнядсей хоронють алатырских. Воздух очищают, — брякнула грубая старуха, тощая, длинная, аскетичного вида. — Муж жену порешил, заодно и подружек.

— Подружек-то за что? — вырвалось у Егора.

— За то же самое. Мужей от миссии ослобонил.

— И дети были? — любопытствовал Лихопсков.

— А как же, — поджали губы обе старухи. — Вон и дети идут.

Огромная масса людей двигалась совершенно молча, поделовому, без привычного плача. Из пассажиров, что толпились перед автостанцией, кто-то попытался даже пошутить по этому поводу. Но его тут же одернули. Из разговоров, из отдельных реплик выяснялась картина.

А случилось это позавчера. Муж одной из женщин — милиционер находился на дежурстве в райотделе, куда ему позвонили. Прямо с дежурства и потому с пистолетом муж пришустрил к магазинчику "Скобяные товары", бывшему купеческому лабазу, знаменитому еще и тем, что на втором, бревенчатом этаже жил некогда известный русский математик, по учебникам которого переучилось больше половины России. Африканские страсти давненько сжигали блюстителя порядка: ему успели стукнуть, что жена его-женушка в магазине кое с кем обретается.

Он постучался — ему открыли, подумали — свой. Он ступил за порог: а-а, вот вы где, "бняди-бнядюшки"! Бутылки на столе, бабы на коленях... Мужиков дежурный выставил вон. И начал с жены. Обезумев от крови, он стал лупить всех подряд. А когда покончил с последней, ужаснулся и сам приложил себе дуло к виску... Об этом случае сообщили, конечно, в Москву, Москва знает...

— Ну вот, видел? — повернулся Лихопеков к Егору. — Вот тебе и пример, как человек не хочет расставаться с привычкой, а именно с властью. В данном случае мужа над женой — Адама над Евой, а слышал, что в толпе говорят? Редко ведь кто пожалест женщину, больше жалеют мужа. Муж выступает у них как орудие возмездия...

— А как же насчет Адама, супружеской верности? — сказал Егор как бы вскользь.

— А у тебя, в твоей повести как? Женщина пронесла себя через всю свою бесталанную жизнь.

— То другое дело, исключительный факт, — уклонился Егор от прямого ответа. Сам подумал о Стешке. — Слышал, человека на охоте спутали с лосем?.. Бодраков, кажется, опять под меня копает.

— Ты-то при чем? — метнул Лихопеков резкий боковой взгляд.

— Ни при чем, конечно. Но был на охоте вместе со всеми.

— Ну и спи спокойно, — вздохнул Лихопеков и сказал уже тверже: — Ладно, жукну кому надо, чтобы отстали. Сняли, говорю, психологический прессинг.

Едва Егор ступил на порог, как Стешка бросилась ему на шею, обхватила порывисто, разрыдалась. Егор вглядывался в Стешкины глаза: сейчас они едва косили у Стешки и были темноваты, темны, почти черны, эти синие-то при черных ее, свободно падающих волосах. Как у той, что несли сегодня первой в Алатыре, в "семиглавом драконе"...

— Что с тобой, Стешенька? — проговорил он фальшиво, чувствуя у себя на губах печать ее сильных, горячих и электрически точечных губ.

— Где ты был? — отдышалась она наконец. — Всю ночь снилось, как тебя преследуют, мучают, убивают. Это ужас!

— Петр, наверное, кто же еще, — усмехнулся Егор. — Был вот у Лихопскова, Лихопсков задержал, не мог удрать от Лихопекова.

— Но это был Новый год, это была новогодняя ночь, — тихо заплакала Стешка.

— Ладно, ладно, ну довольно тебе, довольно, — гладил Егор ее гибкие блестящие волосы.

Когда она волнуется, они у нее подвиваются, падают на спину кольцами; говорят, именно волосы придают женственность, красоту. "Ничего, пусть поволнуется, — мстительно думал Егор. — Это тебе на пользу, милая. Слабый огонь задумывается, но не при таком темпераменте". "Ты так думаешь?" — отвечала она ему странным своим, диковатым взглядом. "Что я думаю?" — спрашивал Егор, обеспокоясь. "Я знаю, о чем ты подумал, — сказала Стешка. — Не думай так, мне это не нравится". "Что тебе не нравится, что? — допытывался Егор, и его начинало потряхивать. — Что же ты, мысли, что ли, можешь читать?" "А почему бы и нет? — просто ответила Стешка. — Знаю вот, что случится с кем-нибудь завтра". — "И я видел на днях человека, на лице лежала печать смерти... Вчера сказали, он действительно умер"...

— Ну, хватит, — рассмеялась Стешка, увлекая Егора за собой в горницу. — Только о себе, эгоист, и думаешь.

Она заглянула в спальню и сникла. И понял Егор: дух Полинкин еще витал в этой комнате.

Стешка переложила со стола на подоконник Полинкины пинеточки, Полинкину распашонку и только потом стала кормить Егора. С утра она напекла его любимых "драников" из тертой картошки. "Драники" хороши свежие, горячие, со сковородки, а сейчас они остыли и уже посинели, и это ее убивало. Ей хотелось побыть сегодня с ним наедине. Это ее желание было неудержимо, и он уступал этому ее желанию, просто не мог не уступить. И они не пошли к отцу, на другой край Тигановки, хотя их там, конечно, и ждали — все же первый день Нового года.

Стешка легла спиной на подушку и увлекла его за собой. В какой раз, но все как будто впервые, Егор увидел ее так близко, совсем близко, и его обожгло. И глаза у нее опять почернели от страсти, а может быть, от того, что черными, воронова крыла, были ее дикие, невообразимые волосы. Стешка притянула его к себе, и они вдвоем закачались, поплыли если и не в плоскодонке, так в узеньком челноке незнакомой горной речушкой, будто и не он уже это, а Гайавата, индеец, что маячил перед ним с самого детства, и речушка эта, вступив в не менее узкие, чем челнок, отвесные берега, разгонялась, ускоряла свой бег, все быстрее, быстрее, на перекатах все пенилось и клочкотало, и Егор предпринимал отчаянные усилия, чтобы челнок не ударило в берег и чтобы от этого челнок не

разлетелся в куски, не затонул в бесконечных пучинах. Вспомнилось, как еще в студенчестве он, Егор, был на Телецком озере, откуда берет начало желтоликая Бия, чтобы затем, ниже Бийска, слиться с синеглазой Катунью в одну реку Обь — "обе в одной", и на выходе из Телецкого озера, на крутом повороте Бии, он видел памятник. Опытные плотогоны в тот роковой час не смогли направить плот на свободную воду, бревна рассыпались, и всех, кто там был, сбросило и погнало под плот, что держался на кривлякс. И ведь надо было одолеть затон, это опасное место... И челнок Гайаваты скользнул между берегами, которые стали более низкими и менее затененными лесом. "И ээа-ааа-аах!" — набрав полные легкие воздуха, закричал Гайавата во всю свою молодую мощь и застонал от удовольствия, что жив, что живет...

Егор тронул Стешкины плечи. Остатки тайны были близки, так знакомы запахи молодого Стешкиного тела, смахивающего на запах едва вызревшего лесного ореха. Как бы сумерками усились, она шептала ему, сама себя убеждая, с присвистом в том алтайском ущелье:

— Ах, Егор! Я буду любить тебя всю свою жизнь, всю-всю-у-у-у...

Стешка обладала этой слабостью — снимать боль. И слетал с Егора год ушедший, что лег на грудь ему, как черный кот, не давал шевельнуться, так сковал всеми своими потерями: Полинка, лось, почему-то синий, огромный такой, словно небо до горизонта, васильковое поле, как ситцевое мамино платье — все в васильках, как глаза Стешкины, несущие того "синего лося" под плот впереди где-то на кривлякс. И он зацепился за берег. И нужны были усилия, чтобы сдвинуться с места, пусть хотя бы о берег ударится, а там сдвинется — дальше пойдет...

Дыхание Стешкино выровнялось, Егор подумал: "Почему их в Алатыре было семь? Мистика: тройка, семерка, туз". Цифра "семь" всегда вызывала в нем трепет, священный ужас. С детства не было для него важнее числа, все остальные были безлики, кроме этих вот. Семью семь — сорок девять, не хватает одного до полусотни. Семью восемь — Семен Лосин, этому их научила учительница, кажется, еще во втором классе — Нина Борисовна. Семью девять — шестьдесят три, тоже не хватает одного до шестидесяти четырех, это столько клеток на шахматной доске, в которые, как известно, заключены не только пешки, но и короли с королевами, бодраковские "шахматишки". Шестидесять четыре — это восемь на

восемь, восемь в квадрате. Бабушка в окошке. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Да, но почему их было именно семь, а не восемь, не шесть?.. Эти цифры, переплетение цифр, их потаенный смысл представляли перед Егором в своей конкретной реальности: то фосфором зеленых кошачьих глаз, то растущими прямо из земли, скрученными друг с другом в определенной последовательности макушками американских стеклянно-стальных небоскребов... "И милиция, и регулярная армия, — подвернулось на память Егору снова на тот, одесситский манер, — это хорошо, это прекрасно, это что-то... особенного".

— То ли еще будет! — гремело радио.

Егор вскочил, чтобы приглушить звук, но и Стешка уже проснулась.

— Пойдем к отцу, — предложила она.

И надела легкое летнее платье — васильки по зеленому полю. Зимой приятно думать о лете, летом же одно удовольствие думать порой о зиме. И встала Стешка на каблучки, прошла по горенке, глянула из-за плеча — порывистая, переломчива в талии — Стешка. Отец принял их с радостью, замечательно принял. В один голос они с Таисией упресли их: что же вы, молодежь, вчера-то не приходили?

Стешка оглядывала дом изнутри, как и в самом деле в гостях: "Живут же люди — румынская стенка, голландский ковер"...

— Вы еще молодые, — успокаивал их отец, направляя внимание на Полинку. — Ничего, вы дитя еще себе родите.

Сидели, вели разговор обо всем, по-семейному. Отец рассказывал, как на днях попал он в Алатырь на овощесушильный завод. Завод этот, оказывается, их системы, потребсоюзской. Так вот что начальство удумало — из воздуха, из воды, из ничего по сути добро, золото, валюту качать. Как? А вот как. Он, Трофим, собственными глазами видел чан — квашню такую огромную. И квасят в этом чане капусту. И поставляют ее за границу — в Японию и через Чехословакию в ФРГ. А те за это, минуя центр, шлют сюда в посылках дубленки, дамские сапоги, а японцы — даже плоские свои цветные телевизоры, даже автомашины марки "Тойота".

Егор со Стешкой оглядывали комнату: как сегодня тут празднично, хорошо: новые занавески из шелка спокойного, салатного цвета, фужерчики, каких раньше не видели, тоже хрустальные...

— За капусту, за травы — цветной телевизор! — восхищался Трофим. — Травы у нас тут навалом, на тот год на капусту народ подыму, на "Тойоте" ездить хочу.

— Ну да, — усмехнулся Егор. — Все поля займем капустой, и все флаги к нам. Аэропорт международный построим, музеи, гостиницы возведем, Тигановку назовем Нью-Тигановкой... Да что хоть они так в капусту нашу вцепились, свою, что ли, нельзя развести?

— Экологически чистая, говорят, тут у нас, без нитратов, — ответил отец.

— А я думаю, издеваются, — встряла Таисия в разговор. — За капусту сапоги, шутите?

— Подкупают, чтобы иметь тут своих людей, — сделала предположение Стешка. — Разлагают нашу систему...

— Потребкооперации? — Трофим был ироничен. — Да ес десятки лет разлагают, никак не разложут.

— Вот во что мы ударились, — засмеялся Егор. — Сапоги нас куда завели.

— Да, походи босиком, — скривилась Таисия, — не то, братцы мои, запоешь.

— Это пусть городские переживают, — не унимался Егор. — Им есть куда ходить в сапогах — по асфальтам да по театрам, пусть капустой они и занимаются. А вы со Стешкой и в резиновых обойдетесь.

— Мы-то как раз и будем ходить в ихних сапожках! — вскочила и заходила по комнате Тоська, показывая свои новые югославские туфельки на среднем каблучке.

— Ага, мы капусту будем выращивать, — косилась на нее Стешка, аж губы пересохли у Стешки, — а они, городские, в импорте будут таскаться?

— Ну да ты у нас много знаешь! — отбрила ее Таисия.

Вот оно как получается, когда жены у отца и сына немногим отличаются в возрасте, обе молодые. И, чтобы не усугублять положения, зависть ведь разыгрывается от сравнения, Егор перевел разговор на охоту, в которой участвовал осенью, на поползновения Бодракова, на "синего лося", на свои тревобления. Отец, оказывается, уже знал кое о чем. Только буркнул в ответ:

— Люди видели у Бодракова дружка твоего Чернобая.

— Ну и что?

— А мне это что-то не нравится...

Выходит, что они с Бодраковым знают друг друга. Вместе работали, специально заманивали, что ли, тебя на охоту?

— Что специально — человека ухлопали? — сказал Егор едва слышимо. — Того "лося", в комбинезоне синего цвета...

— Заметут следы, будь уверен, — потянулся отец к чайнику с заваркой. — Если высокие люди замешаны... На тебя, говоришь, попытались свалить, на "громоотвод"?.. Не дрейфь, ничего, без тебя разберутся...

Так и сидели отец с сыном, тихо-мирно беседовали, и беседа лилась, как вода из самовара. А Стешка все подливала и подливала им чаю, заваренного на местной "тройчатке". И была непривычна Егору: ходила не так — кошечкой, говорила не так — улизливо. Раздражала Егора, а отцу это нравилось, называлось это у него говорить "по-семейному", это когда во всем его верх. Таисия иногда обрывала Стешку, внутренне не принимая ее. И Егор знал: дай только Стешка придет домой — полетят в одну сторону туфли, в другую — платье зеленое с васильками, загремят тарелки...

Как-то сам собой разговор у Егора с отцом перешел на другую, торговую тему.

— Вижу, да, — сказал отец ему откровенно, — в торговле ты дуб. И в жизни-то не все выбалтывай, не говори, что думаешь... Не специалист, говоришь? А меня кто учил? Сам учусь... Пяток шишек посадят на голове, на шестой кое-чего поймешь... Совещания проводят, совещание за совещанием. Для дела, скажешь? Нет. А для чего? Для начальников. Начальники укрываются за коллективное мнение, вроде они ни при чем, они совещаются с народом, а в конце концов: "Слушай мою команду!" Бодраков задумал комплекс строить, провел совещание. А если бы люди против поднялись, слово свое сказали, разве бы комплекс на шею повесили?..

— Ты, батяня, и сам не против за печать подержаться, — насупился Егор. — И чего зря говорить, Бодраков с дипломом, и то, по-твоему, нет головы на плечах. — И где ты, отец, так рассуждать наловчился? — перебил отца наконец Егор.

— А этому и не учатся, — подобрала губы Тоська-Таисия. — Работать надо, вот и все.

Егор вздрогнул, сказал, глядя в сторону от Таисии:

— Я, отец, землю люблю.

— Торговля, сынок, наше общее дело, — ответил Трофим. — А то начальство в Алатыре портачит, магазинами народ недоволен, так торгаши им во всем виноваты. Есть на кого собак вешать. А сами вроде бы ни при чем. Продавцы, дескать, растащили товар, все блат наводят. Ну, взяли, ко-

нечно, и торгаши — кому не хочется, слабые люди. Да ведь просят все, из кожи вон лезут — дай. Свое отдашь, чтобы ублажить, изо рта вынешь. Ну, дал одному, надо же поддерживать к себе интерес, — дай всем теперь, каждому, а где взять?... Да не в этом дело...

— А в чем? — это Стешка сказала, подбрасывая в печку дровишки, а Таисия что-то примолкла.

"Милиция, — подумалось Егору опять-таки на одесситский манер, — вот привязалась, — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного".

— А вот в чем! Это уж я пригляделся, — поморщился отец ихний Тиганов Трофим. — Все по записочкам торгуем. Кому куда сколько — по распоряжениям. А возмутись общественность — все в сторонку, выручать торговца некому. Отвечай, торгош, за чьи-то записочки.

"И торговля в нашей системе, — не слетало с языка у Егора, — это тоже хорошо, это прекрасно, это что-то особенного".

— С тобой ведь всерьез говорят, — метнула Стешка на Егора убийственный взгляд.

— А ему все до лампочки, — рассердился Трофим.

— Я землю люблю, отец, — повторил Егор с грустью.

— Заладил! — взорвался Трофим. — С землей и дурак сможет, она безответна, ты попробуй с людьми.

— Как это безответна? — сжал Егор кулаки, аж побелели костяшки. — Творим с ней черт-те чего, кому что взбредет, всякие случайные люди работают, разве это урожай?

— Что же ты ушел с нее, стервец?! — гаркнул Трофим и уставился в сына. — А?

— А ты?! — заходили желваки у Егора, и он опустил голову. — Тебя, отец, с земли, небось, не прогоняли. На сладкий кусок потянуло...

— Замолчи ты, "стопроцентный"! — набросилась Таисия на Егора. — Тебе везде нехорошо, отовсюду гонят.

— Не твое дело, шавка! — вскочила теперь уже Стешка, заслоняя собою Егора. — Это ты отца в торговлю втянула. Ты не его — деньги его защищаешь.

— Ах, ты, брандахлыстка цыганская! — взвизгнула Тоська, схватила со стола горсть конфет, швырнула Стешке в лицо и уже засучила рукава.

— Молча-а-а-ать!!! — отступил на шаг Трофим и хватить по столу кулаком, аж самовар подпрыгнул, угли просыпались на ковер из-под самовара.

Эти красноротые угли, мерцавшие на ковре, перевели всех в другое состояние: Все как бы оцепнели, зачарованные, смотрели на угли — так это было странно, красиво — угли на ковре.

— Ой! — первой метнулась Стешка за совком, почуяв запах паленого.

— Что же мы, дураки? — опадали плечи у Трофима, опали — опали. — В кои веки собрались, и так вот? Ведь самые, самые близкие люди. — И задергались плечи у Трофима, ходуном заходили. — Ближе и нет никого. Да кто мы, люди ай нелюди, а?

И уже готов был Трофим упасть головой хоть куда — хоть на стол в тарелку, хоть под самовар, на горящие уголья, ему все равно, господи, у-ух, вот у кого буйная-то, беспредельная, кипучая кровь, хоть и не кровные родичи, а со Стешкой схожие по темпераменту. "Уффф", — скрежетал зубами отец, и искры сыпались из рта. "Охх", — стонал он со стиснутыми зубами. Стешка прытко собирала с полу угли. Тоська крутилась возле Трофима /"чаю надо было поменьше пить, чаю"/, не знала, куда усадить Трофима, и что сказать, и что сделать. Да дай ему в руки трактор — и кольца начнет вить на тракторе вокруг дома, гусеницами зарывать трактор в землю, пока не зароется, не уткнется носом в липу во дворе — липушку вековую.

— Да я и в торговлю-то попал из-за вас, — говорил, как в горячке, Трофим. — Из-за вас, детей, из-за дома. Чтобы дом после Устюши не пустить по ветру, не разбросать...

— Чаю надо было поменьше, чаю, Трофим, Трофимушка, — хлопотала Тоська возле него. — Это я виновата, я тебе подливала.

Егор стоял возле отца. Как оно получается, вот она, жизнь-то, какая. Право, в кои веки вместе так вот собрались, и нате — отец, батя-ня!..

— Отец! — шагнул он вперед и припал на колено. — Я знаю, вы ждали нас в эту ночь, а мы не пришли. Ты ждал нас, отец. И я пришел только сегодня, прости.

Большое тело Трофима перестало раскачиваться, Трофим прислушивался к словам своего сына, ставшего теперь таким большим, отделенным. И шумно, рывком отец втянул через нос себе в легкие воздух, да побольше, и, не боясь захлебнуться, тут же шумно и выдохнул, лежал на столе головой ослабше, безвольно, без всяких движений. А Стешка с Таисией шептались друг с дружкой, ходили по комнатам, то затирая

маленько тронутый угольками ковер, то подсвежая еду на столе, и болтали уже, как ни в чем не бывало, про всякое, — Тоська со Стешкой дружили.

А дело шло к ночи. Егор взял стул и подсел к отцу на диван. Вот так по-семейному и заканчивался первый день нового года. Короткий зимний денек, который показался Егору прямо-таки бесконечным.

Бесконечен этот день,
Бесконечен этот час,
Бесконечно все, что связано с тобой.
И когда бросает день
Кленов голубую тень,
Я только радуюсь тебе одной.

Егор слушал, как лилась из сердца новая, недавно услышанная мелодия. И Стешка гладила ему звонкие, мягкие, теплые волосы, звонкую грудь. И вспомнилась ему формула счастья по Ренуару, импрессионисту: счастье — это когда ты не только соответствуешь миру вне себя, а еще и испытываешь от этого мира, черт побери, истинное наслаждение.

IX.

"Синий лось" вывел Тиганова Трофима из равновесия. "Никак не успокоится, — подумал он о Бодракове. — Все клыки точит, ключи подбирает к чьей-то затычке". И решил Трофим подстраховаться. Это — как весной: загодя, на подступах, перекрывают полую воду, не дожидаться же, когда она подойдет под порог. Столб силен "пасынками" — опорами. Конечно, шибани, скажем, опору бетонную трактором, хрясни как следует — только арматура останется. Приляжет арматура и будет лежать наземи, мешать. Чтобы столб расшатать, в конце концов с корнем выдернуть, прежде надо подумать о "пасынках". У Бодракова сателлиты сами стоят и "пасынки" держат, чтобы он и их держал, в свою очередь.

Этим "пасынком" у Бодракова является его "падчерица" — Коротеева, экономистка, "бетон" бодраковской обороны, так казалось Егору.

И вот свежий случай.

В ярищенский магазин на днях завезли водку, и тут же из района нагрянула комиссия. Баш на баш, итоги сошлись, только ящика водки недоставало, вместо него записка от Коротеевой. Коротеева денежки тут же, конечно, внесла, объяснила, что брала ящик не для себя, а для общественных нужд. Да не в этом дело. Какие это у Коротеевой "нужды обще-

ственные"? Ясно-понятно. Бодраково дело, сам замешан, а Коротеевой, своим работником, прикрылся. Бодраков у него, Трофима, еще попляшет. А то "синим лосем" Егора припугивает, слов нормальных не понимает; кто кого смог, тот того с ног, живешь и не знаешь, что с тобой завтра будет. А нужно смотреть не только на два шага вперед, но и на свет в конце тоннеля, не то так в луже какой-нибудь и останешься. В оба гляди, а то как же...

Трофим поставил своего "Москвича" в Ярище у крайнего дома, возле Сеньки Неведрова, как привык ставить еще с осени, боясь внедряться в село из-за дикой его непролазности. Поставил и повел нюхом по ветру: откуда нынче бодраковская водочка вынырнет — целым ящиком или же врозь по бутылочке?

Флаг лениво плескался над сельсоветом. Едва пробитой стежкой, по сторонам которой, знал Трофим, так и ушли под снег георгины, он пробирался к приоткрытой двери. Клубни этих георгинов не вырыли осенью, не укрыли в подвале. Под зимним стеганым пиджаком, на груди у него, на лацкане свсжего костюма, надетого по такому случаю, поблескивал депутатский значок. Вот он уже и депутат сельсовета вместо выбывшего. Это он, Тиганов Трофим, сам подсказал Мордовцеву: и мне не жарко, крепче на ногах стоять буду, и тебе не холодно, твоя сила — в массах.

Мордовцев Алексей Прокопыч, председатель сельсовета, оказался на месте, сидел и изыскивал средства на ремонт колодца.

— Ну, будешь власть в руки брать? — ступил Трофим за порог. — Ай пусть остается у Бодракова?

— У кого средства, тот и заказывает музыку, — поднялся навстречу Мордовцев. — Вишь, сижу морокую, над чем голову ломаю.

И показал Трофиму Тиганову финансовый расчет, из которого следовало, что колодец ветхой бабке Моте в Прилепах, что возле Волчьего Шляха, все-таки будет отремонтирован.

— Так бабка твоя уже померла, — горячился Трофим.

"Все шутишь, Трофим Петрович, но Мордовцева не наколешь. Мордовцев не только финансист, но и экономист. Долгожителей бабушек сколько, колодцев тоже немало, а смета одна. Пусть живет не эта, так другая бабушка, заслуженный человек, на утлые плечи которой лег после войны могучий хребет страны. Коли не трогать бабулю, хлебом ее снабжать, колодчик подправить, может, еще протянет, японских старух переживет".

— Когда, Прокопыч, сессию думаешь проводить? — спросил Трофим председателя вроде так, невзначай.

— Да хоть на той неделе, — попался Мордовцев на тон его доброжелательный, после, однако, насторожился: — А че тебе? "Флаг у тебя с лентой, не натянут, — сидело в голове у Трофима. — Я его у тебя, дьявола, расшевелю!"

"Занимался бы ты, брат, своим делом — сельсоветской комиссией", — срабатывало в мозгах у Мордовцева. Отчего не сработать, оба знали друг друга, как свои пять пальцев, кто и чем дышит сегодня и чем будет дышать завтра и послезавтра.

"Вот именно торговой комиссией и будем заниматься", — улыбнулся Трофим и, получив внутреннее непротивление Мордовцева, сказал теперь уже вслух:

— А мне че, отчитался как депутат, и ладно. По плану, чем скорее, тем лучше. Баба с возу — кобыле легче.

— Давай, — поморщился Мордовцев, не усматривая в вопросе ничего такого крамольного. — Значит, готовься, первым пойдешь — "Отчет о деятельности торговой комиссии сельисполкома за отчетный период".

— Я, Прокопыч, как штык, — сказал Тиганов Трофим, как главный торговый "деятель" территории, теперь уже исполняющий и проверяющий одновременно. А у самого внутренне все запрыгало, заколотилось словами, услышанными от Егора: "Отчет о деятельности — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного".

Через недельку Тиганов Трофим шел по сслу легким, машистым шагом, держа курс на животрепещущий флаг. Доклада как такового под мышкой он не держал, в голове залегали только фрагменты. Во всем остальном Трофим полагался на свой жизненный опыт. И это вовсе не снижало остроты. Трофим был не так нагл, как Бодраков, — жеребец этот, не битюг, но и не какой-нибудь мерин засажженный, а как бы посередке, вроде слегченный маленько, однояичный нутрец. Это как в заграничных парламентах: крайние с боков — жеребец с мерином, левые да правые — все одно экстремисты, те и те недовольны, действуют во разрушение, а посередке, меж ними, однояичный смиряга — тяни... "С докладом все-леес, спокойнсс — все пронумеровано, подшито и согласовано, а то ведь все то же самос, только на свой страх и риск, а кому это надо?"...

Возле сельсовета кучковались народные избранники. К ракиткам было привязано четверо розвальней, возле столба

стоял "уазик" алексеевского председателя. Бодраковской машины не было.

Едва Тиганов Трофим приблизился, еще даже за руку не начал здороваться, только по лицам глазами шмыгнул, как знал уже всеобщее настроение, а куда денешься? Настроение у каждого на лбу написано.

Эта неделя не прошла даром для Бодракова, слухи о проверке Ярищенского магазина обросли новейшими фактами и наисвежайшими аргументами. И теперь депутаты из Оболешево, а особенно из Алексеевки, куда товар докатывается, как землетрясение до Москвы из Румынии, а то и вообще не докатывается, горели желанием выяснить официально, куда девается дефицит широкого потребления, как в данном случае с Коротеевой и Бодраковым. И вообще, каким образом рождается у нас повышенный спрос? Следует заметить, что алексеевские были тут свежие, их прилили к Ярищу в порядке эксперимента недавно, в том месяце.

Бодраков предпочел на сессию не явиться, оставив полубрани за наиболее выдающимися, чтобы затем сказать, что он лично ничего такого не слышал, не в курсе.

Тиганов Трофим оценил это как шаг назад супротивной стороны и, соответственно, как собственный шаг вперед. Еще один, а будет еще два шага вперед, и мы победим. Ситуация такова: оболешевским всегда не терпится сунуть перо под ребро ярищенцам хотя бы за то, что ярищенцы увели у них сельсовет. Название "Оболешевский" оставили, до сих пор сельсовет вроде ихний, хотя фактически он в Ярище — Ярищенский, на территории Бодракова.

Не явилась на сессию и Коротеева, экономистка. Она не состояла депутатом. Но ведь и ей посылали персональное приглашение, да еще Мордовцев дважды лично звонил. Почуяла, стервы кусок, чем пахнет, "динамка" Бодракова, его исключительный рупор.

Сперва депутаты находились на улице. Однако поднялся ветер, что-то стало холодать, и все стихийно ринулись в помещение — народ среднерусский, стажировку за Северным полярным кругом для этого дела не проходили. Накапливались в коридорчике, в "свадебной", где Мордовцев расписывал молодоженов, регистрировал факты рождения, а также смерти — "летальный конец". Как ни странно, Мордовцев только мог подивиться тому обстоятельству, что фактор бракосочетания до сих пор не превышает, например, фактор "летальности", когда, например, человек где-то родился, а тут все,

отлетался. "По его мнению, только неискушенный мог прийти в изумление от того обстоятельства, что молодые у нас до сих пор все-таки бракосочетаются, а население сокращается; что же, они сочетаются, что ли, так, платонически, из уважения к закону, а где тогда сексуальная жизнь? Нет, искушенные люди, а также лично причастные к Алексею Прокопычу преотлично понимали, в чем тут истинный парадокс. А парадокс, по оценке Мордовцева, заключался в том, что здешние дети рождались не после, а до того, как их находили если не в капусте, то в обыкновенной соломе, мимо скирдов которой еще школьниками они все тут ходили со всей округи в местную школу.

Несмотря ни на что, Мордовцев считал регистрацию бракосочетаний вехой в собственной деятельности, исключительно своей прерогативой. Некоторое неудобство в современном законоположении, а именно в том, что "брачующиеся стороны" должны ждать регистрации такое время, за которое можно найти не одного-то ребенка в капусте, он, наоборот, обратил в пользу как сельсовета, так и самих брачующихся сторон. "Капуста" — это для города, а у нас тут леса, просторы, если кто что потеряет, то уже не найдет. Значит, куй железо, пока горячо, и при чем тут капуста? И хотя Мордовцев вполне разделял мнение некоторых о дефиците интим, но если бы его не существовало, это было бы надо создать.

И Прокопыч шел навстречу молодому, законному чувству. Под свою ответственность он переносил место действия из городской сферы на сельскую почву. Он шел на риск, его могли не понять, но, как человек ответственный, глубоко осознавал, что тем самым увеличивает срок пребывания в браке, в самом его, так сказать, плодотворном периоде. И вот это-то, по его мнению, и должно было в конце концов сделать перелом, революцию в эволюции, существенно отразиться на приросте народонаселения. "Все больше и больше детей будут находить в капусте не только у нас тут в Ярище, на также и по всей необъятной нашей стране, что же мы, не патриоты, что ли, — вот в чем был глубинный смысл". Ради этого Мордовцев не жалел пропаганды. Его слова типа "давай обкручу", "у меня, братцы, без канители, как в шашках, хоп — и в дамки", "моя рука легкая, качество гарантируется — надежно, выгодно, удобно" были в определенной среде популярны. Той же благородной цели служила стопка конвертов у него в кабинете на этажерке. Письма зслякам предположительного возраста, разбросанным по городам, начинались примерно так: "Приглашаем посетить родные места и если надо, то и

расписаться, у нас это просто, без лишних формальностей, без бюрократических проволочек".

И потому Мордовцев не жаловался на отсутствие у него праздников, чего-чего, а уж праздников-то хватало. "Трудовые будни — праздники для вас... Правильно говорю? Правильно", — сам себе задавался вопросом Мордовцев и сам же себе отвечал.

Вот и сейчас, после вчерашнего, стол еще был завален всем чем угодно, не убран. На полу валялась фата, а на подоконнике кто-то осторожненько прислонил к кирпичу фужер без ножки. А из-за шкафчика, осевшего под напором застарелых инструкций, выглядывала нахально развернутая бутылка из-под шампанского.

Привычные ко всему депутаты прошли через эту комнату в ту, где трибуна с гербом, в "гербовый зальчик". Герб, конечно, производил впечатление, он окрашивал все в естественные тона, не давал прибрехнуть. Иной депутат выйдет к трибуне с твердым намерением сказать правду, но только начнет, как время или собственная натура тут же берут свое, темперамент превышает сознание. И от герба, братцы мои, отключались. Депутаты катили слова, как будто они и не в "гербовом зальчике", а в Орле где-нибудь на Щепной площади, где пивной бар с тараканами и барахолка, или же на берегу Оки, в укромном местечке, или за селедкой в очереди. Господи, все же герб, понимать надо, хоть колосья у него и привяли, загибаются в одну сторону, а на поле — в другую, но ведь это все же реликвия, а то обнаглели, сволочи, ни черта уже не признают.

Тиганов Трофим познал это свойство народной трибуны на своей шкуре. Он выступал с нее дважды, в третий раз, думал, не ошибется. Сейчас Трофим был полон понимания общественной важности развития как международной, так и местной торговли, а также всей системы заготовок по линии потребкооперации, играющей неосценимую роль в смысле обеспечения населения продуктами первой необходимости.

После стольких-то слов подряд Трофим осознал себя. Но его опять понесло, как быка на солому. Попробовал слезть со скирда — оторвался от бумажки, начал было излагать вопрос по-своему про то, что в магазине в последнее время на полках одна мухота, а колбасу привозили еще по весне, да продавцы ее, "отдельную", под прилавок засунули, так что сами никак не найдут, либо крысы ею закусили, до сих пор колбасу эту ищут, однако по шуму в зале, по глазам председательствующей

щего Мордовцева Трофим понял: к таким делам переходить рановато. Народ привык так: дай ему поперва шапку, озадачь — это куда идти нам и чего строить, иначе какой же это доклад. Это тогда уже не доклад, а склока какая-то, а на склоку можно и не рсагировать, склок у нас хватаст и без того, а дело одно, не будем, товарищи, отклоняться от главного направления.

— Кто помнит, когда на какую ферму присезжала в последний раз автолавка? — задал Трофим залу вопрос, чем и озадачил сидящих: отвечать или не отвечать, отвечать в конце концов все же придется. — Никто не упомнит, — сам же себе ответил Трофим. — Потому что по плану товарооборота магазин топчется на месте. А то, что доярочка, наоборот, ноги бьет сюда к нам, торгашам, по три—пять километров на дню, вместо того чтобы коров продуктивно доить и копить накопления, так это что?

В зале нависла гнетущая тишина: да, вот именно, что это? Депутаты переглянулись, заоглядывались, проверяя свой справедливый гнев друг на друге.

— А колбасу, между прочим, поделили между собой, — вставил кто-то неуверенно в зале.

— Сателлитам распределили, сам видел, — раздалась уже твердая реплика с места.

— Но-но, — вытягивал руку прямо перед собой, осаживая массу, Мордовцев. — Но-но.

— А за хлебом доярочке ходить... — снова дал Трофим паузу и опять швырнул в зал с размаху: — Это гнилая, негодная практика!

— А кто сателлиты, кто? — допытывались из зала одни оболешевские, а ярищенские помалкивали.

— Колбасу куда дели, куда?

— Колбасу мухи съели, — отмахнулся Трофим и возвысил голос в защиту сегодняшних прав потребителя: — А вот кто ящик водки наемни к себе оттащил? И отпустили ему, того, по записочке.

— Кому?! Назовите фамилии!!

Но Трофим Тиганов молчал. И Мордовцев молчал. Но главное было сделано. Самолюбие депутатов, особенно оболешевских, было потрясено. Как это по записочке, да еще целый ящик?! Кому-то, значит, все можно, а кому-то нельзя ничего? Да еще, говорят, осенью картошку семенную через магазин за водку скупали, вот приладились, сидят на шее рабочего класса и трудового крестьянства. До народной интел-

лигенции не доходили, некому было особо тут донес доходить.

— Да нет, осенью водки морс было, всем продавали, не ограничивали.

— А где же сам Бодраков? — Это задал вопрос алексеевский председатель Вуколов, незаметный вроде укольчик, но Трофим ожидал этот укольчик: сидит тут один из председателей, а Бодраков где, оболешевский пред тоже не появился.

— Коротеева где? — раздалось из зала более требовательно.

— Справочка, справочка!! — стучал по графину карандашом Мордовцев. — Бодраков звонил с утра, мол, приболел, а Коротеева не знаю, — пожал он плечами. — Она же не депутат.

— Спросить... выяснить... занести в протокол...

— А то водку ящиками тащат, а дорогу к правлению, кусок в каких-нибудь метров семьсот, кишка тонка провести, — сказал Тиганов Трофим, но теперь уже все проходило. — А когда мы сами от большака к Тигановке "аппендицит" исделали, так ему земли стало жалко! — гремел и гробил теперь уже всю Тиганов Трофим, как в древнеримском сенате какой-нибудь Катилина.

— Земли ему стало жалко, — ахнули в зале.

— А ее не знают куды девать, от десяти! Сколько ее заросло у них лесом да бурьяном.

— Предлагаю в следующую повестку, — тут же вставил алексеевский председатель, — заслушать сопредельный колхоз именно по этому вопросу, пусть отчитаются.

— Пусть отчитаются, — подтвердили депутаты, большинство которых составляли алексеевские — все же новенькие, дисциплина пока еще не расшаталась.

— А то в чужом глазу соринку замечают, а в своем и бревна не углядят, — теперь уже тихо сказал Тиганов Трофим. — Предлагаю одобрить жителей деревни Тигановки в том смысле, что они протянули этот "аппендицит" до большака. И занести этот факт в протокол. Кто "за"?

— Погоди, погоди, — поднялся рядом Мордовцев и буркнул ему: — Не твоя прерогатива. — И сказал уже громче, на всех: — Кто "за", чтобы одобрить инициативу жителей деревни Тигановки и предложить правлению "Светлой жизни", тьфу ты, "Светлого пути" (он и сам путал это, как Латвию и Литву), во главе с Бодраковым довести в кратчайший срок до ума, чтобы тот несчастный кусок всем в Ярище глаза не мозо-

лил — от большака до правления. Голосую. Кто "за"?

— Погодите, погодите, — вскочил в углу этот лыковский бригадир Чемодуров. — Так какая повестка была — о торговле! А к чему подъехали, рассуждаете?

И на местах зашумели, заволновались; очевидно, ярищенские — эти самоварники, наетые, напитки.

— Мы подъехали к чему надо, депутат Чемодуров, — сделал строгое внушение лыковскому бригадиру Мордовцев, отвечающий за ход заседания. — Мы подъехали к государственной проблеме — к дорогам. А вы что, разве против?

Без Бодракова ярищенские были, конечно, не те. Вопрос Мордовцева заставил их, конечно, заткнуться.

— Да н-нет, — смешался лыковский бригадир. — К-кто же против д-дорог?

— Ты вот что, Чемодур, — раздались голоса даже с правой стороны, где сидели ярищенские. — Сам на лошади едешь, на своем "вездеходе", а людям как же? И на машине нельзя?

— Ну а я что? — огрызнулся бригадир Чемодуров. — Что же, я разве против?

— Ну вот, — подытожил Мордовцев голосование. — Все "за", никого "против" при отсутствии воздержавшихся. Принято единогласно.

— А я не согласен, — вылез из угла на видное место седенький, худенький такой старикашка, как навроде писатель по телевизору, с палкой, говорили, что — Троепольский. Это, собственно, бывший учитель из Ярища Иван Иванович, пенсионер. Сидит уже созывов восемь, сидел бы уж лучше до пенсии. Чего-чего, а уж такого добра хватает, демагогии в общих масштабах.

— Это почему же это?! — воззрился в него, закипая, Мордовцев.

— А потому, что не разграничили, за что голосуем, — аж затрясся бородашкой пенсионер и боком-боком к Мордовцеву, по-воробыному: — Какую дорогу одобряем — в Тигановке или в Ярище?

— Голосуем за обе, — вывернулся Мордовцев. — А что, тебе плохо, что ли, если обе будут функционировать?

— Мне-то лучше, — задрезжал своим голосочком Иван Иванович, однако настаивал: — А разграничить надо.

Так и занесли в протокол: единогласно при одном, который высказался за то, чтобы "разграничить".

Официальная часть закончилась, и все опять перешли в

"свадебную комнату", где у одних одежда была на вешалке, а у других — прямо так, на полу. Кто-то увидел огрызок соленого огурца на свадебной фате и вошел в интересную мысль: "А не выпить ли нам, братцы, лимонадику? Как раз привезли в ярищенский магазин". "Отчего не выпить, у нас есть самовар", — поддержал интерес Мордовцев.

Что ли с огурцом, что ли с лимонадом — какая разница! Каждый из оболешевских да алексеевских прихватил с собой шматок сала или копченый окорок, десяток яиц, а также литровку или меда, или земляничного варенья и мучился от одиночества: не везти же домой обратно, чертова антимония.

И Мордовцев, "естественно", не возражал. Он был обуреваем желанием сделать все возможное и невозможное по спланиванию рядов. Кто-то побежал в колонку за водой для самовара, кто-то понесся в ярищенский магазин, и уже тащили оттуда целый ящик лимонаду — не всякий день поступает в ярищенский магазин лимонад, надо, естественно, запастись.

И присаживались депутаты к столу, который еще сохранял букет не вчера пролитого и перелитого. И размягчались за самоваром лица, отпотевали, как бока самоварные, медные да с медалями, да как стекла оконные. Это, оказывается, блаженство — пить чай не дома, а при всех и со всеми, да еще когда на дворе вестер вещает пургу. И без водки можно ведь, а то все водка да водка им, и так в стране, товарищи депутаты, "пьяный бюджет, страна валится на бок"...

И уже пуговицу расстегнул кое-кто на воротничке, песню начал бубнить. И тут дверью хлопнули. Подумали все: порыв ветра, да не вестер, не буря — лишний свидетель — Коротесва, экономистка.

— А-а, чаевничаете? — протянула она ехидно, наступая на Мордовцева. — Собрал своих алкоголиков, честного человека порочите? На, смотри! — сунула она в лицо Мордовцеву бумаженцию. — Расписочка от продавцов. В том, что я им ничего не должна. "Сим удостоверяется, что гражданка Коротеева внесла..."

— Ну-ка, ну-ка, — протянул руку к бумажке Тиганов Трофим.

— А ты кто такой? — отдернула Коротесва руку.

— Я? Дспутат, — сказал Тиганов Трофим.

— Я тебя не выбирала, — повернулась спиной к нему Коротеева. И, оглядев собрание, высказалась теперь уже явно на всех: — Ты за землю сначала рассчитайся перед колхозом.

— За какую? — улыбнулся криво Тиганов Трофим.

— А какая у тебя под дорогой, — отрезала Коротсева. — Какую у хлеба отнял под дорогу, угробил какую.

— Под дорогой землю не гребят, — медленно изменялся в лице Мордовцев. — Мы тут решили... Правильно я говорю? — повернулся он ко всем остальным и сам же себе ответил: — Правильно! Заявляю...

— Заявляй, заявляй, — оглядывала Коротсева собрание это высокое за самоваром. — Какие сурьезные деятели! Чай пьете, а огурцом закусываете.

— Не твое дело, — возмутились алексеевские — новенькие, еще не привыкли к местным порядкам. — Мы — народная власть, не к тебе пришли, а к себе, в сельсовет. А у тебя и снега посреди зимы не разживешься.

— Ну, пейте свой чаек, пейте, — закрутила, завертела хвостом Коротсева, сорока эта, лиса Патрикеевна. И, уходя, обернулась все же, не выдержала: — Паразиты, никак не нажретесь!

И хлопнула дверью, так что отвалился кусок штукатурки, улицу возле двери стало видно насквозь. И тут же в помещение хлынул холод в виде седого пара. Мордовцев побежал за тряпкой, нашел старую свою, изношенную рубаху, принесенную сюда для мытья полов. И стал затыкать рубахой дырищу. Ткнул туда еще и брошюры из стопки "Народы мира перед лицом опасности". И, отдуваясь, окинул взглядом глядящих сурово на всю эту процедуру. Понял вот что: да разве дырищу в бюджете, скажем... брошюрой заткнешь? И сказал вслед ушедшей не зло так, с неожиданной радостью:

— Ханыга какая, оформлю! По мелкому хулиганству... Митревна! — крикнул он в недра сельсовета Мамоновой, секретарю: — Поди сюда, чего скажу.

— Да ладно тебе, — останавливали его оболешевские, прямо на руках повисали. — Ну, побушевала баба, ну, оскорбила. Что это тебе, в Кремле, что ли, на сессии или в Белом доме на ихнем конгрессе?

— Будет тебе, Прокопыч, — загамели теперь уже и алексеевские, прервав чаепитие в самой интересной, возвышенной точке, но от того, однако, не потеряв ответственности перед избирателями. — Чего мы будем так опускаться?

— Ну, гляди у меня, бергамотина, тигра, крокодила зеленая! — погрозил Мордовцев в дверь вслед Коротсейной и возвратился назад, к чаепитию. — Скажи спасибо вот людям.

И только опять из-под крана забулькало, как раздался телефонный звонок.

— Мордовцев у аппарата.

— Какие вы с Тигановым молодцы, — слышался голос Бодракова, как из подвала. — За Бодракова взялись, но Бодраков вам не мальчик, Бодраков фитиль еще кое-кому в жо...

— Кто это? — спросил Тиганов Трофим Мордовцева.

— Жена, — положил трубку Мордовцев. — Спрашивает, буду обедать ай опять без обеда?

— Какой обед сейчас, уже ужин! — зашумело все общество — народонаселение.

— Вот и я говорю: какой ужин, понимаешь, без огурцов? В нашем деле без огурцов, понимаешь, нельзя.

Х.

То, что Тиганов Трофим подбил Мордовцева на угодное ему дельце, взбесило Бодракова. И Бодраков тут же принял решение провести заседание правления, где и заклеить сговор сил инородных, антиярищенских. Немедленно был подготовлен проект постановления, да Коротеева, экономистка, умная голова, рассоветовала: "Не спеши, Ксаныч, скоро только кошки делаются. Надо провести расширенное, с активистами". И, оценив совет, Бодраков тут же дал указание относительно даты, часа и места проведения: у себя в кабинете завтра, с утра. Только вывесили бумажку на доске объявлений, как тук-тук в дверь Финагсу.

"Кто там?" — "Коротеева, экономистка." — "Чего тебе, нервная?" "Надо, — говорит она, — приказик, Ксаныч, подкрепить какой-нибудь реальностью. А то расширенное не получится". И стали они вдвоем гадать, какой реальностью расширенное подкрепить. Документа опять-таки она, Коротеева, экономистка. "Надо, — говорит, — Ксаныч, активистам комбикорм перед этим выдать. На каждый килограмм молока, проданного в счет плана".

— Молодец, — согласился Бодраков, — давай выдадим. — И написал новый приказик по этому поводу.

Наутро активисты потянулись к зерноскладу со своей мешкотарой. Здесь их встречал кладовщик Самофалов Геннадий Лукьяныч. Это когда в глаза надо, а когда за глаза — Долбоум или Крестин. Бодраков искоса наблюдал в окно из кабинета, как множились у зерносклада людские ряды. Сидел Финагс и упивался своим намерением.

В активистах Бодраков узнавал не просто ярищенцев, среди них в том числе были даже тигановские, сторонники

Трофима, тигановского роду-племени. Финаген прямо-таки восхищался, как он их подцепил, как заставит всех идти куда надо, сплоченными рядами, к четко поставленной цели, как они одобряют его решение, с этого возрождение и начнется. И его, Финагснова, кривая поползет ввысь. Дела поправятся, а там и району придется считаться, просто так "кислород" уже не перекрешь.

Сигнал бедствия принесла Стешка Егорова. Влетела к нему в кабинет: "Гляди, председатель, что там творится, комбикорм растаскивают! Тощуть все подряд, без разбору..."

Кинулся Бодраков через сад на склады, к Самофалову, к Гению этому. Стешка бежала следом, едва поспевала: все-таки женщина, за бугаем разве угнаться, как это дело его подцепило.

— Надо было забрать на комплекс свой комбикорм, — на ходу причитала Стешка. — Надо было не оставлять на складе, дура, вот дура-то!

— Не ной, — умирал ее на ходу Бодраков. — Разберемся.

Прибежали они на склад, а бабы уже тянут последние мешки у Гения прямо из-за спины. А он, этот Долбоум, как стал в двери, руки крест-накрест, так и стоит, вроде бы не пускает. А бабы шуруют у него за спиной, мешки в окошко выбрасывают. Правда, тащат по-честному на весы, кличут кладовщика: проверяй, без обману. Стоит Самофалов в дверях без отрыву, не знает, в какую сторону поворачиваться.

— Ты что же это, Крятин! — вырвалось у Бодракова, и он развернулся ко всем, как бы разъяренный: — А ну, мешки на место! Кому говорю, бандиты-грабители!!

Стоят бабы у мешков на весах, замерли перед Бодраковым. Вытянулись в шпалеру, смахнули с лица прежнес выражение, стоят себе как святые. Без крика, вроде как даже выравниваться начали, какие они дисциплинированные, "не супротив". И только слова порх-перепорх: "нам много не надо", "свое берем", "даже недобираем".

— Колхоз граби-и-ити! — гаркнул Бодраков и завертел бешеными белками. — Это кто это разогрешил?! — повернулся он к Самофалову.

— Вот, — тряхнула бумажкой доярка с Ярищенской фермы.

"Опять сегодня не на работе?" — мелькнуло у Бодракова, но он машинально потянулся рукой, прочитал, узнав руку

Коротеевой: "Согласно приказу председателя, отпустите активисту"...

— Так, — через ноздри, как лошадь, втянул в себя Бодраков до отказа, тут кислород экономить не надо, и скомандовал: — Активисты, вперед, сюда, в эту сторону! Остальные на месте.

Человек семь потоптались-потоптались и приблизились к Крестину, кладовщику.

— Вы свои мешки забирайте, — кивнул им Бодраков, а на остальных ополчился: — А вы уходите!

И что тут произошло! И заплакали бабы, завывали, запричитали, как по покойнику, как будто у них забирали последнее, детей завтра нечем кормить, сами росинки маковой месяц во рту не держали. Постыдились бы, хамки такие! Да вы что! Ведь как с неба вам это свалилось, еще час назад ничего об этом и не подозревали, а сейчас, как с кровным своим, не расстанетесь, в могилу, что ли, тащить за собой собираетесь? Какие победовсе, посамовитес, так те и вовсе кулаки пихать стали под нос Бодракову, оттесняли его со склада, тысячу чертей сулили, всякую напасть: да хоть бы ты завалился в колею, лихоманка тебя какая-нибудь подцепила, падла какая-либо тебя, анчихриста, забрала... Во какие бабы, совсем одурели! Из-за какого-то несчастного из-за мешка, да еще фактически и чужого, человека готовы стоптать. Да кто хоть вас, суки такие, распустил-то так, да куда же мужики ваши глядят, красавицы вы мои дорогие, ишь как покраснелись, румянец во всю щеку. Да вас таких только за стол сажать свадебный, да с вас, красавиц моих, картины живописать, лично привезу художника Курнакова, действительного члена Союза художников, дам команду писать лучшие портреты, повешу в своем кабинете...

Стешка даже рот раскрыла: ну, Бодраков, чего вытворяет! Как вулкан умирляет! Буль-буль, кап-кап-кап, потихонечку-полегонечку и уже, как в кастрюльке, чуть-чуть. Ему бы коня под седлом да саблю, как в старинном журнале "Нива", да заместо Скобелева, генерала того, на турок, под барабаны, на грохот орудийный. И вот он глазищами своими перестал полыгать, белками крутить, уже улыбается, пот со лба ладонью себе под ноги смахивает. И бабы, как под гипнозом каким, притихли, друг на дружку стали поглядывать, переталкиваться, подхихикивать даже, с какой этой первой художник картину начнет создавать. Стыдновато сделалось, что они такие-то нервные, опустились, право, как будто это последний кусок.

— Активистам тоже мешки положить на место, — вздохнул Бодраков сожалеючи. — Это я, вам признаюсь, ошибся. Приказ такой ошибочный дал. У Бодракова все равны, у Бодракова все активисты, Бодраков такой: за справедливость руку даст отрубить — вот вам, нате, возьмите, берите, рубите!

И сунул левую сначала, голову даже в дверную щель, — Муций Сцевола. Все побросали мешки — и деру, чтобы не видеть: ужас какой! Байбак, психопат, а еще председатель! Бежали и перебрасывались между собой, добежали до пруда, остановились. "А все ж таки ен мужик справедливый. Что справедлив, то справедлив, этого у него не отымешь. Никому — значит, никому". И расходились, довольные, у нас это так: ни себе, ни людям. А Стешка глядела в спину Бодракову и восхищалась. А Бодраков шел к правлению, пригорбаться, кроя внешне и внутренне матюгами Коротесву, экономистку: "Ну, курва, допнусь — ноги все повыкручиваю! Додумалась, умная голова, что посоветовать". Так и сказал, когда появился в правлении. Коротеева, экономистка эта, сначала вспыхнула до корней волос, а потом поставила руки в боки и запричитала при всех, базарная баба:

— А приказик-то кто написал? Может быть, этот... Безлепкин, придурок, или, может быть, Пушкин?

— Не тронь Пушкина-то, — отступая явно, вяло сказал Бодраков. — Я писал приказ, я! Но ты подсказала. И я написал, не подумав. Непредсказуемые последствия. А ты тоже думай, когда что советуешь. Все, теперь будем советоваться.

На том с Коротеевой и согласились. А куда денешься, надо друг друга держаться. Козырей меньше давать Распопову, не то костей после не соберешь...

И Бодраков понял, что на арапа, так, с кондачка расширенное заседание не проведешь. И разослал конторских по активистам провести разъяснительную работу. А сам все сидел и сочинял повестку. Сначала хотелось вопрос заострить, сказать, как оно есть, допустим: "О некоторых фактах самоуправства... нет, разбазаривания колхозной земли". Ясно, конечно, о ком и о чем... Потом пошевелил мозгами и, учитывая опыт последней сессии сельсовета, где, как змеи подколенные, въехали в эти ворота, а выехали во-он откуда, из совершенно других. Бодраков решил сформулировать так: "Об использовании распашной земли и сельхозугодий в нашем колхозе". А там поглядим.

На расширенное заседание явились только члены правления. Из активистов все же никто не пришел. Из расширенных

оказался один только Чемодуров — бригадир из Лыково, он же и депутат. Да еще явку обеспечил собой Бронька Лстягин, опять переведенный Бодраковым из трактористов в механики. Бодраков лично просил его сказать пару слов, что он думает по тому вопросу, какой подниматься будет на заседании. Это по поводу Тиганова Трофима и его насильственных действий в отношении главного нашего достояния — колхозной земли.

Оттого Бронька и мучился, разрывался надвое этот Бронька. Бодраков был хозяином, от него Лстягин получал все: работу, деньги, безбедную жизнь, за годы Лстягин привык ему подчиняться. А что Тиганов Егор, против которого, как понимал Бронька, было в конечном счете направлено бодраковское жало, что тот же Егор мог ему предложить, кроме того, что Броньке нравилось просто быть с ним, просто с ним разговаривать, значит, просто дружить? А это много ли стоит? Правда, Бронька хотел увильнуть, попытался на этот день смыться в Алатырь, даже звонил вечером накануне Бодракову на квартиру, мол, захворал. Бодраков засхал к нему утречком, вызвал на порог, пригрозил пальчиком: не дури, Бронюшка! Бронька и Чемодуров — вот и все дураки активисты, умные не пошли.

Когда собрались и подсчитали кворум, Бодраков помрачнел, велел позвать еще и конторских, пусть посидят, послушают, тоже полезно.

При виде скучных, отстраненных лиц тут, в его кабинете, Бодракову захотелось подбросить им огоньку, сразу обрушиться на "захватчиков". Однако он одолел свой темперамент и предоставил слово главному агроному. Пусть Виталий Витальевич, золотая рыбка, личный дружок Тиганова Трофима, сперва крючок заглотает.

Доклад Виталия Витальевича всех приморил. Это тебе не на баяне наяривать. Некоторые стали уже поглядывать на дверь: дома у кого блины простывают, у кого картошка жарится. Ну, люди, и двух часов не могут потерпеть, черти! Как же в районе по пять—семь часов заседают? А в области по десять? А в Москве сутками?

Сам Бодраков сидел как на иголках. И все это были семечки, основное грезилось впереди. По натуре он был боец, любил драки, черт возьми, ринуться в бой, медом его не корми — обожал Финаген острые ощущения. Однако в кармане лежала бумага от Распопова за его личной подписью.

Бодраков специально перед этим не прочитал распопов-

скую бумагу, чтобы не портить себе настроения, не сбивать в себе босвой дух. Чего хорошего, опять какая-нибудь кляуза. Кажется, его обсудили на январском исполкоме райсовета, но пока без таких уж серьезных последствий, чего же еще? И тут Бодраков почувствовал жжение в желудке: опять жена нажала картошки на ржавом, позалетошнем сале. Путать стала старушка божий дар с яишенкой. Борщ на старом сале — "это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного" (вот привязалось, кто-то пустил по Ярищу, с языка у всех не соскакивает). Но на старом сале картошку — от этого теперь хоть на стенку лезь, надоело глотать питьевую соду.

Члены правления после главного агронома жужжали, как мухи, по данному вопросу: сколько в бригадах пашни, сельхозугодий да что и как используется и т. д. и т. п. Бодраков начал гипнотизировать Броньку Летягина взглядом — когда же тот, яти его мать, ход заседания начнет переламаывать? А Бронька глядел на него вроде как непонимающе. Все, прохиндей, понимает, да не хочет первым в оглобли лезть. Вот кто бы это первым высказался, дал сигнал, тогда и он, Летягин, не прочь, как и все, хоть в телегу, хоть в сани. "Не лидер, подлец, не вожак, — злился Бодраков. — Без меня они кто? Котята". И, воображая в картинках сессию в сельсовете, Бодраков полегонечку закипал, злился, а злиться нельзя было, он понимал, нельзя было, вот и все.

"Царские дыни — это дыни для царя, специально к царскому столу выращивали где-то в Казахстане, под Кзыл-Ордой, — думал он сосредоточенно. — А царские "дули", груши такие? А "царская водка"? А "царская водка", химики знают, две части соляной кислоты и одна часть серной, даже золото растворяет. В желудке у крестьянина и золото сгниет. После такой, извините, пожалуйста, "водки" ходить уже против ветра нельзя: попади на сапог — сапог спалит, все живое горит. Вот чем танки немецкие, должно быть, останавливали... Таковую картошку пусть сама, извините-подвиньтесь, и ест, ятить твою"...

— Вон Финаген Алексаныч подтвердит, — заканчивая выступление, обратился к нему Чесмодуров, лыковский бригадир.

— Да, подтверждаю, — сказал Бодраков, и все засмеялись.

Не то Бодраков подтвердил, пальцем в небо попал. И оттого разозлился он уже окончательно, но уже не на себя, а на них: больно умные, долбоумы.

— Подтверждаю, но что? — встал Бодраков и поднял указательный палец. — Что Чемодуров, будучи на сессии сельисполкома, наше доверенное лицо, интересы колхозные, наши с вами интересы, — обвел Бодраков взглядом всех сидящих и подождал маленько, пусть слюни проглотят, — ... не защитил. Проголосовал в сопредельной организации тоже "за", дал им единогласие. И один только человек нашелся — старый учитель Иван Иванович, из которого, можно сказать, сыплется уже не только песок, но и глина, — он один воздержался.

— Из глины Господь сотворил человека, — это реплика с места, но Бодраков и ухом не повел: сказки эти жене дома рассказывать.

— Он не воздержался, — стал объяснять Чемодуров, — он предложил "разграничить".

— Ну вот ты, Чемодур, его и поддержал бы, — перебил Бодраков бригадира: у, язва такая, стоит над душой, как Господь бог перед стадом овец. — Ведь не заклеил же Тиганова Трофима, когда тот за землю голосовал, нет?

— Не заклеил, Ксаныч, — гнулся перед Бодраковым лыковский бригадир. — Святой истинный крест.

— Ну вот и выскажись, — подтолкнул его Бодраков. — Хоть сейчас заклеи. Лучше поздно, чем никогда.

И Чемодуров, деваться некуда, начал "клеить". "Клеймил", но только не Тиганова Трофима, ни тем более сельсовет, а неизвестно кого, пустое пространство перед собой. Но Бодраков уже слабо слушал его. Бодраков встал и пригрозил Броньке Летягину: "Ну, прохиндей! Твоя очередь, гори оно синим огнем, я тебя на чистую воду выведу". И тут же сел в беспокойстве: в животе начались толчки, глухие удары. Назревало землетрясение, вот-вот выплеснется раскаленная магма, эта стерва похлеще, чем "царская водка", все насквозь...

Наконец Бодраков не выдержал.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал он, вставая поспешно.

И юзом-юзом, "шестеркой" этак скользнул из кабинета.

Сидел в другом уже, тесном, общем таком кабинетике, разглядывал, как по полу перед ним ползет крупная рыжая двухвостка, и поражался: "Как же она, тварь такая, на морозе живет? Ишь, ползет, крутит перед ним сразу двумя хвостами взброс — и нашим, и вашим".

Когда Бодраков вернулся в кабинет, все сидели и ждали его: что же дальше-то делать?

— А дальше вот... Летагин Бронислав хочет высказаться, — с ходу предложил Бодраков.

— А я уже, Финаген Ксаныч, — вскочил шустрый Бронька, — я уже высказался.

— ??? — это молча смотрел на него Бодраков.

— Высказался, высказался, — подтвердило расширенное заседание.

— Ну, Бронислав! — заиграл Бодраков желваками. — Ну, двухвостка! Ладно, моржовый, садись. — И вздохнул, сам подумал с опаской: "Неизвестно, как он тут без меня, в какую сторону высказался".

— Какое принимать будем решение? — обратился теперь уже к членам правления Бодраков.

Сидеть дольше было уже невозможно, земля качалась под ногами у Бодракова. Пока все сидели и пересваривали, Бодраков успел распоповское письмо вскрыть и пробежать глазами. В своей записке Распопов предлагал в трехдневный срок дать ему лично отчет, как это у них в "Светлом пути", э, в "Светлой жизни", комбикорма растаскиваются, когда на комплексе с кормами известное напряжение.

"Сучка какая-то стукнула, сволочь! — выругался Бодраков. — У нас это так, наверно, со дня основанья". — И повернулся к присутствующим:

— Ну, какое у кого предложение?

— Поставить на вид главному агроному и сосредоточиться на повышении агротехники землепользования, — вскочила Коротеева, экономистка, эта всегда безотказная, только сейчас что-то недопоняла, не туда выперла.

— Есть еще предложения? — допытывался Бодраков, трижды смотрел на Летагина Броньку, дважды на Чесмодурова: "Нет иных предложений? Ну, прохиндей этот Бронька, завтра же снова ссажу в бригаду".

— Значит, нет? Ну, хорошо, кто за это предложение? — подытожил Бодраков ("хоть и косвенно, но все же о землепользовании, можно потом раскрутить"). — Голосуют только члены правления... Так, "единогласно". И ты, Чесмодур?

— И я, — приподнялся Чесмодуров — лыковский бригадир.

— И там голосовал, и тут голосуешь? — усмехнулся Бодраков. — И все "единогласно"?

— А куда денешься, Ксаныч, — откровенно сказал бригадир и вздохнул глубоко, как корова, так что все засмеялись.

"Ну, воители! — глядел Бодраков в спину расходящимся

из кабинета членам правления. — Бронебойщики! С кем танки, братцы мои, останавливать!"

— А ты, Бронюшка, сядь посиди, — окликнул он Бронислава Летягина, норовившего ускользнуть вместе со всеми. — Куда спешить, погоди. В "шахматишки" сыграем.

Бронька присел на стульчик, что под фикусом, поближе к двери. Но Бодраков попросил пересесть, не будет же он, Бодраков, надирать глотку, орать ему через весь "гектар". Бронька сел на местушко, нагретое Чемодуровым, и отдался своим размышлениям. А Бодраков отдался своим. Перед внешней опасностью (из головы не выходила распоповская бумага) мысли его бродили вокруг крепких "тылов", а что же это за "тылы" такие, если даже Бронька и тот боком ходит. Заяц от природы, а тоже иной раз норовит укусить.

Если Распопов сам подписывает такую, можно сказать, пустяковину — непроверенный факт, то ведь это же что-нибудь значит? А это значит одно: его отношение к нему, Бодракову, вступило в такую фазу, когда начальство не считает нужным уже что-то скрывать, действовать через кого-то, загребать жар чужими руками. Эта вонь идет, может быть, от Трофима Тиганова. А может, это со Стешкой связано, вокруг Стешки круговорот, что к чему — пока не разобраться. В общем, свозил в район бабу на свою шею... И Бодраков пожалел, что в известном месте на Адамовой мельнице не копнул землю вовремя, надо было все же копнуть. Американские президенты по окончании срока отправляются к себе на ранчо, а ты, Финаген, куда?.. А куда денешься, ведь факт это, святой истинный крест, гори оно синим огнем. И достал Бодраков из стола свой "гроссбух" — толстую книгу приказов. Вынул из внутреннего кармана и положил рядом с "гроссбухом" печать. "Пусть глядит, стервец, полюбуется," — думал Бодраков, так воздействуя на Бронислава, и слышал перед собой частое Бронькино дыхание. "Пусть подрейфит малость, вот возьму и санкции применю".

Бодраков листал книгу приказов сперва в одну сторону — слева направо. Долистал, посидел и посмотрел в тугое пространство перед собой. Потом начал листать в обратную сторону — справа налево. Плюнул с досады: это он уже примснял, Броньке нужно всегда что-то новенькос. Только новое и действует на него, этого жука колорадского, прохиндея. В самом деле, с механиков опять, что ли, снять, пересвести в бригады? Связался, стервец, с Тигановым Егором,

забыл, кто его вывел в люди, сделал, яти его мать, человеком...

Бодраков положил перед собой девственно чистый лист, достал авторучку и начал писать. Сопя от усердия, останавливаясь в задумчивости, вроде бы подбирая слова, он так увлекся, что штукатурка пади ему на затылок, земля уйди из-под ног, положи за шиворот ему льдинку, и то, пожалуй, не шевельнулся бы. До того влез в свою бухгалтерию, что человека живого перед собой не видит.

Сил уже никаких не стало сидеть Броньке тут без внимания. И вот, замирая всем телом, боясь, как бы не рыпнулаловица, как рысь какая-нибудь, презирая опасность, Бронька двинулся навстречу своей гибели, за спину — в обход Бодракову. И уж совсем не дыша, начал Бронька к нему со спины подбираться на цыпочках, так охота была взглянуть: чего, интересно, хоть пишут они, эти деятели, состоящие при печатях, про нас, когда мы, простые трудящиеся, заходим с просьбами в ихние кабинеты?

"Бронька — дурак, осел Бронька, проба пера, проба пера из гусяного крыла. Бронька и Тиганов Егор, гори оно, Бронька — предатель, броня крепка и стежки твои склизки, Бронюшка, сошлю дурака опять в бригадиры, проба пера, нота bene, Бронька — друг, а друзей держать надо, с кем взялся, с Бодраковым, ятить твою мать, куриные твои мозги, Броня... проба пера..."

Улыбаясь, теперь уже затаенно, тем же ангельским ходом Бронюшка отошел на исходные рубежи. Он мог теперь смело глядеть в глаза Бодракову. Он знал ход соперника, гори все оно синим огнем.

XI.

— Ну? — поднял голову Бодраков.

— Что ну? — во всю щеку улыбнулся Бронька.

— Будешь сам говорить? — отложил Бодраков в сторону подзатупленный карандаш. — Или мне раскалывать тебя?

— Раскалывай, Ксаныч, — тряхнул Бронька веселой башкой. — Я перед тобой человек кристаллический, как вон тот графин.

— А муха где? — скосил глаз на графин Бодраков. — Плавала же, ты, что ли, воду вылакал?

— Я, — растерялся Летягин.

— Ну вот что, — ухмыльнулся Бодраков, в глазах бесеня-

та запрыгали. — Ты мне муху сначала представь, а потом я буду с тобой разговаривать.

При этих словах Бодракова Бронька почувствовал, как что-то стало его душить и живот подтянуло к горлу, длинная судорога прокатилась внутри него от желудка до языка, и сухой полотняный звук, как бывает при рвоте или когда рвут простыню, потряс нервное Бронькино тело. Умоляющим взглядом смотрел Бронька откуда-то снизу на Бодракова. Насытившись Бронькиными мучениями, Бодраков решил пожалеть его, несчастного человека.

— Ах, вот она, муха-то, — показал он кусочек тряпочки, оставшейся на столе после уборщицы.

Бронька выпучил глаза: не ожидал такой подлости! Но тошнота прошла, тело не сотрясалось.

— Ну вот, — засмеялся в лицо ему Бодраков. — А еще воевать собрался... Ну, сам теперь будешь рассказывать?

— Лучше спрашивай, Ксаныч, — поник головой Бронислав.

И была тишина такая жуткая, что, если бы в животе у Броньки что-то булькнуло, наверняка услышали бы у Коротеевой через коридор.

— Меня интересует, — сказал Бодраков с расстановкой, — как ты дошел до такой жизни, что мой дом стал вечерами обходить стороной. Не с кем, однако, сыграть в "шахматишки". А шахматы, как известно, гимнастика для ума, а какая жизнь без ума председателю, горе одно без ума.

— Как раз наоборот, — цепко смотрел на него Летягин, — ожидая еще какого-либо подвоха. — Горе как раз от ума.

— Это у тебя от ума, ты у нас умный, — надавил Бодраков на последнее слово. — А мы все у тебя дураки... Ну, какими будешь, даю на выбор — белыми или черными?

И уже вытаскивал из-под стола шахматы, на всякий случай, и здесь у Финагена была своя партия.

— Я, как всегда, белыми, — потер Бронька ладонь о ладонь, аж искры просыпались. — Белые начинают и выигрывают, ха-ха. — И стал расставлять на доске фигуры. Бронька без зазрения совести принимал эту фору.

— Ха-ха, — смотрел Бодраков на Броньку пронзительно. — Ну вот, с тебя и начнем.

Бронька двинул привычную пешку на привычное место: е2 — е4. Много ль на это ума надо? Стоило ль фору выклянчивать?

— Ну! — уставился в него Бодраков. — Не слышу твой комментарий.

— Говорят, черного короля скоро в шсю, — сказал неохотно Бронька. — Шах-ин-шах в Алатыре взялся за это дело.

— Сам же сказал, шах-ин-шах, он где? Далеко в Персии... в крайнем случае — где-то в Алатыре, — сделал ответный ход конем Бодраков. — А мы здесь, в Ярище. И в Ярище у нас пока свой король, а у короля свои пешки.

Бронька крайне задумался. Не делая хода, он все же сказал:

— Это тут король есть король. А в Алатыре этот король уже пешка... Там среди таких пешек королем уже шахин-шах.

И Бронька сделал второй ход белыми "офицером" от черной "туры". Теперь Бодраков призадумался: "Черт, никак не приучишь его к современной терминологии... Да-а, если тамошние пешки — тутошние короли, это что-нибудь значит?"

И бросился Бронька в атаку очертя голову. Все ему нравился "киндер-мат". Для Бодракова это пустячный вопрос, мигом путь чернопольному слону перекрыл связкой из двух разнопольных пешек. И Бронька поник, как будто и впрямь собирался выиграть у Бодракова. Бодраков не такой, Бодраков тебе не арбузная корка, Бодраков зубки кое-кому еще обломает. Ишь, нашлись с кем "блиц-криги" играть. Играй, Броня, "блиц-криг" с тещей своей, пока ты от тещи, Бронюшка, в лоб не получишь половником...

— Кончай ночевать, говори напрямую! — смешал на доске Бодраков все фигуры: надоело. Это ж надо, сколько Бронька сидит, лупится в доску, время над каждым ходом, яти его мать, просаживает.

Бронька аж задохнулся: такой "бличик" прорезался, еще бы ходик — и как у Бодракову. Нет, каков Финаген!

— Выкладывай все, как на духу, — потребовал Бодраков. — Что там "внизу" говорят насчет меня, "синего лося"? Насчет Тиганова Егора и Стешки?

Бронькина голова втянулась в плечи:

— Ей-богу, Ксаныч, не знаю. Слово — олово, твердо, — взмолился он. — Откуда мне знать-то. Серьезный вопрос.

— Что Бодракова скоро под зад коленом — это мы знаем, — терзал его Финаген. — А за что именно, мы, броня крепка, вроде не знаем. Так, да? Отвечай, хамаидол!.. Ну а насчет поездки Стешкиной на слет?

— А что? Ничего такого, — смотрел Бронька на него химически чистыми, голубыми глазами. — Ей-богу, ничего такого не говорят.

— Ну, ладно, — отпустил Бодраков Бронькину душу на покаяние. — Иди домой, Бронюшка, да помни, кто тебя, негодяя, кормит, поит, обувает и разувает.

И сам пошел следом, но другой дорогой — на комплекс. Шел и думал о проведенном только что заседании. Не удалось подцепить Тиганова Трофима, оппонента. Не врезали пока ему по биографии. Но ничего, и это хорошо, хоть косвенно дали понять дружку его — главному агроному, а эхо докатится и до Трофима, он человек понятливый. Догадается, что к чему, не будет лезть на рожон.

Думал Бодраков об этойкой разнополюсной связке Тиганова Трофима с Мордовцевым, как они состыковались, а сам все сбивался мыслью на Стешку Егорову, на хахалю ее, Егора Тиганова. Только сейчас мог Бодраков себе и признаться, что участвовал в той самой охоте на лося, не отрицать самого факта ее существования, а то ведь как будто ее и не было, как зашифровали случившееся — под "синего лося". Шутка ли, подстрелить человека. Тогда, в горячке, он, Бодраков, попытался смахнуть все на Егора. Но теперь, что ж, подстреленный человек выжил, выдюжил. И — сплоченность, железная стенка, куда ни ткнись, — все само собой кануло в Лету. Вопрос исчерпан, инцидента как не бывало. И Бодракова больше теперь интересовало другое: в каких отношениях после слета Стешка с Распоповым? Что-то стала белая "Волга" вертеться в наших краях. Может, дело у них дальше двинулось и Распопов со Стешкой как черт в апельсинах? Отколь ветер дует, если Распопов не устает проявлять лично к нему, Бодракову, повышенный интерес?

"Ну, забаррикадировались, ну, глухота-немота — не пробыешься! Панцири понадевали!" — выругался про себя Бодраков и вспомнил старые добрые времена, когда шли люди к нему в кабинет и выкладывали все как на духу без "шахматешек".

— Сложнеем, растем, вперед несемся, а отстающих бьют...

Стешка встретила его в старом саду, на том же месте, что и в прошлый раз.

— Ну, что новенького в твоей молодой и цветущей? — остановил ее Бодраков и хотел было не пустить ее дальше. — Куда разогналась?

Но Стешка и сама задержалась, надо было ей поговорить.

— Свадьба у нас на комплексе назревает, — сказала она. — Валерка Дроздов, моторист, женится на Синюткиной Нине,

телятнице. Да вы ее знаете, новенькая, из города, из интерната. Вернее, бабы наши женят Валерку. Не то пропадет парень, присосался к зеленой...

— Ну и что? — слабо реагировал на Стешкины слова Бодраков.

— А то, что Варька Апрятова путает своего мужика с чужими, одного Дроздова с другим, Василия, скотника, — с мотористом Валеркой. А Нина Синюткина уже беременная...

— Ой-ой-ой! — схватился за голову Бодраков. — У тебя там что — комплекс или бардак, дом терпимости?

— Вот бабы и женят Валерку на Нине Синюткиной, — закончила Стешка. — Завтра свадьба-то, велено вас пригласить.

— А где? — не удивился этому Бодраков, привык к любым разворотам.

— Да у себя, в красном уголке, — сказала неуверенно Стешка. — Она же сирота, девчата ее к себе звали.

— А в клубе? — предложил Бодраков.

— Говорили ей тоже — не хочет.

— Ну ладно, — сказал Бодраков. — Приду... А раз сирота, буду ей за отца, — и рассмеялся. — А ты как зав. комплексом будешь за мать, Стешенька. Вот и договорились.

* * *

Комплекс гулял с обеда. Всякий раз, когда кто-нибудь из женщин вырывался наружу, на зимний морозный воздух, да во весь голос откалывал частушку с картинками, вздрагивал не только Ярищенский комплекс, а и все Ярище со всеми его домиками и домишками, правлением и сельсоветом, со школой, медпунктом, столовой, мехмастерскими и местным узлом связи, который благодаря стараниям земляка — маршала рода войск был ничуть не хуже по оборудованию, чем даже в райцентре.

Самофалов стоял в своей излюбленной позе — руки, как на кресте, на дверях кладовой, стоял и облизывался. На свадьбу его не позвали. При каждом взрыве смеха Гений, переживая за них тут, составлял стаканы с одной на другую полку, перекладывал банки консервов из одной стопки в другую. Главное в нашей системе — контроль и учет.

А там, на комплексе, при каждом выкрике "горько!" телята сначала шарахались, потом свирепо вертели репой хвоста и отсырело мычали, им это нравилось, они поощряли свадь-

бы. Кормов в ясли было наложено невпроворот, а к самогонке они были равнодушны. А тут еще культурная программа. Если бы телята имели связь с границей, они бы знали наверняка, что, например, в Японии даже к курам, чтобы те несли яйца почаще и покрупнее, приблизили музыку. А тут тебе не какой-нибудь телевизор или опять же неодушевленная тварь — магнитофон, а живая, самая что ни есть настоящая музыка. Песни щекотали телятам уши и души, возбуждали молодую энергию, а также желание достойно откликнуться, дать стране как можно больше привеса.

Виталий Витальевич, главный агроном, сидел посеред красного уголка на табуретке и жарил вовсю на баяне. По его воодушевленному, распаренному лицу, по бисеринкам пота на лбу, который телятницы не одобряли, было видно, что телу его горячо, а душе тесно.

Сбоку от агронома восседала жена его Лида — полная такая, со значением баба, русская красавица, местная фельдшерица. И сынишка рядом, еще пятиклассник, но тоже уже Виталий Витальевич. И все у них в роду были Виталии Витальевичи — и отец, и дед, и все пращуры. И вот Виталий Витальевич решил побрызгать и прямо с баяном вышел наружу из перегретого людьми помещения. Вскоре жена стала тащить его от баранов, этих скотов, обратно, а он брыкался, отмахивался баяном.

Едва Виталий Витальевич скрылся за дверью, как кожа на спине у телят перестала плясать, а село погрузилось в уныние. И Самофалов, кладовщик, замер с консервной банкой в руке, не зная, куда ее сунуть, и сунул ее инстинктивно себе же в карман.

А там, на свадьбе, по одну руку от молодых сидел Бодраков, а по другую — Стешка с Егором.

— Горька-а-а-а! — вздрогнули стены, и развернулся баян.

Ой, калина, ой, малина,
В речке синяя вода...

И пели все, качались-раскачивались вдоль по скамейке — плечом в плечо, слева направо, справа налево. "Это мы можем, этого у нас не отнять. Все забылось, все улетело прочь, что страшило и угнетало, все куда-то исчезло. Осталась одна только песня, в нас какой-то инстинкт к песне, мы обречены на нее..."

Егор сунулся в дверь. Белые мухи под электрическим светом косо летели на тихую, мирную землю. "Что ни говори, каждый выбирает путь по себе. Егор — лидер малоимущих,

этот путь не сулит ничего. А отец его, Егора, — Тиганов Трофим, что отец? Его партия пока что в тени, это партия сильных и силовых, дела и деловых, но пока она лишь в зародыше, однако от нее пахнет авантюризмом... С мясом у нас все никак, все не то, а почему? В нас же гены, мы в генах своих землепашцы. У отца походка — локти в стороны, как вчера от сохи оторвался.."

И Егор вернулся назад, к застолью. Бодраков только что подарил молодым шифоньер. Так что можно, понимаешь, забирать его из магазина и увозить. — "А куда — вот вопрос." И жених куда-то исчез, а невеста сидела одна. И пополз злоязыкий слушок: Варька Апрятова, стервь такая, уводит от молодой жены Валерку Дроздова, как бы не увела. Вон стоят сейчас, выясняют отношения во втором телятнике, в моторном отделении, где у Валерки движок. Эта новость произвела впечатление.

Одни бабы ушли с целью доставить сюда жениха живым или мертвым, другие — повоздействовать на эту позорницу Варьку. Пока искали их по телятникам, Варька с Валеркой стояли, оказывается, тут же, возле красного уголка, только с улицы, через стенку.

Варька Апрятова говорила что-то навзрыд, а Валерка поник перед ней, и при свете электричества, падающего из окна, было видно, как он, подлец, колупает пальцем свежую штукатурку. Бабы принялись уговаривать невесту бросить, пока не поздно, этого Дроздова. Ну и что же в том, что уже расписались, все равно никакой жизни тебе с подлцом не будет, не жди. Варька Апрятова, эта паршивка, от своего не отступится — дай ей разрушить чужое семейное счастье, вынь да положь ей Валерку.

И теперь невеста — опять же Синюткина — билась головой о стол, прямо в отварную колбасу и соленые огурцы. А девчата ее утешали.

— Да не стоит он тебя, негодяй, — гладили они ее гладкие русые волосы. И как совсем недавно хвалили жениха, так теперь его и хаяли: "Да он же, алкаш, водку жрет, и отец у него алкоголик. А дядька родной, отцов брат, и вовсе в психушке от этого дела кончился. И гуляка какой, и плетун". — "А отец что, хорош? И отец такой-то бродяга... Ты, милая, решай: либо терпи и терпеть век свой будешь, либо сразу уходи. Под зад коленом вместе с его шифоньером". — "Какой же это его, это ее шифоньер. Им пополам ведь дарили. А делить как, ножовкой пилить?.."

А за дверью бесился муж Варьки — Апрятов Колька, механизатор. И трое мужиков держали его одного и не могли удержать, жеребца такого. Тот повалил три скамейки, две из них стоптал сапожищами. Стащил бы со стола скатерть вместе со всем, что там было, да спасибо Нюрка Чернова чуркой его по руке охолостила. Но, видать, мало дала, надо было дать еще по горбюке, чтобы так тут и растянулся. А то ишь как троих мужиков по стенкам мотает. Зверь, и только, сила нечеловечья.

— Да она тебя любит, любит, — пришли на подмогу "сваты" — бабы и стали уговаривать его, этакого чурбана.

— А где же она, чего она? — включился опять сюда, перестал мотать мужиков Апрятов.

— Дак она его улещает, — напирали бабы, почуяв успех. — Говорит, чтобы лучше жил с Нинкой, женой своей, с ней вроде как бы с Варькой, бабой твоей.

— Изуррродую-ю-ю!! — снова рванулся Апрятов, но не тут-то было, снова уже не получилось.

Это тебе не сундуки из горящего дома таскать — с живым народом справляться. Вскоре мужики провели под конвоем Апрятова и посадили за стол. А бабы привели под конвоем его жену Апрятову Варьку и посадили ее со своим Апрятовым рядом. И жениха привели, посадили вместе с невестой. И опять все уселись за стол как ни в чем не бывало. И сидели за столом как ни в чем не бывало. А без драки ну какая же это была бы свадьба? А теперь хоть будет что вспомнить.

— Ух ты! — подставляли Апрятову Кольке Варьку и отставляли от жениха. — Ух ты! — опять подставляли ее Апрятову.

И опять растележил баян Виталий Витальевич. И пошло, закрутилось-завертелось все с невесть откуда взявшейся силой.

— Горько-о-а-а-а!!

И Валерка Дроздов приложился губами к жене своей, к Нине. Сиротка детдомовская, да кто же за тебя, голубица, заступится, как не свои, не родня твоя новая. Была Синюткина, а теперь ты тоже Дроздова. А ты, Варька, сиди и не рыдай, не рыпайся, пала, не косороться, вон на Кольку свою гляди, на чужое счастье не зарься...

Шумела свадьба — настоящая, деревенская. А вот у нее, Стешки, свадьбы не было, не было. И не заметила Стешка, как вышел и исчез куда-то Егор...

— Мой костер в тумане светит, — запела она низким своим, сильным голосом.

И нутром почуяла: еще один человек тоже сидит тут как неприкаянный. И это был Бодраков. Он сидел в уголке, вроде даже не Бодраков — тихоня такой, остроплечий, голова уже как бы присыпана пеплом. "Нас, таких лиходеев, вон сколько, а он, председатель, один. Даже сына держит где-то на сторонке, бережет, не доверяет своему окружению. Говорят, ровесник Егору..."

В чистом морозном воздухе голоса зависали, стеклянные, уходили и таяли. Первой на хрупкость шагов по молодому си-юночному снегу где-то уже возле медпункта откликнулась собачонка, до того психоватая. Ее поддержала другая. Вскоре по собачьему лаю можно было угадывать, где по селу, мимо каких домов, проулков и закоулков проходили, возвращаясь со свадьбы.

Бронька искал глазами Егора. Ему показалось, кто-то шмыгнул в первый телятник. Так у Броньки все и натянулось, просто колом поставило, у кобеля такого. Он попытался взять след, пошел ободочком, по навозцу, ближе к телятнику, чтобы не хрупать снежком. Щель чернела — дверь оставили приоткрытой. Бронька усмирив собственное дыхание и услышал шорох в соломе, наверное, мыши. И уже отвел было утеплительный полог, чтобы войти вовнутрь, как соломой зашебурили, и прямо перед собой, это точно, Бронька увидал Бодракова.

— Испугал как, — сказал, стоя прямо напротив света, человек другим, вроде не бодраковским голосом.

И Стешка не Стешка уходила по телятнику — побыстрее, подальше от лампы, от электричества, угибаясь к коленкам, обирая с коленок солому.

ХII.

Терпеть не мог Бодраков быть должным. Тут же наутро вызвал к себе Летягина:

— Ну что, брат, головушка не болит?

— Об чем речь, Ксаныч?

— О работе. Распредвал-то поставил мне старый, изношенный, а в бухгалтерии оформил как новый, с завода... Что ж, ты думаешь, я у тебя на крючке?

— Все понял, Ксаныч, все понял, — замельтешил Бронька под сильным, неожиданно хищным бодраковским взглядом. — Ни я тебе, ни ты мне — никто никому не должен.

— Об чем речь? Слово — олово, твердо, — пожал плечами Бодраков.

После свадьбы Бодраков весь отдался осуществлению своей главной идеи. А она заключалась в том, чтобы при меньшем количестве людей давать больше продукции. Людей меньше — продукции больше, опузатимся, братцы. Бодракову, в частности, припомнилось, как распинался один ученый из института охраны труда в сельском хозяйстве. Дескать, в кучу малу собираются, когда не умеют работать или же не хотят этому научиться. А ну как научатся да захотят все работать, где же тогда в деревне работы-то наберешься?

Побывал Бодраков у ученого, посидел с ним вечерок. "Город имеет будущее, но ему не хватает прошлого, — излагался ученый. — А деревня имеет прошлое, но каково ее будущее? И городу, и деревне недостает того и другого, а вместе у них есть и прошлое, и будущее, а значит, и настоящее, это прекрасно. "Это что-то особенного", — съехидничал Бодраков, но рекомендацию все-таки принял — начать с комплекса, а именно животноводческого.

И Бодраков создал хозрасчетную группу во главе с Природиным: этот мужик честный, вроде не жадный, дальше, чем надо, ото всех не оторвется. Финаген собрал коллектив. Изложил на конкретных примерах, как в сжатые сроки и меньшим числом можно спокойненько получать вдвое, даже втрое больше продукции, то есть привеса, и отсюда повесить зарплату. "А куда остальных девать?" — сразу набросились люди. И Бодраков лег на какое-то время на дно. Но легенда достигла Алатыря. Теперь Бодраков сидел как на углях: все, если что, начальство припомнит...

И вот в бодраковском кабинете раздался телефонный звонок, и голос, ну да, председателя райкома профсоюза Панкова, профсоюзного лидера, прямо-таки оглушил:

— Вот что, Финаген Ксаныч, у тебя намечено отчетно-выборное собрание, так что организуй, собери выборщиков, а я подскочу, я к вам назначен...

— Какое собрание? Оно же у нас, — удивился ярищенский председатель, — должно быть через год.

— Есть такое мнение.

— Вот что, — твердо сказал Бодраков. — Нужно вам — приезжайте, товарищ Панков, собирайте выборщиков сами.

И вот после этого Бодраков сидел в своем кабинете неподвижно, как мумия, не знал, куда себя деть. Придя, наконец, в

себя, Бодраков решил съездить на комплекс, к своему профсоюзному организатору Природину.

— Это они тебя, Ксаныч, учат, — объяснил Природин, — за все твои прегрешения. От рук ты у них, понимаешь, отбился. Покажет тебе руководство через Панкова кузькину мать. Помнишь в прошлую уборочную приказ из Алатыря: валить хлеб в валки? Панков, по-моему, и приезжал по этому поводу. Уехал, а мы опять за свос — пошли убирать напрямую, зато у всех подкошенное сгнило в валках, а мы с хлебушком...

— Не в этом дело, — кисловатым сделал выражение лица Бодраков. — Как известно, мы рожь даем странс, без нее черного хлеба не испечешь. Еще до революции провели отсюда до Риги дорогу, хлеб за границу качать...

— А теперь и самим не хватает, — усмехнулся горько Природин. — Воронь столько, что поле черное, некуда сссть.

— Ну и что вы думаете тут, на комплексе, с поголовьем? — переключился Бодраков на другое, сейчас более важное. — Телят три тысячи, а плановых шесть.

— Вот бы ты лучше во что вмешался, Панков, — заметил Природин. — Чтобы телят на откорм сдавали, для чего, спрашивается, тогда этот комплекс разгрохали?

— Ну а все же какие у группы планы? — переключился назад Бодраков.

Надоело переключаться, и Природин смолк. Бодраков в нем уже было засомневался.

— Тебе, Ксаныч, как, а? Если как на духу, то, думаю, обратиться надо к народу, — наконец подал голос Природин. — Сделай так: пусть на подворье держат по две-три коровы, а теляток сюда к нам, на откорм. И после продавать — частью нам в зачет, а частью — куда хотят. Хотя бы и через Трофима Тиганова, систему потребкооперации. Все равно стране, домой себе, людям, а не куда-нибудь в Эфиопию, — усмехнулся Природин.

— А коровенок чем крестьянину кормить? — снизу вверх взглядом полоснул по нему Бодраков.

— Зерновые надо наращивать, — ответил Природин, сам подумал: "Еще когда Тиганов Егор был главным агрономом, он предлагал это, ставил вопрос".

— Видал, где они у меня, зерновые, — во! — левой полоснул Бодраков по горлу себе, а правую положил на телефон.

— Ладно, не дрейфь, председатель, в обиду тебя не дадим. Кто-то приоткрыл дверь:

— Финаген Ксаныч!

— Не видите, занят! — отбросил окриком сго Бодраков.
— Работаю.

"Группа Природина любые привессы даст, ребятам лишь заплати. Десять их сейчас на комплексе, где требовались все пятьдесят..." И Бодракова повело на подсчеты, взяла верх крестьянская жилка. А почему бы и нет, не платить хорошо за продукцию? Все в тарелку другому заглядываем, все копейки в чужом кармане считаем. Десятилетия в стране упирались за фуфайку, за миску похлебки — в колхозах, на каналах, на ГЭСах, за колючей проволокой. После войны тени тенями бродили по свиноферме. Ладони у бабушки, помнится, были прохвачены до кости: брала в поле "замашку", тридцать копеек за трудодень. Фактически бесплатно люди работали — вот это шаг был, и куда, интересно, в какую такую формацию, в какую болезнь новизны? И в те же дни летели самолеты, плыли корабли, где-то давались банкеты, с экрана сходили веселые песни. И кто это все обспечивал? Кому-то, может, было и весело, контраст еще больший, места доставались и даже квартиры. А эти тени ходячие, недосдая, сами кормили таких хороших, которые их же и уничтожали как класс. "Кулачество уничтожим как класс!" Уничтожали крестьянство, кормильцев! В его, Финагенову, память накрепко засело из семейных преданий услышанное однажды, и что потом, и что потом... А было это в тридцатые годы. В среднерусской деревне, тут у нас, где же еще? Вечерком к ним, Бодраковым, забежал человек из сельсовета: "Ночью Артема Ветрова будут кулачить. Ваш Васек с ихней девкой гуляет, глядите!" Дед Финагена пошептался с женой — Финагеновой бабкой, достал из-за иконы чекушку. Хранилась там годы, на всякий случай. Запряг дед подводу, окликнул сына: "Едем за Нюркой". И привезли девку, ввели в дом, в состав семьи. А утром отец Нюркин — Артем, этот махровый кулак-кровосос, опрокинул стопарик с дедом, обтер губы, перекинулся: "Уф, хоть попробовал-то, горькая-я-я!" С тем и отправился на Соловки... А если народ кормить, так оно же, начальство алатырское, станет всем неинтересно, олухи царя небесного. Система завалится...

Кто-то опять приоткрыл дверь:

— Ксаныч, один сидишь, а сказали, работаешь.

— Думаю.

И опять отлетела дверь в сторону:

— Ксаныч, Панков приехал!

— Да не мешайте вы, сволочи! — выругался Бодраков. —

Враги явные и скрытые, лодыри и кипучие бездельники, гори все оно синим огнем...

"Ах, это Панков едет, по его душу? Не за прошлый хлеб, не по свежему случаю на зерноскладе. Панков едет сюда, в Ярище, за своим будущим хлебом, за кормлением. Но кончается, товарищ Панков, твоя командная жизнь, хватит дергать за ниточки. Хватит нам бедности, неустроенности, всей гнусности жизни при наших-то природных богатствах, хватит мешать друг другу работать и жить..."

В третий раз распахнулась дверь:

— Товарищ Бодраков!

Финаген с трудом оторвал голову от стола и увидел Панкова.

— Сколько лет, сколько зим, — шел к нему, протянув руки, широко улыбаясь, Панков. И остановился, не дойдя до Бодракова: — Ну как, поднял массы?

— Това-а-рищи! Кого я вижу? — сделал на своем лице еще более широкую, вот такую улыбищу Бодраков и тут же смахнул ее с лица, как и не бывало. — А зачем?

— Как же, — уловил Бодраков в голосе Панкова изобидную нотку:

— Я же тебе говорил. Дай команду, собери выборщиков, будет отчетно-выборное собрание.

— Нет, команды пока не давал.

— Почему? — сузились и без того не слишком широкие глаза Панкова.

— А потому, что рано еще, — твердо сказал Бодраков. — У нас отчетно-выборное должно быть на тот год, в крайнем случае в конце осени, по итогам.

— Что же ты думаешь, — сразу жесткими, колючими, даже злобными сделались глаза Панкова, — мы тебе до конца года позволим тут куролесить?

— Вот вы, товарищ Панков, сами выборщиков и собирайте, — повернулся спиной к нему Бодраков и, провожаемый множеством глаз, вышел из красного уголка.

Никаких выборщиков Панков собрать, конечно, не смог. Крупный разговор Бодракова с Панковым разлетелся осколками по Ярищу, обсуждался в каждом подворье: Бодракова гонят взашей, и за что? За то, что осенью он дал народу комбикормочку и сейчас на комплексе людям хочет дать заработать. Новости дополнялись личными впечатлениями, уж в чем в чем, а в этом-то Коротеева была превеликой докой. Поползла даже такая "чернуха", что, мол, Панков приезжал за-

бирать Бодракова с пистолетом, отсюда сразу в милицию и на Соловки. Другие возражали и приводили неоспоримые аргументы: что это тебе, тридцать седьмой, что ли? Сейчас это делают деликатно: сначала шьют какую-нибудь "дуру", бесчестят перед народом, а уж потом устраниают. Куда он, меченый: ни вякнет, ни квакнет. И зачем колючая проволока? Колючая проволока нам уже не нужна. Дюже хлопотно, шуму много, и опять же после надо куда-то пристраивать человека, следить за ним, чтобы держался. А то сам пусть на себя и рассчитывает в окружающем мире с подавленной экологией. А чтобы мир этот больше не окружал, чтобы от тебя не шарахались, как от холеры, чумы болотной, — люди добрые, будьте бдительны, сопротивляйтесь! А кто сопротивляется, того еще больше бесчестят. Вот какое-колечко, моток на горло.

Эх, да что там! Чтобы другим неповадно было, бьют по мужикам, как по мишени, и по трем направлениям: водка — бабы — деньги. Кучно и вразброс, в любых дозах и сочетаниях: деньги, водка и бабы, а может быть — бабы, деньги и водка. Могут быть только два из них и даже одно штришком, какая разница. Может быть червивка где-нибудь в подъезде костью в горло, а может быть и коньяк разливанной рекой мимо глаз. За мысль, за "рупь" — голову с нашего брата, а за квартиру сыну какого-нибудь погорелого лидера из профсоюза — в свиту к себе, как Панкова...

Все в Ярище насторожилось, понимали люди: не с Панковым сцепился Бодраков, а с Распоповым — головой, с самой Системой. Но кто же в народе потерпит насилие? Бодраков в этом случае был стороной слабой, терпящей, и потому даже те из ярищенских, что недавно кляли, кострошили его, раскладывали на лопатки (да когда же его наконец черти от них куда-нибудь денут!), — даже те прикусили язычок, попритихли. Стали ждать, куда оно вывезет. А вынести Бодракова должно было в ту трубу, в какую дуло начальство. Мордовцев в своем сельсовете говорил об этом теперь уже как о факте свершенном, поминал Бодракова только в прошедшем времени. Даже в состав президиума не включил в День милиции. Главное — кто теперь будет вместо него, вот что интересно. И только Тиганов Трофим на все вопросы Мордовцева о Бодракове отвечать уклонялся: стыдоба брала, что ли. Что-то не то, не по-людски это. Трофим уже пожил на свете, знал, что в жизни бывает всяко. Нехорошо кидать камень в тонущего человека, испокон на Руси не бьют лежащего.

И только на комплексе народ был настроен оптимистично: раз мы не хотим, значит, хрен у них что получится. Сколько можно быть тягловой силой, скотинкой, соглашаться во всем. Пусть хоть раз услышат мнение людей, а то только и знают, что сами и долдонят, и долдонят — слуги народа.

И началась к собранию артиллерийская подготовочка, применены были против Бодракова всяческие средства. Первым делом приехали с проверкой соседи из соревнующегося хозяйства, из Алексеевки. Привезли с собой агитбригаду. Пока одни давали концерт в школе, другие шуровали по кабинетам правления, заглянули на склад. Однако отразили в договоре о соцсоревновании, что и у ярищенцев тоже все так же неплохо, как и у них. Конечно, есть отдельные недостатки, но на то они и недостатки, чтобы с ними бороться. А новый алексеевский председатель Петраков, прощаясь, шепнул Бодракову:

— Отчего Распопов карты тасует? Чтобы все были краплены. С одной стороны, отвечать не за кого. С другой стороны, вот мне, например, пока не за что отвечать, всего третий месяц работаю...

— Это факт, это точно, — шевелил Бодраков сухими, истресканными от большой внутренней силы устами. — Ты за чужие грехи не ответчик, они тебе через годик-другой свои пришпандорят... Корпус нужен Распопову новый, свой в доску, из его выдвиженцев.

— Какой корпус?

— Ну, председателей, командиров производства, — пояснил Бодраков. — Чтобы лично обязаны были, соглашались на все. Ну, что ты — маленький? — И опять его потянуло на одесситский манер, нахватался у этого черта, у Броньки. — Когда на все соглашаются — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного.

После алексеевских в Ярище приехали уже кто посерьезнее, из райцентра. Целая свора, десант. Высадились из автобуса, даже не представились Бодракову. Разбрелись, как куры, кому куда надо. И стали интересоваться бумагами в бухгалтерии, встречаться с людьми. В кладовке у Сафонова все одеялки пораскидали, четыре стакана разбили. В одном месте представители кулаками стучали, в другом — требовали каких-то признаний. Сообщения, как с фронта босвых действий, поступали в кабинет Бодракову. Наконец, вся в слезах, влетела к нему Коротесва, экономистка:

— Финаген Ксаныч, я больше так не могу! Изымают документы, забирают с собой, после скажут: их не было.

И тут на пороге кабинета появился Панков. Только-только подъехал на "Ниве" из города. Оказывается, он был закреплён как старший за этим "десантом".

— Слушай, уйми свою банду, — сквозь зубы выдавил Бодраков. — Не то народ поднимется и вилами вас повыбрасывает.

— Что ты, Финаген Ксаныч, — тихим, вкрадчивым голосом заговорил Панков, пряча улыбочку в мелкие свои мутноватые глазки. — Это мы еще по-божески. Вот из области собиралось к вам КРУ, так те звери, из пальца компромат высосут.

— У нас тут сосать нечего! — обрезал Бодраков. — Сосите грязь свою из-под ногтей. А ты убирай отсюда свою шарагу, Панков. И пусть приезжают серьезные люди, а не эти твои любители жареного-пареного, непереваренного.

— Ну, хорошо, — сказал скромно Панков. — Я так и доложу.

— Вот-вот, и докладывай, — ответил в тон ему Бодраков и махнул на дверь: — Да закрой ее, пняешь, с той стороны.

Команда Панкова отбыла в Алатырь, но теперь ожидали команду из области — это самое КРУ. Это таинственное контрольно-ревизионное управление, наводящее на всех страх и ужас. После него остаются только пепел, стенанья, разбитые судьбы.

В Ярище, однако, приехал от КРУ старичок в затасканной болоньевой курточке и утепленной зимней фуражке, очевидно, времен своей молодости. И с таким же потрепанным чемоданчиком. Самое странное, что было у старика, — это руки: длинные, худющие, они висели жердями ниже колен. "Обезьяна! Сколько народу ими, небось, передавил," — косились конторские на ревизора-людоеда, перед которым, по некоторым данным, трепетало не одно поколение совслужащих в области.

Старичок сунулся в бухгалтерию, повертел два-три документа, вернулся назад к Бодракову. Раскрыл чемоданчик, стал извлекать оттуда банку с вареньем, батон, пачку чаю, плавленый сырок, коржики и котлетки.

— Можно у вас кипяточком разжиться? — попросил он Бодракова каким-то особым, извинительным тоном.

— Коротеева! — крикнул Финаген в приоткрытую дверь. — Чайник принеси, человек просит.

Пока несли чайник, ревизор раскладывал провизию на своей же бумажке, это с краю бодраковского стола, и между

тем говорил все тем же особым своим, уже старческим, дребезжаще-извинительным голосом:

— Я — Финагенов, слышали? Ревизор КРУ, такое страшило...

— А я — Финаген, — улыбнулся Бодраков. — Вот интересно, ну-ну.

— Финаген? — усмехнулся старик. — Редкое имя... Так вот, я воров, жуликов ощущаю особо. Я, наверно, таким родился: выводить их на чистую воду, очищать атмосферу. Иногда меня спрашивают: и не жалко тебе, Финагенов, сажать людей, ведь у них же дети, семья? Да вы, как вас, Финаген Ксаныч? да вы угощайтесь, угощайтесь, не надо стесняться. Котлеты жарила моя старушка, провожая сюда к вам в командировку, так что качество гарантирую... Вот и чаек прибыл. Сейчас чайку попьем, и жизнь повеселеет. Вам, Финаген Ксаныч, сюда налить, в эту алюминиевую кружечку, или в пиалу? Хорошо, в кружечку, алюминиевая, как в тюрьме. Так вот, говорят, у них же дети, семья. А у тех людей, у кого они отрывают кусок, у них что — нет детей, так, Финаген Ксаныч?

И старичок Финагенов впился глазами в Бодракова, глядя поверх кружки с чаем, парующей от избытка энергии.

— Так, так, — кивал ему Бодраков, прихлебывая чаек из алюминиевой кружки, — никогда бы не подумал, что вкусно так пить из "тюремной"-то кружечки.

— Слухи впереди человека катятся, — вприхлебку поглощал свой же чаек старик Финагенов, и взгляд его отмякал, уже почти ласкал Финагена и вдруг зырь-зырь на него из-под бровей: — Разве не так?

— Так, так, — не смутился ничуть Бодраков.

— Так вот, слухи обо мне люди нечестные распускают, ворюги, — вздохнул кратенько старичок. — Меряют все по себе: не беру — значит, себе на уме, самый страшный для таких человек...

Финаген сидел, слушал старичка Финагенова, старичок убаюкивал, убаюкал настолько, что Бодраков едва не вздремнул. Эхма, все воюем, война мерещится в жизни, на войне помешались, а тут, нате вам, перемирие, семейная обстановка. И так накатило вдруг на Бодракова, нервы, извините, подразвинулись в последнее время, что он возьми да и расскажи старичку за один мах про все, что сейчас переживает: и про сверхплановое зерно, выметенный начисто, под метелочку, склад, и про Распопова — этого подлеца, по которому

плачет лобное, а не руководящее место, и про комплекс, про угрозы Панкова, про все эти ревизии, комиссии, про тюрьму в отдалении, где-то за горизонтом, даже один тут крутился из госбезопасности, правда, по поводу тех еще, военных преступников, которые, как всем известно, давно уже сгнили, будь они трижды неладны, гори все оно синим пламенем, карасину на такое дело не жалко...

Добили чайник. И старичок-моховичок вдруг засебился в Алатырь, к последнему автобусу, ночевать не оставался.

— А к-как же проверить... к-как следует? — воспаленным оком воззрелся на него Бодраков, помогая восстанавливать обратно в чемоданчик банки с вишневым вареньем. — Я же экономический бандит, я же черт-те чего наворочал, я колхоз пустил по ветру.

— Как следует? — удивился старик Финагенов. — А за-чем? Воры со мной чай не пьют, не выдерживают.

* * *

В день, на который было назначено отчетно-выборное собрание, с утра пораньше в Ярище явилась милиция. Приехали из Алатыря на своей сине-желтой машине, покрутились по селу и укатили, остался один участковый Семен Клевцов, их ярищенский землячок.

После обеда к клубу стал подтягиваться народ, подходили ближние тут на своих двоих. Подъезжали, кто на чем сумел, дальние: из Тигановки, с Лыково, Житеня, из Волчьего Шляха — из первой и второй бригад. Кучковались, стояли все молча или в редких словах. А потом, как прорвало, заговорили о главном: о Бодракове. "Бодраков и Распопов", — только и слышалось.

Коротеева, экономистка, без конца звонила в Алатырь по поручению, докладывала обстановку. Кворум, конечно, был. И, конечно, все тут было в порядке.

Райисполкомовская машина сначала подъехала к комплексу. Распопов вышел из "Волги" и на виду у всех, отведя Стешку под локоток в сторонку, наклонился поближе, от него пахло французским одеколоном "Шале №5", прошелся с ней в сторону легким, прогулочным шагом:

— Ну как, Стеша, жизнь?

— Светлая, — пожала плечами Стешка (от нее пахло еще и телятами, комбикормом).

— Есть предложение, — наклонялся Распопов к ней все

ниже, ниже, к самой шее, — баллотироваться тебе в райсовет вместо умершего депутата.

— Умершего?! — так всю и передернуло Стешку. — Есть же люди, которые работают дольше и лучше меня.

— Депутат должен не только примерно трудиться, — показав свои верхние зубы, объяснял ей Распопов такие простые истины. — Он обязан иметь еще и другие немаловажные качества — быть лидером. За ним должны идти люди, ты меня понимаешь?

ХIII.

"Не успел сесть, а уже забронзовел", — разглядывал Тиганов Егор в президиуме Распопова.

А зал Ярищенского клуба был полон, ну просто битмя набит. Пришли даже те, что по старости не выползали и на порог. Даже из Алатыря приехали те земляки, что там по задворкам шастают по причине низкой городской квалификации и жизненной неустойчивости, несмотря на то, что родители им туда суют и суют, да все как в прорву: несытна городская утроба. В общем, все пришли, заполонили зал. Но была тишина, тишина была гробовая. Бодраков свел в речи концы с концами, не сказал, конечно, ничего откровенного и присел по уму — сзади, в спину президиуму. Как будто он уже тут никто, не председатель. А Природин занял позицию в первом ряду зала и все назад чего-то оглядывался: то ли подсчитывал ресурсы, то ли своих воодушевлял.

И до того в президиуме все такие оптимистические. И предрик Распопов, и Панков — председатель райкома профсоюза, и еще какой-то чин из Алатыря, кажется, начальник райсельхозуправления. И Мордовцев, естественно. И вот после Бодракова трибуну оседлал Распопов, а вместо него подрядился вести собрание Панков.

И когда Распопов, как обычно, поднял сначала международную тему и сам поднялся, как на Алисову горку, так что не мог слезть оттуда, Егор улыбнулся многозначительно, оценил класс. Вспомнилось, как в Подшибякино недавно открывали район. Они все на одну колодку, эти начальники, медом их не корми — дай заклеить империализм и прибавочную стоимость. Такие из этого сделают выводы, что, как в трамвае в час пик, косточки затрещат. Но, куда денешься, едем, чтобы не застрять в том периоде, который назовут позже "застойно-застольным". Так что слова застольные всякие

(заметили?) в реальности на каждом шагу попадают, хотя, конечно, это и раздражает ненасытного человека.

Так вот, говорил, говорил Распопов про Латинскую Америку (очень уж Латинская Америка ему приглянулась, родственники, что ли, там завелись или книжонка в руки попала про эту Венесуэлу), и когда приблизился наконец Распопов к Яришу, у Егора Тиганова закралось сомнение: уж не спутал ли тот латиноамериканскую Венесуэлу с итальянской Венецией, ибо именно в Венеции побывала на днях наша культурная делегация — представители областного аппарата, а в Венесуэле давненько что-то ничего хорошего не происходило.

И когда Распопов выложил вдруг, что при Бодракове и в Ярише тоже ничего хорошего, тут-то и поняли все, куда ветер дует, с какого такого Атлантического океана. И дед Бобырь, он же по-уличному Колчак, колченогий — одна нога и в пару ей ноль, пять десятых другой, тут же выпер с вопросом:

— А как же это знамена?

— Какие знамена?

— Какими у Бодракова был набит кабинет? Зайдешь, бывало, некуда сесть.

— Там теперь-то свободно, дедок, — улыбнулся Распопов и мелко-мелко отпил из стакана. — Приходи и сиди — это можно. Вишь, никаких знамен. Все — в прошлом.

— И куда же вы их подевали? — наострил бороденку Колчак.

— Что подевали?

— Знамена. Кому это вы шелк знамен наших определили?

Панкову как человеку было известно, что знамена эти подъели мыши, надо держать шелк в чехлах, а не валить, понимаешь, в угол — реликвию. Но Панков как ведущий собрание не обратил решительно никакого внимания на Колчака. А зря. Колчак знал, что сказать, "мелкая сошка", "морда эта белогвардейская". Потому что по крайней мере половина присутствующих сразу же ошетичилась: как это — наше кровное и кому-то отдали? Мы за них горбачили-горбачили, руки не покладали, а они взяли их и отперли кому-то не за здорово живешь.

— Да ведь знамена-то переходящие, — ответили из президиума. — Вот они и перешли.

Ну, тогда об чем речь? И хорошо, что ушли, да? Пусть другие тоже нашим попользуются.

И Панков поспешно предоставил слово Чемодурову, как

бригадиру и депутату, пока активисты зал не завели. Сперва Чемодуров погнал лодку в одну сторону, потом покрутился на месте и стал гнать ту же лодку обратно. "Короче! — строго предупредили его. — Каково ваше предложение?" — "А предложение такое: ни мне Бодраков ничего не исделал, ни я ему. Ничего хорошего, ничего плохого".

Тут уж сам Распопов, который присел после доклада и орлом смотрел в зал, сам Распопов не выдержал, подскочил, как подпружиненный, на месте:

— Короче, соответствует Бодраков или не соответствует?

И глядел нагловато то в зал, то на Чемодурова, то обратно в зал.

— Соответствует! — закричали из зала. — Какая действительность, такой и Бодраков. А действительность у нас, недаром радио с утра до ночи звенит, расчудесная.

— Я говорю, соответствует ли должности? — тут же поправил себя Распопов. — По Сеньке ли, говорю, шапка?

— А что ж теперь, Сеньке по шапке? — засомневались в своем начальстве рядовые колхозники. — С какой силой водружали, с такой же силой теперь и сгоняют. Была Светлана предриком — держала его, знамена давала. Сменилось руководство в районе — других ему подавай. А что Бодраков лично себе приобрел, чем злоупотребил, чтобы его заклеить?

— А что скажет по этому поводу заведующая комплексом? — нашел Распопов глазами Стешку в первом ряду. — Вот вы что скажете по этому поводу?

— По поводу ничего, — покраснела Стешка под тяжелым, давящим взглядом начальства. И откинула гордую голову, Стешка не любила насилия. — А вот про Бодракова, председателя, ничего плохого сказать не могу. Я недавно здесь, может, люди чего хорошего скажут. Он плясать умеет и частушки поет, пел на свадьбе...

Весь зал оживился. Раздались аплодисменты, это — молодые из города:

— А ну, Бодраков, врежь, да покрепче, с картинками!

— Нет, а что скажете по Бодракову как по председателю? — вскочил Панков и стал помогать Распопову добиваться, чего нужно, от Стешки.

Что-то подтолкнуло Егора Тиганова, так всего и передернуло, это в нем оказалось сильнее его самого.

— Не насильничайте! — выкрикнул он из зала. — Чего к человеку пристали?!

И Панков живо предоставил слово новому начальнику

райсельхозуправления товарищу Ворону. Как специалист, как лицо, отвечающее за порученный участок, он стал раскрывать общую картину неустанного снижения деятельности колхоза "Светлый путь", э, "Светлая жизнь", по основным показателям. Наметился спад, появились долги, хозяйство залезло в карман государству. И вся беда именно в Бодракове. Да, товарищи, в Бодракове. Утрачено доверие, потеряны руководящие качества. А вот если сюда поставить энергичного, знающего человека, способного решать любые вопросы, так все это можно поправить. В наших же общих интересах двинуть хозяйство на привычную высоту. И такой человек у нас есть. И он здесь присутствует. Вот он — товарищ Панков, авторитетный товарищ, ныне председатель райкома профсоюза работников сельского хозяйства, который дает согласие пойти сюда к вам и возглавить этот трудный, отстающий участок.

Начальник закончил и, глядя на Распопова (ну как?), присел рядом с ним.

— Ворон ворону глаз не выплюнет, — на весь зал констатировал дед Бобырев, по-уличному Колчак.

И все зашевелились, задвигались, загомонили. Кто-то предложил перерыв — надо это дело обмозговать. Серьезный вопрос, так, с кондачка не делается. И прервано было собрание. Вышли все маленько развеяться, перекурить.

В фойе Бодракова сразу взяли в кольцо. Близкие люди советовали: да покайся ты им, побей себе в грудь да возьми им повышенные обязательства. Семен Клевцов, участковый, переходил от одних к другим, уши топориком, но при его приближении все либо умолкали, либо говорили настолько обиняками, что тот, как уж давно из деревни уехавши, ни черта не улавливал. За время, которое Семен прокантовался в Алатыре, в аппарате райотдела, деревня успела выработать такую иносказательщину, что надо было заново все постигать, осуществляя связь прошлого с настоящим, жить в народе, чтобы хоть что-нибудь в природной среде шурупить.

И тут на пороге Дома культуры рыкнул баян. И разливанное море звуков остервенило фойе, пошло колотиться по гулким, пустым помещениям. Это пришел Виталий Витальевич, главный агроном — талант, светлая голова. А что, пускай повеселит народ в перерыве.

Виталий Витальевич перебрал несколько мелодий и остановился на самой-самой, Виталий Витальевич врезал "русского". И тотчас отчаюги бросились в круг. Среди них

оказалась и Нюра Чернова — доярка, тамада-воевода, без этой нигде ничего не освятится. И закружилась она, притоптывая, заохала, заиграла частушку:

— Ох, да я бабенка хоть куда:
Под бочок подруливай.
Ох, да что огонь — моя звезда.
На, бери прикуривай!
— Ой я — ова,
Оля Землякова!

Удалые, в такт Нюрке били в ладони ярищенцы.

И совсем молоденькая Нина Синюткина приняла Нюрин вызов:

— Ой я — ова,
Оля Землякова!

Притоптывало, помогая Синюткиной, все отчаянное фойе.

И начальство заинтересовалось, подошло поближе сюда, ко всем, улыбаясь многозначительно. Навалились на крайних, заглядывая, эти начальники, во счастье подвалило. Как налог холостяцкий с тебя, исходя из шести процентов к зарплате, хотя во всех графах, где указывается уровень жизни, тебе непременно ставятся все сто процентов. И Чернова Нюра, эта бабенка несохладимая, выскочила на народ (всегда должен быть ее верх), оглядела "пятак" и пригрозила Синюткиной пальцем:

— Если что не так сказала,
Если что не так скажу,
За троих соображала,
На троих соображу.
— Ой я — ова,
Оля Землякова!

— грохотал, улюлюкал Ярищенский клуб.

И дробила Чернова Нюра пол перед Бодраковым, вызывала в круг председателя. И сорвался, как дверь с петель, Бодраков.

После перерыва в зал заходили уже по-другому настроенные. А ничего хорошего для начальства. За короткое время все успели подумать про себя и про берег, какого надо держаться. Не успели открыть заседание, как Чернова Нюра тут же попросила высказаться.

— Предлагаю! — с места выкрикнула она. — Виталию Витальевичу, агроному нашему, десять процентов к зарплате.

— За что? — старался утихомирить зал этот Панков, опять забирая бразды.

— Что народ веселит! Дает уверенность.

— У н-нас и т-так все ув-верены... в завтрашнем дне, — растерялся Панков и, найдя стежку, укреп окончательно в голосе: — И так на шее у государства сидим, государство все сдюжит, да? Слышали, что зачитывалось по хозяйству, какая неприглядность?

— У нас в районе все в долгах, как в репьях, — развернулась Нюра Чернова богатым торсом, сама лицом к людям, а к Панкову спиной. — Работаем-работаем, и все нам нельзя, ничего мы не можем. Предлагаю доплачивать агроному десять процентов, чтобы он всегда откликался...

— Что это вы развеселились? — прервал ее наконец Панков. — Праздник, что ли, сегодня? Деловое собрание.

— А мы так редко встречаемся, что собрались — и праздник, — твердо стояла на своем Нюра. — Праздник нынче, в панихиду собрание не превращайте.

— Хорошо, Нюра, — живо поднялся Распопов, чтобы окончательно не потерять рычаги. — Я тебя, Чернова, еще с той поры помню, когда боролись против закрытия школы в Тигановке. Ну что ж, предложение законно, собрание правомочно. Ведите собрание, товарищ Панков. Ставьте на голосование.

Не успел Виталий Витальевич и глазом моргнуть, как имел уже десять процентов надбавки: так собрание постановило.

— А теперь давайте подходить к главному вопросу — о председателе, — используя момент, приподнялся Распопов. — Как я понял, тут было одно предложение: кандидатура товарища Панкова.

— А Бодраков? — прозвучало откуда-то из-за президиума.

— А Бодракову другую работу подыщем, — обернулся Распопов на голос. Зал насторожился. — И не хуже этой, тоже руководящую.

Зал никак не реагировал на слова Распопова.

— Нам и Бодраков хорош, — опять встала Нюра Чернова. — Видали, как Бодраков частушки голосит?

Вот за это Распопов с Вороном, начальником райсельхозуправления, и ухватились. Сами понимаете, какая несерьезность: не председатель, а ансамбль песни и пляски. А Панков — человек основательный, проверенный, впряжется — потянет, и мы ему навстречу пойдем, чем можем — поможем...

Тут еще Сенька Клевцов в своей новой фуражечке мелькнул в проеме двери. И Панков зачитал приветственную телеграмму из Орла от облсельхозуправления в адрес собрания. И

совсем было уже зашаталось народное мнение, но тут поднялся Природин и рассказал, какое новое дело они с Бодраковым затевают на комплексе: десять — пятнадцать человек, а производительность как от пятидесяти, представляете?

И тут что с Распоповым произошло: как прижгли ему одно место. Вскочил Распопов и понес по кочкам Евсея, напомнил даже про свое высокое положение и положение нижестоящего в зале Природина.

— Вы что же это?! — кричал он, аж слюни клубом. — Вы что — подрубить хотите достижения? А куда людей девать, создавать армию безработных? Мы на это решительно не пойдем!

— Кто это мы?!

И Распопов так по столу грохнул кулаком, что стакан перекинулся и вода по скатерти потекла, со скатерти на пол, хорошо еще, что не молоко или не какая-нибудь другая светлая жидкость иного, чем вода, рода. "Чем вода — рода, чем водорода," — застрял на этом самом месте Тиганов Егор. И люди вдруг увидели Распопова, как он может кулаками грохать да свои городские, районные трудности на село переваливать. И упорство всех взяло, уперлись, как один: не хотим вашего Панкова, он у нас прошлой осенью зерно едва не отобрал, скот домашний чуть ли не оголодил, нет, не хотим Панкова, и все, баста. А за всех, за каждого не расписывайтесь, нам это не надо, у каждого своя голова на плечах.

И Распопов, как бык, уперся: нет, только Панкова.

Тут опять вскочила Нюра Чернова и внесла новое предложение.

— Раз так, ладно, — сказала она. — Предлагаю другую кандидатуру, которая, думаю, понравится. — И, глядя на Панкова, стала характеризовать: — Человек он серьезный, проверенный на высоком посту, предприимчив — потянет...

Распопов кивал головой, довольный, просто бальзам лила она ему на душу, эта Нюра Чернова, доярка.

— ...И навстречу пойдем ему, чем можем — поможем, — закончила Нюра, умница, какая память хорошая, и перешла непосредственно к кандидатуре. — Предлагаю, — и тут она повернулась к Распопову, — самого уважаемого, самого проверенного человека в районе, потому мы доверяем, который единственно может вытянуть нас из разрухи... вот вас, товарищ Распопов!

Все звуки в зале как бритвой срезало. Слышно было, как древоточец точит багет в фойе на портрете, а в подвале от грибка на куски распадается бетонное перекрытие.

— Нет, ну что вы, — засмеялся вальяжно этак Распопов, но аж слезы выступили, как гвоздь в темя ему заколотили по самую шляпку. — Это же несерьезно, товарищи. Несolidно, шутка какая-то. Если вместо каждого председателя колхоза предлагать председателя райисполкома, что получится? Никакого предрика не хватит, меня просто разберут по частям, ха-ха.

— Зачем же на место каждого? — медленно поднимался Природин во весь свой могучий рост. — Именно к нам сюда, правильно, на трудный участок.

— Да не могу же я в самом деле, — взмолился Распопов. — Вы что? Весь же район у меня на плечах.

— Мы напишем в область, попросим, чтобы вас отпустили. Попросим? — обратился к залу Природин.

— На место предрика живо найдут человека, а вот на это — попопробуй.

— Ну что вы, дорогие мои, — как аллергией всего облило Распопова, вспыхнул он маковым цветом. — Это совсем не смешно. Я облечен доверием района, я в районе народная власть...

— Доверяем Распопову! — слышались выкрики из зала. — Сюда, в нижнее звено, на укрепление! Ставьте на голосование! А то Панкова привезли! Вы зоотехника своего, что в тот раз привозили, заберите обратно!.. Дядя, дай порулить! — взвизгнул кто-то возле двери, и весь зал грохнул, как будто с самосвала наземь грохнули кирпичи, а потом все затихли, серьезные: хулиганство какое, в балаган собрание не превращайте.

Распопов наклонился и стал что-то быстро нашептывать Ворону, остро взглядывая на дверь. Ворон кивал головой, соглашался. Потом встал, взял на себя инициативу.

— Собственно говоря, — сказал он, продолжая собрание, — Панков — это не моя кандидатура. Мое предложение было оставить на месте Бодракова.

— Верно, оставить! — поддержали из зала.

— Помочь человеку выправить положение...

— Помочь, помочь!

— Так что я лично поддерживаю большинство в зале, — заключил Ворон, начальник райсельхозуправления. — А как вы, товарищ Распопов?

И Распопов помедлил, поднялся и, уже улыбаясь, прошел к Бодракову легким, отчетливым шагом.

— На! — протянул он Бодракову руку и что-то в руке.

— Что это?

— Ключи от сейфа, — пояснил залу Распопов. — Бери и руководи районом.

— Ключи-и??! — ахнул зал и затаился: что же дальше-то будет? Даже Бодраков на момент опешил.

— Вот то-то и оно-то, — живенько положил Распопов связку ключей обратно себе в карман.

— Поняли? Каждому — свое, пняешь, да. Каждый делает то, что может. А Бодраков у нас, пняешь, даже не депутат.

И тем же легким, отчетливым шагом Распопов возвратился обратно к столу президиума, к краю сцены. Зал был застигнут врасплох.

— Дорогие мои, друзья, — сказал Распопов, довольный созданной ситуацией. — Сегодня тут для меня большой, знаменательный день и большой жизненный урок. Я лично выношу вам сердечную благодарность за доверие, это меня окрыляет. Мне это очень дорого, что вы, простые колхозники, доверяете мне, своему председателю райисполкома. Так сказать, незыблемостью своей позиции вы подкупили меня. И я подумал: может, действительно, в этом залог ваших будущих успехов, нового взлета? Товарищ Ворон, возможно, был прав, когда там, в районе, предлагал оставить Бодракова. И я, собственно говоря, был не так уж строго и против. Думаю, что нынешний день послужит уроком и для Бодракова...

Итак, я не возражаю против предложения оставить одну кандидатуру на пост председателя колхоза — Бодракова Финнагена Алексаныха. Товарищ Ворон, ставьте на голосование...

Первым к Бодракову подошел с поздравлением опять же Распопов. Сказал, улыбаясь, что, собственно, и не сомневался, по-другому и быть не должно. Все в Алатыре привыкли связывать хозяйство с именем Бодракова, и без него, Бодракова, Ярище было бы просто нелепо. "Просто нелепо, вот именно", — повторил Распопов в конце. С тем и сел он, но уже злой, без тени улыбки, в свой "бугровоз" и рванул на Алатырь. На второй белой "Волге" тронулись следом Ворон с Панковым. Умчались, и нет их, как и не бывало. А Бодраков при печати остался. На сей раз пронесло, а проблемы остались, ничегошеньки не изменилось. И легкое разочарование зависло над всеми, как ядовитое облачко, которое все росло, разрасталось, пугало кислотным дождем. Ничего еще не было сказано, слово не произнесено, но иные в Ярище уже стали прикидывать: а не надули ль их эти артисты, оставили им Бодракова, может, так оно и задумывалось?

И только Природин и кто был в группе с ним не сомневались. Они по-прежнему вкалывали на своем участке, на комплексе, но уже с сознанием, что именно они спасли Бодракова, вот только надо ли было его спасать? И Егор, поджидая Стешку, чтобы ехать домой в Тигановку последним автобусом, отчего-то подумал о Бодракове: "Как к печати прирос! Как за место цепляется, просто жуть".

Последний автобус мелькнул, унося на взгорок золотые сиятельные огни. А Стешки все не было. И глуховато сделалось на остановке. Загудели, завывли ветра в жидковатых ракетах, и ветра те подхватили газету, былки сухие, мусор всякий и закрутили прямо перед носом Егора, а покрутив, пока не надоело, кинули все это от Егора в сторону Ярища, туда, к Бодракову.

Дыши-дыши, Финаген Ксаныч, хлебай досыта, делай запас кислорода на всякий случай, на вски вечные. Богу — богово, кесарю — кесарево, а Финагену — Финагеново, каждому, как говорится, свое.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

— Огонь в бумагу не завернуть.

— А дым свой глаза не выест.

(Из разговора).

I.

В область на прием к Старику Бодраков отправился тут же, на другой день. Аппаратчикам известна древняя, как миф, истина: кто прежде приносит весть, у того преимущество.

Бодраков сидел в приемной битых три часа. Прежде такого не бывало. Обычно Бодракова пропускали в главный кабинет области если не первым, то третьим хотя бы, после какого-нибудь зав. отделом или генерала. Сейчас Бодракову давали выдержку, он сидел, ощущая на плечах груз прожитых лет и свое ничтожество.

Стрелки на часах едва двигались, но Бодракова не усыпляли. Здесь нельзя дремать, здесь надо быть начеку. Одно неосторожное слово, неосторожное действие — и последствия непредсказуемы.

Шмыгали с бумагами какие-то женщины. Звонили из внешнего мира — помогались приема. Секрестарша — благородная, по-екатеринински царственная особа — давала четкие, натренированные ответы, отсылая в нижестоящие организации и учреждения, по памяти называя фамилии, номера телефонов. И только однажды она позволила себе расслабиться, сказав кому-то на том конце провода, видимо, очень близкому человеку, что у нес тут, сами знаете, небольшая зарплата, кто же тут, извините, за такую зарплату, кроме нее, будет работать. Однако начальство ценит ее, и она всем довольна.

"Тут все должны быть довольны", — едва подумал Бодраков, как пискнул внутренний телефон, и секретарша предупредила: "Подготовьтесь. Сейчас доложу, — и исчезла за массивной дверью. — Пожалуйста," — появилась она, оставив дверь приоткрытой, — таков ритуал.

Бодраков долго шел по ковровой дорожке. За время, какое они не виделись, Старик заметно сдал. Однако по-прежнему над ним возвышалась все та же шапка седых, бело-молочных волос. Как будто и не было за плечами жизни, диабета и прочих болезней, о который знала вся область. Старик вышел из-за стола и протянул Бодракову вялую руку.

— Чем могу быть полезен, Финаген Алексаныч? — произнес он все тем же слегка серебристым, поставленным голосом. И Бодраков удивился: как это голос у него не меняется, звучит, как и звучал обычно по радио, с высоких трибун, помнится, даже с трибуны съезда.

— А голос все тот же, — позволил Бодраков себе улыбнуться и отметил искорки в глубине глаз Старика. Значит, помнит, как лично в Ярище привозил делегации.

Бодраков знал: говорить надо кратко и точно, не растекаться мыслью по древу, у Старика нет на это терпенья. По первым ответным репликам Бодраков понял, что Старик уже в курсе. Значит, надо просто просить о поддержке.

— А чего, мы можем предложить вам неплохую работу, — Старик говорил медленно, значительно, отделяя каждое слово. — Здесь, в Орле. Скажем, главным по дикой фауне. Вы же не прочь поохотиться... хм, на "синего лося". Полагаю, что вам подойдет.

— Да, конечно, — Бодраков чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Все, оказывается, уже решено.

— Но я бы попросил пока оставить меня на месте. Хотя бы еще один год. Проверить. Прошу вас...

— Ну, хорошо, — вздохнул Старик, обремененный тяжелым грузом правления. — И это все?

— Все, — сказал Бодраков, тоже приподнимаясь.

— Ну что ж, — склонил свою белую шапку Старик. — Я полагаю, в вашей просьбе нет ничего невыполнимого. Всего доброго.

Едва спина Бодракова скрылась за дверью, Старик нажал кнопку — вошла все та же строгая, екатеринински царственная Секретарша.

— Свяжитесь с Алатырем, — сказал он тихо, совсем тихо, она умела считывать с губ и фиксировать тут же, держа блокнот перед собой.

— Пусть подготовят, э... этому человеку замену.

"Думает, я забыл его", — расслабился в кресле Старик.

В Ярище Бодраков вернулся в хорошем расположении духа. Однако, поразмыслив, решил, что лучше жить, как и жил: на бога надейся, а сам не плошай. За годы председательствования Бодраков успел приглядеться к алатырским "сидельцам", сумел составить о них свое мнение. Во всяком случае, плетью обуха не перешибешь. Иначе будет получаться частенько то, что он ощутил недавно на собственной шкуре. Спасибо, совершил коррекцию, хотя и не вовремя, но переориентировался все ж на кого надо.

"О темпора, о морис! — о времсна, о нравы!" — сказал один заезжий лектор из общества "Знание". Времена меняются, а люди остаются. Как же годами держатся на должностях алатырские "сидельцы"? Учись, братец мой, у конторских бразды держать. Пора отходить от интриг, от столкновения лбами. Ведь те же алатырские умельцы до того наблошились: сколько сидят, и все ими вроде довольны. А дело — кого оно нынче интересует?

Подступила весна. Морозы еще поджимали, с утра всхрустывал под ногами ледок, однако к обеду с крыши неусдержимо колотила капель. И все равно март-марток, скинешь шубу, наденешь сорок порток. И вот вместе с мартом в Ярище опять объявились цыгане. Наверное, те же самыс, которых в тот раз изгоняли брандспойтом.

Вольные дети степи прошлись по Ярищу, как Мамай Диким полем, как какой-нибудь ураган с женским именем по побережью Карибского моря. Цыганки действовали нахально. Хватили по дворам кур, снимали с веревок белье, запикивали под свои широкие юбки все, что где плохо лежало. Видно, считали, что в прошлый раз им тут недоплатили. До вечера окрестные долы оглашались воплями Бобырихи, которая вопила не столько из-за грабежа прямо тут же, у нее на глазах, беслым днем — подумаешь, взяли на какой-то трояк, а сколько из любви к искусству, полузабытому ныне, — пришлось поплакать, попричитывать, вслух кого-то проклясть, разнести по кочкам начальство, не боясь быть подвергнутой государственному остракизму.

Все эти данные стекались в кабинет к Бодракову. Он их принимал, обобщал, и тут сего осенило: черт возьми, можно ведь из этого сделать конфетку, из случайного явления — постоянно действующий фактор. Надо занять жителей Ярища, дать им такой боковой раздражитель, на какой они гробанут все свои силы и свободное время, так что будет уже ни до чего — ни

до революций, ни до эволюций. И Финаген, как и в тот раз, заключил с цыганами договор на ремонт сельхозинвентаря. И предоставил им даже временное жилье — намедни померла в своей хате одна безродная бабушка на краю Прилеп.

Стешка узнала новость, когда возвращалась с комплекса к себе в Тигановку и традиционный цыган с чубчиком из-под фуражки, в новых хромовых сапогах гармошкой заступил ей дорогу.

— Узнаешь? — сверкнул "чубчик" сй золотой фиксой.

— А, это ты, — спокойно ответила Стешка. — С кем тогда плясали и пели, провели ночь у костра? Как не помнить, помню, — а у самой в груди захолонуло. — И надолго тут?

— В Прилепах живем, — оскалился "чубчик" в развеселой улыбке. — Бороны красим и дуги гнем...

— Ну, привет, — направились Стешка дальше своей дорогой, но цыган опять перекрыл сй путь:

— Зову к нам тебя. Ты наша, таборная, — приходи.

— Приду-у-у, — под вестер крикнула Стешка и угнулась пониже, до самого пояса, сорвалась, полетела домой.

— У-у-у, — свистел в спину ей мартовский вестер.

— У-у-у, Стешка-а-а, — кричал сй в спину "чубчик" из-под фуражки.

И ухало, падало, катилось впереди нес сердце, в котором грохотали слова, слышанные сй тогда на "колыме", у костра того ночью: "Старшой тебя полюбил, от него никуда не уйдешь, как ключ со дна моря, достанем".

Прибежала Стешка домой, не сказала Егору, что встретила только что цыгана в хромовых сапогах. Почему не сказала — не знает. О судьбе подумала, сделалось страшно, а в самой "так и вился чубчик по ветру..."

И спать Стешка ушла сегодня на печку. Лежала с открытыми глазами и, как кошка, видела во тьме — близко и далеко. Грели камни исподнизу, а потолка словно и не было, не было стен, так свободно. Про Полинку все думала, и душа отделялась от Стешки, улетала туда к ней, куда-то в широкие, гулкие степи, далеко-далеко, бог мой, куда улетала душа. И гудело в трубе, завывало — это все волки, они плакали по живому и мертвому, все никак не могли нарыдаться... Стешка встала и пошла, толкнула в печке баран — чугунный движок. Но волки только завывали пронзительнее, по стеклу прямо горлом сверлили, Стешку даже мурашки стали всю проливать — со спины до живота и еще ниже, ниже, до самых колен. Она позвала Егора, тот спросонья откликнулся — где-

то там, внизу, на постели. И потолок со стенками, однако, пришел откуда-то и встал на свое место, где и был всегда. Стешка попробовала стенки руками: они! Глянула вниз на постель — не вернулась ли дочь Полинка? И тесно же ей сделалось тут на печи, как в гробу. От камней печет, и воздух прогорклый, нечем дышать, никакого пространства, а за стенкой — степь, пути свободные, бездорожье, кибитки цыганские, в повозках детишки, и Полинка, дочка, где-то там, среди звезд... Стешка перевернулась на другой бок. Ее длинные, мощные волосы путались, змеями обвили подушку, обожгли Стешкины голые плечи. Стешка застонала и испугалась себя же. А Егор лежал ничком, не шевелясь...

А кибитки катились по телу ее, по бедрам широким, как по степи. И песнями-битами цыганскими звенели ветра где-то внутри. И вечерами у рски, как всегда, поили цыгане коней. Вывернув длинный черный язык, собака лежала под колесом повозки. И старая бабушка варила похлебку в котле, и вкусен был котловый пар... И все это было, было. Но давно ли — недавно, да и было ли это? И бродило в ней это, возникало и пропадало снова, уходило и пропадало за окнами мартовские снега. И тепла просила весна...

Стешке было тесно в тигановском доме; тяжек круг, когда один день как две капли похож на другой, когда ты переползасшь из дня в день, ползешь, извиваясь, по дням, по серости их, и ничего в мире не происходит, и в дни эти втягивает тебя, как лягушку, в пасть провальную змея.

Это же мука, когда ничего не происходит. Ну хоть вой по ребенку, ведь глухо вокруг, кто услышит?..

И сбросила Стешка с себя эту химию, словно кожу змеиную, свой кримпленовый зеленый костюмчик. И сшила балахон из мешковины, пускай балахон, зато шее свободнее, свободно рукам. И ни за что ни про что сцепилась она с Егором. На комплексе пошла рогом на Бодракова: корм с вечера не подвезли. "Как ни крутись, а свое кровь возьмет, — пророчила ей старуха. — Придешь к нам, молодая, красивая, жарких цыганских кровей".

И когда "чубчик" — цыган Николай — в новых хромовах сапогах появился сегодня опять, Стешка уже не сопротивлялась. Села в повозку, запряженную мерином, приказала Николаю: гони!

В Прилепах бесхозная хатка ушла взять по окну. Бабка Мотя, божья старушка, отошедшая в мир иной, оставила ее всей деревне, и теперь в этой хате жили цыгане, цыганская

семья — семья кузнеца. Бодраков дал жилье кузнецу Могуते, тот подрядился ладить навстречу весне бороны, сеялки-веялки и прочий сельхозинвентарь. Стешка схватила глазом подворье за один мах: к ракушкам тесно сжались повозки, их было много. Кони совали головы в мешки, фыркали, скалились весело — худые, заезженные, но бедовые цыганские кони. При этом они казали крупные желтоватые зубы, через которые сыпалось обратно зерно. "Богато живут", — покосилась Стешка на лиловый, шалый глаз жеребца.

В сенях под ноги ей бросилась полуголая свора детишек, наперебой что-то орали, выставляли ладони, гримасничали. "Боже, какие! — отступила Стешка. — Голопузые-то. И когда мыло видели?"

— А ну, кыш! — открыла дверь молодая цыганка в золотых зубах и монистах. И хлоп одного по затылку, щелк другого: — Брысь отсюда, чертово семечко! Не видите, гостя к нам, Стешка пришла!

Стешка сунула босоному цыганенку кулек с пряниками.

— И мне! И мне! — запрыгали все перед носом у нее, попрошайничая.

А самый маленький уже выбивал перед Стешкой чешетку.

— Это для всех, — строго сказала Стешка.

Хатка была переполнена. Кто стоял, кто ходил, кто курил, но все ничего не делали.

— А, Стешка пришла! — обрадовались они и взяли ее плотным кольцом.

Одни трогали Стешкину одесду — серый ее балахон, другие гладили сзади волосы, плечи, третьи просто смотрели на Стешку, разглядывали. Принесли с кухни единственный стул и подставили к столу: садись, Стешка. А сами перед ней сели на пол. Притащили с улицы большой закопченный чайник — прямо с костра. Положили перед Стешкой отобранный у ребяташек кулек пряников. И стали смотреть, как Стешка будет пить чай.

— А вы? — спросила их Стешка.

— Мы чай не пьем, — сказала все та же молодая, в монистах. — Мы водку пьем.

— И овсом закусываем, — перебила ее другая, постарше. — А овес нынче дорог.

И все засмеялись. Пришла хозяйка Варя, жена кузнеца, и тут же появились чашки с блюдцами, хлеб, огурцы и картошка.

"Наверное, из старушкиных запасов", — подумала Стешка. И та, что в монистах вся, чернявая — сербиянка, достала из-под полы карты:

— Давай погадаю! Судьбу предскажу, только ручку, ручку позолоти...

— Не смейся, Вера, — сказала хозяйка, сама метнула на Стешку черный, какой-то проваленный взгляд. — Она же все знает. Ей все известно не хуже тебя.

Но Вера стала по лавке раскладывать карты.

Она говорила, а Стешка слушала и удивлялась, она все это видела, обо всем слышала, с ней все это уже произошло; она сидела в оцепенении, все это было ей неинтересно. Бодраков намекнул ей насчет Полинки — вот что сейчас занимало Стешку. У кого и спрашивать про Полинку, как не у "бугров"? Стешка сидела и переживала, как спросить про свое у цыган. Сидела и мучилась, горела вся и сгорала, заметно было, наверное, по щекам.

— Не рви себе сердца, Стешка, — остановилась прямо против нее хозяйка по имени Варя — крупная, смуглая, только зубы белые да золотой выскерк во рту, а за глазами у Вари тьма-тьмущая, провальная яма. — Полинка твоя жива, она у хорошего человека. Но пока не ищи, она тебе недоступна.

— Недоступна, — вздохнула изба.

"Жива!.. Недоступна!.." — Стешка отерла ладонью губы.

Хозяйка Варя, однако, не отходила от Стешки. Следила за ней втягивающим своим, выворачивающим все наизнанку взглядом, искала момент.

— Она наша, таборная, — наконец сказала хозяйка. — Из нашего табора.

— Из нашего, — подтвердила изба и потребовала: — Тетю Груню сюда, тетю Груню!

И Варя вывела из кухни сюда, в горницу, какую-то женщину.

— Тетя Груня! Как две капли воды! — ахнула и зашаталась изба. — Вот она, твоя настоящая мать, — и Варя повернула женщину к Стешке лицом.

Стешка впиалась в лицо этой женщины. Если она ее мать, то она должна быть красива. Но она некрасива, эта женщина! Глаза ее тусклы, впалы щеки, а плечи остры, как кинжал. Она в пестром жилете, свободна на шее рубашка, вышиты рукава. Все равно некрасива! Нет, она не ее мать, не Стешкина.

— Я не бросила тебя, — дрогнул голос у этой женщины, — я тогда оставила тебя хорошему человеку. Ты тяжело заболела.

И если бы я не оставила, ты бы тогда умерла... Была глубокая осень, морозы были, ты вся горела жаром... Спроси у своей матери из Оболеншево, она подтвердит: это так.

— Это так, — подтвердили все, кто был в горнице.

— Вот, — показала Стешке эта женщина старинную, темную, полустершуюся монету. — У нее, твоей русской матери, должна быть точно такая.

— Точно такая, — покачнулись, сдвинулись к Стешке тесные стены.

— У тебя есть бабушка, — поддержала Стешку хозяйка и крикнула кому-то на кухню: — Приведите Панку!

Ввели под руки Панку — старую, косматую цыганку, перевязанную крест-накрест на груди черной с желтым фланелевой тканью.

— Вот твоя бабушка, Стешка, — взяла за руку Панку. — Похожа?

— Как две капли, — засмеялись цыганс.

— Вот твоя мать, Стешка, — взяла хозяйка за руку тетю Груню. — Похожа?

— Как три капли, — засмеялись цыганс.

— Бери, — подала хозяйка Стешке Панкины руки. — И тащите сюда ведро! — крикнула Варя в сенцы. — Будем гулять...

И тут в сенях загремело, как будто упало ведро. В новых хромовых сапогах вошел сюда "чубчик" — цыган Николай. Сверкнул по горнице фиксой, схоронил улыбку в усы:

— Кончайте шаманить. — И объявил торжественно, оборотясь к Стешке: — Барро приехал!

И хлопнул каблуком оземь, как в цирке, повел рукой к двери:

— Баррро-о-о!!

И Стешка увидела человека с бородкой, постарше Николай, и узнала в нем того, другого цыгана — из тех двоих, с кем тогда шаманили ночь у костра.

"Барро! — ударило Стешке в голову. — Так вот кто преследует, не дает ей покоя, приходит ночами в сны".

Не слишком ли много? И Полинка где-то, она, конечно, жива. Но вместо нее через годы найдена эта ее, Стешкина, настоящая мать. И весь этот воздух свободы в хатенке, где нечем дышать от тесноты. И теперь еще этот "барон"... Стешка почувствовала, как ноги ее отрываются, подлетают ввысь и, ударяясь головой об угол стола, она летит куда-то, парит чайкой там уже — за окном, над речкой Чистюнькой, над

всей Тигановкой — Цыгановкой. "Его-о-о-ор!" — догоняют его по течению губы ее, отделяясь...

Очнулась Стешка на комплексе, в красном уголке. Лицом в руки, локти в кольцо на столе. Как будто никуда она и не уходила. Может, ей чего-нибудь в чай подмешали? Наяву ведь этого не было, какая-то чертовщина? Просто вздремнулось, ночью плохо спала. А Прилепы ей и примерещились. Мокрый черный язык под повозкой у собаки и цыгане в хатенке... И мать ее, настоящая мать, и "барон"...

И Стешке застучало в виски. Вот он перед ней — большой, огромный кусок мяса, его подложили на свадьбе Нины Синюткиной. И Стешку стошнило, вывернуло наружу, вырвало все, что ела с утра.

II.

По мартовским мерзлым колчам к Ярищу прогремела повозка. Все тот же "чубчик", в новых хромовых сапогах, разыскал Стешку на комплексе.

— Мама ждет, — сказал цыган. — Зовет к себе.

Значит, это, что было вчера, не сон, это не померещилось? Тетя Груня подарила ей монету, чтобы Стешка могла показать ее своей матери из Оболешево. Стешка сунула руку в карман: вот она, эта старинная, полустершаяся, неизвестно откуда, из каких времен она, эта монетка. Не стесняясь, прямо при Николае, Стешка стала рассматривать ее: может, она золотая? На монете выбито что-то. Бедненький, голенький, а волосы кудрявые, шапкой — цыганские. И если эта монетка, этот человечек на монетке — все правда, то, может быть, правда и то, что вчера сказали ей о Полинке? Разве она, Стешка, не имеет права на эту правду? Блеснул луч, она не в силах от этого отказаться... Луч приведет ее к девочке. Ради ребенка пойдешь на все...

Все это Стешка объясняла себе, оправдывала себя, однако неотвратимое сверх сил тянуло ее как бы в пропасть, которая вот-вот разверзнется, поглотит ее, она пропадет, погибнет, но удержать себя уже невозможно, и она летит вниз, к пороку, замирая и вождедая при одном только виде "чубчика"... И только глаза Егоровы ввинчиваются в нее, печальные такие глаза. "Прости, Егор-Егорушка, я люблю тебя"...

— Едем! — кивнула она Николаю, и волосы ее, игривые змеи, вырвались и раскатились по свободным плечам.

На сей раз в хате кузнеца Могуты не было никого. И на-

ружи было меньше повозок. "Шлындают по дворам, — догадалась Стешка. — Каждый себе кусок зарабатывает по-своему".

Тетка Груня, ее новая мать, не знала, куда Стешку и усадить. На столе появилось многое из того, чего тогда не было. Особенно куры — жареные, вареные, пареные. "Вчера воровали — сегодня уже угощают", — усмехнулась Стешка. Бронзоволикая, до того неподвижная, приблизилась к Стешке цыганка — старая Панка.

— Купили, дочечка, купили, — коснулась она Стешкиного плеча.

— Ешь-ешь, не гляди на нас, мы наетые.

А потом пили чай. Все втроем расселись по лавке. Стешка у них посередке. И стали они вдвоем, справа и слева, по очереди рассказывать Стешке, как жили они, живут, как кочуют, и не надо им жизни другой. Знаем-знаем, все спорят люди, откуда мы — из Египта или из Индии да как мы, цыгане, попали сюда. Это все записано в наших песнях, которым тысячи лет. Нас покоряли, а мы не покорились. Нас склоняли к вере своей, а мы не склонились. Те, какие покорились, остались на родине, а мы — другой веры — покинули родину, и с той поры свобода наша там, где живем. Книг не пишем, в библиотеки не ходим, а свой язык не теряем. Поем и пляшем, как наши предки, так будут плясать и петь наши дети. "Она нам не верит, мы для нее цыгане, которые бродят, бродяги, воруют кур"...

— Эй, Николай! — крикнула тетка Груня на кухню. — Подай гитару!

Явилась гитара. И птицы порхнули под пальцы, заговорила струна:

— Мой костер в тумане светит...

"Угадала? — улыбнулась довольная Стешка. — Мою песню, мою"...

— Кто-то мне судьбу предскажет,

Кто-то завтра, милый мой, —

пела немолодая цыганка. И монисты побренькивали у нее на груди и подрагивали, загорались очи живым, неугасимым блеском от биения сердца, как загорались они и у тех, что, может быть, тысячу лет тому вот так же сидели у теплого моря, у песчаного берега, алмазных пещер.

"Какая красивая! — любовалась ею крупноглазая Стешка, взгляда просто не могла от нее оторвать. — Она моя мать".

"Она нам не верит, что мы дали ей жизнь, она тоже цы-

ганка. Не верит мне — не верит себе. Плохо человеку, который не верит".

— На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой...

И старая Панка, как стоймя стоящая прокопченная матица, коричневая, в прожилках вся, комель грушевый, древняя, как икона. И кем рйсована, чьей кисти, жива и жить будет, пока гитара в этих ее безумных руках.

"Она должна знать, где Полинка моя, — замерла Стешка. — Обязана сказать, если она мне мать по крови, моя настоящая мать".

— На, — передали Стешке гитару.

— Давай.

И положила Стешка руку на струны, пальцы как тут и бывали. А ведь никогда не брала прежде гитары-то, никогда.

— Я уйду с толпой цыганок

За кибиткой кочевой, —

запела она низким, воркующим голосом, и струны сгустили сумерки, сделали одиноким костер.

— Боже мой, — раскачивалась тетка Груня, пожившая уже, отбедовавшая, — и ты еще думаешь, что ты не цыганка? Ты — наша, таборная, ты из нашего табора, ты — моя дочь.

"Она должна мне сказать, где Полинка, она должна мне сказать".

— Иди к нам сюда, нам нужны такие, как ты, красивые и молодые, — говорила ей тетка Груня. — Мы без вас, молодых, пропадем.

— Нам нужны, — подтверждала старая Панка. — Мы научим тебя нашим песням, сокровениям голоса, таинствам души...

— Мы научим.

— Мы научим тебя нашим танцам, сокровениям тела.

— Научим.

— И ты полюбишь цыгана — человека из нашего табора, — совсем другим голосом сказала вдруг тетка Груня. — Вот его! — И из кухни вышел преследователь Стешкин в ее снах и кошмарах, что был тогда у костра с "чубчиком" на "колыме". — Он — Барон, ты была завещана ему, когда родилась. Мы обменяли вас кольцами.

— Нет! — закричала Стешка. — Я у вас не жила, не жила! Вы все это выдумали.

Тетка Груня взяла у Стешки гитару, положила руку на струны.

— Скажи "да", — говорила она, улыбаясь своим внутрен-

ним ведьминым чувствам, — и ты будешь петь на сцене, выступать на концертах.

— Соглашайся, — качалась старая Панка.

— Нет!

— Скажешь "да", и люди будут целовать тебе краешек платья. Ты будешь даже петь в "Ромэне", Стешка Сторожевая, в зале будут ломиться к тебе.

— Соглашайся.

— Нет-нет! Ты — ведьма.

— Ну, хорошо, хорошо! — присела на стул тетка Груня и сказала совсем другим тоном: — Согласись, Стешка, и мы укажем место, где твоя дочь.

— Да! — вырвалось из груди измученной Стешки.

И тут же на Стешкины плечи легли руки Барона. Он притянул ее к себе, она увидела его совсем близко.

— Нет! — отпрянула Стешка и схватила кухонный нож со стола.

— Стешка, Стешенька, — шагнул он к ней.

— Не подходи! — закричала она и поднесла нож себе к горлу.

Все остолбенели.

— Вот бешеная, — засмеялась старая Панка. — Вся в мать. Такой ты, Груня, была молодой.

Она подошла и обняла Стешку за плечи, старая цыганка. Так и стояли они перед всеми — перед Бароном, перед теткой Груней, перед теми, кто приехал сюда, в Горбунцы, на повозке и кто зашел в дверь сюда потихоньку.

— Ты — старый, — сказала барону беспощадная Стешка. — Я тебя не люблю, я люблю другого — Егора, у меня есть Егор.

И стояла, в гневе по спине разметались дикие волосы.

— Хороша кобылица! — восхищенно смотрели на Стешку цыгане, переговаривались с Бароном. — Ничего, ничего, объездим, пусть на веревке побегает.

— Объездим, — мрачновато изрек Барон.

— Уходите, идите отсюда, ромэны, — ворча, прогоняла всех старая Панка.

Взметался Егор: вторую ночь Стешка дома не ночевала. Ушла с комплекса и пропала. Куда обращаться — к участковому Сеньке Клевцову? Тот сам дома редко ночует, опять укатил куда-то. К дежурному по райотделу?

А ночь опять надвигалась. Холодная, предапрельская. К отцу пойти, все рассказать? Гордость не позволяет. Может, она ушла к матери? К Петру туда? Тянет яблочко к яблоне, под которой валялось? А может, и на Житень, к Березининым бабкам?

С вечера Егор кидался из угла в угол по сарайкам, по огороду, по саду. Может, она где оступилась, сломала ногу, лежит в овраге, не может дойти до дому? Егор выходил за порог и, подобно волку, перекрывая ветры, кричал не своим голосом в кромешную тьму:

— А-о-у-у-у-ффф! Стешка-а-а!..

Но не отзывался никто. Все в Тигановке спали, даже собаки. И только мартовские коты завывали по крышам, где точили когти то о толь, то о морду соперника.

К середине ночи Егору начало казаться, что Стешку встретили тут рядом подлеты дорожные, когда она выходила из последнего автобуса, как это было с одной женщиной в Лыково прошлой осенью. Егор оделся и прошел по "аппендиксу" до самого большака. И уже здесь, сложив ладони рупором, опять выл по-волчьи, кричал что было сил:

— Стешка-а-а-а!..

Но только трепетали, не падая, тряпками висели на дубах устарелые прошлогодние листья да потрескивала распираемая морозцем земля. Было, однако, хоть глаз коли — ни луны, ни звезд, только рваные тучи, правда, с просветами, за которыми едва намекались далекие небесные миры. Может, где-то у большака, на обочине, и стояли чьи-то машины. И может, как в тот раз, бандюги караулили свою новую жертву. Главное — не было Стешки. Подай голос она, даже слабенький, он бы услышал его наверняка.

"Вот ведь как опасно стало жить. Много пришлого, наезжего люду. Бродят в поисках лучшей доли. Бедный народ! Сколько их тут, в срединной России, выходцев разноплеменных, особо с Кавказа. Селятся в выморочных деревнях ареалами, да где же деревням слабосильным, где одни старики, возродиться! Бедная, несчастная Русь! Чего не мог сделать Мамай, содеют временщики"...

Так думал Егор Тиганов, возвращаясь с большака в хату деда Петраки. И опять принимался ходить из угла в угол, включал настольную лампу, садился за книгу... Оказывается, ученые ведут долгие споры, откуда родом цыгане. Те самые, да, что пришли к нам в Европу через север Африки, через Испанию и которых генетически так невзлюбил Адольф. А кого

он любил? Оказывается, в древности племена ариев хлынули с Гималаев на Индостан и покорили дравидов. И те, что не попали в касты — ни в какую, даже самую нижнюю, и пошли по миру, зноем палимы, и, свободные, непокоренные, идут до сих пор...

И тут на самом интересном месте забрехала собака. Книжка полетела на пол с коленей, Егор выскочил на порог: в самом деле — собака бродячая. А на том конце Тигановки, где отцов дом, уже успокаивалась другая, отцова собачка. Подождал маленько Егор — собачка совсем успокоилась. Блошка, видать, укусила собачку, как разнервничалась.

И тут пришло ему в голову все же сходить в Житень. Все равно уснуть не удастся, лезут в башку всякие бредни. А в Житене у бабки Кати — Берегининой бабки — даже если и нет Стешки, так ведь бабка что-то подскажет, ей можно верить, как, бывало, самой тетке Прасковье — Берегинс.

И Егор двинул во тьму. От Тигановки до Житеня пошибал все кочки, пересчитал все колдобины. На каждой рисковал остаться без зуба, оборвать что-нибудь в животе. А так все ничего, хорошо, идешь да идешь себе — силой воли, большими усилиями, а то и по инерции. Егор сам избавлял себя от ослабления духа, от страхов, которые он стал подмечать в себе после каменного карьера, особенно после специнтерната.

Видать, он не такой уж и грешник, если ему помогает природа: ветром стало разгонять тучи, проклюнулся месяц. И Егору от жизни стало что-то перепадать. Все же есть на земле высшая справедливость...

Никто сперва не откликнулся. Но Егор по-свойски стукнул в окошко Берегининой хаты, где жила теперь бабка Катя, и еще разок стукнул тем особым стуком: три коротких подряд и один тихий через промежуток, три точки-тире, от чего загремела щеколда и дверь приоткрылась.

— Ты, Егорушка? — обеспокоясь, сказала бабка Катя, разглядывая его перед слабо светящимся месяцем.

Егор присел на коник. Зачерпнул из ведра водицы. Все косился на горницу, нет ли там, в горнице, Стешки.

— А-а, — поняла его бабка Катя, она была теперь Егору как бы за тетку Прасковью — за Берегиню. — Ищешь Стешку? Да ты успокойся, сынок, успокойся. С детства такая круговая... Не волнуйся, Егор Трофимович, сама придет, все расскажет. Вот тогда поглядишь, попомнишь меня. Ночевать тут будешь ай фонарь дать, пойдешь?

Ночью Стешка проснулась на печке от чьего-то присутствия, рядом кто-то дышал. Стешка вскочила и ударилась о потолок.

— Молчи, — услышала она чужой мужской голос.

Она закричала. Тетка Груня со старой Панкой вскочили, включили свет.

Перед Стешкой стоял все тот же цыган — ее преследователь, в белой вышитой рубаше и черном жилете — Барон.

— Чего тебе? — сказала она непослушным, каким-то одеревеневшим голосом. — Уйди, постылый.

— Стешка, — придвинулся он к ней.

— Кто Барон? Ты — Барон? — усмехнулась Стешка. — Ты вор и конокрад, ты коней крадешь, по тебе тюрьма плачет. Уходи! — выхватила она из-под подушки кухонный нож.

Барон задышал тяжело, отступил.

— Я убью ее! — крикнул он, оборотясь.

А его уже подталкивали в спину отсюда, в обе лопатки женщины — тетка Груня и старая Панка:

— Уходи, уходи же, выпимши не приходи...

За Бароном накинули крючок на дверь, но спать Стешка уже не могла. Лежала и вслушивалась, что делалось на подворье, возле раkit, где были привязаны лошади, оттуда доносились мужские громкие голоса. А в трубе подсвистывало и вздыхало, разговаривало. Временами ей слышались крики Егора, он звал ее откуда-то из-под самых туч, из-под месяца, который проклюнулся вдруг и задержался в окне.

Стешка села на табуретку, готовая выбить головой стекла и бежать хоть куда отсюда в эту черную ночь. Идет охота на нее, идет охота...

— Не бойся, дочка, — скрипнула панцирной сеткой тетка Груня.

— Не бойся, — отозвалась старая Панка.

— Он гордый, ночью больше сюда не придет.

Светло — значит, утро. Стешка приоткрыла один глаз, другой — ни старой Панки, ни тетки Груни, никого. Только она пробежала через кухню, только хотела накинть крючок, как дверь рывком распахнулась и отлетела в сторону — перед ней стоял все он же, Барон. Стоял, проигрывая плеточкой.

И только Барон сделал шаг к ней, как Стешка рванулась обратно, выхватила из-под подушки топор.

Он бросил плетку, плюнули вышел. Стешка опустилась на табуретку: ноги ее не держали.

И тут в хату вбежали тетка Груня и старая Панка, бросились к Стешке, стали кричать, воздевать руки к небу, рыдать. Стешке стало все это противно, смешно.

— Не паясничайте, — сказала она низким голосом. — Не ломайте комедию.

— Дочечка, — плакалась перед ней тетка Груня. — Прости ты нас, старых женщин. Мы хотели как лучше. Счастья тебе, чтобы ты навсегда тут осталась, с нами. Прости и этого человека, он же любит тебя, ты не видишь?

"Теперь или никогда, — думала Стешка. — Что знают они о Полинке, иначе зачем же я здесь?"

— Тебе будет с ним хорошо, он — Барон, — приподняла голову тетка Груня. — У вас будет много детей. Два, три, семь, десять, двенадцать — сколько хотите...

— Ха-ха, — рассмеялась Стешка. — Отдайте ее или скажите, где она, если знаете, где моя дочь Полинка? А если молчите, значит, все врете...

"Надо выбираться отсюда, выбираться надо, но как?"

— Несите гитару! — приказала строптивая Стешка. — Учите меня вашим песням.

И схватила старую Панку, усадила на табурет. Тетка Груня притащила сумку свою и стала выкидывать из нее шапки, туфли, вышитые рубахи — все яркое, праздничное, в самом деле, что ли, работала в филармонии?

— А ты думала! В этой шали я пела на сцене в Москве. Из этой серебряной туфельки в мою честь пили шампанское... А этот пояс еще бабки Панки. Твой, Панка, помнишь, когда ты была молодой?..

Тетка Груня накинула шаль на плечи, встала на каблучки. Обхватись и ты, Стешка, Панкиным поясом, да в расшитой рубахе с половодьем цветов, да в серебряных туфельках, в волосах с алой розой — о, да ты хоть куда. Играй же, играй на гитаре, старая Панка! Пляши и пой, тетка Груня! Эх, да один раз живем на свете, все равно когда-нибудь помирать.

— По степи широкой, по степи российской

Ехали цыгане в кибитке кочевой.

Слышны звуки песни, песни той раздольной...

Закачалась в правом ухе цыганки серьга, шелкнула каблучком серебряная туфелька. Вот-вот метель сорвется и вихрем в широкую степь. И старая Панка хлопнула ладонью о

свою же сухую ладонь, да ладонь, да по гитаре, гитаре, да как в бубен, бубен:

"Давай-давай, пошел-пошел!" И тетка Груня, передернув плечами, откинулась назад, как переломилась в спине, да шелками-монистами, да копной волос до самой земли.

"Ну, укради, укради еще курицу, — сгорала Стешка, такая уж она, ничего не могла с собой поделать. — Да черт с ней, с этой курицей! Все бери да бери, песни зато не укради"...

— Ладно, учите меня, старые шлюхи, — сказала Стешка, отбирая гитару у Панки. — Хочу, чтобы эта гитара была моей.

И три дня провела Стешка в хате у кузнеца. Три ночи проспала с топором под подушкой. А провожали ее за порог тетка Груня и старая Панка.

— Ой, Стешка, уходишь! — кинули они под конец камень в Стешкину душу. — А вернешься ведь, попомнишь тогда: наши песни — яд змеиный, они ушли тебе в кровь.

В Тигановку Стешка заявила на четвертые сутки. Сказала Егору, что побывала в Алатыре, сделала от него, негодя, аборт.

III.

— От меня, не от Бодракова? — вглядывался в Стешку Егор.

Припомнилось услышанное по секрету от Броньки, как и что тот видел в телятнике после свадьбы Синюткиной собственными глазами.

— Дурак, — брякнула ему Стешка.

Дня три пропадал Егор после в Алатыре у дружков. Появился в Тигановке на четвертые сутки. Злость на Стешку, однако, от того не прошла. Собирается Стешка на работу, на комплекс, — точит Егора: неизвестно, где сама окажется к вечеру. На ферму Бодраков, бывало, и раз в год не заглядывал, а на комплексе только теперь и торчит, все привесами интересуется. Егор слушал радио, все говорили о злобе дня. Какая злоба! Все злоба да злоба, а чего-то не говорят о добре дня, а ведь Добра — вот чего сейчас нам не хватает. Кажется, еще Пушкин сказал, что в добропорядочном, нравственном обществе все накрепко строится, крепко живут. А тут не жизнь, а сплошные мучения. Ты хочешь быть на земле агрономом, а тебя бросают в торговлю. Стешка любит тебя, а что-

то вмешивается, уводит ее от тебя. "Вся беда в том, — переживал Егор, — что нами руководят дилетанты... И распоповы, и бодраковы... И на нас они учатся, и дорого это нашей шкуре обходится. А мы — пешки, а еще чернь, толпа, рабы — вот кто мы! Больно много им позволяем. И еще сами, конечно, внизу дилетанты. И чем больше мы дилетанты, тем больше воинствуем. Те, что "снизу", воинствуют. Те, что "вверху", их сдерживают. То одно одолевает, то другое. Вот и все наше общественное развитие. Сейчас пока одолели распоповы. А придет черед бобырей"...

Рассуждая таким макаром, Егор и не подозревал, что смотрел намного вперед, когда все перевернется, придет период, который назовут уже по-другому. В отличие от того, когда посылали туда, где Макар телят не пас, телят в этом периоде будут пасты уже тут, в своей местности...

Со Стешкой надо было что-то решать. Не сматываться же отсюда опять, как в тот раз, когда уезжал в Подшибякино. За счастье надо бороться. А все-таки, может, сменить обстановку? Глянуть шире на все: переехать, скажем, вместе со Стешкой в Алатырь? Хоть временно, на несколько месяцев, вывести Стешку из ситуации, а там будет видно. Дружки алатырские тянут к себе, Чернобай опять заговаривал насчет квартиры, хозяева которой то ли за границей, то ли где-то на Севере — зашибают деньгу, Чернобая этого не поймешь.

Егор посоветовался один на один с отцом. Отцу жаль, конечно, отпускать от себя молодых, но что делать.

Воодушевленный отцовской поддержкой, Егор составил план поездки в Алатырь, посещения вместе со Стешкой "точки", их интересующей. Егор не стал просить у отца "Москвича", он обратился к Броньке.

— Что мы, бось какая-нибудь — ездить с дамой на мотоцикле! — завелся в мгновение ока Бронька. — В лучшем виде доставлю.

Бодраковский "уазик" был обит изнутри теплым клетчатым одеялом. Обычно это делалось на зиму, на холода. И хотя холода прошли, Бодраков снимать одеяло не собирался. И оно пылилось, грязнилось и будет скорее всего пылиться, грязниться все лето, пока Бронька лично не сдерет его и не выбросит вон.

— Какой человек! Тепло как любит, — буркнул Стешке Егор, имея в виду Бодракова.

— Не говори, Трофимыч! Обожает, проф-ындсей, грязи, — и

востер же был Бронислав. — Ему бы данну еще сюда, 'озокерит — и полный ажур.

Бронька молотил языком без конца, Стешка посмивалась, Егор улыбался: умел этот "броня крепка" создавать обстановку. А "уазик" катил по дороге в Алатырь, вез их на смотрины квартиры, и все было им по душе, броня крепка и стежки наши склизки. Наконец-то Тиганов Егор попросил Летягина об услуге, облек Броньку, так сказать, своим товарищеским доверием, это надо было понять.

На "точку" приехали вовремя, как и договаривались по телефону. Но Чернобая дома не оказалось. Стали гадать, где его черти носят. Э, да мало ли, врач все-таки, экстренные вызовы.

— Врач не принадлежит себе, — изрек на всю лестничную клетку черенобаевского пятиэтажника Бронька.

— А кому же он принадлежит? — поинтересовалась Стешка.

— Народу, — живо среагировал Бронька.

И все втроем засмеялись.

Егор сомневался, чтобы Чернобай принадлежал еще кому-либо, кроме себя. Разве что любимой охоте, которой отдавал все свои лучшие качества? И на вызовы Чернобай вряд ли выезжал. Он же анестезиолог, работает на стационаре. Вышли во двор и стали решать, что делать. Может, самим позвонить в ту квартиру, чем черт не шутит? Поднялись снова по лестнице на третий этаж. Бронька подтолкнул Егора, покосился назад на Стешку: зря, мол, "точку" ей рассекречиваешь. Ведь знаешь же: у голодной куме одно на уме.

— Хватит тебе, — надавил Егор на локоть Броньке, намекая на прежние их ночные похождения, когда они были чутко моложе.

Егор позвонил в дверь на площадке, какую по пьянке когда-то указал ему Чернобай. Дверь перед ним распахнулась, и они увидели людей, среди них Чернобая, и поняли, что попали туда, куда надо.

— Так и знал, что вы догадаетесь, — встречал их анестезиолог охреновенно широкой улыбкой, Стешке он улыбнулся особо. — Да, надо было вам в дверь хоть записочку сунуть... Садитесь, включайтесь, утюги! — И, продолжая начатое, изогнулся вопросом перед хозяйкой квартиры, как понял Егор, перед своей соседкой, знаменитой на весь Алатырь Тальянкой, которая только что приехала из Италии, задер-

жалась в гостях у дочки, внучат там у них итальянских нянчила.

— Еще раз приветствую Авдотью Тарасовну, попросту Донью, на родимой почве, с приездом, — сказал он, этот врач-анестезиолог, и похлопал в ладоши. — Вот что такое патриотизм. Русского человека всегда тянет в родные пенаты.

— Приветик Тубольцеву! — кивнула Стешка в угол за телевизором. — Ну, какой-какой! Сын Бодракова.:

И сама быстро прошла туда же, в угол за телевизором. Стешка не любила открытых, простреливаемых всеми глазами мест.

— Пустили Дуняшу в Европу, — негромко сказал Егор на ухо Броньке. — Дуняша всю Европу в хату перстащит. — И показал глазами на всякое заграничное барахло, раскиданное по дивану, которое Авдотья, видать, всем показывала, уморилась показывать и ценами умопомрачительными мозги всем повывихивала.

Летягин быстро оценил ситуацию, он врбался мгновенно.

— Слушайте, — вскочил Бронька, вырывая инициативу у Чернобая. — Слушайте сюда, а вы, хозяйка, и в самом деле только что из Италии?

— Да, — гордо сказала Дуняша, Доня, она же Тальянка.

— Слушайте, а что творится там в магазинах? — задал Бронька самый такой злободневный вопрос. — Гибнет, как его... империализм или паденье откладывается?

— В магазинах? — удивилась такой темноте — местной неосведомленности эта Тальянка. — Ариведерчи, была бы валюта.

— Ну а мыло, Доня, там есть? — спросил неожиданно и для самого себя Бронька.

Вот уже вторую неделю дома не было мыла, и Бронька умывался квасом, в Алатыри, оказывается, мыла тоже не было и будет, сказали, неизвестно когда.

— Есть, есть, — улыбнулась Тальянка как можно тоньше из международных соображений, как это сделала Моница Ли-за однажды и замерла навсегда.

— Ну а... паста, Донь, паста зубная? — пошел уже на нахальство Бронька.

— А вы правда сын Бодракова? — тронула Стешка Тубольцева за рукав. — Но почему у вас другая фамилия?

— Я итальянский шпион, — показал тот в улыбке свои крупные белые зубы. — И моя настоящая фамилия Тубольцетти.

— Есть, есть, — теперь уже с явно пресвходящей улыбкой кивала Тальянка, как заведенная.

— Ну а это... есть там чай? — задохнулся Бронька от собственной каверзы, чая уже второй год не было даже в областном городе, даже в Орле.

— Есть, есть, — просияла Тальянка. — Чай тоже есть. Индийский. Сразу с семью слонами.

— Ну а ваше имя, как вас зовут? — не отставала Стешка, кокетничая немного.

— И даже спички есть?

— Спички? А зачем?

— А чтобы сжечь Палерму со всей ихней мафией к чертовой бабушке, — плюнул Бронька Летягин, вспотев перед этой честной компанией. — Карасину на такое дело не жалко, гори оно синим огнем.

— Симочка я, так зовут, — задышал он на ухо Стешке так близко, что по спине у нее прокатились мурашки. — Только для вас, для всех остальных — Серафим.

— Жечь не надо, — пояснила Авдотья. — Это все нам надо беречь. Европа — наш общий дом.

— Ну а это, как его... зимнее пальто для женщин? — задал самый сокрушительный вопрос Бронька этой гражданке, сам-то знал, что Нинка его ищет пальто себе уже третий год, нигде пока никак не найдет — не только в Ярище, Алатыре, Орле, но и даже в Москве.

— Нет, зимнего пальто для женщин в Италии нет, — пожала плечами Тальянка. — А зачем они? Там одни эти, как их... одни баркароллы.

— Ничего, ничего, ты вот что, — похлопал Бронька ее по плечу, довольный и собой, и высокой обороноспособностью своей страны, — а мотай-ка ты, Авдотья Ивановна, из ихней Европы цурюк — обратно, пока веселые ребята ихние там тебя не оприходовали. Чапай сюда к нам, обратно в Ярище. Мы тебе из патриотизма рядом с хатой Дворец спорта отгрохаем, хор Пятницкого организуем, филармонию сочиним.

— Лучше бы в Прилепах починили бабкин Мотин колодчик, — шепнул на ухо Броньке Тиганов Егор, он теперь знал, кого предложить Мордовцеву, председателю сельсовета, на этот трудный участок.

— От кого слышу! — воссияв, одной левой отмахнулся от него Бронька, крупно помолодев, и наклонился к распропагандированной им же Тальянке. — Я попрошу, можно нам в Европу, к вашему шалашу? Слушай сюда, Авдотья Степанов-

на. Ты вот мотаешься туда-сюда, а привези-ка ты мне оттуда-ва этот, как его, итальянский словарь. В другой раз хочу говорить с тобой по-ихнему, по-итальянски.

— Вот тебе, — показала Тальянка бесцеремонно фигуру из трех пальцев, — еще валюту расходовать. Тут у нас своих словарей навалом. Покупай в Алатыре и туды их вези.

— Молодец! — восхитился врожденной смекалкой, прямо-таки даром деловой предприимчивости Дони этот Бронька Летягин. — Скоро там у тебя вся Италия по-русски заговорит. Какая принципиальная, прямо блокнот агитатора!

— Скажешь тоже, бандит, — засмущалась, улыбнулась во всю щеку, как гармонь меха свои растянула, растележилась Авдотья Тарасовна перед ним, молодым мужиком, одетая так, чисто внешне под их итальянский строй, но чисто внутренне, если глубже копнуть, все же наша баба, орловско-рязанская, вся на русский наш, бубенцовый разлив...

А Стешка сидела за своим телевизором тихой мышкой, вслушивалась в их разговор и глубоко переживала, прямо-таки страдала. Ей было здесь крайне неприятно, это шло поперек ее совести, духа, всего, что было сейчас у нее внутри, и ей хотелось поскорее отсюда на свежий воздух, из этих теснин на волю. Одной подняться и выйти было неудобно, она не решалась, а Егор как вклеился в эти ихние разговорчики, так и не хотел из них выбираться. А Симочка, которого, казалось ей, по мягкости его характера можно было взять хоть во временные союзники, Симочка этот пока на Стешку никак не реагировал. И все же ей было интересно хоть это — сидеть рядом с Симочкой, чувствовать близь его живое мужское тепло и ждать с уже меньшим нетерпением, когда все это кончится...

О квартире Тальянкиной, чтобы хоть какое-то времечко пожить им, Егору со Стешкой, нечего было и заикаться. Тальянка вернулась на "малую" родину из великой Италии надолго, если не навсегда. Анестезиолог, он же реаниматор, вышел провожать Егора со Стешкой к машине:

— Заезжайте еще. Чем могу — помогу.

Никто, однако, помирать пока не собирался, некого было и реанимировать. Разве что Броньку? Этот как вывалился из квартиры, так и помер со смеху.

— Ой, не могу, — схватился он за живот. — Ну, алатыри, ну проф-ындеи! Всю Италию сюда переташат.

— Наоборот! Как бы Алатырь весь туда не сплывили, — мрачновато, как-то пророчески высказался Егор.

— А что это у тебя, Бронь, все "проф-ындей" да "проф-ындей"? — поинтересовалась Стешка.

— "Проф-ындей"? Напрокат взято у Бодракова, — вытирал Бронька тряпочкой руки, усаживаясь за руль. — Ну эти... прохиндеи, значит, жулики-профессионалы. Из профсоюза, что ли? У Бодракова спроси...

Отъехали от дома, где жили Чернобай и Тальянка, а дальше куда катить? Докатились. Домой рановато еще возвращаться. "Может, в Подшибякино? — шевелил мозгами Егор. — Показать Стешке свой специнтернат? К Лихопекову, может? Нет, Лихопеков — человек занятой, директор все же... А если в специнтернат, то к кому теперь, к Еве Власовне? Ребята из его старшей группы закончили и разъехались, молодые педагоги уволились. А от знакомства с Евой, как от Северного полюса, веет холодом. Еще и закует морозом, превратит в снежного человека.

— Едем к Половинкину Коле, радиоорганизатору, — положил руку Егор на плечо Броньке. — В редакцию, он при районной газете.

Половинкина они нашли в комнатухе под лестницей. Половинкин как раз готовил передачу в эфир. И здесь он был совсем не таким, как у них там, в Тигановке. Там у них ходил где хотел, брал что хотел, говорил что хотел. Хохотал без конца, по-жеребчиному. А тут ходит на цыпочках. Говорит — сам оглядывается. И хохочет уже не по-жеребчиному, а как бы повизгивает по-пороссячьи.

Переглянулись Егор с Бронькой: эфир есть эфир — это тебе не кефир, — и засобирались домой, скорее отсюда, от Половинкина Коли, где в комнатухе у него и днем темнотища, нету даже окна.

Но тут прибежал Половинкин, присел на проваленный им же диван, который под ним завизжал, стал жаловаться и вздыхать, как в транзисторе, на разные голоса.

— Уфф! Сдал наконец передачу, — выпучил глаза Коля Половинкин и вздохнул облегченно. — Сволочь редактор! Все сволочи... и крестьяне наши, богоносики, тоже сволочи, "большой народ". Мимо рта ни один тоже не пронесет. Скажут им — и они же сами себе притащат веревку...

— Мы и сами оттуда, откуда еще? — тихо, но твердо сказал Тиганов Егор. — "Тоже мне воитель, гадюка семибатушная!.. Тупой, как сибирский валенок. При слове "культура", как фюрер, готов схватиться за пистолет..."

— Ну, понюхали пробой — покатали домой, — поднялся первым Егор, увлекая за собой Стешку и Бронислава.

— Нас здесь не поняли, да? — вышел Бронька на свет божий — на улицу, к бодраковской машине.

И к Бесноватым Евгению, этому самозванцу — третьему из дружков, они уже не поехали.

• — Ну, тогда едем на "колыму", — предложила Стешка сама. — Хоть подышим весной.

Вскоре "уазик" вынес из их алатырских теснин на привычные полевые просторы.

Незаменима машина — этот "уазик", бодраковский "козел". Весь в хозяина: куда хошь нырнет, откуда хошь вынырнет. На что колдобина, куда запоролся Бронька, показалась такой, что тут бы им и ночевать, но покачался "козел" туда-сюда, пошаманил Бронька, пару раз выругался матерно, и "козел" сообразил, что ему надо делать. Сообразительная машина.

Катили по дороге домой на Ярище, из головы Броньки не выходила эта Тальянка. "Интересно, сколько она за итальянское барахло наших рублей выгребет?" "Не хочешь — не бери", — отбрила Стешка Летягина.

— А мы в общаге, когда я еще был студентом, — наклонился к ветровому стеклу Егор, — мы пиджак переходный учредили. Тоже, помню, был итальянский.

— Переходный? Пиджак? Ну, давай, — как раз свернул Бронька с большака на проселок.

— Мы в своей группе, — продолжал Егор, — дни рождения отмечали и подарки друг другу дарили. Для консолидации... Вот я возьми и подари Нефедовой Римме бутылку коньяка, в шутку напаялил на горлышко соску. И как в воду глядел... Прихожу как-то на занятия: где Римка? "А Римка наша, — говорят, — в роддоме. Парня родила, три с половиной кило". Вот как сработала соска... И стали девчата ей помогать: с ребенком посидеть, в магазин сбегать. А мы с ребятами придумали вот что. Чтобы и в голову никому не приходило, что Римма — мать-одиночка, мы свои пиджаки по очереди в ее комнате вешали, мол, не одна, мол, есть у нее защитники. Каждый оставлял на ночь у Риммы пиджак...

— Что же вы девку-то позорили! — вспыхнула Стешка. — Ослы безмозглые, студенты называется.

— Да ну тебя! — засмеялся Егор. — Да, вот по общаге. всему институту и пошло — мол, ходят к Римме Нефедо-

какие-то "пиджаки", и все разные. Захожу однажды к Римме со своим пиджаком, а на вешалке уже висит чей-то серый, в клеточку, с деревянными пуговицами. Итальянской фирмы пиджак. На другой день Кеша Шульгин заявился. И Володька Латышев. И Еся Полонский... Сунемся, а тот пиджак все висит... В общем, когда свадьбу гуляли, жених сидел рядом с Риммой в знаменитом своем пиджаке. В серую клеточку, с деревянными пуговицами, в итальянском...

— Ну, молодцы! — засмеялась Стешка. — Выдали девку замуж. А если бы летом, когда все в рубашках?

— Летом в сельхозе не учатся. — Это знал даже Бронька Летягин. — Летом все на переднем крае, броня крепка. Поняла, Стешенька?

— Поняла, вот! — откинула она полу Бронькиного кожушка, а под кожушком на Броньке пиджак — серый в клеточку, деревянные пуговицы. — Видали?.. Ну, прохиндей! Расскажу твоей Нинке!

— Сами с Егором в своих делах разбирайтесь, — заерзал на своем сиденье Летягин. — Я тут вам ни при чем, — и опять едва не загнал машину в канаву.

— Бодракову смотри не скажи, что ты меня с Егором в телятнике видел, — сказала Стешка Брониславу уже на полном серьезе. — А то с вас, пиджаков итальянских, все и начинается.

* * *

На другой день Бодраков встретил Броньку Летягина:

— Ты, прохиндей, катался вчера по Алатырю?!

— Ну.

— Уши пообборву! Мне надо срочно в город, гоню туда самосвал, а он, видите ли, на машине моей. Шмыгнул мимо, даже не остановился.

— Не видел, Ксаныч, ей-богу, не видел, — взмолился Летягин. — Слово — олово, твердо. Кто же мог подумать, что вы по Алатырю на самосвале?

— Я тебе для чего оставил машину? — не успокаивался Бодраков. — Чтобы ты распредвал заменил, поглядел, подтянул, одним словом, провел профилактику.

— Так я быстро управился, — сообразил, что сказать, Бронислав. — Заглянул, подтянул, одним словом, Ксаныч, провел профилактику. Дай, думаю, до Алатыря доскочу — проверю, как мотор тянет.

— А распредвал?

— А что распредвал? — заюлил Бронька. — Распредвал еще ничего, ездить можно.

"Ну, молодец! Ну, броня крепка", — все еще кипел Бодраков. И, чтобы хоть чем-то досадить Броньке, сказал ему, прохиндею:

— Ты вот что, постой-ка тут, а я мигом — лично проверю, стучит после тебя мотор ай уже отстучался?

Бодраков поддал газку и укатил вслед за облаком. А Бронька остался стоять как перст под высоким ярищенским небом. Причем у всех на глазах, как раз между комплексом и конторой правления. Солнце припекало. И скворцы уже прилетели, вычищали скворечники, а потом и они куда-то делись. И в спину Броньке вступило, в ногах правды нет, а присесть негде. И странно так пить захотелось. С чего бы? Вроде бы с утра сегодня не ел селедки, а ел с огурцами картошку...

"Он там ездит, а ты тут стой и переживай. Тоже мне председатель. Никакого внимания к человеку".

И Бронька расстегнул кожушок — зимняя одежда, пора менять на весеннюю. Снял с себя пиджачок — серый, в клетку, деревянные пуговики, итальянский. И повесил его на ближайший куст сирени — пускай охолонится, заграница.

Походил, походил Бронька вокруг пиждака — нет Бодракова. Огурцы проклятые, спасу нет, как во рту пересохло. Повернулся Бронька и побрел в контору правления: там всегда бачок в коридоре с холодной водой, кружка цепью на смерть прикована. Пока пил с прибулькиванием, с удовольствием длинными толчками проталкивал влагу в себя кадыком, тут и Коротеева эта, экономистка, зырь из своей бухгалтерии и под ручку его.

— Ты, — сказала она, ехида, — вчера весь рабочий день где прошлялся? Пропустил, прокатался. Сделаю вычет тебе из зарплаты.

— Дура, — осерчал Бронислав. — Вычитай. Что я тебе тут, за деньги, что ли, работаю?

— А за что же? — как столб поставило Коротееву. — Вот не знала-то. — И вовсе ехидненько этак она ему: — А из-за чего же ты, Бронислав, у нас тут работаешь?

— Из любви к Бодракову, — кротко ответил ей Бронислав. Знал: точь-в-точь все передаст Финагену "динамка". — Но вообще-то в Бодракове я разочаровался, Ксаныч стал буквально несправедлив.

И после этого Бронька исчез с горизонта, как говорится, слинял.

А там подъехал наконец Бодраков к тому месту, где час назад оставлял Бронислава, а Бронислава-то нет. Пиджак итальянский на русской сирени висит, на русском ветру рукавами мотает, а самого Броньки нет. Нехорошую мысль заронил в Финагене этот пиджак и сама близость пруда, освобожденного ото льда. Заграница — вот она, ничего ей не сделалось, а Россия-матушка, где она? Кинулся Бодраков к конторе правления: "Не видели Броньку?" "Видели, — говорит Коротеева, экономистка. — Да какой-то он был не такой, чумовой". И точь-в-точь все слова Бронькины передала Бодракову. Это подогрело Финагена до основания. Стал между пиджаком и черной водой пруда, и вода эта, темная, холодная, бррр, так растрогала Бодракова. "Вот как, — подумал сурово он, — теряем мы верных товарищей, остаемся одни... Что же я без Броньки-то делать буду?" До того человек расстроился, ну просто невозможно как тошно жить стало. Отвернулся Финаген, чтобы никто не увидел сго лица, а Бронька вот откуда-то взялся, как с луны свалился, — живой, невредимый, идет, паразит, за своим пиджаком. В тельняшке одной, "морская душа", дюже жарко ему, запалился.

— Ну, прохиндей! — освирипел Финаген. — Уволю, штраф сдеру, завтра же скажу Коротесвой! — И стал объяснять Брониславу доходчиво: — Лучше бы ты, Бронислав, утонул, чем так подводить руководство. Ты мне просто сердце разбил итальянским своим пиджаком. Нет, без выговора это тебе не обойдется, это минимум, это факт, это точно. Чем я тебя породил, тем я тебя и задушу, своими руками, гидра международная. Что, нашего, отечественного пиджака не нашлось?

— Кто гидра?

— Ты гидра.

— От кого слышу! Сам прохвост, нехороший человек!.. Вы мене, Финаген Ксаныч, просто разочаровали. При чем тут я и пиджак ваш отечественного производства? Какой есть, такой и ношу. Я, как Чапаев, за третий Интернационал.

— Ах, за третий ты, за Интернационал? Все, песенка твоя спета, иди.

Забегал Бодраков в контору правления, в свой кабинет, и тут же накатал на Летягина Бронислава, механика, приказ. И хрясь печать в конце, расписался всласть с длинной такой

завитушкой. Объявил Броньке за самовольную отлучку в Алатырь сначала строгий выговор, потом пожалел, скостил маленько — просто выговор. "Это тебе за любовь мою, за справедливость, за "прохвоста". И тут же велел выбросить этот приказ в коридоре на доску.

— Ну, ладно! — прочитал наутро Бронька бодраковскую писанину и крепко выругался при всех, обозвал Бодракова холуем итальянским — космополитом.

И сам же задумался Броня над внутренним содержанием своих внешних слов, как бы они, понимаешь, не исказили действительность.

И посхал Бронька передохнуть маленько к своей теще, к Нинкиной матери, что живет на поселке за Адамовой мельницей. Житень по эту сторону речки, а Адамов поселок — на той. Сделал Бронька саженцам Рогалихиным весеннюю стрижку, подбелил стволы известковым раствором. И потянуло его на каменные развалины, где мельник Адам молот когда-то муку и где они с Егором в прошлом году клад искали, а подняли снаряды.

Земля уже оттаяла штыка на три. Бронька захватил на всякий случай лопату и возле куста розы, под которым лежала ржавая смерть, ковырнул еще разок — ничего. Подальше еще чуток ковырнул — опять ничего. Третий раз ковырнул — стукнуло э железо железом. Бронька отер разом вспотевший лоб и деру.

Любопытство, однако, взяло верх, и Броня-Бронюшка приступил к земляным работам. И, как следовало ожидать, металл, который зацепила его лопата, оказался подвергнутым коррозии и опять же снарядом. Из той же серии, что тогда с Егором недособирали. Снаряд лежал перед ним как на блюдечке. В войну люди амбразуры собой закрывали, подвиги совершали, а тут, понимаешь, снаряд всего, одиночка. И рассудил Бронька по-деловому: "Оставлять его тут нельзя. Чего ему кататься с места на место. Чего доброго, теща наткнется — слоняется по буграм. А еще жалче корову... Что же, из-за одного снаряда путаться, подымать хай, команду из города вызывать? Отвезу-ка я его сам куда надо. Военное дело — значит, в воснкомат".

Навострил Бронька сердце мужеством и погрузил снаряд в коляску своего мотоцикла. Так старательно нес, какой тяжелый, сволочь, едва приподнял на коляску. Обложил снаряд ветками, жухлой травой и повез, как ребенка, как Нинку,

когда та родила, домой из роддома, направился в Алатырь, в военкомат.

Кто ни встречался, все подряд интересовались: "Что же это ты, Бронь, медленно едешь, и ветка еловая торчит из коляски, как семафор"? А Бронька им этак спокойненько: "Снаряды в райцентр перевожу". Усмехались: трепло. А заглядывали — бежать. Ухмылялся Бронька: дураки, такие снаряды сами не взрываются, взрывают их специально, саперы в прошлый раз разъясняли.

Вез Бронька снаряд мимо поста ГАИ, провозил по алатырским улицам, к военкомату. Зашел к военкому — оказалось, майор в погонах с голубыми просветами.

— Чего тебе? — спросил военком.

— Снаряд привез, — сказал Бронислав.

— Боевой?

— А какой же?

— Где?

— Да вон в люльке, — и показал на мотоцикл, а мотоцикл — под окном.

Глянул майор через окно, за голову схватился: ты что, с ума спятил, припер под самые окна! Взорвать хочешь военкомат? Я тебе что, специалист, твою мать, сапер, да? Не видишь, что я летчик?.. Вези вон куда надо.

А милиция — рядом. Переехал Бронька через двор — и к начальнику райотдела. То же самое, снаряд, сказано ему, привез вам, посмотрите. Глянул начальник в окно и аж побелел:

— Ты что — сдурел?! Увози сго к теттой матери; не то пятнадцать суток определяю! Куда-куда! Военное дело? Вези, значит, в военкомат!

А дальше все происходило так, как Лстягин Бронислав, "механик колхоза "Светлая жизнь", женат, русский, полных тридцать три года, не привлекался, не имеет, в оккупации не был (то есть это уже не надо), агентом иностранных разведок не являлся (это тоже теперь не надо), отвечал потом на анкеты и в народном суде, где поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Чистосердечное признание облегчает участь. А чего ему врать-то? Все как было, как на духу...

"...Вышел, значит, я от начальника райотдела и думаю: "Никому это не надо, мне надо что — больше всех? Отвезу-ка я это дело назад". Пока возвращался, всех богов на начальников, какис мне отказали, направил. А как стал подъезжать к

Яришу, вспомнил, что вчера председатель наш Бодраков "выговорешник" мне ни за что ни про что навесил. "Ну, — думаю, — я-то ладно. Вот как ты, — думаю, — будешь выкручиваться?" Что мне, больше всех надо, что ли, снаряды туда-сюда возить, в Алатырь — из Алатыря. Я снаряд из земли извлек и доставил тебе, а ты — председатель, при печати, ответственное лицо, ты головушку и ломай, куда определить взрывоопасный предмет.

Взял я эту чушку, яти ее мать, и понес к Бодракову. А Бодракова как раз в кабинете не было. Положил я снаряд на стол ему. "Ну, — думаю, — а как узнает он от кого, кто принес?" Вижу, карандаш в карандашнице, их всегда у него до черта. Взял один и написал, от кого: "От Бронислава Летягина". Нехорошо как-то, культ личности, надо помягче. Вот я и приписал: "Подарочек".

— Вы положили на стол снаряд, — перебила его женщина — народный судья, такая симпатичная женщина. — Вы имели в виду, что снаряд взорвется потом, в присутствии Бодракова?

— Что он, с часовым механизмом, что ли? — ответил Бронька народному судье. — И потом, прежде чем класть на стол, я наземь его положил и ногами на нем потоптался.

— Да вы что?! Ну и зачем?

— Он в грязи был, — сказал Бронька. — И пока возил, грязь обсохла. Не буду же класть снаряд весь в грязи на стол Бодракову, председатель все же.

— А... ну да, — не смогла удержаться от того, чтобы не прикрыть рот ладошкой, вроде как зевнула, женщина — народный судья...

А вот какие показания давала Коротеева, экономистка, эта гадюка семибатьшная; цитируется как документ:

"В послеобеденное время, мы как раз пообедали, а Бодраков еще нет, не пришел. И вот появился прохиндсей этот, Бронька... Ну да, Летягин Бронислав, наш колхозный механик, черт его знает, кто он, то ли механик, то ли опять бригадир... У меня всегда дверь приоткрыта — на всякий случай, чтобы все видеть. Так вот, входит этот Летягин, а в руках — боже мой — мина! Я прямо позеленела..."

— Ты всегда зеленая, — перебил ее Бронька. — В платье свосм, как змея подколотная.

"...— Девки! — кричу. — Ложись на пол! Бронислав мины в кабинет Бодракову таскает, хочет всех нас поднять на воздух".

Повалились — лежим. Приподняла голову — вижу, Бронька что-то пишет на mine, прямо на столе у Бодракова. Что написано — откровенно скажу, не знаю, ибо глянуть, откровенно скажу, побоялась. Но одно знаю точно: это у него, Броньки, артиллерийский аргумент. На факт выговора себе он ответил Бодракову... снарядам за этот свой итальянский пиджак".

А вот что было написано в рапорте на имя начальника Алатырского райотдела милиции:

"Докладываю, что на вверенном мне участке произошло чрезвычайное происшествие, которое только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Механик колхоза "Светлая жизнь" Лелягин Бронислав, как лично мной установлено, возил к вам туда в райотдел и в военкомат боевую мину, найденную в земле. Возвратясь из Алатыря, по его словам, "несолоно хлебавши", вышеупомянутый Лелягин подложил мину председателю Бодракову, то есть заминировал его стол, все правление, чем вызвал в конторе крайний переполох. Как выяснилось позже, и в этом мне помог ветеран войны дед Бобырь, это была даже не мина, а боевой снаряд немецкого происхождения. Но без головки — значит, не боевой. И только благодаря героическим усилиям работников милиции, то есть конкретно меня как работника, обошлось без человеческих жертв.

Гражданин Лелягин со стороны председателя колхоза Бодракова характеризуется положительно.

Участковый инспектор
капитан милиции Клевцов".

Выслушав обвиняемого, опросив свидетелей, а также ознакомившись с документацией, суд удалился на совещание. Симпатичная женщина, народный судья Теплякова, пока высказывали свое мнение заседатели, сидела без движения и вспоминала свое военное детство, мины на полях бывших сражений, жертвы на тракторах. И на память ей приходили, конечно, слова из "Василия Теркина": "Пуля, бомба или мина — все равно. Не в том вопрос. А слова перед кончиной он какие произнес?"

И уже на полном серьезе, отбросив сомнение в сторону — пусть отвечает, судья Алатырского райнарсуда Теплякова огласила неукоснительное постановление: "Подвергнуть гражданина Лелягина, механика колхоза "Светлая жизнь", за хулиганское действие, связанное с опасностью для жизни ок-

ружающих граждан, штраф в размере тридцати рублей". И добавила, чтобы знал: "Канцелярские расходы отнести на счет нарушителя".

IV.

Чем шире Бодраков окидывал взором планету, всю страну в целом и район в отдельности, добирался почти до каждого человека, тем все больше открывалась ему всецелость противостояния, и гасил он пожар в себе вопросом: а к чему все это? И так в мире хватает огня. И Тиганову Трофиму я нехорош, все ждет, когда это я тонуть начну, чтобы меня закусать. А Распопов только и выжидает, как бы его, такого-сякого-разэтакого Финагена, прихлопнуть "сверху". Так что, Финаген, особо себя не распускай, понимать надо: другая команда в Алатыре, дуют другие ветры, поберегись "сквознячка..."

Так, окорачивая себя, Бодраков урезонивал собственную натуру. В такую минуту и подвернулся под руку ему Бронислав, давненько же наедине с ним не виделись.

— А ну, поди сюда ко мне, прохиндей, паразит такой, Бронюшка! Поди ко мне, хамаидол, хамлстина несчастная, Броня, Бронислав, — сменяя голос на лисий, подозвал Бодраков к себе Броньку Летягина, пока тот наконец не приблизился. — Ничего, ничего, не стесняйся... Как же это ты, рецидивист этакий, на убийство пошел?! — восхитился Бодраков сам собой, тем, что сразу сказал, не скрывая, как быку, ахнул по лбу ему колуном. — Лишить жизни, значит, хотел человека. И чем, спрашивается, чужим, не нашим оружием, эх ты!

— Финаген Ксаныч, — потупил взор Бронька, а пепел из глаз так и сыпался, а с ним и беспечное буйство природы. — Вот ей-богу, он был грязный, и я не хотел.

— А что же, чистым хотел? Хм, тридцать рублей! Дешево они мою жизнь оценили...

— Я вообще думал, Ксаныч, ты посмеешься, для смеха.

— Это когда бы, по-твоему, я посмеялся — до того или после?

— После зачем же, — пояснил покладистый Бронька. — До того, конечно. Перед этим.

— Перед чем? — опять серьезным сделался Бодраков. — Перед чем это, спрашивается?! Перед тем, как на воздух меня, да?

— Что ты, Ксаныч, — сделал большие глаза Бронислав. — Он такой дурак.

— Кто?

— Ну, глухой, глухарь, дед Бобырь. Не достучишься. Как убитый спит, паразит, день и ночь на посту.

— А тебе-то что? Тебя что разбирает? Я председатель, я деньги плачу ему, я и разберусь.

— А ежели бы достучался, он бы у тебя на столе не оказался, — вздохнул Бронька. — Он бы в другом месте ночевал.

— Кто, Бобырь?

— А что, Бобырь у тебя ночевал?

— Не ночевал, — сказал озадаченный Бодраков. — Где не ночевал — дома или в кабинете?

— В кабинете, — пояснил Бронька.

— Ни дома, ни в кабинете не ночевал, — подтвердил Бодраков.

— Ну вот, не ночевал! — просиял Бронька. — А за что тогда мне тридцать рублей прищпандорили?

— Кто не ночевал? — спросил его с подозрением Бодраков. — Дома или в кабинете?

— Ни дома, ни в кабинете, — наклонился к нему и оглядчиво сказал Бронька, как всегда у них это бывает, когда они садятся играть в "шахматишки".

— Вот что, Бронислав! — рассердился Бодраков. ("В самом деле, гоняешь туда-сюда по району, иногда бываешь в командировке за пределами области, а тут за спиной, может, уже заговор созрел какой-нибудь, да? Бронька знает, на что, паразит, намекает, а Коротеева, экономистка, молчит...") — Да говори напрямую, стервец, чего там! Кто бывает то в доме, то в кабинете?

— Вот именно, кто! — поддержал гнев его Бронислав. — У Коротеевой спроси, у экономистки.

— И она знает все?

— А как же. Сама видела, собственными глазами.

— А что же она мне ни гу-гу? — насторожился Бодраков.

— Это уж ты сам, Ксаныч, с кадрами разбирайся, — засмеялся, затрясся всем телом Бронька Летягин, как победитель после долгого напряжения. — Почему это она не тебе первому дает показания. А где надо, броня крепка, да еще и в письменном виде. Я бы на твоём месте давно бы лишил ее, и стежки наши склизки, доверия. А ты все меня утесняешь.

— Ну ладно, ладно, раскудахтался, — сказал Бодраков примиряюще, а сам думал: кто это у него по ночам бывает то

ли дома, то ли в кабинете? Коротеева, экономистка, знает, а молчит, своёбч. — Ладно, иди, иди, Бронислав.

Попрощался Бодраков за руку с Бронькой Летягиным и прямым ходом в контору правления, к Коротеевой, экономистке. И в лоб ей прямо все тем же вопросом и взглядом вцепился, это чтобы не увильнула.

— Кто же это, — сказал он, — ночует у меня то дома, то в кабинете? Ты знаешь.

Коротеева, экономистка, засмеялась сначала, а потом видит, дело плохо, то ли здоров еще Бодраков, то ли уже заболел, то ли английские шпионы в кабинете ему мерещатся, то ли дома к жене его ухажеры, — и захохотала:

— Да она, Финаген Ксаныч, у тебя старая.

— Кто?

— Да жена твоя... А бумаг секретных у нас с тобой нет, все вторые экземпляры отправляем в Алатырь. Пускай там, кому надо, фотографируют.

А потом пригляделась к нему эта Коротеева, экономистка, и сказала:

— Что это вы, Финаген Ксаныч, такой бледный, вспотел прямо, ай пешком шли, не на машине?

— Пешком, — бросил ей Бодраков, продолжая думать над ее, паразитки, извивами.

— Что-то долго шел, с кем-то стоял, небось, разговаривал, — полусказала, полуспросила опять-таки его Коротеева, а сама повела насмешливым взглядом по девочатам, по всей бухгалтерии.

— Броньку встретил, — вздохнул Бодраков, — с Бронькой поговорил.

— Ну вот! — аж дернулась студнем, пошла вся извивами, как змея, Коротеева, экономистка. — Вот кто мозги тебе закомпостировал! Небось, на меня валил, я про его снаряд в милицию позвонила.

— Про снаряд? — переспросил ее Бодраков. — Ну да, про снаряд. — И вспомнил, с чего начался разговор у них с Бронькой Летягиным, именно со снаряда, а чем завершился? "Ну, прохиндей, — обозлился опять-таки Бодраков. — Ноль — один, Бронислав, опять увильнул. Но рановато праздновать! Бодраков в "шахматишки" еще поиграет, Бодраков кое-кому фору даст, Бодракова голыми руками не возьмешь, Бодраков еще кое-кого покушает..."

После этого его опять потянуло туда, на известное место. Земля уже, конечно, оттаяла, особенно там, в низине, у Ада-

мовой мельницы. Возле бучила Бодраков достал из багажника лопату, копнул раз — звякнуло что-то, заскрежестало. "Уж не снаряд ли опять?!" — похолодела спина. Копнул два — господи, да, черт возьми, вот он, этот сейфик! "Не там копал тогда осенью, надо было поближе к раките".

И задрожало все внутри у Бодракова, деньги же, сумма! Шарахнул лопатой он по замку, чтобы отпечатков не оставлять. После третьего удара замок упал, вывалились яtreба: бумага, газеты какие-то, мышиный помет. И как мыши там очутились? "Сволочи, — застонал Бодраков. — А деньги где?.. — Постоял, постоял Бодраков и успокоился. — Ладно, черт с ними! Как пришло, так и ушло". Взял и прикопал сейфик сызнова, осторожно засыпал землицей.

И глядел Бодраков из открытой машины в бучило. Прощался со сладкими мыслями, надеждами на самостоятельность жизни: деньги ведь не только рабство, но еще и свобода. Тю-тю, свобода, равенство и братство! Верно, так оно: свобода — это когда что кому каким, понимаешь, хочется видеть.

* * *

А снаряд взяли и выкинули на свалку, раз он мирный такой, как Бобырь сказал, "не боевой". Подумаешь — снаряд! Вон ракету с атомной боеголовкой самолет натовский потерял у берегов Испании, торпеда на учениях одного латиноамериканского флота пошла не в ту сторону, и то ничего. Танки пропадают со складов западноевропейских стран, целые артиллерийские системы. А тут снаряд заржавелый! Только шуму в районе наделали, военком до сих пор заикается, а начальник райотдела вылетел в соседнюю область. И снаряд по сей день как валялся, так и валяется на помойке за Ярищенской школой. Ну и хрен с ним, пусть валяется, с места на место перекатывается, раз он "не боевой". Только в Бронькиной душе данный факт оставил неизгладимое впечатление. Бронька даже с лица спал, слегка пожелтел, штаны даже стали соскакивать. Переживания отразились и на Бронькином лексиконе, из двух частей любимого своего выражения он теперь предпочитает только вторую: "и стежки наши склизки", "броня крепка" оказалась ему уже не под силу. С недельку Бронька ходил и делился с

каждым встречным и поперечным, божился, что он Бодракова и не думал изничтожать, а тем более контору, целый колхоз: сам на воздух взлетит, когда надо.

— Слушай сюда, — остановил он на днях Природина, — ты у нас в профсоюзе, узнай, пожалста, там наверху в профсоюзах, у юристов, как у мене судимость считается? А на личности не отразится? Вот я надумал купить автомобиль, заменить мотоцикл, так машину мне теперь продадут?

— Не знаю, — ответил Броньке Природин. — К профсоюзу судимые не относятся. Пораженные по поводу трудоустройства обращаются непосредственно к Бодракову.

И, уже уходя, оскалился этот Природин в своей белозубой улыбке:

— Слушай, а между нами, хотел ты все же отправить к праотцам Бодракова, дружка своего, а?

— Р-р-ади Хррриста! — взметнул Бронислав кулаки. — Уйди, ррради Хрриста, взоррррву-у... ррррраззоррву-у-у...

— Ты это, Броня, брось, — задержался Природин. — Снаряды больше не копай, не подымай, не надо, не находи. Ну их к врагу, пусть покоятся в земли, что тебе, больше всех надо?

* * *

"И кто бы мог сотворить такое? А на кого сроду бы не подумал — на Броньку. Вот уж, действительно, ходи да оглядывайся, говори да не заговаривайся, ступай ногой да не оступись, смотри, на что наступаешь. Живи и уже не о хлебе — о гробе насущном думай, как крестьянин во времена не столь отдаленные, содержи домовину на потолке..." Так и примерно в таком ключе переживал Бронькину выходку сам Бодраков. Именно на его столе оказался боевой металл отнюдь не презренного содержания. Именно Бронька покусился на его, бодраковскую, жизнь. "Колотишься-колотишься, бьешься-бьешься, из-за них ночи не спишь, черту на рога лезешь, а честь одна: бомбу тебе на стол. Хорош "поросеночек": вилкой ткни — и ни вилки, ни руки, всего в куски тебя, а кому это надо?..."

И стал Бодраков итожить всю жизнь свою, пока не поздно: как жил, кому чего должен, кто должен ему. Получалось, больше должны Бодракову, он больше сделал для всех, чем все для него. Поневоле мысль перекинулась и пошла по спирали наверх, куда завел его инстинкт самосохранения, — к

Распопову... Неужто про планы его, про разговор с тем ученым насчет колхоза пронюхали, в душу лезут... Оно, конечно, Александр Македонский — герой, но чего-чего, а жизни уж лишать его, верно-правда, никто в районе пока не собирался. Место кому-то, может быть, и понадобится: вышел Бодраков из доверия, из распоповского круга, но чтобы бомбы на стол втихаря класть через Броньку — это позвольте. Вот до чего дожили мы тут, распустился ты лично сам, Бронислав, а все оттого, что выделяешь тебя из всех, многое, откровенно прощаешь, не замечаешь у тебя, прохиндея, как ты, брат, ловчишь, недорабатываешь, домой волокешь без усталости. Хватательный рефлекс выработал — только "себе", а все остальное нате вам, Финаген Ксаныч, вот вам на стол "поросеночка"... "Проф-индей" какой, профессионально непригоден на дело, только на брехню и способен, на горячие помыслы. Дай вилы такому да ночку темную да попадись ты ему где-нибудь на узкой дорожке один на один, да он же тебя, Финаген, на вилы подымет. Подымет и глазом не моргнет — это факт, это точно. Вот как еще и скажет: "Вилы — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного". И где, паразит, брехать научился? Ну кто ему еще подобен в Ярище? В нашей системе так не врут, в нашей системе сколько запланировано — все отдай, даже еще с превышением. А припиши хоть малость (так надо, никому с того худа нет, а кому-то, может, и лучше), так теми же вилами в "Крокодиле" на смех подымут и скажут, что оно так и было. А спроси человека, зачем тебе это, что у тебя с того, картошка, что ли, крупнее вырастет, еще и скажет, мол, это я, Ксаныч, ошибся, не того зацепил. Да, ей-богу, я тебя не хотел, это я на Ивана Ветрова зол. А все равно зол, без зла обойтись мы не можем... У, Бронюшка! Бронислав Летягин, выкормил я тебя на свою шею, все ходишь, паразит, вроде как улыбаешься, а сам камень, оказывается, держишь за пазухой. И на кого — на своего, можно сказать, крестного, без которого бы и шагу ступить побоялся, а не то чтобы каждый год выкармливать и сдавать по три поросенка да по два теленка, а ну накорми такую ораву, такую семьюшу развел вокруг себя, антибиотик, антиобщественный элемент! А то лишь намекну Семену Клевцову, он тебя и иже с тобой — всех причешет, подпольный миллиардер..."

А пути господни поистине неисповедимы, "круги ведьмины" шельму метят, так. И планы те свои, долгоиграющие, придется окоротить, хватит в небе витать, когда подпирает земное.

Затеплились апрельские дни. Подступил привычный ход весенне-полевых работ. Однако не совсем обычными показались Бодракову, ярищенскому председателю, действия главного агронома Виталия Витальевича. Ну, гречиху он разместил поближе к Тигановке, к Трофимовым пчелкам, — ясное дело, дружку своему потрафить. И опять же польза хозяйству — малая пчелка добавляет к урожаю. А вот что целое поле, да еще какое, в пойме речки Алешни, ратовал занять капустой — это было пока сверх его, бодраковских, понятий.

Вскоре свои люди в Алатыре донесли Бодракову, объяснили ему ситуацию, так сказать, ее внутренний смысл. Оказывается, дело в чем. Роспотребсоюз повторно заключил договор с некоторыми иностранными державами (с Японией и через Чехословакию с ФРГ), где обязался поставлять не только местную дикую флору — травы и ягоды, но и, надо же, снова капусту. Вот именно! Именно алатырская капуста, по мнению руководства, отвечала высоким международным стандартам, а также чаяниям зарубежного потребителя.

Среднерусская капуста напрямую связала Алатырь с японским островом Хонсю, через Злату Прагу — с западноевропейской землей Северный Рейн — Вестфалия. А все дело, оказывается, в алатырской почве, не столь покуда отравленной нитратами. Иными словами, за граница желала есть вкусную, здоровую пищу, и почва наша это еще позволяла. Сочтя здешнюю почву девственной, зарубежные фирмы за капусту, произведенную в этих условиях, не жалели всяческого добра, нашего дефицита: дубленок, дамских сапожек, цветных телевизоров, даже автомобилей. И все это предназначалось заготовителям.

Но, как следовало из сообщения алатырской агентуры и как прежде знал сам Бодраков и все знали, в импорте с прошлого года расхаживали по Алатырю жены начальников. Плоские японские телевизоры висели на стенках квартир тех же начальников. А японская машина марки "Тойота", поступившая в Алатырь в адрес передовика для интриги — в качестве премии, — обрела гражданство в другом районе. И когда японский журналист, прислав сюда из Москвы, пожелал за-

печатлеть для газеты передовика на фоне "Тойоты", передовик этот, здоровенный мужик, объяснили, почил в бозе. Это, конечно, для ихней досужей прессы, нечего вмешиваться в наши внутренние дела, мы без этого обойдемся.

— Ну, молодцы, ну, проф-ындей!! — выразил свое отношение к ситуации Бодраков.

"Проф-ындей" было у Бодракова если не новым, то и не вполне затасканным словом. Оно подлежало жизнеутверждению, вытесняя прежнее, более раннее выражение "колхоз, на какой карасину не жалко", а также куда более позднее "гори все оно синим огнем", "синим пламенем". Причем два последних слова в одном выражении зависели от степени владеющей Финагеном эмоции. И выражение это не стояло на месте, оно двигалось в зависимости от места и времени действия, а также от образа понимания частности Бодраковым, видоизменяя порой свой внутренний смысл. В одном случае "проф-ындей" переводилось для себя Бодраковым как "проф-ындустриянты", то есть "профессионалы", "умельцы", связанные с верхами нашего "индустриального общества", конкретно Алатыря. В другом случае те же "проф-ындей" у Финагена означали несколько иное: "проф-индепенденты", что в его вольном переводе раскрывалось как "независимые профессионалы" или "свободные радикалы" — выраженице, вычитанное Бодраковым в газетах и осмысленное на свой лад. В это значение Бодраков вкладывал свою особую эмоцию, это когда имешь дело с "низами", которые хотят жить, как и "верхи", "по-европейски", а работают, так сказать, "по-азиатски". Но ведь и "верхи" алатырские управляют "низами" не с берегов, извините, Ла-Манша; такое вот слово "проф-ындей", произнесенное Бодраковым, на сей раз смело можно было отнести сразу к двум категориям. До того восхитительно, уменьшительно, профессионально было обтяпано это самое дельце с капустой. И опыт прошлого — это тебе не картошка, его просто так в окошко не выбросишь, он в наших сердцах останется навеки.

— Прохиндей — это прохиндей! — заключил Бодраков, выразив к этому истинное свое отношение, и абсолютно свободно перскинулся мыслью на Виталия Витальевича, на поле у Адамовой мельницы, которое агроном выбрал под экспортную капусту. — И этот хорош, прохиндей.

При этом в Бодракове сработал механизм самосохранения: раз это так надо им, кто там, "наверху", значит, ему не

надо. Однако пусть-пусть агроном сажает капусту, а там посмотрим! Сложные чувства обуревали Бодракова. Это что же у нас получается, а? Он собственноручно укрепляет не столько Японию и ФРГ через Чехословакию, сколько алатырскую "портреткооперацию", а через нее и Тиганова Трофима, весь его род тигановский? Ведь эта капуста, надо полагать, вызовет в Алатырь поток нового "импорта". И теперь уж японцы — это факт, это точно — своего не упустят: снимут-таки для журнала передовика у "Тойоты", и это будет, возможно, Трофим. В конце концов в Алатыре сапогами насытятся, больше станет перепадать "проф-ындейам", которые "снизу". У Тиганова Трофима появятся товары, рычаг, только дай ему этот рычаг, и он перевернет тебе всю округу, что же тогда ему, Бодракову, останется?

В итоге Бодраков дошел до такой мысли, что власти, которую лично он, Бодраков, представляет, товары в Трофимовых руках не нужны...

От всего этого башка у Финагена начинала пухнуть. Бодраков переключался на ближние цели, старался отыскать хоть какой-нибудь резон, чтобы раз уж надо это начальству, то чтобы и ему оно не было супротив. Эта щелочка, прохиндейка такая, все нутро ему переворачивала. Если хочешь, чтобы и у тебя на стенке висел плоский японский телевизор, дружи, выходит, с Трофимом. А не хочешь дружить — тебя не поймет руководство и на стенке у тебя будет пылиться все тот же твой, когда-то дефицитный туркменский ковер. Как говорится, все течет, все изменяется, человек и тот не войдет в одну речку дважды.

Вот такая шаткая будущность при хорошем-то аппетите и заставила Бодракова пойти на компромисс. Это во всяком случае лучше, чем совать голову под топор из-за треклятого комплекса... Бодраков переговорил с Природиним — лучшим механизатором, попытался сосватать его на капусту, а когда тот наотрез отказался покинуть комплекс, где у него уже развернулись дела, Финаген обратился к своей палочке-выручалочке — Броньке Летягину. Этого прохиндея уговаривать не пришлось: где бы, Ксаныч, ни работать, лишь бы не работать.

Бронька и не подозревал о высоком международном престиже местной капусты, о полном ее соответствии с названием позднего сорта белокочанной "Слава". Самое большое, на что мог рассчитывать Бронька, это доверие самого Бодракова. От него же в узком кругу Бронислав вскоре узнал, что сорт

этот носит название по имени одного селекционера — Вячеслава Дерюгина. Станным стечением обстоятельств этот селекционер был рекомендован Финагеном в звено Броньке Летягину напарником. Человек имел дело с заграницей. По его словам, где-то в угольных коях заполярного Шпицбергена он добывал себе силикоз, после того как не вполне удачно пошутил, что имя его настолько популярно, что его можно частенько видеть на многих приличных зданиях и домах всех городов и весей страны, за что и получил в свое время путевку туда, где этого не было. И вот по рекомендации врачей, милиции и теперь уж по собственной воле Дерюгин изъявил желание пожить где-нибудь в более здоровых климатических условиях, например, в средней полосе. Как, например, и Афоня-люмпен. Но он был птицей иного полета и сто рублей в валюте не считал, конечно, за деньги. Работы он, "естесствѣнно", не боялся. И посему предложение Бодракова о трудоустройстве на непыльной, но денежной работенке, где можно было бы что-то прибавить к зарплате, к своим инвалютным рублям, Дерюгин Слава встретил с энтузиазмом. Надо так надо, Ксаныч, об чем разговор?

И вот Бодраков ехал проинспектировать, что там у них с Бронькой, в "интерзвене", получается.

Бронькино поле было в той стадии, когда после высадки растеньица выбросили уже по паре листочков, а снизу залопушились, ножка окрепла, заматерела. Хорошо было видно, где сорт "Слава" — потемнее, с беловатым налетом, это для заграницы, а где для себя, для столовки, — это уже яровая, на цвет травянистее, жиже.

С края поля, там, где сорт "Слава", торчала на колесах бочка со шлангом. Бодраков сразу уловил резкий, приторный запах — химикалии. Облачко еще висело над бесконечно убегающими к речке грядами, значит, капусту только что обрабатывали.

— Мошкара, падла, навалилась, — объяснил Бронькин напарник Слава Дерюгин. — Еще вовремя, пала, заметили.

— А это что? — кивнул Бодраков на бочку.

— Это? Шамогон, шпирт, шпотыкач, — ухмыльнулся Дерюгин. — Это Бронька все тащит. Кукурузу, говорит, тоже ею обрабатывают.

— А где сам?

— Бронька-то? Уехал за препаратом. Не хватило самую малость — бутылки.

— Да где уж, — сказал Бодраков, двигая носом. — И так все залили кровью, конкистадоры!

Это Бодраков только что посмотрел фильм из исторической жизни Колумбии.

— К осени капусты будет навалом, — заскромничал Славка. — Опузатимся, Ксаныч. Не будешь знать, куда девать ее.

— Найдем куда, — строже взглянул на него Бодраков. — А почему без маски работаете?

Уходил с поля Бодраков обеспокоясь: "Что-то чересчур уж стараются. Ради Японии и ФРГ через Чехословакию. Ить как, небось, рассуждают, палы: пускай идет туда наш продукт, пусть едят, поправляются, гори оно, керосину не жалко..."

— Ну, молодцы, ну "проф-ындей"! — успокоился Бодраков. И уже когда он садился в машину, мысль его сошла с международной орбиты и врезалась во внутреннюю атмосферу: "Ничего-ничего, наши бабы и в валенках ходят своей собственной валки, отечественного производства. Главное, чтобы Алатырь в "импорт" обувь, там же лужи, потому что асфальт..."

Взлетел Бодраков на взгорок, словно ангел на крыльях, придержал "козел", оглядел конкретное поле. Ну, Броня-Бронюшка, нехороший человек, бабник этакий, ну, скажи, на сколько пар дамских сапог ты замахнулся? Пол-Алатыря можно будет обусть, еще и Ярищу что-либо останется — это так, это точно.

Резиновый шланг возле бочки с аммиаком вызывал у него подозрения. "Без нужды не вынимать, без славы не вкладывать". Вот какую шуточку отпустил наемни ему Бронька Лестягин насчет Дерюгина Славы, этого "индепендента".

* * *

"Капустный бум" захватил, конечно, и Трофима Тиганова, заготовителя. В текущем сезоне правление райпо определило у населения закуп как минимум вдвое больше прошлогоднего. И уже с ранней весны Трофим развернул в своей зоне широкую пропаганду. Представляете, заграница шлет нам дефицит напрямую в Алатырь, минуя Орел и даже Москву, и почти ни за что — за капусту. Можем заграницу буквально запрудить продукцией, соображаете? В итоге бабка Бобыриха будет ходить во французских сапожках, а перед Бобырем на стенке будет висеть плоский японский цветной телевизор. А особо отличившийся, так сказать, маяк, ударник труда, получит в качестве премии автомашину марки "Тойота".

— Да разве у Бобырихи нога? Вандомская колонна, — осторожно намскал Тиганову Трофиму Иван Иванович, местный учитель.

А крестьяне, до того внимательные, стебали по глазам:

— А в прошлый раз "импорт", между прочим, разошелся по "конопям".

— По "конопям" — по начальству, — соглашался Трофим, а куда денешься. — Зато теперь, при насыщенном рынке, "Тойота" от нас никуда не денется. Требуйте только, чтобы продукция была чистая, без нитратов.

И сам отвел под капусту на своем огороде делянку. И, позаимствовав рассаду у Виталия Витальевича, занял эту делянку то же самое "Славой".

Лето выдалось жаркое. Как и все живое, капусту одолевали естественные враги. И если Бронька Лестягин боролся с ними по-своему, то и крестьяне, Трофимовы кадры, тоже сперва боролись по-своему. Веничком стряхивали гусениц, тварь всякую собирали руками — сколько хлопот. А вот эта самая тварь — червяки, гусеницы, личинки — после Бронькиной обработки загибалась тут же у Бронюшки на глазах.

И крестьяне, Трофимов контингент, зорко следили за Бронькиными успехами. И когда увидели, что Бронька окончательно давит индивидуальный сектор, они уже знали, что делать. Прозрачные целлофановые мешки в черных не наших буквах валялись на краю Бронькиного поля. Даже грачи облетали их, даже мыши обегали. Крестьяне глядели на них хитровато и думали: это "интерзвено" всех нас за пояс заткнет. И стали они из Бронькиных припасов полгоньку потаскивать и подсыпать мучицу химическую себе на огород, под капусту. Но никому ни гу-гу, даже Трофиму.

Припоздав, Бодраков проезжал мимо капустного поля. Было такое время суток, то состояние воздуха, когда после заката небо уже догорело, а звезды еще не обозначились. И на этом красшке поля вдруг тени мелькнули. Р-раз, как мыши, и нет их. Бодраков в таких делах спец, сразу прикинул: что тут теням понадобилось? Так и есть, взято из Бронькиных мешков, даже просыпано кое-где — белое по земле.

На другое утро Бодраков доехал до ближайшего поселка, что за речкой, у Адамовой мельницы, и лично прошел с кнута по огородам, вроде бык убежал из стада. Лично удостове-

рился: капуста у Бронькиной тещи на огороде имеется — по капусте посыпано, над капустой просыпано, называется, заправлена почва. Уж больно прыткая теща, Рогалиха эта, а сама все о честности распинается. "Только скажи — Бронька тебе черта тайком притащит на тракторе, — подумал Бодраков, веселея. — Шила, однако, в мешке не утаишь".

И велел он Виталию Витальевичу завезти из "Райсельхозхимии" побольше всего такого, что касается звена Летягина, чтобы Летягин ни в коем случае не испытывал ни в чем недостатка.

И только у Тиганова Трофима капуста росла дома, на личном участке, если уж и не такой царицей, как в поле у Бронислава, то и не такой хилой, как у какой-нибудь бабки в Подполовецком. Хочешь, Тосенька, в сапожках импортных покрасоваться — погни спинушку, пошамань на капустке. Трофим ушел от этого дела начисто, и Тося старалась, для такого дела можно и постараться. Крестьянство к работе привычно, что ему эта капуста, когда в сенокос люди по три часа в сутки спят. Не успеют лечь под звезды где-нибудь на копне, как уже и вставать пора. Старая Бобыриха одежду свою с потолка сбросила и всем показывала как реликвию; одиннадцать платьев, глядите, и у всех горбы выпревши, вот как прежде вкалывали. А сейчас разве это работа — веничком гусениц в ведро стряхнуть да грядки полить из шланга. Да чего не сделает женщина красоты ради, даже если в импорте негде и показаться!

Между тем Тиганов Трофим еще раз провентилировал в Алатыре "капустный вопрос". В определенных сферах подтвердили, о чем договаривались. "Но только без булды, товарищи, — беспокоился Трофим. — Народ нам поверил". "Какой разговор!" — отвечали ему солидные люди, они всегда ему так отвечали. В расчете на особое отношение каждый крестьянин больше вез Трофиму теперь всякой другой продукции — от мяса до аптечной ромашки. Не заготовительный пункт стал, а аптека какая-то.

А продукцию только давай: не Алатырь, а чрево Парижа. Трофим так считал, что колхозное и совхозное идет по государственной линии — в школы, детсады и больницы, на перерабатывающие предприятия, в армию. И только его, Трофимова, от заготовительства попадает людям на стол непосредственно. "Если бы не мы с вами, — агитировал Тиганов

Трофим население, — машины по Алатырю перестали бы бегать, трубы дымить, семьи начали распадаться".

А вот авторитет Бодракова от того не подымался, но и не блек. В самом деле, его продукция неизвестно куда девается. Люди подозревали, что здесь аукается, а откликается где-то аж на другом боку земного шара, и что им с того? Или же многое пропадает, как, например, картошка той осенью на железнодорожной станции, когда Москва отказалась брать — нестандарт. За такую продукцию Бодракову доставалось по шее. И Коротеева, экономистка, каждый раз предупреждала его, что ихний долг, чего сроду не бывало, перевалил уже за три миллиона.

Тиганов Трофим втайне сочувствовал Бодракову. У Трофима имелось на этот счет свое понятие в том смысле, что дело тут в общем масштабе, а не в одном Бодракове. Это все трубы дымят в Алатыре, задымили всю перспективу, не поймешь, где город, а где деревня. И чтобы стереть эту самую грань между городом и деревней, взяли и провели между ними плугом борозду, а дымом прикрыли. Эх Ярище, Ярище! Выворачивай, деревенька, карманы. Сиди себе в долгах, как в репьях, крутись на привязи, как коза у трубы, а урожаяв пятьдесят с гектара за какой-нибудь трактор плати...

Конечно, Тиганов Трофим скопил за жизнь кое-какие мыслишки. Но кто он такой — председатель, что ли? У Бодракова пусть болит голова за хозяйство.

А капуста вызывала в Алатыре уже дружный, яростный смех. Ибо у каждого шансов на импорт было немного, импорт "донизу" не дойдет. Однако Тиганов Трофим оценил гений местного производства. Капуста для Алатыря, а может быть, даже и для Орла, не просто капуста, а как бы стратегический материал, от которого зависят жизнь и деятельность региона. "Ну чем, к примеру, привлечь к себе внимание высшего эшелона? Золотишко не моем, не охотимся на соболей. Картошка да яблоки для какого-нибудь дельца из Госплана, увы, уже не экзотика. Шапку ондатровую, поступившую на базу из Москвы, через него обратно туда же отправить — это еще ничего, это можно, это уже дефицит. А вот японский цветной телевизор — это совсем "хорошо, это прекрасно, это что-то особенного". И что надо, чтобы сегодняшние минус три миллиона завтра не стали шестью? В корне надо менять все, принципиально. Стоим-стоим на месте, а потом спохватимся и давай все ломать...

Так и думал Трофим о перспективах. Если бы он, Тиганов Трофим Петрович, стал председателем. Если бы дали землю крестьянам, как обещали когда-то. Если бы этак лет пятнадцать скинуть с него... Может, и Стешка не так бы бесилась, курва, больше была бы довольна Егором, тщеславная женщина.

VI.

Стешка стала строптива. Егор никогда не видел ее такой. Пропадала нить между ними, на глазах исчезала. Теперь ничего не стоило гаркнуть ей на него, дояркой была — такого не допускала. Как бы ни уставала — придет, бывало, прильнет к нему, слово ласковое найдет — уютная, домашняя, женушка.

Егор успокаивал себя тем, что Стешка теперь заведующая. Не оттого, что начальник, а сколько людей за спиной, сколько характеров, и с каждым ведь надо по-человечески, всё на нервах, он понимает. Но сколько можно ему терпеть? С фермы пришла — молчит, ужинать сели — молчит. Спать легли — повернулась спиной.

Задержался Егор в Оболезево, на своем "стационаре". Привезли его на попутке к дому. Подошел Егор ко двору и ушам своим не поверил: на гитаре играли, и кто-то пел. Неужто Стешка? Сроду не слыхивал, чтобы Стешка пела, тем более под гитару. Голос низкий, грудной, вроде даже не женский, как юношеский.

Задержался Егор на порошках: а ведь, черт побери, неплохо.

— Я уйду с толпой цыганок

За кибиткой...

Егор ступил за порог, и струны как оборвались.

— Кто там? — сказала Стешка совсем другим голосом.

И бросилась в спальню, повесила на стенку гитару. Заговорила совсем не про то: про комплекс свой, про работу. Природин сделал кормозапарник собственной конструкции. Собирается изготавливать гранулы.

— Сначала измельчают зеленку, — объясняла она ему. — А потом прессуют.

— Да знаю, знаю, — отвечал ей Егор машинально, думая совсем о другом.

И все ждал, что скажет она ему про гитару и про цыган, которые поселились у них в Прилепах и вроде ремонтируют

Бодракову сельхозинвентарь, но только и делают, что торчат в Ярище под окнами у Бодракова, что-то еще у него выколачивают. Он ждал, что скажет она на это ему откровенно, какие неясные силы потянули и тянут ее неизвестно куда. Он ждал, что она попросит защитить ее от людей, от себя, и он бросится ей на помощь, и они опять будут вместе. Но Стешка молчала, как будто для того эта гитара тут и появилась, чтобы висеть на стене. Обидно, когда тебя не понимает близкий тебе человек, ближе которого нет. Пусть скажет, а он возьмет все на себя, избавит ее, сам избавится от одиночества. Но — только ходики на кухне да мыши в подполье напоминают, что мир существует, никуда не исчез, не исчезнет и после нас...

Гитара ушла из дому вместе со Стешкой. Егор этого не ожидал. Для успокоения он осмотрел сенцы, кладовку, даже на потолок с лазил. Не унесла же она гитару к матери в Оболешево — зачем? "Она унесла ее к себе на работу, на комплекс, — догадался Егор. — Гитара теперь в комнате отдыха, тоже скорее всего на стене. Люди знают о Стешке больше, чем он..."

Егор ходил на работу — с работы и думал совсем не про то. Ради чего, собственно, люди на свете, извините, живут? "Да и на стене ли гитара?" — врывалось в него откуда-то со стороны. И он уже не мог пересилить себя, зашел как-то на комплекс и убедился: гитара была на стене.

* * *

Наконец Бодраков изгнал цыган со своей территории. Чего еще, выполнили работу по договору. Сами знаем свою судьбу, она в наших руках. И табор откочевал под Алатырь.

Свое появление в городе цыганки озаменовали разгулом. Они двинулись по улицам группами человек по восемь — двенадцать с картами, ребятишками, громким смехом, гортанными выкриками. Заходили во дворы, заглядывали в дома, забегали в квартиры. Не окажись хозяев — под жаркими длинными шальями, под необъятными пестрыми юбками в мгновение ока исчезло бы пол-Алатыря. А так все по мелочи: ну, белье с веревок смахнули, ну, курице голову отвернули без единого звука, ну, зеленый лук на огороде продернули.

Мелюзга цыганская катила велосипедное колесо, а паца-

ны, что покрепче, одолевали толчками впереди себя скат от самосвала. И все это воинство двигалось от окраины к центру, а после обеда, отягощенное грузом, отхлынуло в обратную сторону — от центра к окраине. Здесь их уже поджидали любвеобильные папочки, которые, давая коленом под зад, иному не в меру шустрому чаду, отнимали и тут же сортировали добычу. И награда, естественно, зависела от количества и качества принесенного и еще, как и во всем, от сравнения с лучшим.

А вслед им уже неслись проклятия, беспощадная брань, на что никто из цыган не обращал, конечно, никакого внимания.

И хлынули в милицию телефонные звонки, заявители, жалобы. Дежурный по райотделу с ног сбился, пока не догадался соединиться с квартирой самого Распопова, и уже жена Распопова — опять-таки по телефону — разыскала и накрутила начальнику райотдела майору Зимоглядову. И вот только после этого майор Зимоглядов схватился за свою лысую голову и, оценив обстановку ("те самые, прошлогодние, прибыли из Ярища"), изрек перед личным составом крылатую фразу:

— Они меня добьют окончательно! И что им тут, задницу медом мажут?

— Ремонтировали сельхозинвентарь, товарищ начальник, — пояснил дежурный.

— А здесь что?

— А здесь ломают отремонтированное.

— Так, — вошел в глубокое раздумье начальник, вспомнив, как в прошлый раз (он был еще заместителем), чтобы удалить возмутителей общественного порядка, потребовались машина с брандспойтом и усилия трех райотделов.

— Та-ак, — вышел из раздумья товарищ начальник. — А позвать ко мне Тяпкина-Ляпкина! — приказал он дежурному.

— Какого Тяпкина-Ляпкина? — удивился дежурный.

— Рудю.

— Это который в ОСВОДе?

— Его.

Через полчаса Рудя был в кабинете майора Зимоглядова. О чем они говорили — история об этом умалчивает. Но вот что зафиксировало, однако, чуткое радиолокационное ухо дежурного по райотделу старшего сержанта по фамилии Доля, когда начальник с Рудей проходили мимо его зарешеченного окошка.

— На тебя надежда, Семеныч, — хлопнул по плечу Рудю начальник. — Ты у нас один можешь по-ихнему, для тебя языкового барьера не существует.

— По-ихнему — да, а вот без барьера — нет, не могу, товарищ подполковник, — хватал Рудя званием выше, в расчете на перспективу. — Барьер существует, как же так без барьера. Без барьера, как без царя в голове, нельзя.

— Ну, ты у нас полиглот, все можешь, Семеныч, — подхалимнул легонько майор Зимоглядов, знал, кому говорит.

До ОСВОДа Рудя работал заместителем предрика, но по известной слабости был переведен на нижеоплачиваемую должность, где бесплатной жидкости, правда, не той консистенции, хоть захлебнись. И вот Рудя прямо плавал в этой самой своей консистенции, но пока что не захлебнулся, живест. На такого человека можно, конечно, надеяться, не подведет.

Цыганский табор, как и во время Яна Гуса (это кто знает, конечно, из средневековья), занял круговую оборону, составив повозки в круг, так что вовнутрь пробиться было уже невозможно. А внутри трепыхались на ветру две-три палатки, на веревках сушилось белье, ходили куры пока еще с головами. И никого больше.

Небось, смотрят на них в каждую дырку. Ждали милицию на машинах, с брандспойтом, а приехал один "Москвич" с Рудей.

— Ну, давай, — вытолкнул этого Рудю начальник из "Москвича".

И пошел Рудя на приступ цыганской твердыни. Возле первой повозки Рудя крикнул что-то на их языке. Не откликнулись. Заговорил опять же по-ихнему. И тут из повозки выскочила девчонка и отвела Рудю в высокую и острую такую палатку — шатер. Вскоре туда же вразвалочку проследовал немолодой цыган в новых хромовых сапогах. "Тоже начальник, — сидя в своем "Москвиче", подумал о нем майор Зимоглядов, — цыганский барон".

Зимоглядов сидел в машине и тосковал. Это для маскировки сел он в эту машину какого-то частного, задержанного за мелкое нарушение. И тут у него, конечно, ни рации, ни даже простого приемника. "Маячок" хотя бы, послушать Николая Сличенко, это было бы к месту.

Прошло еще полчаса. Рудя все не показывался. И к майору Зимоглядову стали подкрадываться всякие нехорошие мысли, он даже пояс потрогал, где обычно висит кобура. Ни

кобуры, ни рации. И весь, как прыщ, на виду. На той неделе трое оперативников поехали брать одного безоружного и возвратились один с пулей в локте, а двух других отправили в неврологическое. Перенервничали. А в областном управлении перед актовым залом — мраморная доска, на ней золотом имена сотрудников, отдавших жизнь за общественный порядок. А тут как мальчишка поехал — ни пистолета, ни рации. И мотор возмись заводить — с ходу, небось, ведь и не заведется...

Майор Зимоглядов сидел в "Москвиче", проявляя характер. Мотором зря не рычал, вхолостую бензин не расходовал — малейшая помеха может сорвать все дело.

И уже когда из шатра, простите, "вигвама" несчастного этого, раздался взрыв смеха, как от какой-нибудь водородной бомбы, Зимоглядов успокоился: слава богу, все идет хорошо, нормально. А смех продолжался, это навряд ли как у них в райотдельской машине (давно пора списать, а не списывают): как включишь скорость, так и не выключается.

Зимоглядов набрался терпения еще на час, ожидал целый час... Еще битый час. И уже начал злиться майор на этого Рудю, черт его подери, тоже мне дипломат, ООН, Совет Безопасности. Что, протоколы, что ли, надо писать? Меморандумы согласовывать? Ну ничего буквально нельзя никому поручить, пустяковое дело завалят, сделают из него кикимору. Послал на днях двух милиционеров... новеньких, как их... ну, направил их в автосервис. Чтобы там "козла" ему посмотрели, все же начальник ездит, и что-то стучит, наверно, распредвал барахлит. Направил и ведь предварительно позвонил начальнику автосервиса. Вернулись они из автосервиса, и, как чувствовал, сам заглянул в ходовую часть: где, ребята, наш распредвал? Этот сняли, а свой, совсем барахляный, поставили. Ну на ходу подметки рвут, невзирая на лица, у начальника милиции сняли! А что ж вы хотите от них, когда они с рядовым составом дело имеют?.. А эти двое, каких послал, стоят, рты разинули, а еще шоферы, оба третьего класса, нет, один даже второго...

И еще прошло полчаса. Да-а, ни рации, ни даже приемника. Со своими снести, как они там без него в райотделе? Тут домой пойдешь пообедать, и то душа изболится, боишься, как бы они там без тебя опять чего-нибудь не натворили. Как в прошлом месяце. Надо было направить подследственного в следственный изолятор, а дежурный отправил его в соседний

район. "Почему ты так сделал?" — спрашиваю. — "А машина туда шла". "Да что ж тебе, — говорю, — в корабль космический подследственного сажать, если корабль как раз под руку подвернулся да и летит черт-те куда, откуда, понятное дело, подследственные не возвращаются." "Ты, — смеется дежурный. — Шутите, товарищ начальник. Корабли космические тут у нас быть не могут, они взлетают только в одном месте — на Байконуре". "Вот молодец, — говорю. — А откуда взлетают начальники?" "Не знаю, — отвечает и хлопает глазами: — Не зна-а-аю..." "А начальники, — говорю ему, — отовсюду могут взлетать. Безразлично откуда. Где сидит, оттуда и может взлететь." — "Как это?" — "А так это. Видал, сколько сидела предриком Светлана Ивановна, а взлетела. А теперь у нас начальник Распопов". "Вы — наш начальник", — отвечает дежурный, смысленный парень. "Верно, все знаешь, — говорю ему. — А зачем же ты тогда подследственного черт-те куда, просто зла на тебя не хватает, в соседний район зататарил?!"

Наконец в "шатре" раздался особо сильный взрыв смеха — не водородная бомба, конечно, но, похоже, приличный фугас. Зимоглядов не выдержал и вышел из "Москвича". Только он сделал каких-нибудь пару шагов по направлению к туалету, как полог распахнулся и из шатра в обнимку вышли двое — Рудя и тот цыган, в усах и хромоных сапогах, — цыганский барон. Барон проводил Рудю до прохода среди повозок и остался понаблюдать, как это Рудя будет преодолевать расстояние.

Рудя шел к "Москвичу", балансируя, его бросало из стороны в сторону, ясное дело, не от смеха — Рудя был просто пьян. В раскатуху, или, как говорится, в стельку.

— Все, начальник, — доложил он коснеющим языком Зимоглядову. — Вези в вытрезвитель. Эх, пролечу, прозвеню...

— В чем дело? — тряхнул его за плечо Зимоглядов.

— Дело в шляпе, — отвечал Рудя, забираясь в "Москвич". — Договор дороже денег, скреплен кровью предков... Назови им пункт сдачи. Возвратят все барахло. Кроме, конечно, кур, — в этом месте Рудя слегка облизнулся. — Кур они, того, уже съели, — и сглотнул слюну уже без стеснения. — И утром завтра снимаются с якоря и айда в соседний район.

— В какую сторону света?

— Мы, говорят, вольные птицы, нам рады везде.

— Да уж, — вздохнул с облегчением Зимоглядов, началь-

ник милиции. — Рады, когда уезжают. — И майор остался доволен собой: так-то решают вопросы малой кровью. — Ну, поехали?

— Куда? — обеспокоился Рудя.

— В вытрезвитель, — хлопнул Рудю по плечу Зимоглядов. — Куда же еще тебя такого везти, невменяемого? В каталажку?... Ладно, домой отвезу.

А утром событие пуще прежнего прямо-таки потрясло весь Алатырь. Ночью коней увели, и где? В райисполкоме. Цыгане, конечно, кто же еще? И как в воду канули они, эти цыгане. Стали подсчитывать звонки из сел и деревень, на которые дотоле не реагировали, — получилась круглая цифра. Двадцать коней увели из района в последние дни, а куда — неизвестно. Дожили! Коней крадут — ни стыда, ни совести. И где — самое главное — в райисполкоме! Это-то больше всего и сразило Распопова. Лошадь что сейчас? Сто рублей, тьфу по нынешним временам. Но ведь у кого увели, кто — народная власть?! У Распопова! Сегодня лошадку у предрика украли, а завтра придут, телефон со стола стянут, самого вытащат из кабинета. А милиция будет ушами хлопать. А начальник сказал вчера — все в порядке, они перебазировются в соседний район. "Называется, охрана правопорядка, мух, дорогой, не топчешь, не обеспечиваешь".

"Ну вот, — думал с тоской Зимоглядов, глядя на шкаф под полированной деревянной гравюрой — виды Табора, чешского города-побратима. — Это факт, это точно, корабли взлетают в космос в одном только месте — на Байконуре. А начальники — безразлично откуда. Где кто сидит..."

— Спасибо, — сказал вдруг нежно этак Зимоглядов Распопову. — Спасибо.

— За что? — умерил тот ругательский пыл и стал приглядываться к начальнику райотдела: "Может, его на курорт послать, дать чуток отдохнуть?"

— За подсказку спасибо, теперь знаем хоть, что надо делать.

— А что надо делать? — все еще тяжело дышал от расстройства Распопов.

— Коней искать будем, товарищ предрик, вот что!

— Правильно! — закивал головой Распопов. — Верна-а... И еще проследить, пока они не уедут наконец.

— И так слежу-у-у, — захихикал Зимоглядов в самый неподходящий момент. — Да не могу я, товарищ предрик, сразу за всем уследить, у меня же два глаза всего.

— Вот и гляди в оба, — успокаивался Распопов, он, как и все, любил, когда ему не перечили, чтобы верх был за ним.

И майор Зимоглядов знал, конечно, об этом, но сегодня он не с той ноги встал, что ли.

— И так гляжу в оба, — буркнул он вдруг ни с того ни с сего: за соглашательство зарплату, черт возьми, не прибавят, звездочку, снятую за служебное несоответствие еще до Светланы, не вернут. А если что — уйду в народное хозяйство.

— Ты мне за все головой отвечаешь, — глянул на него строго Распопов.

— Да, ни один волосок не падет с этой лысой головы! — взорвался вдруг майор Зимоглядов.

— Почему? — удивился Распопов.

— Потому что милиция не отвечает за всех, у кого нет своей головы на плечах.

— Что — бунт индивидуальности? — тихо этак, играючи хмыкнул Распопов, и это было самое страшное, майор это понял. "Не такой уж дурак тот мой дежурный, — подумал Зимоглядов о старшем сержанте Рочислове. — Надо к нему приглядеться".

— Есть! — козырнул майор Зимоглядов председателю райисполкома и уже от самой двери, оборотясь, сказал предрику Распопову: — А коней вам найдем!

И весь райотдел поднят был по тревоге. Созвали экстренное совещание при начальнике. Разложили по столу старую, затертую и подклеенную, еще тех, военных времен карту-двадцативерстку. Сгрудились над картой в топографических знаках полей, речек, лесов, возвышенностей и долин, стали угадывать реальную местность, по которой конокрады могли гнать табун. Коней злоумышленники перегоняли, конечно, ленточным бором, тот тянулся с юга на север километров на сорок. После этого был промежуток — кусок степи около пяти километров. А затем уже начинались могучие дубрянские леса, где, как иголка в сене, канули в войну не только партизанские отряды, но целые армии, попавшие в окружение. Так что злоумышленников надо было настигнуть до того, как они, проскочив степной коридор, углубятся в лесные массивы.

Своими силами вряд ли обойтись, ленточный бор тянется по территории трех районов. Будем просить содействия соседей, в областном управлении — вертолет для наблюдения с воздуха. И все это выяснил, оценил ситуацию, предлагал план операции мозг райотдела — его временный штаб, офи-

церы. Они были возбуждены: еще бы, опять эти дебрянские леса — партизанский край, настоящее дело, пахнет, может быть, кровью и орденами.

Зато майор Зимоглядов, отвечающий за все головой, сидел отстраненно, вроде слушал и вроде дремал. Дремать-то дремал, а кур бачил. И когда все офицеры высказались и больше нечего было добавить, он разомкнул одно веко, повел взглядом, оглядел совещание. "Блажит начальник... Военный совет в Филях", — подтолкнул один молодой следователь другого, оба они были направлены в Алатырь недавно — в райотдел и районную прокуратуру.

— Так вот, — специально в их сторону смотрел уже в оба майор Зимоглядов. — Ваш вариант: вертолеты и прочее — это хорошо, это прекрасно. Но, мне думается, эффективнее в наших условиях следующее. Выделяем оперативную группу и ждем злоумышленников на выходе из ленточного бора, так сказать, в степь широкую. Сами, как миленькие, придут к нам в руки. Наше дело — не дать проскочить на конях перемычку. Дело ответственное, операцию держит на пульсе сам Распопов, предрик. Не исключено, что на завершающей фазе он как начальник лично возглавит оперативную группу... Итак, все расписано, уточнено, проиграно на карте...

— Проиграно? — прыснули в кулак молодые следователи.

— Вопросы есть? — невозмутим был майор Зимоглядов. — Вопросов нет. Приступаем.

* * *

И Распопов наострился в Ярище. Вил-вил, наконец свил три круга: два "ведьминых" — ложных и один истинный — Стешкин. Что касается Стешки, он не мог признаться в том себе даже дома, под одеялом, и потому так обставился — целых три круга прикрытия. Первый из них — цыгане — лежал на поверхности, самый свежий факт для Алатыря. Второй — это комплекс, важен как для района, так и для Ярища. И оба первых круга связаны с третьим, единственно истинным — Стешка.

Распопов свалился в Ярище как снег на голову. Но Бодраков сго уже подждал.

— Ты чего цыган своих распустил? — давил Распопов на Бодракова, а Бодраков по глазам видел: присхал ведь не из-за цыган, а из-за цыганки. — Ну, показывай, до чего ты тут дохозяйствовался.

Имя Стешки не было произнесено ни тем, ни другим, но оба хорошо понимали друг друга.

С тех пор, как Стешка вернулась со слета, она только и делала вид, что ничего особого не произошло, в Алатыре ее вроде бы не заметили. Заметили, и еще как. Но пока никуда не выдвигали. И вот в Ярище заглянул мимоходом Распопов. Ишь, кот, облизывается. Спрашивает, говорит то да се. А ведь это Стешка тянет сюда, как магнитом, Стешка не может к себе не тянуть, она поднимает внутри порочные мысли и чувства. Это — истина, все остальное — ложь, камуфляж, говорится одно — для масс, а подразумевается совершенно другое — для себя. В каждом слове Распопова — оглядка, намек, давление, сила тайная и явное превосходство и в то же время опасение, страх потерять свое место...

После отчетно-выборного собрания, на котором предрик попытался не своими руками убрать его, Бодракова, как, прикажете, он, Бодраков, должен был воспринимать этого, понимаешь, Распопова? К коню близко не подходи — спереди укусит, а сзади копытом хряснет, зашибет. Кони, цыгане — это только предлог, внешний повод. Это, мол, Бодраков, приютил, дал работу и денег цыганам, помог свить им тут гнездо осиное, вот цыгане коней и покрали. Как жива, однако, в Распопове идея убрать его с пути окончательно. И явился лично сюда в Ярище посмотреть своими глазами, до чего Бодраков дохозяйствовался. Может, имеет смысл подцепить его, Бодракова, за комплекс, потянуть ниточку. А то он, чего доброго, начав с комплекса, весь район сму перемутит... Бодраков чуял Распопова еще и как мужик мужика. "Что сму, не хватает своих, исполкомовских, что ли? — противилась в Бодракове натура. — Лапы куда протянул, все бы себе захватили, начальники". Но срабатывал инстинкт самосохранения, не давая в нем эмоциям разбушесваться. "Поглядим, как этот мужик меня, мужика, будет при ней оттеснять", — предугадывал Бодраков.

Весь сценарий визита Распопова в Ярище, вся его внешняя картинность и внутренняя пружина заняли Бодракова не надолго. Через несколько минут Бодраков был уже готов сопровождать Распопова куда угодно и по какому угодно поводу. Бодраков знал, что надо начальству, а значит, и что делать и как держаться. А начальство не подозревало об этом, в чем преимущество Бодракова и состояло.

— Начнем с цыган, — приказал Распопов. — Где они у тебя тут размещались?

С Прилепского верха можно было видеть, как за белой распоповской "Волгой" держался, изо всех сил старался не отстать "козел" желто-песочного цвета — основного тона аравийской пустыни времен египетско-израильского конфликта. А уже за Бодраковым накатывалась на Прилепы вся эта колхозная свора, наличная подвижность — специалисты на самосвале, лыковский бригадир Чемодуров на своей инвалидской коляске, Бронька на "вертолете" тоже с коляской. Целая кавалькада, приличная свита, Распопов мог быть доволен.

Подкатали к хатенке, где не так давно обрела свой вечный покой старушка одна — долгожительница, известная всем бабка Мотя.

— Здесь, что ли, жили они у тебя? — строго спросил Бодракова Распопов, имея в виду цыган.

— Вот именно, — выскочил вперед Бронька, — песни пели, на гитаре играли.

— А где они бороны у тебя ремонтировали? — сдвинуло брови начальство.

— Сельхозинвентарь то есть? В Ярище, — поспешно сказал Бодраков.

— А на кой черт меня вез сюда?! — выругался Распопов, и накрыла лицо его тучка, он крутнул шеей нервно и засмеялся нервно.

— Вы же сказали: а где они жили у тебя, эти твои "ромашки"? — залебезил Бодраков.

— "Подснежники", — поправил его Распопов. — Это которые у тебя ремонтниками оформлены, слесарями... Ну так сколько у тебя таких брошенных хаток?

— Много.

— Да-а, — опять крутанул шеей Распопов. — Ну, поехали, где они у тебя плуги-бороны красили?

И опять за белой распоповской "Волгой" растянулась вся колхозная подвижность, но только в обратную сторону: спускались с прилепского бугра, а поднимались на ярищенский.

— Что они тебе их, чернилами красили? — толкнул борону Распопов ногой.

— Краска такая, агат! — подтвердил Бодраков не без гордости.

— Чему радуетесь, олигофрены! Черноту навели... Вот, гляди, уже и облезло. Сколько за все отпалил?

— Другой не было, — вздохнул Бодраков. — Как одну какую-нибудь завезут в хозмаг, так одной и торгуют... Может, обед заказать девчатам в столовой, что-нибудь перекусить?

— Рано, — бросил на ходу Распопов.

— Рано, — через Броньку передал по цепи Бодраков.

— С "агатом", конечно, ты опрохвостился, — сделало вывод начальство. — Обошелся без привлеченных, своими силами, да... Ну что ж, вези, председатель, на комплекс.

"Начина-а-ется!" — сжался весь Бодраков, ощущая потрясывание в желудке.

На комплексе было уже многолюдно. После отчетно-выборного собрания, когда рабочие именно комплекса выдвинули Распопова своим председателем, все ждали от него чрезвычайного, особого к себе отношения. Но ведь они же подыграли и Бодракову, оставив его председателем. Так что один-один, пятьдесят на пятьдесят, фифти-фифти, как говорят у них там, на диком Западе. А у нас тут свои порядки. И потому, естественно, все эти три дня на комплексе только тем и занимались, что вывозили навоз, мыли и холили все, что можно было вообще-то не мыть и не холить, обойтись и без этого. Распопов приостановился перед первым телятником, дождался Бодракова.

— Что же, вы так и содержите на откорме три тыщи голов, вдвое ниже плановой цифры? — спросил он Бодракова более чем иронично. — Никак не выйдете на проектную мощность?

"Как будто не знает, в чем дело, — загонял поглубже обиду в себя Бодраков. — Комплекс-то строился как межхозяйственный. Хозяйства района должны доразвивать молодняк, а не доразвивают. Что же ты, Распопов, их не заставишь? Кто выполнять будет договорные условия — дядя?" Но сказал Бодраков Распопову не то, скаламбурил:

— Мощности не по зубам. Вернее, по зубам слишком.

— Со своим народом работайте, — посоветовало руководство. — От крестьян на откорм принимайте.

— Это идея, хм, это прекрасно!

И Распопов покосился на него, понял: дошло и то, предыдущее.

Дескать, что же вы осенью вымели зерно подчистую, а теперь спрашиваете?

— С людьми надо уметь разговаривать, — наставлял Распопов, оборотясь, чтобы слышали все. — У нас народ отзыв-

чивый на доброе слово. Но и ошибок не простит, верно? — смотрел Распопов прямо в глаза Бодракову.

— Это факт, это точно, — обрадовался Бодраков. — Это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного.

— Ну вот, — остался доволен Распопов и оглядел свою свиту. — А где же наша заведующая? Что-то ее не вижу.

— Да вот же я, вот, — пробивалась из-за плотных спин Стешка.

— Ну, рассказывай, как ты тут воюешь на этом участке? — улыбнулся Распопов как можно добрее, но в меру. — Бодраков тебя, Стеша, не обижает?

— А чего ему? У него жена своя есть, — бойко ответила Стешка. — Есть кого обижать.

— Да я не в том смысле, — засмеялся Распопов. — Я в другом, производственном... Как с кормами, как правление к просьбам относится?

А сам гладил ее глазами, стоял улыбался. "Скажи, с кормами хорошо", — шептал, наклоняясь к ней, Бодраков. "А почему же привесы не те?" — оттолкнула Стешка его плечо, сама думала: "Скажи, плохо с кормами — корма не появятся, а нахлобучка от Бодракова обеспечена".

— Гранулы затеяли, вот он, — кивнула Распопову на Природина Стешка.

Распопов взглянул на Природина (голова висится над всеми) и нахмурился. Вспомнил, небось, отчетно-выборное и выступление Природина. А может, Наполеона припомнил, который сказал одному из своих генералов, тот был выше его на целую голову: "Мой генерал, я могу лишить вас этого преимущества"?

Распопов был того же мнения, но ему мешала, черт возьми, демократия.

Зашли в красный уголок, где у Стешки висела гитара и хранилась документация. Гитара висела на бордовой ленте, роскошная такая гитара.

— Чья это? — кивнул на нее Распопов.

— Моя.

— Твоя? — удивился Распопов, а Бодраков опередил его:

— Спой, Стеша, что-нибудь, спой, светик.

Стешка так на него посмотрела, что Бодраков тут же заткнулся, а лицо Распопова приняло постороннее выражение. И он стал выкладывать Бодракову прописные истины, от которых уши вяли, все показывал себя перед Стешкой. Бодраков же пропускал истины мимо ушей, тем более мимо

сознания: "Да-да, именно так. Именно так. Так именно..." Однако был момент, когда Бодраков подмигнул Стешке и хотел было ответить Распопову в его же духе, но, как всегда в подобных случаях, сосчитал до ста и успокоился. Решил, что не стоит, слишком дорого это для него обойдется, а он уже не молодой, чтобы потом восстанавливаться. Вместо этого Бодраков достал из кармана блокнотик и стал записывать в него все подряд.

— Что это вы? — наклонился Распопов, насторожась.

— Мысли ваши, цифры. Интересные данные по району, — показал блокнотик ему Бодраков. — На совещании у себя проработаем.

— Ну да, интересно, — кивнуло довольное собой начальство. — Сказать по секрету, из доклада выхватил... на предстоящей сессии...

Если бы Распопов, как некогда Бронька, не поленился прочитать писанину в бодраковском блокнотике, у него бы наверняка переменилось настроение с плюса на минус. А было в блокнотике, как и в тот раз в бодраковском "гроссбухе": "Проба пера... из гусяного крыла... мой генерал, могу лишить вас этого преимущества... висела на сосне гитара... мы, мужики, подлецы, много о себе думаем... Во, петух, раскукарекался... проба пера из петушиного крыла... Лишь только вечер опустится синий, гори оно синим огнем..."

— Вот Стеша, — сказал Бодраков и Распопову, и прямо перед собой вроде бы никому, — я ее выдвинул, а почему? Если мужская сила не тянет, от женщины больше пользы... у нее получится...

— Стратег какой, — прикрыл веки Распопов, даже прищмокивал полными, чувственными своими губами, смущая Бодракова.

"Тот продал меня, — натянулась Стешка, как тетива, — а этот купил".

Она наклонилась и налила в блюдо на полу молока здоровенному двухмастному — рыжему с белым — коту. Кот понюхал и отвернулся.

— У, хамаидол! — упрекнула Стешка его. — Хищник, все воробьев под застрехой ловишь.

— Между прочим, — сказал Распопов, выделяя каждое слово, — если бы человек исторически не питался мясом, он не стал бы человеком. Мясо стимулировало в нем мужское начало.

— Все вы, мужики, хищники, — вздохнула Стешка и от-вернулась к окну.

Финаген пробормотал что-то невнятененькое, ему надо куда-то, и вышел. После ухода Бодракова наступила неловкая тишина. Белая, холеная рука Распопова постукивала по столешнице пустым спичечным коробком.

Распопов уселся на откидном деревянном кресле поудобнее — кот двухмастный с толстыми мокрыми губами — и пил молоко. И уже собирался раскрыть рот Распопов, чтобы произнести Стешке просьбу, и она знала какую, но пока все не мог ее выдать из себя. Стешка беспомощно огляделась: где же Егор, был бы Егор — так она не чувствовала себя, как сейчас, так подавленно, после того идиотского слета. И Стешка опрометью бросилась к двери... Стой, Стешка, да погоди ты! Да сыграй ты ему, спой что-нибудь под гитару. Душа просит иной раз успокоения, разрядка человеку нужна, человеческий отдых... А через стенку слышался голос Бодракова. "Варюша, Апрятова-а!.. — звал Бодраков телятницу. — Апрятова-а-а"...

— Звали меня? — вошла сюда, к Распопову, краснощекая Варя, словно с мороза, в резиновых сапогах, в сером своем комбинезоне — халате.

— Привесы за ту неделю не записала, — вошла следом за ней Стешка. — А мне данные подавать. Ну, говори!

— Привесы? — взглянула остренько на Распопова Варвара. И за ту неделю, и за эту, лично представляла данные Стеше, а за эту так дважды. "Ах, привесы... Привесы будут такие..."

И стала диктовать Стешке по памяти — чего помнила, чего нет, Стешка только записывала. В конце Варя подмигнула ей, спросила Распопова:

— А правда, ай нет, что горком в Алатыре скоро опять в райком преобразуют?

— Это почему же? — насторожился Распопов.

— А потому горком — городской комитет, а кто же районом у нас заведует?

— Н-ну, райисполком, — сказал не совсем уверенно Распопов.

— А почему же вы тогда называетесь не "горисполкомом"? — не отставала Варвара. — Я вот думаю-думаю, никак не соображу...

— А потому, что в Алатыре горисполком уже есть, он занимается городом, — сказал Распопов еще менее уверенно. — "Вот, черт, пристала, какая дотошная".

— А это второй?

— Что второй?

— Ну, после горисполкома райисполком?

— И то другое, и другое — первое, каждое само по себе, — наконец обрел Распопов уверенность. — А вместе все это одно — народная власть.

— Понятно, народная, значит, — поджала губы телятница и не уходила, а все сидела и уходит вроде не собиралась. Потом все же ушла.

Только Распопов собрался наклониться к Стешке и уже заготовил другой вопрос, посерьезнее: "Ну как у вас отношения с Бодраковым? Помогает он комплексу? Не тормозит?" — "Если сказать откровенно..." — "Откровенно, Стеша. Мы же тут без свидетелей", — как дверь опять открылась.

— Стеша, ты тут? — просунулось чье-то лицо, опять эта Варя Апрятова? Нет, это уже кто-то другой, помоложе. И тоже в халате, резиновых сапогах, тоже телятница.

— Чего тебе, Нина? — оторвала голову от своих записей Стешка.

— Да я так... может, после? — посмотрела молодая телятница на Распопова и задумалась. — После, может?

— Ну что там у тебя, что стряслось? — откашлялся солидно Распопов. — Может, я в чем могу — помогу?

— Да ну, что вы, — прикрыла она рот рукавицей и рассмеялась, повернулась к Стешке: — Корова моя загуляла, к быку надоть.

— Ну и что?

— Моя, личная... Дак завтра мы с Валеркой поведем в Оболеншево. Завтра, значит, на комплекс я не приду.

— Ну что ж, — согласилась Стешка. — А что, Валерка один не может?

— Может. Да она меня только слушается.

Когда молодая телятница вышла, Распопов вздохнул свободно: "Ну, наконец!" Но дверь опять открылась, да не как-нибудь, а отлетела в сторону, как от удара ногой.

— Стеш, я пр... я п... — в дверях стоял оторопевший мужик средних лет. И тоже в халате, в пятнах от комбикорма. Шибануло запахом перебродившего кукурузного силоса и еще невесть каким, неподви... непод... непредсказуемым запахом.

— Что ты хочешь сказать, Дроздов, что ты прибыл? — договорила за него Стешка. — Я и так вижу.

— Я потом, — покосился Дроздов на чужого человека и шмыгнул в дверь обратно, пока опять за что-нибудь не прицепились.

— Ну и дела-а, — отдуваясь, поднялся Распопов со складного деревянного креслица. Креслице тут же хлопнуло, лишило его сидения. — У тебя прямо как в райисполкоме. Как в министерстве. Прутся и прутся. Невозможно сосредоточиться... Так только в русских народных сказках бывает: трое братьев за одну ж... хватаются, трижды дорогу выбирают, на трое дорожка расходится...

Зазвенел телефон. Стешка сняла трубку, передала Распопову:

— Вас Бодраков лично ищет.

И заметила, как зелененьким вспыхнули у Распопова глаза, как у рыси. И уже провожая к двери вконец расстроенного высокого гостя, Стешка приостановилась, тряхнула черной своей цыганской копной, так что волосы выбились из-под платка, раскатились по плечам свободными кольцами.

— За мной, мальчик, не гонись, — четко выговорила она, глядя прямо перед собой, вроде бы никому.

VIII.

Операция "Кони" была организована по всем правилам военно-прикладного искусства. Ленточный бор — от Алатырского района до степной "перемычки", всего около полусотни километров — прочесали вдоль и поперек на машинах. Прежде осмотрели с воздуха вертолетом, вызванным специально из области. Однако никаких признаков скопления людской и конской массы обнаружено не было. Либо конокрады совершают переходы ночами, на день тщательно прикрываясь в балках и лесных чащобах, либо рассредоточились и движутся мелкими группами. А ну попробуй найди человека с конем в этом лесном массиве.

Из Радимежского района позвонили и сказали, что цыгане появились на их территории. Но никаких коней с ними нет, в повозках одни женщины, дети и старики. Значит, точно, мужчины с конями движутся ленточным бором. А этот табор крутится так, для отвода глаз, и тоже через какое-то время направится к "перемычке" для воссоединения в условленном месте.

— Ну что, Шерлоки Холмсы, — оглядел свое воинство начальник райотдела майор Зимоглядов, — пора выступать?

Команду выбрали из "виновников" операции — безло-

шадных конюхов, у кого цыгане умыкнули коней. Выделялся Боря Силкин — райисполкомовский конюх, как наиболее пострадавший: у него увели сразу всех четырех лошадей.

— Ничего, Боря, — утешали его друзья по несчастью. — Зато сено останется, еще и продавать будешь.

— Соображать надо! — выступил Боря Силкин, он же Девятый секретарь, или просто Девятый, потому как считал, что в Алатыре всех секретарей восемь штатных, а он девятый — нештатный. — Нас же всех, если коней не вернем, уволят.

К зимоглядовской команде примкнул еще и вышеупомянутый Рудя — для переговоров с цыганами на природном их языке, если вдруг так окажется, что злоумышленники ни бельмеса по-русски не понимают. Ну и, конечно, сам майор Зимоглядов с парочкой милиционеров. Остальные во главе с заместителем начальника были оставлены нести службу на месте, дабы какая-нибудь иная стихия не обрушилась на несчастные головы смирных алатырцев.

И вот зимоглядовская команда в полной экипировке — с веревками, арканами, седлами и уздечками — выстроилась во дворе райотдела возле крытой "летучки", зафрахтованной для такого случая в местном автохозяйстве. Все стояли по росту, в связи с чем Девятый секретарь оказался одиннадцатым, а одиннадцатый — первым. Зимоглядов вручил Силкину уздечку от любимого коня председателя райисполкома Распопова — Облигации. Конь мужского достоинства, а имя женское. Но это нисколько не смущало Распопова, когда он совершал на нем внутренний выезд раз в год, проверяя глубину снежного залегания в районе, а заодно и грузоподъемные силы своей Облигации. И еще один, внешний выезд тайно от жены совершал председатель райисполкома, когда, как и всякий рысак, тоскуя по настоящей работе, этот конь Облигация попадал на областной ипподром для выявления основных своих божьих качеств — резвости.

— Так вот, мои дорогие, — поиграл майор Зимоглядов ключами зажигания, собираясь схать впереди на дежурной машине. — Шутки в сторону, дело серьезное, могут быть жертвы.

— Можно вопросик? — подал голос в хвосте колонны недовольный своим положением этот Девятый, он же Силкин, привыкший всегда быть первым.

— Ну чего еще? — поморщился Зимоглядов.

— А вот некоторые сомневаются: брать с собой пистолеты?

— Пистолеты? — посмотрел на него Зимоглядов. — Огнестрельное оружие?

— Не знаю, как это в милиции называется, — вышел из строя Девятый, объясняя доходчиво свою мысль. — А вот в ученом мире это называется так: "Оружие с ампулой". Не то что коня — слона валит. Хоп в ляжку — и без горя, подходи, вяжи... Я, товарищ начальник, забыл дома фоторужье, может, сбегать?

— Фото взять, ружье оставить! — не выходя из роли, командовал Зимоглядов и первым пошел садиться в машину. Приоткрыл дверцу, крикнул Девятому: — Впрочем, фото тоже отставить!

— Смертельный номер, — выдохнул Силкин, — а никакого Госстраха.

И экспедиция в составе двух машин, чему позавидовал бы даже великий Пржевальский, двинулась в путь с единственно гуманной целью: вернуть прирученную некогда лошадь к прежним условиям существования, дабы она обратно не превратилась в дикую. То бишь прогресс в аграрном секторе свободно может обернуться регрессом.

К полудню команда прибыла на место дислокации. Именно тут конокрады должны были выйти из бора. А дальше простиралась широкая степь, за которой синели девственные леса. В них-то, проскочив перемычку, и хотели кануть кони с людьми. Опушка сама по себе была живописна: поляны, холмы, родничок по соседству с остренькой питьевой водицей, чего еще надо. Две дороги, справа и слева, почти параллельно выходили из бора и терялись в степи.

Шумели сосны над головой. В их шумы вплетались такие хоры пернатых, что можно было сравнить этот бор с какой-нибудь Амазонкой или тем самым садом из семи чудес света, где вместо яблок растут эти самые птахи, и каждая со своим щелканьем — свистом-пересвистом, уханьем, стрекотаньем, карканьем, завываньем, даже козьим блеяньем. Если бы это блеяние не исходило с небес, можно было бы подумать, что где-то поблизости, в балочке, имеется поселенье и это бабушка крутит шкодливое чадо свое возле порога, чтобы и травки пощипало, и не сбежало, родимое.

Зимоглядов был человеком воснным, недаром двенадцати лет от роду зацепил Отечественную, участвовал в ее заключительной фазе на территории Померании в качестве сына

полка. И потому в момент оценил обстановку. "Летучку" майора велел загнать в полуобваленную яму от блиндажа и забросать сверху ветками, а милицейскую машину отвел в сторону, в заросли непроходимой сирени. Милиционеры были выставлены постовыми на обеих дорогах, по одному на каждой: "но пасаран — они не пройдут". Остальному войску Зимоглядов приказал готовить костер, вычистить и углубить яму от старого блиндажа, чтобы "летучку" можно было загнать туда по макушку. Когда Девятый выразил по этому поводу неудовольствие, Зимоглядов сказал ему для воспитания, но так, чтобы слышали все.

— Видал расстояние? — показал он на запад. Отсюда и до Берлина.

— И что? — глянул Силкин в степь широкую, недопонимая: там синели леса.

— А то, что отсюда и до Померании наши солдаты на пузе проползли, вот такой лопаточкой все перекопали, — вздохнул Зимоглядов. — Вот такусенькая, на боку у солдата мотается — "шансовой" называется. Шанс, браток, иметь хочешь — выкопаешь. А тебе уже выкопанное, может, твоим же батькой, лень, гляжу, подновить. А то дам команду — и настоящий военно-полевой лагерь начнем создавать... Траншеи отрывать, ходы сообщения, блиндажи восстанавливать...

— Зачем? — пожал плечами Девятый. — Война теперь такой, как была, не будет. До войны вообще не дойдет, так перемрем — от экологии.

— Много ты понимаешь, — заворчал Зимоглядов. — Помнить всегда полезно. Считаю, я вас сюда на маневры вывез, форму поддерживать. А вот ты не взял свое фоторужье, а как бы стоилось. Красотища, курорт! А мы ловим тут злоумышленников.

— Ну да, — засвистал Девятый "цыганочку" и пошел себе в лес за валежником, для костра.

Зимоглядов назначил Девятого старшим по охране и кухне как самого смышленного, ибо надо же было умудриться потерять сразу всех четырех коней: как в шахматах — двух гнедых и двух вороных.

— Соли, гляди, не забудь в котел бросить, мамелюк, — наказал под конец Зимоглядов Девятому и пошел отдыхать малине и другим посоветовал то же самое — может, ночью спать не придется, не дадут, будем, братцы, дежурить.

Стешка опять не пришла домой ночевать. На этот раз Егор попросил у отца "Москвича". Гитары Стешкиной на стене тоже не оказалось. Какой-то сверхниточкой вывело Егора на то, что Стешка должна быть у цыган, которых Бодраков выставил из Ярища перед самым приездом Распопова. В Алатыре Сенька Клевцов, ихний участковый, сказал по секрету Егору, что на операцию под кодовым названием "Кони" выехал сам начальник райотдела майор Зимоглядов. А пока кибитки цыганские с бабами и детишками видели в соседнем Радимежском районе.

— В какое место выехала опергруппа? — спросил Клевцова Тиганов Егор.

У Егора метод индукции и дедукции работал не хуже, чем у Зимоглядова. Он включил интуицию и понял, где должны воссоединиться цыгане — мужчины и женщины. И на "Москвиче" погнал туда, где был теперь майор Зимоглядов.

В лагерь Егор заявился под ужин. Свободные от дежурства конюхи и милиционеры как раз пристраивались к котлу, который на лоне исторгал неопиcуемый запах, ибо Девятый убухал в суп-лапшу полкило сливочного масла и столько же сала.

— Сало-то хоть зачем? — улыбался майор Зимоглядов.

— Мух отпугивать, — скромничал Силкин.

— От деятель! — поражался Зимоглядов скромности этого человека. — Да таким ароматом коней за пять верст на дыбы подымеешь.

И, однако, первым вытащил из-за голенища ложку и подсел к котлу, а Девятый — вторым. А потом насмелились и остальные.

— Садись-ка и ты, парень, — позвал Егора Девятый на правах кашевара.

Майор Зимоглядов оставил в машине форменный китель, ходил в серой десантной куртке. Полноватый, уравновешенный, он был похож сейчас скорее на фермера, чем на начальника райотдела — грозу местного преступного и полупреступного мира.

Всем обществом похлебали лапшички, попили чайку. Дровишки, политые водой из кружки, еще чадили, отгоняя мошкар. И откуда берется она, эта гнусность — эти гундосики, словно только того и ждут, чтобы, едва солнце начнет

клониться, из-под листа, из-под травинки повывлезать, зазвенеть над ухом, сунуться в нос, глаз, даже в рот.

Конюхи лежали и после еды слушали один другого. Все про то же, о чем они знали больше всего на свете и что соединило их здесь, — про коней. Не говорилось, но подразумевалось, что, если вернутся ни с чем, им придется менять профессию, это в их-то, понимаешь ли, годы.

Егор слушал их, а сам думал про Стешку. Ну, встретит, что скажет ей, ай снова перемолчит? Так и будем играть друг с дружкой в молчанку? С тех дней, как не стало Полиньки...

— Разговаривайте-разговаривайте, палите костер, не стесняйтесь, — подсел к ним майор Зимоглядов. — Сейчас можно. Они пойдут ночью или на рассвете.

Все уже истошились в историях, во всяких житейских случаях, происшедших с ними и лошадьми. И только Силкин готов был рассказывать хоть до утра. На работе с конем — на задворках, дома тоже слова о лошади не скажи, жена в шею: "Иди хоть рубаху, анчибал, перемени, конским потом пропах". — "И чем тебе конский пот не нравится? Красота, кто понимает". А тут поймал Силкин волну, от которой стало так ему хорошо.

— Рысаки орловские, — вел он глазами по окружающим, по друзьям-единомышленникам, — от кого пошли, от графа Орлова? Нет, глубоко ошибаетесь. От жеребца такого, тоже с женским именем — Сметанка, арабского скакуна...

— У коней графьев не бывает, — улыбнулся снисходительно Зимоглядов. — У коней даже майоров нет, одни рядовые.

— Конь Сметанка выше майора, — покраснел от сделанного ему замечания Силкин-Девятый. — За него Орлов отпалил на Востоке жуткие деньги. Всех других коней в Россию везли кораблями, а Сметанку, как генеральшу какую, вели берегом, в поводу. Боялись, как бы конь не утоп... И пошли от Сметанки орловские рысаки — серые, в яблоках, кони графа Орлова. Кони под воду и под воеводу. А конюхи графа Орлова, что ходили за ними, давали обет не жениться.

— Запрещали, что ли? — поинтересовался кто-то, любопытно все же, почему так.

— Сами не женились, зарок давали, — ответил Девятый. — Коней любили. Коней не любить нельзя. А главное — верность делу хранили.

— Фанатики! — усмехнулся майор Зимоглядов. — Прямо пуритане какие-то.

И все замолчали, сраженные этакой грамотностью. "Пуритане" — смысла понять не поняли, а спросить постеснялись, из окопа первым не вылезай, чтобы не срезало голову, — это такой закон. Но если начальство сказало, значит, соображает, знает, куда слово пристроить, на то они и начальники, при погонах, им за звездочки платят, всех, кого надо и когда не надо, пристраивают, чтобы лишнего не говорили...

— ...Верность делу хранили, — повторил Девятый, возвращая к себе внимание. — Конь — он чувствует верность так же, как люди правду, — сказал Силкин и замолчал, очевидно, имея что-то в виду, но, как и всякий артист, ждал, чтобы его попросили.

— Ну, — толкнул его в локоть тот, что был рядом. — Ну и что? Что про правду?

Силкин долго смотрел в огонь, в котором корчились и сгорали сучья, мертвые и живые, отдавая людям тепло. Сами сгорали, а тепло, вишь ли, отдавали. Людям, кому же еще. Вот какие.

— Ну, — не выдержали и все остальные.

— Ну! — повернулся к нему Зимоглядов.

И, зная меру, Девятый кашлянул. Откашлялся для очистки голоса и освежения нервов — и начал (при этом, пока было время, Егор опять почему-то подумал о Стешке):

— Это в детстве еще я прочитал, после войны... Книжка такая — тяжелая, в коже, старинные буквы. Несгораемая, даже в войне не сгорела. После сколько ни искал, нигде такой нет. Книжка из старинной, очень древней истории... И вот что мне оттуда запомнилось, так и врезалось. Как вчера прочитал...

"Жили люди тут в наших местах, племя такое — руситы. И по сей день речка такая течет — Рясета, а была скорее всего Русита, взяла буква одна и сменила другую, замаскировалась. И отличалось племя руситов от соседей тем, что всегда говорило правду. Люди просто не понимали, как это надо обманывать. И над всеми этими пашнями, лесами, холмами и реками был один такой большой город, и все должны были под ним быть, у него под крылом. И назывался он Киевом, а все это — Киевской Русью. И был в Киеве князь такой Ярослав Мудрый, и была у него своя "Правда", газета такая. В нее одну правду писали и по той правде жили. И руситы также жили по правде, вместе со всеми.

Но вот нагрянули завоеватели в "железных костюмах" и оторвали малое племя руситов от большого города Киева. И стал княжить в их городе другой князь — завоеватель и другую правду нести. "Но ведь правда — это правда, она может быть только одна, — думали руситы и вспоминали Мудрого. — Правда — это проведать, а ведать — это знать, это весть, известие, это то, что есть на самом деле и придумано быть не может". И вот "железные костюмы" стали говорить руситам свою правду, которую знали они. А когда приезжали "железные костюмы" на своих "железных конях" и спрашивали, то слышали от руситов уже не ту, не свою железную правду, а прежнюю, ихнюю, ту, инакую правду..."

Силкин замолк. Дрова в костре догорали, и тени уже начинали ложиться на медные, тугостволовые сосны. С низин подбирался туман.

— Ну а дальше-то? — подтолкнул Девятого самый нетерпеливый.

— А дальше вот. "...И стали "железные костюмы" заставлять всех говорить ихнюю правду, а руситы просто не понимали, не знали, чего "костюмы" хотели от них. Ведь правда бывает, братцы, одна. И тогда "железные костюмы" стали хватать руситов самых умных, самых видных — и увозить. И построили они в своем городе башню. Каменную, под небеса. И держали там пленников и долдонили им свое, лапшу, в общем, на уши вешали. И когда через одиннадцатый лун на двенадцатую они слышали от пленных руситов всю ту же, руситскую правду, на закате они сбрасывали пленников с башни, как со скалы. А внизу под башней была вода, было озеро, были камни, и пленники расшибались о камни насмерть. И через несколько дней трупы всплывали, и "железным костюмам" надоело их собирать.

И тогда они стали сбрасывать руситов с камнями на шее.

И вот "железные костюмы" наконец заточили в той каменной башне вождя руситов — молодого красивого Ветко. Они требовали от него своей правды, а Ветко знал правду, но только свою. Он знал, что враги все равно убивают руситов, говорящих им правду в глаза, и молчал.

Когда сбрасывали его, Ветко взял и толкнул плечом врага, стоящего рядом, и сам оттолкнулся от башни. И упал Ветко не как все, на камни в воде, а подальше, в глубокую воду, и не расшибся. И вот когда он вернулся в родное племя жи-

вым и неведимым, он сказал руситам, что надо делать. И, работая по ночам, руситы уносили из озера, из-под "башни смерти", острые камни и делали дно глубже, а воду ласковой, бессмертной. И после, когда враги сбрасывали с башни кого-либо из руситов, каждый русит знал, что правда бывает только одна, потому что правда глубокая, как вода под "башней смерти". И в том была его правда — его, а не "железных костюмов..."

И Силкин смолк. Где-то высоко на сосне затрещала сорока.

"Как бы эта паразитка не выдала нас", — отметил Егор и припомнил волчью яму, где он, падая, зацепился о землю, о краешек ямы, и оттого не попал на кол.

— Ну и что дальше? — спросил Девятого майор Зимоглядов.

— А все, — развел руками Девятый. — А дальше страниц не было...

Старинная книга была, кожаная, всю помню — буковка в буковку. И негорячая, в войне не сгорела. И где потом ни искал, такой больше нет...

— Еще искать надо, — вступил в разговор Тиганов Егор.

— Еще, — зашевелились ребята.

И тут же откуда-то снизу, от луга, подернутого ситцевым, тонкослоистым туманцем, как из глубины веков, в непроходимой грусти по судьбе, по детям своим, потерянным и порой вот так невзначай обретаемым и оплакиваемым в беспощадной тоске, забухала, закуковала кукушка.

"Кукушка-кукушка! Скажи, как Стешка могла бросить все и уйти? — сами шевельнулись губы Егоровы. — Да что эти годы кукушкины и вся наша жизнь?! Что надо нам от нее, что надо ей, Стешке? Эгоизм разъедает нас, на личном конце далеко не уедешь..."

Глубину веков в нем колыхнула кукушка. Сослила, кажется, несослимо: разное время в живом человеке. И прежде слышал Егор о "башне правды", не так давно, вроде от Лихопекова. Неужто между правдой руситов и нашей, нынешней правдой нет связи во времени и пространстве? И нет под нами, действительно, дна?.. А Стешка, что Стешка? И сколько им вместе осталось? Кукуй, кукушечка! Пока свое не откуковала: двадцать шесть, тридцать три...

И пала скорая темная июньская ночь. И где-то в бору на дороге скрипнули коростелями, запели несмазанные повозки.

На рассвете к Зимоглядову был доставлен лазутчик. Им оказался верткий, кудрявый такой паренек лет тринадцати, в рубахе на голое тело и босиком, ноги были черные, как земля, и в цыпках. Он и сейчас все еще рвался из рук милиционера с верхнего поста, добродушного увальня-украинца, с радостью объяснявшего конюхам:

— А я присев за кустиком, сижу, зморило, уснув, чишо. Слухаю, хтось чихнул. Бачу, вин идэ, у мэнэ очи повилазылы. Ну, я хоп его. Гарный хлопец, та яйцам курыцю нэ вчить.

— Да, я чихнул, а то бы он ни за что меня не поймал, — хныкал, извиваясь в огромных сильных руках, цыганенок. — Битюг такой, чуть шею не сломал. Одолея, да?

— Одолев, — стоял перед ним дядька в милицмейской форме. — А ты конэй у добрых людэй не воруй.

— А мы у добрых людей не воруюем, — перестал хныкать пацан и показал дядьке язык. — У, бочка! У добрых людей коней не бываст. Мы берем ничьих, по учир-риждениям.

— Это кто тут прыткий такой? — подошел Зимоглядов. — А ну говори, когда и какой дорогой выведут сюда, на опушку, табун?

— А вы отколь знаесте? — насторожился пацан.

— Отколь! — персгянулся Зимоглядов с Рудей, который, заслышав разговор, тоже шел сюда от машины. — Мы, брат, все знаем, у нас везде свои люди. Думаешь, если ты не скажешь нам, то мы и знать не будем?

— У них везде свои люди, — подтвердил Рудя.

— Это мы тебя проверяем, — вздохнул Зимоглядов. — Еще спрашиваем, как человека, а то бы и спрашивать не стали. Не больно нужно.

— Проверяют, точно, — вздохнул в тон Зимоглядову Рудя. — Коней возвернут, на том кончено. Не то всех с коньми позабирают. Вон машины уже приготовлены. — И Рудя показал на "летучку", замаскированную в блиндаже. — И прямо отсюда — по камерам.

— Вяжи, — решительно подставил себя пацан. — И кладите меня на дорогу, коней поведут через полчаса.

— Раздавят же.

— Не, кони чуткие, на человека не ступят.

Цыганенка увели. Собрав всех, Зимоглядов проводил последний инструктаж: кому где стоять и что делать.

К дороге лесной, к месту предполагаемой встречи, они вышли с веревками. В них-то, веревках, и заключалась главная идея в замысле Зимоглядова. Как стало известно из слов паренька, злоумышленники вели табун в поводу. "Вы ведите, мы вас подождем..."

Рассвет подступал. Вверху обозначились макушки сосен, внизу было еще темновато. Самый сон у человека, времечко воровское. Зябковато, бррр, под рубахой по телу похаживали мурашки. Цыганенок держался молодцом. Он дал связать себя и спокойно прилег на обочину.

— Не вздумай шутить, — наклонился над ним Зимоглядов. — Чихнуть, например, раньше срока. Все равно ничего не выйдет, дорога будет уже перекрыта.

И люди Зимоглядова, особенно конюхи — народ шустрый, заинтересованный, бесшумно задвигались по лесу. От сосны к сосне, от ствола к стволу бегали, таскали они канаты, всревки. Зимоглядов обежал ту и эту стороны от дороги, лично все проверяя.

— А насчет бревен как же? — переспросил он Девятого.

— Все в норме, — успокоил майора Силкин, сам взведенный до крайности, даже зубы поклацивали.

— Идут! — первым почувял это цыганенок. Ему слышнее: лежит на земле, ловит звуки телом, как телеантенна. Он заворочался, стал опять извиваться на земле, слегка застонал.

В глубине темной лесной дороги Зимоглядов уловил движение: что-то живое — человек, за ним лошадь. Лошадь ставила ноги бесшумно, как-то странно, чуть в сторону: копыта, видно, были обмотаны тряпками. Почувяв на дороге лежащего, лошадь фыркнула и попятилась, едва вздернула голову, как человек тут же повис у нее на шее, ладонь легла ей на ноздри.

Ветерком раздвинуло ветки, и Зимоглядов узнал в человеке Барона, а Девятый в лошади — свою Облигацию.

Паренек застонал, и Барон наклонился над ним. Обернулся назад, присвистнул. И темная, плотная конно-людская масса придвинулась из глубины. Вскоре все сгрудилось над пареньком. Голова к голове, позади себя держали коней.

— Совещаются, — шепнул майор Зимоглядов Девятому.

И тут же засвистала иволга. Конокрады подняли головы. А конюхи, действуя в соответствии с планом, бросились через

дорогу — выше и ниже дороги, замотали-закрутили концы вокруг сосен.

Для уверенности милиционеры перекинули через дорогу еще и бревна, опять-таки сзади и впереди, и встали перед заграждением, вооруженные.

Все, дорога была перекрыта.

— Граждане! Вы взяты в клещи, — сказал в мегафон майор Зимоглядов. — Соппротивление бесполезно. Сдавайтесь!

И эхо покатилося по лесу. Вскинулась, застрекотала сорока.

"Проспала, милая"! — бросил Барон в ее сторону убийственный взгляд.

Цыгане метнулись в одну сторону — веревки и люди. Метнулись в другую — люди и бревна.

— Барон! — гремел лес голосом Зимоглядова. — Вяжите конец к стволам. А самим отойти в сторону! В сторонку. Так... Барон, это я говорю, я, майор, Зимоглядов. Дело в шляпе, ты проиграл. Умей проигрывать, ты меня понимаешь, Барон?!

— Это я — Рудя! — во весь голос крикнул приятель Барона. — А это действительно Зимоглядов.

— Понимаю, — ответил Барон.

И злоумышленники стали привязывать копей к соснам и отходить в сторону. Операция под кодовым названием "Кони" вступила в свою завершающую фазу.

— Ну что? — приблизился к жалкой кучке майор Зимоглядов. — Вязать всех, Барон, или будем говорить с тобой как человек с человеком?

— Как человек с человеком, — глухо ответил Барон.

Конюхи разобрали лошадей и повели в лагерь, к "летучке". Барон со своей свитой, в сопровождении милиционеров и самого майора Зимоглядова, двинулись следом.

А утро уже разыгралось. При солнце небо казалось шире, а дорога еще уже. Барон сидел на пенышке мрачнее тучи. Он считал себя, очевидно, единственным виновником всего, что произошло. Зимоглядов хорошо понимал его внутреннее состояние. "Где ж тебе, дорогой-хороший, состязаться со мной, с моим-то жизненным опытом? — думалось ему. — Со всей системой, которая, бывало, и не таких скручивала, стирала в порошок, имени доброго не оставляла. А тут — кони, вот они, факт налицо. Да ведь стихия, древние, не поддающиеся сознанию инстинкты... Ну что делать мне с вами, джигиты?! Лихачи на ворованных, угнанных у хозяев конях..."

Подошли конюхи. Сказали, что не все кони в наличии,

еще парочка там, где табор, где и все остальные старики, дети, женщины.

— И когда они будут здесь? — спросил Зимоглядов. — Поинтересуйтесь.

— Должны утром сегодня.

— Они тут где-то поблизости, — сказал Зимоглядов. — Скажите Барону, пусть посылает гонца. Пусть едут, никто их не тронет.

Сварили обед. Из общего котла и пообедали. Все вместе — конюхи, и цыгане, и милиционеры. И лагерь погрузился было в обычную дрему, но тут со стороны степи, откуда не ожидали, раздались скрипы коростелей. Это скрипели телсги. Конский храп, голоса, понукающие лошадей. И на полянку въехала первая бричка, за ней — вторая, четвертая.

Зимоглядовский лагерь, напоминавший доселе военный, в одну минуту превратился в подобие ярмарки. Забегали ребятишки, между повозками взмыкали женщины. То цыганские, то русские слова и словечки заполняли уши и души.

Майор Зимоглядов выставил посты: один — возле "летучки", другой — около свосй машины.

— Ну что ж, пора собираться. Прощайтесь.

— Начальник, — подошел Барон к Зимоглядову, — бери меня одного, я виноват. Не забирай цыган, не сажай.

— Ишь ты какой! — смерил взглядом его Зимоглядов. — Как коней красть, мы хороши, а теперь — не са-жа-а-ай!.. Я же говорил тебе: переезжайте в другой район, почему не уехали?

— Мы бы уехали, — опустил Барон голову, — да коней не хватило.

— И что, значит, воруй?! — не удержался Зимоглядов.

— Да они в область другую уедут, — вступился Рудя за цыган. — Даю слово, товарищ майор!

Приблизились остальные цыгане-злоумышленники.

— Не забирай, начальник, — загомонили они. — Отпусти.

Рудя повел рукой вдоль шеренги, высказал такой аргумент, что Зимоглядов, на что человек бывалый, и тот головой закрутил, а куда денешься?

— Если бы нас, — Рудя говорил, а цыгане кивали согласно, — за все, что мы в своей жизни украли, сажать, мы бы все из тюрьмы не вылезали.

— Не вылезали бы, ой, начальник, — пошел по цыганам

ропот. — Целый народ в тюрьме. Соображасшь? Не хватило бы тюрем, нскуда бы стало сажать.

— На наш век работенки хватит, — усмехнулся Зимоглядов. И оглянулся живо, заметил, как позади него замыкалось кольцо.

— Не забирай, начальник! — закричали, завыли, запричитали, кулаками замахали подоспевшие женщины. Ребятишки, старухи бухнулись перед ним на колени.

— Да вы что, сдурели?! — побелел Зимоглядов, отступая и озираясь вокруг, хоть бы провалиться, что ли, куда-нибудь. — Что я вам... царь какой-нибудь?

— Царь, царь, царь... отпусти мужиков, начальник... не бери греха, отпусти...

— Слова какие трепать научились, эх вы, — качал головой Зимоглядов.

— Мы в колхоз запишемся, дорогой большевик, большой командир, полководец... Мы дома себе построим... Мы землю пахать начнем...

— Не ври, старая, а кто ж тогда будет цыганами?

— Мы молиться за тебя будем, сто лет тебе жить после ста... Свечку твоему отцу пойдем в церкву поставим...

— Да вас в церковь не пустят, разве вы православные?

И плач пошел по табору, вой всеобщий. Иные поползли на коленках к нему, протянули корявые, сучковатые руки, вот-вот начнут за полу хватать его, волосы рвать на себе, до чего народ неумный, вот энергии, черт возьми, просто ужас...

— Да черт с вами, — дрогнул голос у Зимоглядова. — Вот бабье! То деретесь дома, ребра друг другу считаете, в милицию жаловаться бежите, звоните, просите, мол, заberi, начальник, спасу нет, мужик пьяный, все зубы повыбивал. А то вот так, сумасшедшие!.. А заберешь в милицию, так тут же милиция такая-сякая, милиция вам во всем виновата, нехороша.

— Спасибо, начальник, спасибо, — уже уводили цыганки своих мужиков от Зимоглядова, скорес-скорее от греха, пока начальник не передумал.

И Зимоглядов заторопился в Алатырь: и там, небось, без него зашиваются. И уехал один. А конюхи со своими конями остались, они не могли гнать коней своих на ночь глядя лесными дорогами, как цыгане. Они умели это делать лишь днем.

И солнце опять пошло на закат. И лагерь стал готовиться снова к ночлегу. Эх, жизнь человеческая! И стали по кибит-

кам кормить ребятишек цыганки и укладывать на перины, раскиданные тут же: на земле, под повозкой, под кустом, словно где-нибудь на вокзале, на автостанции, на перроне, — им все равно, где угодно, хоть у чертей на куличках, где ударятся — там и спать будут, где они, там и дом, — наблюдал Тиганов Егор за табором из-за сирени, за которой взамен зимоглядовской машины прикорнул теперь его, вернее — отцов, "Москвичок".

Не уехал Егор домой следом за Зимоглядовым, вот и остался, а из-за чего, собственно, сюда и ехал. И случайно Егор стал свидетелем сцены, она разыгралась у него на глазах.

После отъезда мужчины-цыгане отошли за сирень, собрались в кучку, стали что-то горячо обсуждать. Они бросали косые взгляды на того цыгана, своего старшего, которого называли "баро" — "Бароном", тот держался особо, чуть в отдалении. Затем все вместе они позвали его, видно, для крупного разговора.

Мучнистая, седоватая шевелюра возвышалась над ним, он был выше всех на голову. Как тот генерал, что в свое время имел неосторожность напомнить кому-то о своем преимуществе. Как белоголовый старик в самом главном кабинете области. Цыгане входили в раж, они уже размахивали кулаками, они упрекали его, но в чем, в двойной игре? Несколько раз Егор уловил слова "Зимоглядов", "кони". И увидел, как они показывали ему туда, через степь, где синели леса. И Егор догадался, на что они подбивали Барона: захватить коней ночью и уйти все туда же, в леса.

Барон стоял перед ними, скрестив руки. Он дал Зимоглядову слово, и тот освободил их. А он был Барон, да, он был человеком чести. Но они играли им, его честью. Когда они поняли, что сломить его невозможно, они поставили на нем крест. В их глазах это сделало Барона сразу ниже "валета". Немолодой цыган, борода клинышком (из тех, что вечно "валеты"), подскочил к Барону и ткнул пальцем в сердце ему и, смеясь, отскочил. Низложен. "Они вручили ему "черную метку"! — пронзило Егора. — Сейчас они будут выбирать себе другого царя, им нужен царь, они без царя не могут..."

Подогревая один другого, они готовы были обвинить своего "баро" в чем угодно, он виноват и больше никто, только он, броситься и растерзать его на куски. Вот они повернулись к "баро" спиной. Вот вперед выдвигают "валета". Не любому "валету", однако, суждено стать "королем"...

Барон покинул совет, а через четверть часа вернулся, ведя вороного мерина под уздцы. Мерин тянул за собой повозку с седоватым, выветренным брезентовым верхом, из-под брезента вылезла и прыгнула наземь пожилая цыганка. За ней прыгнула еще одна, помоложе, в цветастой шали. Егор глазам своим не поверил, то была Стешка...

Егор стоял за сиренью. Знал ведь, что тут она, с ними, ради того и приехал сюда, а вот увидел и не знает, как быть...

У Барона, однако, нашлись и сторонники. Один из них подошел к Девятому и шепнул что-то. В свою очередь Силкин шепнул что-то своим, и трое конюхов отделились от всех и исчезли. Вскоре в отдалении прогремел дробный топот копыт. Егор понял: на всякий случай Девятый перебазировал табун в широкую степь, ищи ветра в поле.

Остальные конюхи во главе с Силкиным продолжали сидеть у костра. На огонь начинали сходиться цыгане. С гитарой пришла сюда и та, пожилая цыганка, из повозки Барона. Стешка появилась незаметно, вместе со всеми...

Пальцы перебежали струны. Грудным, воркующим голосом пела цыганка свое. Егору стало тесно здесь, неловко дышать.

Цыганка пела. И костер выделял из тьмы бронзоволиких цыган — старых и пожилых, пламя выхватило Колю Силкина. Блики перебирали медные груди сосен, которые, навалиясь, прижимали людей к костру. Пела цыганка, но слов и не надо было, зачем...

Сойка пискнула. Ветер хлестнул концом шали, цыганка не отвела лица. Искрясь, что-то текло по щеке.

— Да черт с вами! — вдруг сказала цыганка по-русски. — Берите все — забирайте, оставьте только душу свободную, только любовь.

— Давай-давай, эх! — вышел на свет и взял у нее гитару Барон и положил пальцы на струны, прилег виском на женскую грудь гитары. — Слушайте, ромэны! — сказал он, к Стешке поверотясь. — В последний раз слушайте. Как цыган не променяет за свободу ни власть, ни даже любовь...

"Мава-мава, пить-помить, пить-попить", — били в поле тут близко перепела. И рубаха цыгана серебрами качнулась, серебрами голос прошел по ночи:

— В последний раз гуляю с вами я, цыгане...

Барон понял гитару над собой, ударил в тело ее, как в бу-

бен. И цыгане поймали ладонями "бит" — этот ритм. Бархатная, жуткая ночь рванулась в сердце Егора. И сердца-то просто не стало, оно разбилось, разлетелось вдребезги, сердцем его становилась вся эта ночь, и все они — эти люди и сосны, и степь широкая тут же, и кони где-то в степи. О, господи, как бьет этот "бит"!.. И уходил Егор отсюда вслед за струнами, из этих теснин в степь широкую, вот куда. В степь степей, где великий конный ход ведет вечно от монгольских равнин по югу Сибири к придунайским предгорьям, этим путем свободы и несвободы, дорогой великого переселения народов, путем-дорогой горя и слез, — вот куда уходил Егор от этой жуткой, "черной метки", за которой он чувствовал смерть...

Цыган пел ей, только ей, его Стешке. Он приблизился к ней, он упивался ею. "Он ее любит, — шептали цыганки. — Она с ним обречена".

Прощай, прощай, моя цыганка.
Я уйду и больше не вернусь.
Ты будешь помнить и стон гитары,
И песни те, что пел я для тебя.

А Стешка? Что же она? Цыган присел к ней, и она при всех положила руку ему на плечо.

Даже Силкин не выдержал, крикнул. А у Егора брызнули слезы.

...и разойдемся навсегда.
Вы не жалейте меня, цыгане,
Прощай, мой табор, пою в последний раз!

"Он прощается с нами". — "Я прощаюсь со Стешкой". — "Он уже не Барон". — "Я для Стешки никто". Шептали цыганки — и это переходило к Егору и возвращалось обратно: из мысли в мысль, из уст в уста, связь меж ними исчезала, и только дрожали струны — такая это невообразимая связь.

— Не уходи, Барон! Останься, — молили цыганки, они умоляли мужей.

Но те стояли поодаль и были суровы. Они сказали слово и не могли отступить.

Цыган прощался со всеми. И Стешка взяла за плечи пожилую цыганку. И все втроем они уходили к повозке.

Егора как привязало к сирени, не мог Егор даже сдвинуться с места. И может, впервые в жизни понятно стало, что такое быть одному. Людей вокруг много, а ты один, одинок. Кто отнял се у тебя? Бодраков, чтобы самому удержаться?

Барон этот, ты, пожилая цыганка?.. Суки!! Если бы в руках у него был топор...

Дверца "Москвича" обожгла ему пальцы холодом. Контраст температур — сюда не доходило тепло от костра. Он сбил пальцы в кровь о капот, оставил следы на металле. Вставил ключ от зажигания — мотор завелся с полуоборота. "Прощай, Стешка, прости, меня шатает всего. Пусть время мое прошло, пройдет и это. Уходи, бесовка-ведунья, уйди! Жизнь моя, мое помрачение... Вот так все и кончается, амба".

Х.

Стешка вернулась домой как ни в чем не бывало. От нее пахло комбикормом, телятами... травяной мукой — животноводческим комплексом. Ни намек, ни полунамек о "бите" цыганском в степи. Если все у нее позади, зачем же тогда вернулась? А ведь жить еще и не начинали по-настоящему, только слова говорили. По совести сказать, еще и не жили. Совесть, она не бывает без правды, а правда не может быть без любви. Как дальше-то жить? На чем? На Правде, Добре, Красоте? Но правда бывает жестока, как часто она разрушает, в ней гибнут. А Красота переменчива. Добро остается? Благими намерениями вымощена дорога в ад...

А Стешка от него ускользала. Он касался ее руки, но она прятала за спину руку. Старался подпасть под взгляд ее, но она отводила глаза, в нем была почти злоба: за что же она ненавидит его? Да были ли они когда-нибудь вместе, была ли она ему не чужой?..

"Не вспоминайте меня, цыганс..."

Временами Егор чувствовал себя неполноценным, он терял над собой контроль. Схватить топор, изрубить вокруг себя все из лжи, недосказанности. Всех этих Бодрковых, Чернобасв. Всю эту пошлую систему купли и продажи — потребкооперации, где на каждый заработанный рубль должно быть не менее чем на два рубля обмана и лицемерия. Куда отец его вверг, куда он попал, неужели отец сам об этом не подозревал, не знал, что тут нельзя по-иному? Стешка была его единственной крепостью, светочем, его Красотой. И он задыхается, дайте топор — и он порубит все стены, столы, шифоньеры, этот проклятый, пошлый семейный уют, он вырубит дверь отсюда

прямо на улицу, на воздух, прорубит "окно в Европу", чтобы видеть, слышать, все знать самому, напрямую, без всяких кликуш, посредников, шептунов, которых развелась чертова уйма. Он протестует, он не хочет быть пешкой в руках Бодракова, Распопова — кто судьи, властители каковы? Он кто — бунтарь, да? Таких в конце концов бросают на самое дно? Ему все равно...

Стешка подошла к нему, погладила по вихрастой, мальчишеской его голове. Она была хранительницей очага, она была женщина.

— Стешка, — сказал он совсем другим, невоинственным тоном, — почему задерживают зарплату ("это дурацкое, нужна ему эта зарплата")? Не везут тебе комбикорм ("сдался ему этот комплекс")? На станцию поступило всего три вагона. Растащат ведь все по хозяйствам, пойдешь скажи Бодракову.

"Воинственность — от бездарности, неумения, непрофессионализма, от жестокости, от бесчеловечности. Топор — это когда нет аргументов, нет сил и терпения, нечего больше сказать. Нет ни Правды, ни Добра, ни Совести, а что тогда есть?.."

— Думаешь, Бодраков не знает об этом? Машин нет, — отвечала Стешка откуда-то, как из тумана.

"Красивая Стешка! — маячила она перед ним. — В самом деле, у Бодракова теперь одна забота: как бы сохранить здоровье, схват на здоровье других".

— Ну, тогда обратись к Распопову, — не успокаивался Егор. — "Какая разница, все они на одну колоду. Главное для таких людей — функция".

"Вот именно, стал хоть чуточку соображать".

Расчистился туман, Стешка вышла окончательно из тумана и сказала Егору реально:

— И Распопов такой же.

— Да ну? — удивился Егор прыти Стешкиных слов. — Он же тебе обещает куда-то избрать.

— Депутатов люди выбирают, — ответила реальная Стешка. — Заруби себе на носу... У Распопова грудь узковата, расширить надо для орденов.

— Ну да! — задохнулся Егор от смеха, до чего быстро зреют люди на производстве. — И кого же, по-твоему, дело интересует?

— Кто работает, — твердо сказала Стешка. — У кого от этого средства на жизнь. А не у прихлебателей всяких.

— Ишь ты!

"Тоже мне человек из ООН — "организации освобожденных начальников", — съязвила про себя Стешка и вышла в сенцы.

"Уходит от главного, — подумал Егор как бывший главный специалист, а никакой не начальник. — В сторону увела, перепелка!"

Егор ждал разговора, но не ждала, не хотела этого Стешка. Незачем было этого ей ожидать.

Она себя сдерживала, изо всех сил держалась, но никаких сил не хватало. Только после второго раза, когда опять попала она в Прилепы, призадумалась Стешка: может, и правда тетка Груня ей кровная мать, а старая Панка — бабушка? Может, все это не сон, не цыганская выдумка? Правда и то, что цыгане знают, где ее дочь, где Полинка? Как легко, оказывается, переступить порог и жить в придуманном мире.

Если бы она была детдомовской, подобрана государством, как Нина Синютина, все было бы проще. Но у нее живет в Оболешево мать, которую она любит и которая любит ее. Как быть в таком случае? И так ведь она, доченька такая, причинила матери столько горя. То притащила с БАМа Петра. То вот привязалась к женатому. У нее была своя бабушка — Берегиня, тетка Прасковья, мамина мама. Бабушка Паша тоже бы не пережила...

Если бы это было так просто! Ей плохо, а он этого не понимает, идол бесчувственный, деревяшка такая. Ему надо, чтобы его любили, молились на него, ему надо все или ничего. Нельзя же быть только тряпкой его, рабой. И у нее свое место, свои интересы, она не может быть его копией, он же разлюбит ее... Вот они, Полинкины платица. Да где же она, где Полинка? Даже милиция ее никак не найдет. А он — что он может, не может не только ее — сам себя защитить. Все надо самой...

Прощай, прощай, моя цыганка.
Я уйду и больше не вернусь.

— Живем в деревне, среди природы, а что видим? — говорил откуда-то с неба Егор. — Не помню, когда отдыхали. Будут ягоды в этом году, земляника лесная?

— Не знаю, — кратко ответила Стешка.

— А орехи? Ни в прошлом, ни в позапрошлом не было, — сказал снова Егор. — Отец рассказывал, сразу после войны в

Арендном лесу набирали по стольку, что таскали на продажу в Алатырь. На этом жили, покупали себе одешонку...

— Не знаю, — опять же скупой ответила Стешка и отвернулась.

— Ты все врешь, не верю тебе! — вдруг сказал ей Егор. — Шлюха несчастная.

— Да вот! — вспыхнула Стешка. — Была там, была... Но они не сказали, ничего не сказали... про дочь, — дернулись губы у Стешки.

"Значит, ты снова уйдешь", — склонил Егор низко голову.

* * *

Время-то как летит, лето вот уже на излете. Созрела яркая капуста, ее почти съели, подобрались к озимой в экспортном исполнении. Интересно, как это возить из России на край света — в Японию и через Чехословакию в ФРГ — капусту, этот воздух, воду такую бесценную?

В прошлый раз "заграница" расплачивалась французскими сапожками и японскими телевизорами, чем будут сейчас? Говорят, бизнесмены уже прислали кое-что, например, авангардистские кресла, стойки для бара, а также столы для президиума: "Собирай собрание, Ваня!" Распопов как раз строит новое здание райисполкома...

И Тиганов Трофим подсказал Егору: "А пройдишь-ка, сынок, по народу, пусть сдадут капустку тебе, отвези первую, пробную партию. Глаз на тебя в Алатыре должны положить". И положили. Если бы можно было что-то предугадать. Всю капусту забраковали, велели выбросить на свалку: количество нитратов значительно превысило допустимую норму. Хитроумы японские, кто же мог подумать, что они на сей раз произведут проверку на применение химии? А капусты с нитратами у них и своей хватает. Увы! Если так дело пойдет, фирма вынуждена будет расторгнуть контракт, так как не выполнено главное условие — продукт должен быть экологически чистым. Так заявил представитель фирмы по приезду в Алатырь. "Жадность фраера сгубила", — подумал Егор о Броньке, о его "интерзвене".

Однако алатырское руководство заверило фирму, что это случайность, виновные будут наказаны. И наказали: "стационар" в Оболешино был сокращен за ненадобностью, Тиганов

Егор Трофимович, заготовитель, уволен по сокращению штатов. Гнев понятен: высшие сферы в Алатыре рассчитывали на оборудование для своих кабинетов.

Итак, кто он, Тиганов Егор, теперь — первый безработный, испытавший на собственной шкуре, что такое закордон, рыночные отношения? Идти на поклон к Бодракову? Место главного агронома занято, место второго агронома тоже. Бригадиром в Лыково вместо Чесмодурова, а куда Чесмодурова?

А через пару дней Егор, как всегда, потянулся с утра к будильнику и вспомнил, что спать-то некуда. И он почувствовал вдруг такую ненужность, такую никчемность свою в этом огромном, занятом мире людей. Все куда-то спешат, что-то делают, пусть даже черт знает что, но творят, и только он один-единственный в государстве трудящихся никуда не спешит, никому не нужен, выброшен вон. Ирония судьбы: именно этот и сам полубезработный Запад лишил его былых преимуществ Востока. И вот он такой уже не один, за ним — девятый, двадцатый, трехмиллионный... Дуrolомы, куда гнем, куда идем и что ищем? От чего пляшем хоть, до чего доплясались?..

Вечером, как всегда, с последним автобусом приехала Стешка.

— Вынесло тебя с этой капустой! — сгоряча сказала она и подумала о Распопове: "Этот руку, небось, приложил. Кресла нужны ему для кабинета".

— Ну, знаешь ли! — оскорбился Егор.

— Знаю, — тихо сказала она. — Мог бы и сам догадаться... Пора знать, молодой человек с высшим образованием, дураков у них нет.

— Как растут у нас люди, — сыронизировал Егор. — Ну невозможно!

— А если ты умный, — заводилась Стешка, — что же ты меня не защитишь? Чего они, как мухи на мед, ко мне, жене твоей!

— Кто?!

— Видеть надо! — пригвоздила Стешка Егора к стене и пошла начитывать: — И я могла бы жить в Алатыре ("а в чем дело, живи") ... и я могла быть женой начальника какого-нибудь ("пока не поздно, давай")... и я была бы...

— Ну и уходи, — как-то чересчур спокойно сказал Егор. — Давай катись в Алатырь этот, в столицу, там тебя только и ждут. Там не надо ходить на комплекс, по магазинам бегать,

можно сиднем дома сидеть — в носу побрякушки, как у женщин с острова Раратонга.

— Ты злой!

— Да знаешь хоть, как живут эти бюрократы? — не унимался Егор. — Как в осажденной крепости, за толстой стеной. Ты о другой, трагической стороне их жизни хоть подозреваешь? Это же короли Лиры, Борисы Годуновы — "живая власть народу ненавистна". Как же гонятся за их детьми, если они где-то учатся. Как сплочены все они в стаю, попробуй вырваться из нее. Какие волчьи законы в стае. Еще вчера, к примеру, член исполкома Панков развивал бурную деятельность, а сегодня ему предложили на пенсию. Потому что под него втайне готовили кандидатуру. Ради кого-то, чтобы тот не загнил, двигался, рос, выдвигался, на одном месте был не более пяти-семи лет...

— Откуда ты знаешь? — улыбаясь, смотрела на него Стешка сквозь слезы. — И все равно хочу жить в Алатыре. Хочу ходить на концерты, во Дворец культуры, смотреть на заезжих знаменитостей, хочу бывать на премьерах кино, а не сидеть под коровой...

— Откуда это в тебе, деревенской?! — не выдержал, перебил Стешку Егор.

— Я люблю тебя, я люблю...

И Стешка упала лицом на диванчик, заколотила кулаками по подушке. Егор стоял перед ней: ну что делают в таких случаях мужчины — они просто стоят. Это значит, они виноваты и просят пощады, простите их, женщины! "Я ничего не умею, ничего не могу!" — прохватило горло ему электричеством, и в глазах почернело, и на черном вспыхнули и загорелись два огненно-фосфорных круга посередине. Не зеленые кольца — пятна от этих зрачков. Он видел эти свои глаза, готовые выскочить, отпечататься на двери. Они от него горели отдельно.

И, чтобы они не упали, стеклянные, тут, перед Стешкой, он одной рукой прикрыл лицо себе, другой толкнул дверь.

"Прощай, прощай, моя цыганка..."

На улице было сыро, промозгло. Он долго стоял: куда идти? Под фонарем вкосу летели белые мухи и падали, падали. Так рано, уже первый снег?

Неужто то, что когда-то наемкнул ему Бронька, имеет какую-то почву? К порядочной женщине, однако, не липнут. Но почему тогда она провожала цыгана, сама легла головой

ему на плечо? Сколько в ней всего, оказывается. "Конечно, такие, как я, узнают все последними..."

Воображение Егора до того разыгралось, до того возбудил он себя, что готов был задушить ее, на медленном огне изжарить, как куропатку, в землю заживо закопать и, трамбуя, еще и поплясать на ней, чтобы сюда, в этот мир, она больше не возвратилась... он ненавидит ее...

Стоя на крыльце дома деда Петраки, корневого дома Тигановых — нынешнего их со Стешкой жилища, мысленно уходил он отсюда, бежал отсюда — ну хотя бы к отцу, нет, зачем же, отцу надо все объяснять. В Житень, но тетки Прасковьи уж нет, Берегини. Нет, лучше уйти в никуда. Под звуки бубна и стон гитары идти в ночь кромешную, в широкую степь.

Хуже, когда уходят не вовремя. И позади остается луна, родная Тигановка, на всю жизнь пропахшая антоновскими яблоками, гречкой и коноплей. И дом, и это окно, и свет от него на дороге, который боишься переступить...

— Егор, Егорушка мой дорогой, — обняла Стешка его со спины, не заметил, как она вышла из дому и приблизилась сзади.

— Егор мой, — вокруг шеи сплелись ее руки.

* * *

Забодали и всю остальную капусту, заготовленную потребсоюзом, и по той же причине. Частник есть частник, алчность всегда налицо. После утраты иллюзий в этом секторе имелись еще кое-какие надежды на общественное производство, конкретно на ярищенское хозяйство, на Бодракова, на Бронькино "интеразве-но". Но вспомним, с кого все началось, кто подsunул крестьянам нитраты? И поползли по округе слухи, что если уж Бронькину продукцию пропускают за "бугор", то куда тогда ехать, приехали. Это сделано "сверху", специально, это — мафия. Опять "импорт" расхитят, растащат по себе те, кому надо.

"Славу" с Бронькиного поля приняли и уже заквасили в огромных чанах — ваннах, чтобы после, когда капуста дойдет до кондиции, переложить ее в деревянные бочки. И тогда отправляй хоть куда, хоть в Японию, а хоть даже в Америку. Вскоре в Алатырь прибыл особоуполномоченный — эксперт, "фирмач" называется. Этот "фирмач" сделал экспертизу и Бронькиной "Славе". И Бронькина капуста была заклеймлена. Крестьяне облегченно вздохнули: не только их, дураков, шибанули, шибанули и Броньку. И встал пе-

ред начальством законный вопрос: не кто виноват, а что делать?

И поползли слухи, а слухи, как известно, — штука невероятная, неподдающаяся. Если, конечно, не запустить противовес. Так вот, из слухов, раздутых до неузнаваемости, вытекало, что Бронька Летягин, выходит, главный враг международных торговых контактов, нарушитель конвенции, паразит — каких мало. Мир хотел подорвать и уже поставил его на грань катастрофы. Неизвестно, чем еще все это кончится. Но даже в этом, кажется, таком ясном вопросе мнения разделились, и все же абсолютное большинство мирных жителей рассудило так, что и там у них тоже люди, такие же рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. И правильно сделали, что заклеями алатырскую капусту, чего им там животами маяться за свои-то денежки из-за какого-то Броньки Летягина, развратника и прохиндея. И Бронька повел себя соответствующе. Сперва ходил гоголем, героем как бы с мировым капиталом, а после не знал, куда деться, особо когда попадал на глаза Бодракову. А что бы вы хотели? Технология такая. Гусеницы на капусту навалились — ну и побрызгал ее, стерву, "естественно", так вся мразь и посвалилась. Не собирать же их, паразитов, руками. Шуточки ли — целое поле...

И вот стали в Алатыре решать: что же с Бронькиной капустой-то делать, на кого отнести затраты? Всегда ели капусту, не думали, а тут подумали — и нате вам! Если даже "заграница" нашу капусту не ест, что же мы, хуже их? Взяли и вывезли всю продукцию Броньке под бок, где он живет, в овраг, пусть нюхает.

А огородная капуста еще пригодится, зима длинная. Деньки потянутся — ножки протянутся. Экспорт далеко, а мы туточки, близко. Ишь, лиходеи какие — добро выбрасывать, в воздух швырять народные денежки. Это дело так не пойдет, это надо пересмотреть... И потянулись люди на свалку к оврагу Бронькиному — на мотоциклах, на машинах, даже на великах, а больше пешком: не пропадать же добру.

А между тем алатырское начальство обозлилось на Бодракова: он виноват — председатель, не проконтролировал. Окончательное мнение сформировало еще и то, что вскоре, согласно одной версии, "заграница" вообще отказала Алатырю в "импорте". А согласно другой, более уточненной, японцы забрали назад то, что прислали заранее: столы президиума. И

передали в соседний район, где и здания-то приличного не было, некуда было столы эти поставить.

Именно это настолько вывело из себя Распопова, что он, выступая по местному радио по вопросам атеистического воспитания, добрую половину речи посвятил Бодракову. Разгромил его в пух и прах за то, что тот, упустив главный вопрос, не обеспечил участок, вырастил урожай капусты не такой, какой предусматривалось, сорта "Слава"; "да, не той славы, товарищи, нам не нужна слава такая о нас за границей. А если бы в Ярище занимались вопросами атеизма по-настоящему принципиально, материалистически, то, чтобы получить чистую продукцию, например, капусту, надо было с нее руками собирать сельхозвредителей, если это потребуется. С этим пора кончать, нужно расшевелить осиное гнездо равнодушия".

Бодраков понял, что все это относится только к нему, именно к нему и ни к кому более. И именно за его непредсказуемость сначала на комплексе, а потом (далее в лес — больше дров) он такое им устроит в районе, что не поймут, где личная будет, а где общественная собственность... И земля переместилась у него на место луны, а луны и вовсе не стало. Бодраков почувствовал крах иллюзий не только в отношении будущего подъема атеистического воспитания, но и такого сугубо конкретного вопроса, как есть ли бог в галактике — это еще неизвестно, а вот то, что его, Бодракова, скоро не станет в Ярище, — это факт, это точно, и ничего тут особенного.

Оставил Бодраков Броньку Летягина где-то на полдороге, высказался страдальчески:

— Натворил, сволочь, делов, а я за тебя отвечай? За твою капусту червивую.

Но Броньку это, естественно, не удивило. Не таковский он, извините-подвиньтесь.

— Ты вот что, Ксаныч, нюни не распускай, — посоветовал Бронька, он теперь это мог советовать Бодракову, ибо опять был механиком — средним специалистом. — Капуста тебе поперек горла стала, капуста тут ни при чем.

— Вот стервец! — с грустью смотрел на него Финаген. — Еще и брыкается. Ну, зайди как-нибудь, сыграем в "шахматшки".

— Не-а, — мотнул головой Бронька. — Какис шахматы. Я теперь стайер, Ксаныч, бегун на длинные дистанции. Мне теперь надо так далеко, чтобы меня не достали.

— Спасибо за откровенность, — поджал губы Бодраков и прошел мимо Броньки.

— Ксаныч, Ксаныч! — догнал его Бронька. — Обиделся, да? Это я так... можешь считать, что я сделал первый ход белыми.

— Знаю, — остановился Бодраков и глядел на него испытующе. — Все "киндер-мат" мне хочешь поставить, Бронислав?

— Что ты! — взмолился Бронька. — Я лежачих не бью.

На днях Коротеева, экономистка, пришла и доложила Бодракову: что-то Панков из Алатыря, мол, опять появился в Ярище. Не заезжая в правление, закрутился по дальним фермам, высматривает что-то, вынюхивает. "Опять "компромат" собирает", — сообразил Бодраков. И вот наконец Панков самолично переступил порог бодраковского кабинета.

— Сколько лет, сколько зим, Финаген Ксаныч! — протянул он руку, широко улыбаясь, а сам как вцепился глазами, так и съест был готов Бодракова.

Но и Финаген — это тебе не мальчик, тоже пальцы в рот не клади. На него такие гипнозы не действуют, он и сам, когда надо, гипнотизер.

— Чтой-то, товарищ Панков, ай тут у нас решил зазимовать? — намекнул ему Бодраков на то, что тот до сих пор отсюда никак не уедет, с того неудачного для Панкова собрания, когда ярищенцы прокатали кандидатуру Распопова, а избрали председателем все же его, Бодракова.

— Ну что вы, Фин Ксаныч, — не стирал улыбку с лица Панков, но глаза его были голодными. — Что ж у меня, квартиры, что ли, в Алатыре нет?

— А я смотрю, круги вьешь, — говорил Бодраков, — а ко мне не заглядываешь. Ай, думаю, на что обиделся?

— На что обижаться-то? С людьми разговариваю, от которых ты, председатель, маленечко оторвался.

— Да где уж нам тут, в Ярище, вам Лыково из Алатыря ближе, — намекнул Бодраков на то, что на днях тот был на Лыковской ферме.

— А что делать? — развел руками Панков. — Помогаем, если председателю некогда. Чтобы не получилось еще и с молочком, как с капустой.

— Что капуста! — нахмурился Бодраков. — Сколько ее по вашей команде зарыто. Комплекс у нас, между прочим, межхозяйственный, а занят наполовину.

— Вот именно, это я хотел и сказать! — все еще улыбался Панков, но глаза его уже были суровы.

Пару дней он покрутился в самом Ярище. Беседовал на комплексе, смотрел в конторе бумаги. "На этот раз готовятся основательно", — наблюдал Бодраков за разворачиванием процесса, но пока сам не вмешивался. А не вмешивался Бодраков с единственной целью — не обострять, может, еще и сойдет. Но, когда стали вызывать для беседы в Алатырь специалистов, а на последней сессии сельсовета Мордовцев и Тиганов Трофим как депутат заострили по нему, Бодракову, вопрос, он понял: на сей раз хватка мертвая, обкладывают как надо. И опять же не стал вмешиваться Бодраков. Надоело! Что это за работа? "Идет охота на волка, идет охота..." И Бодраков стал принимать меры. Вслед за машиной в деревню к отцу ушла машина теперь со строительным материалом. Это становилось правилом: как только кризис — отправлять машины к отцу, за границу района.

Все, конечно, было законно: сено скошено лично, стройматериалы оформлены через бухгалтерию. Однако ярищенцы по одному этому определили приближение кризиса. А в таком разе сколько можно и ради чего за Бодракова держаться?

Вскоре прошел по Ярищу слухок, что у Финагена умер отец. И хотя старик умер в преклонном возрасте и больном одиночестве, а он, Финаген, сын его, ездил лишь хоронить старика, длинные языки и в этом приписали Финагену злой умысел. Дескать, сын спровадил отца на тот свет, чтобы не брать к себе на зиму.

Тут уж жена Финагенова не выдержала, в слезы ударилась перед мужем, закатила истерику:

— Это когда же я была против? Наоборот, только и звала его к себе.

— Видишь? Сама на себе испытываешь, — успокаивал жену Финаген. — Говорил тебе: давай уезжать. Пора, исчерпались мы тут.

Однако Коротеева, экономистка, несмотря ни на что, была верна Бодракову. Может, имела личную симпатию к нему, каракатица? Она-то и обратила внимание на то, что Виталий Витальевич, главный агроном, и ходить-то стал как-то не так, и разговаривает по-другому. Грудь вперед выставляет и слова произносит как батюшка с амвона, наставления делает.

— Это он себя уже предом чувствует, — шептала Коротеева, экономистка, на ухо Бодракову. — Ему обещали.

У Коротеевой глаз наметан, кремьень, щит и меч Бодракова. Что ей, лук, что ли, чистить с Виталием Витальевичем? Вон в соседней Алексеевке опять пришел новый пред, так прежнюю экономистку в "тюрягу" сдва не отправили. Отделалась баба легким испугом: просто с места столкнули, и все. Вскоре Коротеева собрала Бодракову дополнительные сведения, из чего следовало, что Панков несколько раз встречался с Виталием Витальевичем в разных точках — два раза в поле и один раз возле ярищенского магазина.

Когда встречались около магазина, разговор был особо серьезный. Тут Панков ему, видать, и предлагал что-то, потому что Виталий Витальевич — мужик все же честный, упирался, видать, отказывался. А на другой день Виталия Витальевича как главного специалиста ("это уж вы, Финаген Ксаныч, лично помните, он отпрашивался у вас") вызвали в Алатырь.

— Я звонила в Алатырь, — закончила Коротеева свое изложение необходимыми выводами, — там у меня есть кс-кто. Дык туда Виталь Виталича не вызывали, а куда повыше, сами понимаете, в кадры. А зачем вызывают туда главного специалиста, а не председателя?.. Понял меня, Финаген? — истово, фанатично, будто какая-нибудь боярыня Морозова, заговорила Коротеева, экономистка. — Да что ты сопли-то распустил, расквасился! Бороться надо, за себя стоять. Что ты, вор какой-нибудь или хуже других? Ну что они могут тебе предъявить? Вот им! — сделала Коротеева популярную фигуру из трех сложенных вместе пальцев. — Нет у них ничего на тебя! Если что и было, дык сплыло, черта с два найдешь, все ушло. В крайнем случае я делала, я и несу ответственность... А оттого и дают, что нет у них ничего, нет. Хотят, чтобы сам ушел. А тех, что дают, и самих скоро уйдут. Выстоять надо!.. Скольких, Финаген Ксаныч, мы с тобой пережили?

— Распопова не переживем, — вздохнул Бодраков. — Этот хваткий и еще молодой. А мы с тобой стареем. Нюх уже не тот...

— Ничего, — засмеялась Коротеева, как пушечные ядра покатила по пустому, гулкому коридору. — На нас еще пахать можно.

— На тебе можно, — сказал Бодраков слабеньким голосом. — А на мне уже все, отпахались.

А сам вспомнил ту свою поездку в Орел к самому Старик-ку. И мелькнуло где-то в глубине сознания: "Обещал ведь местечко, может, даже в Орле. Или, как пса, на помойку?"

И, брякнув связкой ключей, запер Бодраков свой кабинет, направился к выходу — на чистый, уже по-зимнему острый, сине-дымчатый воздух.

Бодраков поставил себе задачу: пронаблюдать, как поведет себя Виталий Витальевич. Забавно видеть, как это люди на глазах меняются, когда покажут им кулак или поманят светлыми далями, материальными благами. А конец-то один, как у него, Бодракова.

Редко кто из председательского корпуса помирает от старости, а все от инсульта, от инфаркта. Редко где ихнего брата держат больше двух пятилеток. Меняют ведь, как перчатки. Система новая не сработала, на тебе ее пробовали, — ты виноват, ты не справился. В районе винтик какой-либо расшатался, экономика не потянула — опять же ты виноват, а кто же? Не они же, у кого в руках настоящая власть. Это пока еще сила, здоровьишко есть, держишься на энтузиазме, людям что-то хорошее хочется сделать, на природных качествах едешь, природа тебя наделила быть лидером, вести за собой, вот и ведешь. Однако сколько можно жить на износ? А потом на свалку тебя, как капусту, и вместо тебя кого-то другого, а ты ничего, мол, хорошего не исделал, ты такой-сякой, обормот, весь прогнил, проникся не нашей идеологией. Это у нас могут, это не заржавеет. И болит понсволе душа: что дальше-то будет?

Примерно так рассуждал Бодраков и наблюдал за Виталием Витальевичем. Тот был лет на двадцать моложе, в том самом возрасте, когда начинал и Бодраков. Но, рассуждая таким манером, Бодраков "химой", конечно, прикидывался, наводил тень на плетень. На самом деле уходить отсюда ему не хотелось, и он, как и все, надеялся на лучшее (а кто из нас не надеется?). Любой голова, если окинуть взором его биографию, как природа-мать, не меньше раза в году помирает и возрождается вновь. Природа возрождается весной, помирая осенью, когда отдает урожай. Так же и головы-главы в основном помирают осенью, когда отчитываются за урожай, и возрождаются позже, к весне, вместе с надеждами и новыми обещаниями. А что, разве не так? "Так, так", — сам себе скажет любой директор или председатель.

И вот Бодраков, бывало, высмеивал, упрекал Виталия Витальевича, когда тот ходил с баяном по свадьбам. А теперь взял и сменил тактику, даже стал поощрять: играй, мой баян, Виталий Витальевич, дорогой, любимый, весели народ, люди

с тобой хоть передохнут. И брал Бодраков теперь агронома с собой, возил по хозяйству. Чего тебе, Виталий Витальевич, пешком ходить, ноги трепать, на это есть общественная техника. Не убудет с нее — с "уазика" этого, если специалист с председателем вместе разок-другой в неделю по хозяйству прокатятся.

Как-то приехали в Лыково, в лыковскую бригаду, нашли Чемодурова, бригадира. Еще по дороге Бодраков наметил вопрос: вывозка навоза от ферм под кукурузу. Чисто агрономический вопрос, твой, Виталий Витальевич.

— Ты что же это, — поставил перед собой столбом главный специалист Чемодурова, бригадира, — отстаешь! Вон в Костюрино уже весь навоз на полях. Хуже всех, выходит, твоя бригада...

Чемодуров слушал, понутив голову. Все это он уже слышал, и не единожды, на разных уровнях, хоть бы сменили пластинку. А Бодраков вроде бы ни при чем, сидел за рулем, спички в коробке считал.

— И молоко, заметь, идет у нас не той, не первой категорией, — нашел еще один довод Виталий Витальевич, пробираясь к совести бригадира.

Прямо из кожи лез агроном, стараясь убедить Чемодурова: навоз надо вывозить на поля, и непременно.

— Я согласен, — не поднимал головы бригадир. — Будем, Виталий Витальевич, принимать меры.

— Ты ведь депутат?

— Депутат.

— На сессию вопрос, что ли, вынеси, — посоветовал главный агроном. — Придай ему общественную окраску, остроту.

— Вынесу, Виталь Виталич, — вздыхал Чемодуров. — Придам окраску, а также... эту, как ее, остроту.

Бодраков стоял в сторонке и наблюдал всю эту комедию. При последних словах лыковского бригадира Бодраков не выдержал, подлетел к Чемодурову коршуном.

— Трех слов запомнить не можешь? — впился взглядом он в бригадира. — Ты скажи мне: кукурузный силос коровкам на ферме своей даете?

— Даем.

— И помогает?

— Еще как, — ухмыльнулся Чемодуров. — Спасибо Никите Сергсевичу. Слава богу, без силоса бы и не знали что делать.

— И на сколько осталось его в вашей яме?

— Кого?

— Силоса, кого! Не прикидывайся, не строй из себя этого, — Бодраков повертел пальцем возле виска. — Не бойся, оты-
мать не приедем.

— Ну так... на недельку осталось.

— Врешь.

— Ну на две, не больше, ей-богу, Ксаныч.

— Так вот! — твердо сказал Бодраков. — Пройдет неде-
ля, дам команду, чтобы больше ни грамма тебе силоса из За-
валюшино!

— Почему, Ксаныч! — встрепнулся Чесмодуров. — Мы
же там и на нашу ферму рассчитывали, яму им набивали. А у
нас тут ямка какая, так... для смеха.

— Вот и смейтесь сами тут у себя, — сказал Бодраков,
глядя хитровато на агронома. — Раз вам силос не нужен, вы и
без него обойдетесь.

— Как это обойдемся! Да бабы, доярочки наши, меня же
съемат.

— У них мужья кем работают?

— Трактористы.

— И что сейчас делают?

— А ничего. Пока не раскатались, потом начнут на ре-
монт ходить, — отвечал Чесмодуров без запинки, как пер-
вый ученик в классе, не зная, однако, куда это клонит
Бодраков.

— Ну вот и скажи своим доярочкам, — усмехнулся теперь
уже откровенно, в глаза ему Бодраков, а заодно и Виталию
Витальевичу. — Если хотят, чтобы у них был силос и днесь, и
присно, и вовеки... и через недельку, и на будущий год...
пусть-ка доярочки своих мужиков запрягают. А те впрягают
своих "стальных коней". И вывозят навоз на поле, что под
картошкой было. Там на тот год будем размещать кукурузу,
понял меня?

— Понял, — хлопнул по боку себе рукой Чесмодуров. —
Вывезем, Ксаныч, за две недели. Бабы у нас такие, у нас это
не заржавеет. Всю страну тянут, а это пустяк.

И повернулся было бежать по дворам, давать команду.

— погоди ты, — поморщился Бодраков. — Вот кому спа-
сибо говори, агроному. — И показал на Виталия Витальеви-
ча.

— Вывезем, Виталич, — засмеялся Чесмодуров. — Ей-бо-
гу, вывезем за две... ну за три недели, гори оно синим огнем.

— Ну, валяй, — махнул вслед ему Бодраков и подумал,
косясь устало на главного агронома: "Навоз — это хорошо,

это прекрасно, это что-то особенного... Вот прицепилось! Паразит такой Бронька, чему хошь, охломон, научит".

А Виталий Витальевич как стоял, так и остался стоять телеграфным столбом перед Бодраковым: "Во циркач, во класс! Как воспрял Чемодуров-то".

— А что, мы разве собираемся снова менять культуры? — спросил остороженько он председателя. — В Лыково же мы не планировали кукурузу.

— Не планировали, — согласился Бодраков. — Ни планировать, ни сеять ее мы там и не собираемся. Но вывозить навоз надо?

— Надо, — продолжал стоять навтыжку Виталий Витальевич.

Потом что-то дошло до него, жернова сработали, и он потряхнул головой решительно:

— Нет, я так не могу! На обмане, Финаген Ксаныч, далеко не уедешь.

— А нам далеко и не надо, — засмеялся Бодраков и дернул нервически шеей. — "Опять травоядный попался". — И сказал агроному уже вслух, примиряюще: — Нам бы, Виталь Виталич, урожайшко вырастить, да свиней откормить, да свининкой людей обеспечить. Понял меня, гори все оно синим пламенем?

С недельку Бодраков возил по хозяйству с собой агронома: пусть посмотрят люди, сравнят, кто есть кто. И всю эту неделю по следу крутился на своем "Москвиче" Тиганов Трофим. "Этому-то что хоть надо тут?" — с неприязнью глянул в спину ему Бодраков, когда тот однажды выходил с бумаженцией из ярищенского магазина.

XII.

Свято место пусто не бывает. А что место председателя вскоре освободится, в этом Тиганов Трофим не сомневался. А кто сомневается? Может, Тоська — супруга его, может, дед Бобырев, он же Колчак? Да никто по Ярищу! Особо когда бодраковское сенцо и стройматериалы покатили опять же туда — на "малую" родину Бодракова, в деревню другого района, теперь уж к двоюродному Финагену.

Председатели — временщики! Сколько их пересбывало. Этот хоть и засиделся, но тоже ведь очередной. Каждый раз на памяти Трофима они приезжали с портфелем, а уезжали машинами, потому что в первую очередь думали не куда си-

лы класть, а о том, что класть и куда. Правильно, в свой карман. И Бодраков, гори оно, не исключение. А нужно бы своего, коренного, местного, бежать которому было бы некуда, некуда переводить средства — тут его и кладбище, и швейцарские банки. Тут его жизнь и смерть, вся судьба. Но где же их, коренных-то, набраться, коренные все "дураки", это приезжие — "умники", довели хозяйство до миллионных убытков, после меня хоть потоп. А земля — да разве она бывает "убыточной"?

Это где-то что-то напутано, так запутано, чтобы пригнуть крестьянина еще ниже, в овсы носом, чтобы он как полег, так и не поднимался, полеглый.

— И цепляется этот Бодраков, и цепляется, — жаловался Трофим жене своей Тосе — Таисии, запивая за завтраком маленькими глоточками кваса свое любимое блюдо — жареную картошку. — А чего цепляться, вот язва! Ну, просидит еще пару лет от силы, так от этого кому лучше? Ни себе, ни людям. Только больше убытков наделает, вместо трех уже будет миллиончиков шесть, это точно.

— За жизнь человек цепляется — вот что, — прояснила Трофиму Таисия, как сама понимала. — Уйди с поста — копать начнут, у нас так. И все ищут, доискиваются. Все свое на него же и свалют, герои.

— А ты работай, не отсиживай срок, не сиди временно! — разозлился Трофим, имея в виду Бодракова. — А то накуроят, наворочают черт-те чего, а отвечать некому. Это как, хорошо?

— Ты у нас голова, — поддакивала ему Таисия. — Кто бы мог подумать! Гляди, как развернулся, кормишь, поди, половину Алатыря. Люди-то что говорят: как у тебя тут "бараний день", так на другое утро у них в городе там шашлыки.

— Люди кормят, а мое дело — организовать, — скромно ответил Трофим.

— Вот бы кого председателем вместо этого дурачка! — на ухо ему задышала Таисия. — Хуже бы, небось, не было.

— Он не дурак, — возразил ей Трофим. — Финаген умный, умнее других, вот люди ему и доверяют. А без людей что хорошего сделаешь... У меня образования нету, Тось, — сказал он жене, печальась. — Вот в чем беда.

— Ну и что? — удивилась Таисия. — Вон Николайчик — Николай Егорыч Житков, гремел на всю область, а какое было образование? ЦПШ — церковно-приходская школа. А какой председатель! А в Глазуново зав. райсобесом с двумя

высшими образованиями, а не знают, куда его пхнуть... Главное — люди тебя одобряют.

— Люди-то кто тут? — Свои почти все, тигановские, — вздохнул Трофим, доедая картошку и запивая остатками кваса. — Вот с кем в Алатыре и вообще... иметь дело придется, ты об этом подумала? Больно умные все, больно дошлые, с высшим образованием.

— Вот свои-то шкуру прежде всего и сдерут, — засмеялась Тоська. — А на "умников" надо своих "умников" — толковых специалистов. Как у Николайчика.

— Ну, ты сказала! — покачал головой Трофим. — Николайчик у тебя прямо Чапаев, народный герой.

— Герои, они не с неба валятся, — рассудила толковая Тоська. — А ты думал как. Ты в торговле работаешь, а в торговле без ума делать нечего... И опять же крымы-рымы за эти годы прошел. Все же депутат сельсовета. На новой работе себя показал и на старой был не последний, всю землю вкруговую перепахал. Гляди, сколько людей за тобой — полон двор, целая партия. Каждый раз у нас тут собирается больше, чем перед правлением. Ты и должен быть председателем!

— А глыжка? — щелкнул Трофим по кадыку.

— Глыжку твою уж забыли. Еще когда просох, на такой работе нельзя... И они еще ищут кого-то взамен Бодракова, да какого рожна им надо хоть? А надо, Трофим, не сидеть в тенечке. Сам о себе не скажи — другие не догадываются.

— Ладно, расстрекоталась, сорока, — поднялся Трофим из-за стола и пошел собираться в Алатырь, опять везти баранину им туда на шашлыки.

Трофим отправил в город машину, в машине десятка два тушек бараньих, да и сам последовал на "Москвиче". Давненько в Алатырь не езживалось, не хаживалось по учреждениям. Еще одна забота свалилась: сына Егора надо трудоустроить. В Оболешево не получилось — совесть больно много у человека, в город надо Егора. В городе всяких работ хватает: посидит, повертит бумажки, научится кое-чему — как брехать, вид показывать, что работаешь.

Заскочил Трофим к одному приятелю в райсельхозуправление, сунул ему телячью ногу — Таисия передала. Тот хоть и всучил деньги ("хороший мужик, приятно ему, что помнят о нем за его доброе"), а кому не ясно, что деньги сейчас вода, а мясо — живые деньги. После этого Трофим заехал в "Сельхозтехнику" ("правда, на ней уже новая вывеска, но вывески

у нас кто читает"), пообещал приятелю, земляку свосму, банку меду, когда будет качать. И вот полная картина перед Трофимом, где Егору Тиганову можно работать: там и сям, везде требуются, если на рядовой работе, а если что-нибудь поинтереснее — подождать чуток. Еще важно теперь, что скажет на это сам Егор...

Проскочил Тиганов Егор по Алатырю, побывал на мясокомбинате, в тресте столовых, в своей заготконторе. Везде привечали, везде продукция нужна, особенно мясо, а чувствовалось: скользкий народ. Каждый смотрит на тебя через призму: а что я от этого буду иметь? Вот жизнь пошла, шагу не ступишь — туда рубль, сюда два. Какие гении: шаг влево — два шага вправо и ни шагу вперед.

Хорошо хоть одно точно знаешь: если сказали — сделают, это факт, это точно. Если, конечно, имеют свой шанс. Главное — в словах, в трепатне не утопят, не будут говорить одно, а творить другое, это народ материальный, производственники.

Случай в одном месте рассказали Трофиму Тиганову, рассмешили, но заставили призадуматься. В общем, обычное дело, милиция шурует на мясокомбинате. После смсны иные идут, подгибаются. "Чего несем, мужики?" — "Чушь". — "Чушь? А ну! — Глянули: туши свиные, чушки. — Не положено. Чушь несут не ниже начальника цеха". — И изъяс-ли...

Откровенно сказать, все это не по нему, Трофиму. Иной раз так под ногами зыбко, надежды уходят, одолевают сомнения.

Бывало, пахал на тракторе — гуд в тело, пыль в зубы, борозды в километры. Да когда же, думалось, все это кончится? А сидишь в кабине, держишься за рычаги, взглядываешь на солнышко: как за лес краешком станет цепляться, так пора и домой. В тенек, в тишину, воды ключевой или квасу из погребка испить. Посидеть с соседом на бревнышке, по дому что-то сделать. И опять же приятно: ты в почете, ты — труженик, устойчивость в жизни какая-то.

В буднях, когда человек вкалывает, впереди должен быть праздник, и этот праздник дает человеку надежда. Ведь отчего он, Трофим, невзлюбил Бодракова? Мечту заветную Бодраков у людей отобрал.

Сам-то вроде бы в вечном празднике, самому хорошо, только и знает, что по Алатырю да по Орлу на машине раскатывать. А людей посадил на "диету". Сам в последнее

время на все пуговицы застегнут. Как и все, призывает людей работать. Работать надо, конечно, но во имя чего? А то призываем к тому же быть еще и в ладу с собой, с настоящим и прошлым, как, мол, предки наши — крестьяне извечно работали. А на кого работать-то? Где она, справедливость? Так всегда оно было: одни работали, а другие хапали. Вон сколько их, таких, насовано по Алатырю и еще выше — тучи несметные, полчища. Только и слышишь от них же самих, да еще и от их представителей: мол, мы перестали в ладу быть с трудом. А ведь с трудом русский человек испокон был в ладу. Вот тут бы, огневясь, и подумать бы каждому: чего, рупорок, глаголишь? Вот именно. Труд должен быть не поперек души, а, вот именно, в лад. А лад — это когда все твои результаты идут не только на укрепление полчищ, чтобы они, как овода на корове, вот именно, на шее твоей не сидели. А чтобы все твои результаты шли опять же во имя тебя и другого такого же трудящегося человека. Чтобы он, тот человек, уж сейчас жил хорошо и чтобы была надежда, что в будущем будет жить еще лучше. И сам он, и его дети, и дети детей, весь народ... "Может, я что-нибудь недопонимаю, а? — рассуждал Тиганов Трофим. — Может, без брехни невозможно? Как навроде в торговле — нельзя без "навара". Или, может, сам я уже от земли оторвался — вращаюсь в своей торговой сфере, как в космосе, не езжу уже на тракторе, на первоисточнике-то... К Природину надо! Этот мужик враз мозги просифонит. Рассудит, нужно ли мне в это дело влипать", — с этим в конце концов Тиганов Трофим и направился к другу.

— За советом пришел к тебе, Евсей Нилыч, — позвал он Природина из дому, и они присели перед яблоней, на завалинке. — Бодраков слетает — это факт, это точно. Опять чужака какого-нибудь пришлют. Сколько можно? Ты бы, Нилыч, взялся, что ли? Или мне, может, попробовать? Все же свои...

Природин, хотя и был готов к любому развороту вопроса, тоже, видать, раскидывал в эту сторону карты, однако говорить в открытую не стал, пошел обиняками. Слушать слушай, а как хочешь, так и понимай.

— Пришла соседка ко мне на днях, — заехал Природин издалека. — Ну, ты знаешь кто... Апрятова Варька, да, что на комплексе, с вашей Стешкой... "Яичек продай", — говорит. — "Да у тебя же у самой куры". — "Не несутся, — говорит. — Ни зимой, ни летом..." А у меня, откровенно скажу, несутся всегда: и зимой, и летом. Понял, Петрович? А почему?

— Понял, — ответил Трофим и даже не шевельнулся; ни черта не понял, крой дальше.

— А почему у нее не несутся?

— Да, почему? — смотрел Трофим на него с любопытством. — Кормить надо, вот что.

— Кормить — это всяк знает... На зиму Варька оставляла пятнадцать штук, девять кур сдохли, шесть сохранились, и те не несутся. А у меня было тридцать шесть, вышли из зимы тридцать три и все до одной несутся, каждая в день по яйчку... А почему?

— Да, почему? — подталдыкивал другу Трофим уже с нескрываемым любопытством.

— А потому, что курятник у Варьки, — сделал вывод Природин, — не обмазан, дырявый, снег залетает. И куры у нее там газетки почитывают... А у меня не только корм, витамины, но и гальки два ведра куры склевали за зиму. Бутылки дробил им — так за стекло в драку, что, значит, требуется. А видал помещение, курятник какой? Не то что утеплено, а и с электроосвещением, для продления дня. Для создания настроения японцы даже музыку применяют. Музыку мне крутить некогда, а вот радио курам хочу провести — пушай последние известия слушают...

— Будут в курсе, — усмехнулся Трофим.

— Вот у Варьки яиц сколько, — не обратил Природин на это внимания. — Ноль целых и ноль десятков. Какие яйца! Куры едва живы. А я вчера снял с гнезда двадцать два, а сегодня с утра опять двадцать пять.

— А ну-ка переведи-ка на деньги, — поддержал Евсея Трофим.

— А теперь самое главное! — возвысил голос Природин. — Дело не в том, что они у меня зиму выжили. И даже не в том, что продукцию дают! — сказал Природин, вовсе воодушевляясь, тут он смолк для усиления эффекта.

— А что главное? — смекал Трофим медленно, что же в этом деле еще главнее, чем яйца.

— А вот в чем! — сказал Природин торжественно. — Главное — как у меня живет птица, в каких условиях! В чело-веческих. А то забывают, что она, птица, летала ведь, на воле когда-то была... Вот люди! Запрут курицу в худой сарай, не кормят, не поят, да еще и продукцию спрашивают. А ведь и курица — тоже живое существо, свободная была, райская птица.

— Что значит ты в профсоюзе! — засмеялся Трофим. — Да черт с ним, с Бодраковым, комплексом этим!

— И с коровами так же, — не унимался Природин. — Только за титьки тягают.

— А Бодракова доит Алатырь, — сбивал Природина в сторону Тиганов Трофим.

— А Алатырь доят в Орле. Ну и что?.. И все равно председателем должен быть свой человек. Хватит топить по-черному, соображаешь?

— Все шутишь, — усмехнулся Природин, но на дальнейшую откровенность не пошел.

После встречи с Природиним настроение у Трофима поднялось. По "аппендиксу" Трофим въезжал теперь на большак и спускался в Тигановку с большака в любую погоду. Ни снег, ни дождь ему не помеха — вот что внушало мысль о прогрессе.

В любое время Тиганов Трофим мог теперь очутиться на своем "Москвиче" в Ярище. Он так обрадовался этой возможности, что по два-три раза на дню летал на центральную: то к дружку своему Виталию Витальевичу, то на почту, то на медпункт. А то и просто так, людям глаза помозолить, чтобы в Ярище не забывали, что есть на белом свете Тигановы и Тигановка. Вот когда выходил Трофим однажды из дверей ярищенского магазина, куда вместе с хлебом и консервными банками завезли из Алатыря еще и котлеты столовые, приготовленные из мяса, которое было отправлено им же туда из Тигановки, вот тогда Бодраков и проводил в спину Трофима долгим, обжигающим взглядом. И сплюнул под ноги себе, под каблук.

Тиганов Трофим навещал также и в сельсовет, к Мордовцеву. "За молоко от личных хозяйств — отвечай, — жаловался Мордовцев. — И за мясо — отвечай, и за несовершеннолетних. И за магазин, что они, продавцы, там у себя под прилавком прячут. Уголь в школу — вези, котел лопнул — бегай по Алатырю, ищи газосварщика. Круг широкий, а зарплата узкая". И Трофим сочувствовал Мордовцеву. Как-то так получилось: когда Мордовцев предложил обсудить деятельность ярищенского колхоза навстречу весеннему севу, Трофим не возразил. Наоборот, Трофим предложил даже такую существенную поправку: обсудить, конечно, но в сравнении с алексеевским, потому как в сравнении, говорят, познается истина. Бодракова взять и поставить рядом с молодым, да ранним, энергичным председателем из Алексеевки.

И вопрос поставили. И обсудили. И досталось на орехи, можно сказать, Бодракову, ибо от этой сессии он уже не от-

вертелся. Сколько можно пропускать сессий? Уважительные причины давным-давно кончились. Одна только ложка дегтя испортила бочку меда. Это когда Бодраков слушал-слушал, соглашался-соглашался с мнением депутатов и самого Мордовцева, а под конец заявил и попросил свое особое мнение занести в протокол:

— Как это так у вас все, дорогие мои, получается? У Мордовцева все хорошо, распрекрасно, лучше некуда. А у Бодракова все плохо, очень плохо, опять-таки хуже некуда. Так?

— Ну, так, — насторожились депутаты и прежде всего сам Мордовцев.

— Так вот, дорогие мои, хорошие, — заключил Бодраков. — Что такое Мордовцев? Это же сельсовет, это факт, это точно. А что такое Бодраков? Это, можно сказать, вся производственная сфера. Иными словами, ярищенское хозяйство — тот же сельсовет да плюс хлеб, мясо, молоко. Кого же вы, депутаты, клеймите? Себя, свой поворот спиной к нашему общему делу? Мордовцев же ни единого разу за эти три года не побывал у нас на заседании правления. А кто в последний раз видел его в поле, на ферме? Только и заявляет всем: я — народная власть. А что ты, народная власть, что ты лично, товарищ Мордовцев, сделал, чтобы поднять надои, повысить отдачу, чтобы люди стали жить лучше? Ничего, кроме того, что лепишь печать куда попадая, да еще и средства требуешь на соцкультбыт... Так и прошу записать.

— Кто же за вас, Финаген Ксаныч, будет работать? — вскочил Мордовцев, не совладав с нервами. — Ну, давайте я сяду на ваше место.

— Ха-ха, — рассмеялся Бодраков. — Ты? Слабежь! Пропьешь за три месяца. Много вас таких найдется, жслающих. Но орел не берет мух...

И покинул зал заседаний с саркастическим смехом. Отдельные депутаты из тех, кому обычно не давали слова, тоже поднялись и стали собираться на выход — и так засиделись. А те, что привыкли к единогласию, остались, самые верные. Тиганов Трофим подошел к Мордовцеву, сказал негромко, но так, чтобы слышали все:

— Не надо было отвечать-то ему, слышь? Он же на понт тебя брал.

— Не надо бы, — поморщился, как от зубной боли, Мордовцев. — Век живи, век учись, Петрович, а волк все в лес, понимаешь, целит, — и засмеялся с схищцей.

— Шутки-то плохи, — сказал Трофим оглядчиво, озирая

остальных так, что вмиг стер нехорошие такие, кривые улыбки. — А то стукнет куда повыше, самому Старику — задавят комиссиями.

— Комиссиями? Какими комиссиями? — наклонился к Трофиму Мордовцев. — Ах, да, — откинулся он обратно на стул, но уже в другом настроении. — Ну, да-да, и черт с ними.

И впал в глубокое раздумье, сопоставляя все "за" и все "против", всякие подводные течения, просчитывая возможные и невозможные варианты. В самом деле, и у Бодракова ведь тоже есть кое-кто "навышу". Трофиму сделалось вдруг противно, что Мордовцев поставил себя над Бодраковым. Трофим уловил в Мордовцеве самодвижущуюся пружину, слово откровенное вырвалось у Мордовцева только что на заседании, скрывал-скрывал, а тут выскочило, раскрыло внутренний механизм. Бодраков, бестия, вынудил. Оказывается, и Мордовцев не прочь сменить один просвет своих погон на два просвета у Бодракова. Ну, люди, ну, человеки! Что же это они, зажуриив глаза, лезут на дерево, чтобы подняться над всеми, не думая ни о чем?

Мордовцев как раскидывает мозгами: он, Трофим, состоит при торговле, зачем ему менять баш на баш? — "Дорогой, глубоко ошибаешься, я же здесь не чужой. Все же хочется сделать хоть что-то для своей "малой" родины. Это вы, такие хорошие, по ветру пустили деревню. ...В конце концов вы скорее друг с другом найдете общий язык, святой истинный крест! Что вам стоит поменяться местами, пересечь с одного коня на другого..."

Так и расстались они без взаимных улыбок. Насторожась. Проезжал Тиганов Трофим мимо вышки — "командного пункта", приостановился. Решил подняться на своем "Москвиче" к камням, туда, к вышке.

Тронул Трофим этот валун — теплый. Снег под камнем вытаял, обнажилась земля. Значит, солнце днем трудится, дело к весне. Точным, наметанным глазом Трофим углядел щелку между землей и камнем — это от перепадов температур: ночью до минус восемнадцати, в полдень, на солнце, почти столько же с плюсом. И валун сжимается — разжимается, "дышит". Как впился в землю, лежит, присосался — вечный. Слава богу, хоть комплекс под бок не подставили. А то бы, как в Оболшево, с их дурацкого комплекса цедились бы прямо в речку навозная жижа. "Нсвеличка речка Алешня, да кровеносный сосуд, которому еще жить да жить после нас. Кто же, как не мы, о наших внуках думать-то будет?"

И вот на Оболеншево проехал Распопов. По пути заскочил в Ярище, в контору правления. По блуждающим, отстраненным глазам руководства Бодраков понял: операция по его ликвидации началась...

В последние дни по селу циркулировали слухи, суть которых сводилась к тому, что Бодракова поменяют местами с Мордовцевым. Или еще такое: вместо Бодракова будет Тиганов Трофим. А в общем все равно выходило: уберут Бодракова. Бодракову было теперь все равно, он устал бороться со слухами. И все же, руководствуясь здравым смыслом, Финаген считал, что если кто-то и заменит его, то, конечно, не тот, не другой. Кос-что все же было ведомо ему в коридорах власти Алатыря.

После проезда Распопова в Оболеншево — мимо, с космической скоростью — с его орбиты сошел сюда, в Ярище, старый курилка Панков. "Вот оно, воронье, закрутилось, Финаген, над твоей головой!"

Перед самым приездом Распопова к Бодракову заглянул свой человек из Алатыря (свои люди должны быть везде, чтобы в курсе быть, главное — информация) и намекнул аккуратно: Афоня-то накатыл на тебя "телегу" в стихах, называется "Поэма про Финагена", и отослал в ООН. Жалуются, было рукоприкладство. Особо недоволен Распопов, "метал громы и молнии, обещал тебя выгнать в шею".

— Поэма?! — изумился извиву судьбы Бодраков. — Какое, а?

Какими путями берут на "пушку", как давят на психику! А всего-то что — заглянул Бодраков в мехмастерские и застал там за распитием. Конечно, в рабочее время. Разгон им, конечно, устроил, и Афоня-люмпен тогда же ему пригрозил. Вот и все. А поэма — это уже дело инос. Интересное, творческое. Согласитесь, не каждый день пишут про нас поэмы, горит все оно синим пламенем.

И вот после той "информации" Бодраков с нетерпением ждал комиссию. Если уж не из ООН, то хотя бы из областного Орла. А вот приехал Панков. Видно, дальше Алатыря Афонькино письмо не пошло.

— Ну что, Бодраков, достукался! — подходил Панков к Финагену играючи, на мелких кошачьих лапах. — Вот сатиру на тебя навели, разбираться приходится. А ведь мы тебя предупреждали.

— Не сатиру, а "Поэму про Финагена", — сказал Бодраков, бодрясь, что ему еще оставалось?

— Уже знаешь? — ничуть не удивился Панков. И вздохнул, как бы сочувствуя Финагену: — Горячо будет.

— Не бойсь, про тебя не напишут, — отвернулся Бодраков, чтобы тот не увидел его лица.

— Почему?

— Неинтересная ты личность.

На этот раз Панков не стал скликать общее собрание. Решил ограничиться заседанием правления — и этого, дескать, достаточно. В первый день членов правления вытащить не удалось, кворума не получилось. И ночевать Панков уехал обратно в Алатырь. А в кабинет к Бодракову потянулись правленцы, что отсутствовали по уважительной, конечно, причине. На всякий случай, мало ли что. Даже те приходили, которые не всегда, бывало, поддерживали, иногда выступали и против. "Ничего, Финаген, не дрейфь, — успокаивал себя Бодраков. — Бог не выдаст, свинья не съест".

— Туда же, а ведь сам сидел за хищение, хищение! — осуждали Афоню члены правления. — Ты, Ксаныч, пригрел змею, а он же, люмпен, на тебя и клепает.

— Закон жизни, — разводил Бодраков руками. — Ты его пожалел, он тебя не пожалеет. Но сидел он, уточняя, по хулиганству... Ну и что там у нас Афоня рифмует?

— Не показывал, — пожимали плечами правленцы, очень даже сами заинтересованные, как это можно их обыкновенную, ничем таким не выделительную жизнь отразить в стихотворной форме.

На другое утро в Ярище опять появился Панков. И опять кворума не получилось.

Бодраков вышел на крыльцо вместе с Панковым. Был конец февраля, зима на переломе. На крышах сосульки, в тени — синий снег, но он уже льдист, ноздреват, кажется, еще немного — и под натиском солнца все сдвинется, дело покажет на лето, сосульки истают, повеселеет народ. "А этот ворон все кружит и кружит". С полей тянет духом проталин, вот-вот заурчат дизеля. "А воронье каркает возле скотомогильника, это точно".

Искрилось в глазах Бодракова — шторка синяя, как у мажорного. Может, в последний раз выходит он так вот сюда на крыльцо. В последний раз дышит так вот редким, почти мартовским воздухом. И уже, может, завтра, даже сегодня к

вечеру здесь будет все уже по-другому, не так, как было вчера и с утра, как всегда. "И этот Панков кружит, кружит — ворон, Мехлис какой, волк-санитар..."

"Сколько езжено, сколько слов людям сказано, здоровья сколько ухлопано. Бывало, недоешь, недопьешь, — персбирал дни свои здесь Финаген. — А кому это надо? Гори оно синим огнем. Этому, что ли? — косился он на Панкова. — Почему он не в красной рубаше, не на красном автомобиле? Синий март и красный автомобиль — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенного".

Он и сам теперь тут не останется, ни за что (они не удержат его, даже если будут очень и очень просить). Решено! Пока совсем себя не угробил. Что ему, больше всех надо, что ли? Он да жена, а сын Симочка — Серафим Тубольцев, сын жены его от первого брака, хоть и на стороне, а тоже устроил, не где-нибудь, а в торговле.

А они со старухой до пенсии как-нибудь проживут... Уходить отсюда надо же когда-нибудь. В конце концов лучше поздно, чем никогда...

Успокоясь таким образом, Бодраков воспринимал теперь действительность легче. Из девяти членов правления он один был пока что на месте. Даже Коротеева усвистала куда-то.

— Ну, что будем делать? — повернулся к нему Панков.

— Командуй, — сказал Бодраков. — Тебе карты в руки, веди.

— Ты срываешь, ты обязан обеспечить явку, — хмуровато смотрел на него Панков.

— Ничего я тебе не обязан! — резко ответил ему Бодраков. — И вообще я ничем никому не обязан, понял меня? У тебя ведь готово решение. — И, усмехнувшись, сказал уже значительно мягче: — Ладно, возьми эту сторону Ярища, за прудом, а я пойду по другой. Будем, значит, ходить по двору.

Через час они встретились в кабинете у Бодракова.

— Ну и как? — спросил его Финаген.

— Никого, — пожал плечами Панков.

— А мои уже здесь... Коротеева! — крикнул Финаген в приоткрытую дверь, приказал: — Глянь, кого нет, и пошли девчат за остальными. Пусть идут, Бодраков, мол, велел.

Вскоре члены правления потянулись в контору. Кворум. Полный состав. Даже с избытком — известная всем тетка Фешка как зашла к Бодракову, так и осталась, уходить не за-

хотела, дюже стало ей тут интересно. Тетку Фешку знали не только в Ярище, где достался ей по наследству домишко. Тетку Фешку знали, пожалуй, в половине района, все начальство в самом Алатыре, где она была и прописана. Вот уже второй сезон, скрываясь от сына-пьянчужки, жила она тут, в Ярище, в домишке, завещанном помершей теткой.

Вызванный по телефону, подскочил из Алатыря Ворон, начальник райсельхозуправления. "Ах, вот кого целят!" — вздохнул Бодраков облегченно и открыл заседание. Не успел Панков огласить повестку, как тетка Фешка обратилась с вопросом:

— Значит, ты, сынок, теперь тут самый главный?

— Н-ну, — солидно поморщился он. — А чего тебе, бабка? Пооббивала все пороги в Алатыре и сюда допьялась, старая ведьма?

— Домик у меня тут, — прикинулась слабенькой, немощной тетка Фешка. — Надо перетрясти, а то скоро вовсе завалится.

— Ты вот что, — озлился Панков, недовольный тем, что она отвлекает, — лезешь с просьбами, а сама в последний раз не голосовала.

— Не голосовала?! — вскочила со стула тетка Фешка так живо, что стул отлетел от нее. — А ты отколь знаешь? Не знаешь — не говори. Не гляди, что я неграмотная, беззащитная, — муж у меня с войне не пришел, я еще за себя постою.

— Нанимай бригаду сама и делай, — скользнуло с языка у Панкова, и тут же он пожалел об этом, зря связался, "ну просто невозможно работать, совсем обнаглели".

— Значит, милок, отказываешь в моем вопросе? — подступала к нему, брала его за грудки тетка Федосья. — А ты знаешь, сынок, сколько я получаю? Сорок один рубль. За то, что муж отдал жизнь за всех нас, детей пятерых выходила, сама в колхозе век оттерпужила. А ты пятьсот рублей в этом месяце получил, почему со мной не поделился, народная власть?

— Какие пятьсот, какие пятьсот! — затряслись губы у Панкова, и он покосился на Ворона. — Ты что, старуха, плетешь? Перед народом позоришь.

Ворон, начальник райсельхозуправления, смотрел растерянно на Бодракова. Бодраков хмыкнул, посидел еще маленько, выдержал паузу. Затем встал и подошел к тетке Фешке. Сказал ей на ухо, но так, чтобы все это слышали:

— Слушай, баб, ты, что ль, просила газовую плиту?

Только вчера поступила. В одном экземпляре. Ваяй к Самофалову, кладовщику. Скажи, мол, Бодраков велел тебе отдать лично. Вот ему мой последний приказ!

И не успела тетка Фешка и шагу ступить к двери, а Панков — продолжить свое заседание, как Бодраков обратился к членам правления:

— Предлагаю, товарищи, утвердить это мое решение голосованием. Кто "за", чтобы по силе-возможности помогать вдове погибшего фронтовика, выделить ей эту плитку?

И сам первым поднял руку. И руки "за" поднимали все.

— Занеси, Коротеева, в протокол, — ткнул пальцем в бумагу ей Бодраков и присел тихонечко на прежнее свое, нагретое местушко.

И тут же с кресла, на котором обычно сидел Бодраков, снова поднялся Панков. И в наполненной такой тишине произнес особо звучно, с какой-то радостью:

— Продолжаем наше заседание. Итак, на повестке дня один вопрос: "Персональное дело" председателя вашего колхоза Бодракова Финагена Александровича". Как это, одним словом, мы докатились до того, что занимаемся рукоприкладством и на нас за это пишут поэмы в ООН. Хорошо, что девочки наши на почте в Алатыре письмецо это перехватили. А то бы позор на весь белый свет. Факт рукоприкладства налицо, нечего и проверять. Факты завала работы тоже. И все это отражено в письме труженика, в этой "Поэме про Финагена". Зачитать?

— А как же, — первым сказал Бодраков. — Интересно все-таки, поэма!

И Панков начал зачитывать стихотворные строчки Афонни-люмпена, спотыкаясь и кое-где пропускаая:

"Председатель Бодраков,
Нет сегодня дураков,
Сколько можно, как полено,
Нас ломать через колено..."

— Ловко! — удивились члены правления. — И где же это он брехать научился?

— В тюрьме, где же еще! — оторвалась Коротеева от протокола. — Где еще стихам учат.

— Автора! — произнес Ворон несмело, он тоже входил во вкус. — Надо бы автора.

— Автор смылся, — обрезал Бодраков. — Уже неделю ищут. По Москве, говорят, со своей поэмой мотается.

— В журнал повез? — удивился Ворон.

— В Кремль, сказал, — дал сведения кто-то из всезнающих. — Или даже в ООН.

— Там еще его не хватало, — вздохнула Коротеева, экономистка. — Так ООН же в Нью-Йорке, в Америке.

— Это он в нашу ООН — "организацию освобожденных начальников", — подал голос кто-то из уголочка. — Так вот эта ООН в Москве.

— Ну-ка, ну-ка, дай-ка сюда, — потянулся Бодраков к Афониным виршам в руках у Панкова. — А ну, что это ты тут пропускаешь?.. Вот, так и знал. Вот. Слушайте.

"И Панков, ядрена мать,
Мягко стелет, жестко спать".

— А это уже, как видим, не только про меня. Ну а где же, Панков, твое "персональное дельце"?

— Я в шею людей из мехмастерской не выталкивал, не было этого! — повысил голос Панков. — А у тебя было, вот и отвечай.

— Дело тут, собственно, — сглаживал отношения Ворон, — даже не в этой поэме. Это, так сказать, иллюстрация, яркий факт. А суть в чем, из-за чего гнев и возмущение "снизу" — со стороны рядовых тружеников и "сверху" — со стороны районного руководства, мнение которого совпадает с народной оценкой...

— А что, собственно, происходит? — спросила Коротеева. — Демагогия, да?

— А вот что, — осадил ее бесцеремонно Панков. — Сейчас мы огласим кое-какие документы. Вот, все тут, зачитать? — потряхнул он толстой папкой бумаг. — Тут весь анализ за последнюю пятилетку всей вашей хозяйственной деятельности.

— Не надо, — раздалась реплика с места. — Знаем, три мильена убытка.

— Хорошо. Ограничусь несколькими, но немаловажными цифрами, — продолжал раскручивать Панков свою домашнюю заготовку. — Вам это что-нибудь говорит? За последние пять лет минус три миллиона рублей. Катастрофа! Хозяйство никогда так низко не падало.

"Да что ты понимаешь? — смотрел прямо в глаза ему Бодраков. — И понимать ведь не хочешь. Конечно, до меня на счету хозяйства лежало немало — триста тысяч, да ведь лежало лежало-то! И ни черта не строилось... Да ценами сейчас

все позапутали, и все остальные хозяйства в районе в долгах, как в репьях..."

— И село запустело, — продолжал панихиду Панков. — Бодраков не держал народ, всячески утеснял, как, например, Усынина.

— Миграция — международное явление, — отразил нападение Бодраков, — движутся люди в общепланетарном масштабе, что же мне их, за яйца держать?

— Ха-ха, куда же Усынин уехал-то? — засмеялись, заерзали члены правления. — Чай, не в Эфиопию, а в соседний район, в Россию. Всех собак вешают на Бодракова.

Обида захлестнула Финагена, а все эта поддержка. Лучше бы уж промолчали, легче было бы сидеть и терпеть, как прохиндей этот алатырский забивает в гроб ему гвозди. И Ворон, начальник управления, сидит рядом и поощряет. Какие святые, из Америки, что ли, приехали, духоворы! Вишь ли, еще при Льве Толстом отправились за океан, а сейчас прибыли, вернулись назад. А сами-то где были? Сами-то разве не помогали рушить деревню? Тот же Ворон. В уборочную как вцепился: "Опять ты команду не выполнил, на свал косить не приступал?!" — "Да у нас местность такая, не позволяет". — "Не своевольничай, приступай!" А когда все же сделал по-своему и получил урожай, так давай зерно, давай хлеб сверхплановый, отстоим честь района. Сукины дети, сидельцы алатырские!..

— Все понимают в нашей жизни больше, чем мы, — вздохнула рядом Нюра Чернова, Бодраков даже вздрогнул от неожиданности. — Ну, уехал Усынин. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

"Ладно, садитесь и руководите, — продолжал распалять себя Бодраков. — Узнаете кузькину мать, полыхай все оно синим пламенем. Просить будут остаться — да ни за что! Хоть за грудки берите, хоть на колени кидайтесь". Пока сидел, еще хорошенько подумал: "Да что я вам, каторжный, что ли, тянуть такой воз. Каждый год все навяливают, навяливают, а чем обеспечиваете? Теперь и в городе, и в деревне одно на уме: будем с урожаем — увезут, будем без урожая — привезут. Без урожая даже вроде бы лучше: меньше хлопот..."

Заседание шло само по себе, и Бодраков сидел теперь сам по себе. Голоса далеко-далеко, а свои мысли близко.

— Что вы скажете в свое оправдание? — донеслось до него, как с луны свалилось, это спрашивал все тот же Панков.

— Ничего, — пожал Бодраков плечами. — Сердце стало шалить, здоровьишко надо поправить. А тут гвозди в гроб уже заколачивают.

— Да ты что, Финаген! — не выдержала Коротеева, до чего темпераментная, как будто ее лишают тринадцатой, понимаешь, зарплаты. — Ты в своем ли уме?

— В своем, в своем! — вздохнул Бодраков.

Какие-то острые пружины выперли из него, как из подношенного дивана, и назад не хотели влезать. Финаген почувствовал ветер свободы, его уже ничего не держало, он внутренне освободился и мог сам теперь собой распоряжаться.

— А вы в своем? — удивил он Панкова и Ворона прямым своим, лобовым вопросом. — Привезли, понимаешь, стихи про Бодракова из "Крокодила", а ознакомиться не даете. Вот, пока тут сидел, сам еще написал на себя: "Финаген, ядрена шишка, растопырилась сберкнижка". Туда, к вашим, прошу и мои вписать, дополнить поэму...

Боковым взглядом Бодраков увидел округлившиеся, испуганные глаза Коротеевой и где-то там, в Алатыре, грязные, непрометенные булыжники перед райсельхозуправлением, а тут опять-таки слегка растерянного Панкова и хлестнул сму, знай наших, как обухом промеж глаз:

— Все! Ухожу, товарищ Панков, с председателей и сажусь за стихи. Насобачусь — нахреначу поэму про тебя, профсоюз, только держись. Ваш Афоня передо мной рбенком покажется. Чувствую в себе невероятные силы, прошу отпустить, дорогие товарищи, гори все оно синим огнем.

И сел, артист. Всегда это сидело в нем, с детства. По-красоваться. Пусть подумают, как это будут все они без него. У Сталина тоже ведь было семь уходов с поста, и ничего, помер вроде бы собственной смертью... Сел Бодраков и тем подписал себе приговор. Даже Нюра Чернова с Коротеевой и те не знали, что сму на это сказать: дурь такая, мальчишество, а еще председатель. А Панков только того и ждал. Тут же взвился он над столом, аж крылышками затрепыхал:

— Отпускаем, товарищи?

— Ну что ж, — еще сомневались некоторые члены правления. — Ксаныч, ну как ты?..

Финаген не отзывался. Сердце сдавило Финагенову грудь и не отпускало. Сердце, у кого оно есть, оказывается, мешает. Проголосовали. И тут же Панков предложил заранее подготовленную кандидатуру — товарища Ворона, все сго знают,

весь район, районное руководство просило передать, что тоже, дескать, не возражает.

— А я воз-ражаю! — поднялся Бодраков и подошел к столу, за которым все привыкли видеть долгие годы только его. — А я против.

— Все, дорогой, вы уже не председатель, — улыбнулся Панков с особой ехидцей. — Намучились мы с тобой, хватит.

— Но я пока еще член правления, верно? — повернулся Бодраков к заседанию. — Из правления меня покамест не вывели?

— Да ты что, Ксаныч, — зашевелились, задвигались все за столом, чувствуя себя виноватыми.

Черти дернули руку поднять, надо было сделать перерыв, перекурить, успокоиться. А тут разум вроде как замутило, пошли у этих, алатырских, на поводу. Тогда при самом Распопове выдюжили, а тут при каком-то Панкове так сплеховали. Конечно, Бодраков должен был так говорить, вроде как погордиться, а они должны были его перед начальством понять. В крайнем случае указать еще раз и оставить.

— Да ты что, Ксаныч, — сказали члены правления в некотором замешательстве. — Да мы тебе опять доверяем.

— Как доверяем! — вскочил теперь уж и Ворон. — Нарушаете принцип демократизма. Вы же только что освободили Бодракова от председательской функции, он уже не председатель.

— И ты тоже не председатель и никогда им не будешь! — встала и в глаза Ворону выпалила Нюра Чернова и собралась ходить.

И все остальные члены правления встали, собрались следом за ней, за Черновой.

— Ты куда? — остановил Панков Нюру. — Мы же еще не выбрали председателя.

— А тут, кроме Бодракова, не из кого выбирать, — сказала, как по тесине топором ахнула, Чернова Нюра. — Не из кого!

Панков обратился ко всем остальным, все остальные были согласны с Нюрой, хотя и молчали: пусть те, кому это надо, высказываются.

— Уфф, — вытер Панков сразу вспотевший лоб. — Ну хоть временно давайте кому-то поручим. Надо же исполнять кому-то обязанности.

— Бодракову поручим.

— Бодракову нельзя, — поспешно заканчивал заседание Панков, пока члены правления не встали и не разошлись, после ведь не соберутся. — Есть предложение ("нет возражения, нет возраже... нет возра..."): передать печать временно Виталию Витальевичу, главному агроному. Есть возражения? ("нет предложения, нет предложе... нет предло..."). Нет. Итак, Финаген Александрович, передайте печать и все прочее исполняющему обязанности.

— Орел не берет мух! — встал и гордо зачем-то сказал Финаген.

И прежде чем выйти из кабинета, задержался вместе со всеми возле двери и стоял со слезами на глазах. Он оглядывал эти стенки, пол, потолок, телефоны, "святой угол", где теперь уже не было ни единого знамени, только стенка треснула, трещина опустилась до самого пола, он ее набором портретов прикрыл для приличия, хотя иные из этого набора уже вылетели в трубу или даже померли, но трещину прикрывали достойно.

Да это же он тут в последний раз, в своем кабинете! И больше ведь никогда не войдет сюда как председатель!

И тогда Финаген подошел к сейфу и, поиграв связкой, выбрал нужный ключ, достал из сейфа печать. Она покоилась в густо смазанном фиолетовыми чернилами тюбике. Финаген взял из тюбика ее — круглую, главную, она служила ему верой и правдой не один срок, сколько же сю было исполнено всякого — и доброго, и, возможно, кому-то не очень, сколько нервов за ней, сколько бессонных ночей — "милая, хорошая, дорогая".

Вздыхнув, как лошак, до отказа вогнав в себя кислороду, Бодраков шлепнул ею, сделал оттиск на свежеспостеленной по этому случаю скатерти. "Так, колхоз "Светлая жизнь" — это факт, это точно, это что-то особенного..."

Виталий Витальевич приблизился к Бодракову и протянул за печатью руку. И тут произошло очевидное, но и невероятное. Бодраков приблизил печать к глазам, глянул сквозь нее зачем-то на свет. И стал отдирать резинку дрожащими пальцами от деревянной толкушки. Все смотрели, как загипнотизированные. Наконец Бодраков отодрал резинку, покрутил ею перед глазами и — затолкал себе в рот. Мелко-мелко, быстро-быстро стал жевать-пережевывать содержимое во рту, ее — скользкую, соскользающую с зубов, неподдающуюся — и делал при этом ужасающие гримасы. Все просто-напросто офонарели. Каждый, вроде как помня, симитировал кадыком несколько конвульсивных движений; печать наконец ух-

нула, провалилась куда-то Финагену в утробу. Раздался вздох всеобщего облегчения.

— Я сам и заказывал, — пояснил Бодрakov, — я сам и съел.

И плюнул изобильной, длинной такой фиолетово-чернильной слюной, считай, на полкабинета — до самого сейфа, где, словно в швейцарском банке, как символ власти и принадлежности к номенклатуре и хранилась все эти годы она, печать его, "родная, хорошая, дорогая".

XIV.

Подули теплые апрельские ветры, и воздух в Ярище сменился. Сошел с Алешни-речки лед, по-над Житенем взялся зеленоватый дымок. Березы, ивняки тигановские погнали соки земные ввысь. Каждый год бывает такое, да не каждый год ветры с Балтики случаются теплыми. Нахолодав по оврагам, они еще долго пронзают людей до костей, поощряя жажду к скорейшим переменам.

Егор Тиганов возвращался домой из Алатыря. В мыслях бродило всякое, как яблочный сок к весне, что настаивал градус во флягах по крестьянским погребам и подвалам.

А Чернобай, врач-анестезиолог, договорился-таки с соседкой Доней — Тальянкой, та опять наострилась в свою Италию нянчить внука, еще один там у них родился внук — итальянец. И в квартире своей алатырской Доня разрешила пожить Егору со Стешкой. Даже денег не брала, лишь бы жили, а то сейчас невесть что творится. Егор с этой весточкой и поспешал к Стешке. В голове у него кружилось от радужных планов. Работенку себе он подыщет в Алтыре, в той же заготовконторе, но как быть со Стешкой?..

Народ в автобусе подобрался свой, деревенский, в основном бабы из Оболешево. Воскресенье же, ездили в Алатырь на "барахолку".

— Ну и что ты купила? — прислушивался Егор, как позади него одна тетка приставала к другой.

— А два огляда, — бойко отвечала соседка. — Чего надо, там этого нет.

— А чего тебе надобно? — цеплялась все та же — смола липучая, вот привязалась.

Остальные сидели помалкивали, как бы язык на ухабе не откусить. Одна баба анадьсь себе откусила, так не нашлось такого хирурга, который ей бы его пришил. "Ничего.

не влазил, небось, вот и подрезала". — "А подрежешь — уже не то, как не свой, иное глаголит". — "Зато жить интереснее".

Это позади Егора шел такой разговор. Нашли где поговорить, дома не наговорились. А вот иная тема, другой ствол того же ружья. "Чего купила, кума?" — "Да так, по мелочам, не по нынешним деньгам." — "А ты?" — "Аппарат самогонный искала, — наклонялась одна к другой, но все слышали. — В городе-то особую гнать приспособились. Полчаса — и к обеду чайный стакан".

— Не там ищешь, — обернулся мужик.

— А где же?

— В милиции, — засмеялся на весь автобус мужик. — Это как одна бабка, — обращал он на себя всеобщее вниманис, — аппарат сама в органы притащила... Стукнули, значит, бабке: мол, в милиции сахар на такие дела выделяют, только аппарат надо зарегистрировать, как телевизор.

Бабка свой винзавод под мышку да в райотдел. "Чего ты, бабуля?" — спрашивают. — "Да вот принесла залеги... зареги..." — "Зарегистрировать, что ль?" — "Да, сынок". — "Верно, это мы давали такое объявление в массы. Ну, иди-иди, милая, сейчас мы тебя тут оформим... рубликов на пятьсот..."

— Дуру какую нашел, — загамели бабы в автобусе. — Старого человека так выставлять. Да сейчас каждый пионер в курсе...

Автобус как раз проезжал мимо Ярища. Егор всматривался в него через стекло: что-то в нем было не то, не хватало Ярищу чего-то. Часа три назад встретился Егору в Алатыре Бодраков. Боже, что с ним сотворилось, совсем другой человек! Худючий такой, слегка слегой, прямо подшито все. Шел Финаген и как вроде ногу подтаскивал... И сжалось Егорово сердце, до боли жаль стало ему Финагена. Хоть и рыжий, а все крепок и статен совсем недавно был Финаген! Как пророк, настоящий мужчина. "Такие, как он, живут без права на ошибку, — думал Егор, глядя на Бодракова. — Это художники, писатели от своих ошибок сами же мучаются, страдают. От ошибок чиновников мучаются другие". Когда Бодраков свернул на брусчатку, ведущую в райсельхозуправление, Егору захотелось сказать ему вслед: "Дорогой, не туда ходишь, начальниками ставят и снимают не здесь..."

Ком застрял в горле Егора. Ну, загнал Бодраков его ког-

да-то в "тюрягу", ну, колот он в карьере камень-брусчатку, а вот не стало Бодракова в Ярище — и нет в Ярище чего-то такого, к чему все привыкли, отчего не спутаешь Ярище с каким-нибудь Оболеншево. Некому поперсть, обложить, обрушить град всяких словес, отчего, кажется, земля лопнет, а все не лопается, все принимает в себя, стоит и трясется, как при землетрясении.

А теперь тишина. Ветер хлопает форточкой в окне бодраковского кабинета. Редко заглянет сюда Виталий Витальевич; и баяна что-то не слышать, ай свадьбы по деревням уже не играют, ай дети перестали рождаться? Вынет он, врио председателя, связку ключей из кармана, глянет на них искоса да обратно в карман и положит. После сядет в бодраковский "козел" и давай гонять по посевам весь световой день, разряжая себя, успокаиваясь. А в конторе: "шшшу-у", "шшша-а", "ррра-а" — крысиная возня, во главе которой, кто же еще, Коротеева.

Все это знал Егор через отца, а отец — от самого Виталия Витальевича, глубоко сожалеющего, что напялил себе на шею этот клятый хомут.

"Никто правды не говорит, — мутило Егора в автобусе. — Все носят маски, и жить невозможно во лжи. Все расписано, место каждому определено, сдвинуться невозможно. А человек просто обязан не делать вокруг пустыню. Главное — жить по совести: после каждого из нас на земле должно оставаться живое..."

И тут Егору захотелось выйти из автобуса чуточку раньше, в Ярище. До того захотелось, что невозможно. И вышел Егор на ярищенской остановке. И стоял под железным навесом, не зная, куда двинуться: опять тут как чужой. И тут вот он, Бронька-Бронюшка, на своем "вертолете", давненько не виделись.

— Ты чего это? — остановил мотоцикл Бронька прямо напротив него. — Броня крепка...

— Автобус жду, — опустил Егор голову.

— Да он только что проскочил.

— Опоздал, значит. А что Виталь Виталич?

— А-а, — махнул Бронька. — Баян отказал, вот беда.

— Да ты что!

— Ну да. Играл до упаду, — объяснял Бронька. — Инструмент, видать, и перегрелся. Вынес он в сенцы его на ночку — пущай охолонится. А утром глядь — мехи крысы объели, ужас! А баян был особый, на заказ. Отдал Виталь Виталич его в ремонт — и все теперь, крышка! Либо, говорит, голоса мне,

хамаидолы, переменили, душу вынули... А я думаю, дело не в голосах.

— А в чем же? Играть теперь что, чин ему не позволяет?

— В гармонии! — аж приподнялся Бронька на своем мотоциклете. — В гармонии, а не в гармонии. Талант делал баян этот, на талант и рассчитывал. Голоса, мехи, воздух на сжим — на разжим, тютельница в тютельница. А в мастерской кто ему справлял инструмент? Подмастерья...

— Врешь ты все это, Бронька, — вздохнул Егор. — И зачем тебе все это?

Сказал Егор и отвернулся. Весть, с которой он торопился к Стешке, перестала быть большой, сделалась малозначительнее. Так-то оно бывает. Какая гармония, когда крысы прогрызают мехи на баяне. А скорее Виталию Витальевичу просто теперь не до баяна: функция изменилась, баян не прибавит авторитета, вот и все...

Покрутился Бронька возле Егора и укатил. А Егор в ожидании следующего рейса приклонился плечом к раките, смежил веки. Тут цыганка старая и вывихнулась из-за ракиты.

— Дай погадаю, — схватила она руку его жесткой своей, костлявой рукой. — Миленок, дай судьбу предскажу.

— Ты мне уже предсказала, — отдернул руку Егор. — Заколебала, бабка! Забыла, что ли: плохо мне будет от "бубнового короля"?

— И от "трефового", — с готовностью добавила старая.

Егор отошел от ракиты: "Не убило бы молнией, ужас! "Бубновый" был, а будет еще и "трефовый"... Не каркай, карга! Если бы человек знал, что будет с ним завтра, через год, через столетье, через тысячу лет! Если бы род человеческий ведал, какие пути выбирает..."

С детства торена эта дорожка. Справа, где и всегда, — "командный пункт", высокое место. И Егора, как и вчера отца его, потянуло туда, к валуну, да в этом одном, что ли, наследственность?

Он прислонился к камню — теплый, конечно, не остыл со вчерашнего. Но не это удивило его, а то, отчего людей тянет на все эти вышки, вершки, холмы, косогоры, телескопические башни. Оттого ли, что на земле, в обыденной жизни нам не хватает чувства полета, свободы, которую мы ощущаем здесь?... Над головой как раз пролетала речная чайка — белая, крылья с черным подпалом, и цыганка — старуха со своими пророчествами пропала, чтоб ты сгорела,

колдунья! В атмосфере менялось давление. Из-за горизонта вываливалась рваная, косматая, неаккуратная такая седовато-черная туча. И яркие молодые просветы гасли, умирать не хотели под ее обширным цыганским платком. Какой была тогда Стешка, когда он ехал сюда из города, чтобы остаться тут жить?..

О "бубновом короле" он догадался — это Петр. "Трефовый" — цыган, уходил с гитарой тогда в широкую степь. Но почему гитара со Стешкиной — женской фигурой?..

И тут небо треснуло, кто-то пробежал по железной крыше из озорства. Первый весенний?! Неужели? Так рано? Скорее бы травку умыло, грязищу вот собьет, и все двинется в рост. Скоро наш народ деревенский выгонит коровенок в луга, слава богу, зиму еще одну пережили.

* * *

Прежнее как бы оборвалось, а новое не народилось. Только нервы звенели, не нервы — струна. Полинка связывала их с Егором, но ведь Полинки-то нет. Разумом понимала, в чем ее виноватил Егор. А тут еще эти цыгане. Она этого не хотела, но гитара уже заимела власть над ней, для полного счастья ей нужно было и то, и другое, но как все это соединить?..

И Стешка не открывалась Егору. Ей одной виделась сцена, рампа "Ромэна", в труппе которой пела когда-то в молодости старая Панка. Для этого надо было попасть поначалу хотя бы в Алатырь, в студию. Нет, она добьется всего сама...

Распопову доложили: в приемной добивается аудиенции заведующая Ярищенским комплексом, ну да, та самая, молодая цыганка.

— Стешка? — вырвалось у Распопова, и он удивился, тут же прикрыл свое удивление привычной маской: — Та самая, передовичка?

Распопов дал выдержку, прокручивая различные варианты. Все у него сходило к тому, что Стешка явилась выбивать комбикорма, в крайнем случае жаловаться на какую-либо несправедливость.

— Просите, — сказал он секретарше и приосанился.

Стешка вошла и в конце кабинета, за мощным столом, какие бывают в президиумах, увидела — кого же она увидела? — Брежнева. По радио как раз говорили, что Леониду Ильичу присудили за рубсжом какую-то прсмию имени Меркурия за международные дела по торговле...

— А, Степанида Ивановна! — улыбнулся ей под портретом Распопов и встал, сделал навстречу шаг.

Она была все в том же своем зеленом кримпленовом костюме, она знала, что он ей к лицу, округляет ее женские формы. И это было как знак. Под ладонью, которой приложился Распопов к Стешкину плечу, запульсировала, нервно дернулась кожа.

— Ого, — засмеялся Распопов, — какие мы чувственные... Ну и с чем пожаловала, Стеша?

— В Алатырь хочу, — хмуровато сказала Стешка. — Прошу квартиру.

— Квартир-ру-у?! — удивился Распопов, на сей раз маска не помогла, он не мог скрыть удивления. — Жилплощадь, милая, в городе просто так не получают, — улыбаясь, покачал он головой.

— Зря, что ли, тружусь с шестнадцати лет?

— Чтобы жилплощадь в Алатыре получить, надо иметь городскую прописку, — объяснял он Стешке такие азы. — И еще...

— Что еще?

— Ну, еще иметь хорошес отношение, — опустилась рука Распопова ниже, на самую ее талию.

Стешка прошла и села в кресло.

— Для чего тебе в город? — опустилсся Распопов в кресло свое напротив нее.

— Петь хочу, — сказала искренне Стешка. — Сначала тут у вас, во Дворце культуры. А потом в театре "Ромэн"...

— Ого! — уже не улыбался Распопов. — Артистка, значит? А кто же коров доить будет, ухаживать за телятами?

— Я и Егора хочу с собой, — напрямую лепила Стешка.

— Егора? — потускнел как-то сразу Распопов и захлопнулся, словно табакерка. — А квартира в городе — ты хоть знаешь, что это такое? В очереди люди по пятнадцать лет...

— Нет, это я уже буду старая, — опсчалилась Стешка.

— Ничем не могу помочь, Степанида Степановна, э, Степанида Ивановна, — развел Распопов руками и поднялся из-за стола. — Поработаете, поживете в городе — жилплощадь, может быть, когда-нибудь и заработаете... В общем, можно подумать, если будем... в контакте, — улыбнулся он Стешке особо как-то, одними глазами. — Естесссъттвенно. При наличии показателей.

— Нам-то ссть что показать! — вспыхнула, поняв отказ его, Стешка. — А вот вам-то чего, окромя этих... портретов? Нарродная вл्लाсть!!

И, повернувшись решительно, так же решительно зашагала к двери.

— Ну, Стеша, Стеша, — кинулся следом Распопов и, оглаживая спину ей, шел до самой двери. — Зачем же так... Можешь оставить заявление в приемной...

Распопов выждал какое-то время. Вышел в приемную. Взял у секретарши Стешкино заявление.

— Направьте для принятия мер... в Ярище, да, к Мордовцеву, по месту жительства.

И возвратился к себе в кабинет. Долго сидел без движения. Изображая, очевидно, из себя Старика. Однако тряхнул головой по-молодому, стал звонить по синему, внутриалатырскому телефону:

— Ты, Матвеич? Есть там местечко у тебя в смешанном общежитии?.. Ну, комнатка, комнатка — отдельная, с отдельным входом, естественно... Для кого, для кого! Ну, для одного, понимаешь, таланта. В театр "Ромэн" человек собирается... Ну да, вынь да положь. Голос у человека, талант, надо, брат, помогать.

* * *

Как всегда, радуясь возвращенью домой, Егор спускался к Тигановке с большака. И шел он "Светлым березовым ходом", который присвечивал не только лицо ему, но, кажется, всю его жизнь, когда он, присажая откуда-либо, всегда шел домой этим "Светлым березовым ходом". Сбоку отсвечивал свежий асфальт "аппендикса" — дорога с твердым покрытием, Трофимова, отцова дорога. Сейчас он заявится домой, возьмет Стешкин плащ и выйдет к последнему автобусу встречать ее, Стешку. Ему есть что сказать: про поездку в Алатырь, про квартиру Тальянки...

Плаща Стешкиного в шифоньере не оказалось. Не было в шифоньере и зеленого кримпленового костюма. И новых французских туфель. И иранского красного шерстяного свитера. Егор так и присел на табуретку, как на край волчьей ямы. Подозрения, нахлынув в него, ослабили ноги...

— Я не для вас, а вы не для меня, — пела артистка Римма Глушкова по радио.

Егор кинулся на кухню. На столе — кубан с молоком, под кубаном — записка: "Ушла. Не жди. За мной, мальчик, не гонись. Стешка".

Не сразу вошел Егор в смысл этих слов, не принял их — вот и все. По привычке снял с гвоздя дождевик. И шел по привычке опять же к автобусу, поднимаясь к Оболеншевскому большаку. Асфальт теперь, какой прогресс: проехать можно в любую погоду, а счастья нет...

Проскочил последний автобус, на остановке никто не вышел. И не выйдет никто. Никогда. И мир показался Егору страшным, он понял наконец смысл ею написанных слов. И сам себе он показался никчемным, таким малюсеньким, махоньким. И небо легло на плечи ему, навалилось, готовое раздавить, изничтожить, о небо! И его зашатало, повело в сторону, потянуло туда, где он был недавно счастлив со Стешкой — в Житень, к Берегининой хате. Так неудержимо, просто спасу нет, удержать себя невозможно, как потянуло туда. Как добрался до Житеня, он и не помнил. Помнил только, что шибко выбита была, на условный стук никто не откликнулся. А дернул за ручку — дверь закрипела, распахнулась сама, о господи! Случилось ли что-то с бабой Катей, может, ушла и она? И в мире еще одним домом, еще одним долгожителем стало меньше?

— А-а, — забрался Егор на старую грушу за огородом. — А-а-а...

Никто не отозвался ему — ни в самом поселке, ни во всей окружающей местности. Жудость какая! Никого во всей этой зябкой ночной промозглой пустыне, далеко-далеко по всем этим увалам Средне-Русской равнины, может, до самой Москвы.

Нога на мокром стволе ошмыгнулась, и Егор шмякнулся оземь. Какое-то время лежал без движения. Затем понял, что жив, и стал приподниматься — не получалось, нога не пускала, ногу, что ли, сломал?

— Стешка-а-а! — испугался Егор этой холодной пустыни.

— Люди-и-и-и... а-а-а-а...

В плащ, на какой он упал совершенно без сил, ударило молнией, запахло серой, — так ему, так! И било меж пальцев, с неба, из глаз — все смешалось. То ли земля сотрясала его, то ли он сотрясал эту землю, и все выходило из него сотрясениями. Лучше бы и не рождаться, хоть бы что-нибудь говорить, но горло было чужим, деревянным, и уже ни голос, ни тело ему не повиновались.

Так с пучком прошлогодней травы, выдранной вместе с корнями, и лежал он, коченея, как собака, как колода какая, идол бесчувственный. Ночь пролежать, и к утру уже все...

Он шевельнул пальцами рук — еще шевелились. Двинул ногой — двигалась, сволочь. Надо обмякнуть и раствориться, уйти. Земля несобьятна, вся в электрических сферах, населена мириадами звезд, они уже входят иглами в тело, уводят и вводят его в иные миры, потусторонние недра... И тело покидает душа... И что после смерти — обуглиться, превратиться в горсть этого чернозема, обезбожиться окончательно или перейти в нового бога — в эту вот звездную пыль, частицу всеобщего космоса, в пылинку где-то на Поясе Неба, на венце кормления — Млечном Пути...

И тут длинный теплый шершавый язык просхал по нему от плеча до затылка. Струна балалаечная закачалась у него на лице.

— Мы-у-у, — раздался баский такой, сыровато-проваленный звук, и в лицо ему дыхнуло живым, травянисто-молочным, человеческим теплом.

Егор приоткрыл глаз: корова. Протянул руку — облизнула пальцы. "Я не хочу умирать, не желаю", -- мучился он, укрепляя в себе решимость.

— Чего ты, дуреха? — сказал вслух он обеспокоенно и приподнялся на локте. — Чего тебе, бездомовная? — И, встревожась за нее, бесталанную, он и сам очнулся, как бы проснулся совсем: "Сарай, небось, забыли закрыть, накинуть на дверь "закидушку"... И откуда ж ты, милая, — из Ярища или Оболешево, чья? Ведь волки бродят, лиходеи всякие — охотники до чужого, мигом на мясокомбинат тебя... я сейчас, сейчас я..."

А корова стояла над ним, покорная. И Егор стал подниматься — сначала на локоть, потом на колени, на ноги. Встал, вынул из штанов ремень, набросил ей на рога вместо поводка, подергал на себя для уверенности: повод, рога коровьи, глаза коровьи, звезды посеред глаз — это хорошо, это прекрасно, братцы, это же что-то особенного...

Опираясь на выломанный сук, Егор брел в предрассветье невесть куда, на взгорок, где уже занималась заря. И корова покорно шла следом, загребая широкими, разлатыми, разработанными копытами на дороге нетолстую покуда, позднейсерельскую пыль, воздыхая и окатывая его вдоль спины теплым своим, домашним таким, человеческим паром: одно слово — корова, животное... И уже под самой Тигановкой, перед отцовской дорогой, Егор понял вдруг, так его осенило. Глядишь и гляди, все земное справа и слева, выбирая — иди. А выбрав, уже не оглядывайся, ибо стоит лишь пожалеть, оглянуться,

как все внутри тебя самого перевернется — зеркальный эффект: то, что слева было, теперь уже правое, а что правое — слева. И мертвое неожиданно станет живым. Все дело в чем, оказывается: во внутреннем зрении, куда зрачки повернуты — вовнутрь тебя или наружу; да все в том, что когда кому каким хочется видеть...

И сырое, неспросавшееся эхо покатилося по лесам и долам, до Алисовой горки — вот до чего докатилось, могучее. Егор остановился напротив, начал вглядываться в глубокую провальность, жгучую смуту фиолетовых глаз коровьих, втягивающих в себя, и ничего не мог подделать с собой, как тащило его туда. И тут Егор почувствовал за спиной кого-то, что-то живое. Егор вздрогнул, даже кожа затряслась на затылке, и скорее этим затылком, чем в колодцах коровьих, глаз в глаз, он, Егор, увидел там свою Стешку.

*г. Орел — с. Мамонтово,
Алтай — п. Сияевский.
Осень 1989 года — весна 1990 года.*

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	4
Часть вторая	116
Часть третья	243

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

ДВА ПРОРОКА В ОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ

Редактор Л. М. Золотарев
Технический редактор Г. В. Скорикова
Корректор А. А. Гудкова

ЛР № 030086.

Сдано в набор 20.08.94 г. Подписано в печать 8.02.95 г.

Формат 84х108/32. Офсетная печать. Бумага типографская.

Усл. п. л. 19,3. Уч. -изд. л. 18,9. Тираж 1200 экз. Заказ № 829.

Издательство «Вешние воды». Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.

Набор и верстка — «Невероятный мир». Орел, ул. Ленина, 1.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Труд» комитета
по печати, полиграфии и СМИ администрации Орловской области.

Орел, ул. Ленина, 1.

